Василь Быков



4

ВАСИЛЬ БЫКОВ

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ В ЧЕТЫРЕХ ТОМАХ



Василь Быков

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ

В ЧЕТЫРЕХ ТОМАХ



СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ

ТОМ ЧЕТВЕРТЫЙ

Повесть «ЗНАК БЕДЫ»

РАССКАЗЫ

ПУБЛИЦИСТИКА

МОСКВА
«МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ»
1986

84Бел7
Б 95

Оформление художника
Ю. БОЯРСКОГО

Быков В. В.

Б 95 Собрание сочинений: В 4-х т. Т. 4. Повесть. Рассказы. Публицистика / Худож. Ю. Боярский. — М.: Мол. гвардия, 1986. — 448 с.

В пер.: 1 р. 70 к. 100 000 экз.

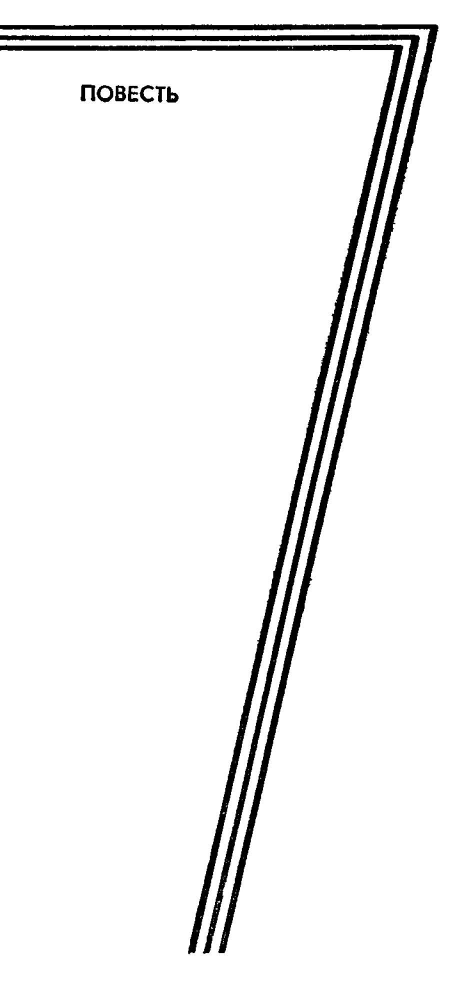
В четвертый том Собрания сочинений Героя Социалистического Труда, лауреата Государственной премии СССР Василя Быкова вошли повесть «Знак беды», военные рассказы и публицистические статьи разных лет.

Б $\frac{4702120200 — 058}{078(02)—86}$ Сводн. пл. подписных изд. 1985

ББК 84Бел7
С(Бел)2

© **Издательство «Молодая гвардия», 1986 г.**

ЗНАК БЕДЫ



ПОВЕСТЬ

Время и люди не много оставили от некогда раскинувшейся здесь просторной хуторской усадьбы. Лишь кое-где останки ее выглядывали на поверхность угловым камнем фундамента, осевшим бугром кирпича да двумя каменными ступеньками возле бывшего входа в сени. Припорожные эти камни покоились на том самом месте, что и много лет назад, и мелкие рыжие муравьи, где-то поблизости облюбовавшие себе жилище, деловито сновали по нижней, вросшей в землю ступеньке. Овражный ольшаник, потеснив хуторское поле, подступил вплотную к двору; на месте истопки царственно разросся густой куст шиповника в окружении зарослей лопухов, крапивы, малинника. От колодца ничего не осталось, сруб гнил, или, возможно, его разорили люди, вода, оказавшись без надобности, иссякла, ушла в глубь земли. На месте стоявшей здесь хаты тянулась из сорняков к свету колючая груша-дичка — может, непотребный отпрыск некогда росших здесь груш-спасовок, а может, случайная самосейка, занесенная из леса птицами.

С дороги, от большака мало что указывало на бывшую усадьбу, разве одна из двух лип, некогда красовавшихся возле хуторских ворот. Другой не было и в помине, да и оставшаяся являла собой жалкое зрелище: опаленная и однобокая, с толстым уродливым стволом, прогнившая корявою щелью-дуплом, она непонятно как удерживала несколько мощных сучьев. Прилетавшие из леса птицы почему-то никогда не садились на ее ветвях, предпочитая рослый ольшаник поблизости. Вороны, возможно, помнили что-то, а может, своим древним инстинктом чуяли в изуродованном дереве дух несчастья, знак давней беды. Этот роковой знак лежал здесь на всем: на истлевших остатках усадьбы, блаженствующих на при-

волье зарослях сорняков и малины, на самодовольной неприступности колючего шиповника и даже изогнутой груше-дичке. И только тоненькая молодая рябинка, недавно выбросившая на свет считанные листочки посередине заросшего травой подворья, в дерзкой своей беззащитности казалась гостьей из иного мира, воплощением надежды и другой, неведомой жизни.

Наверно, все остальное принадлежало здесь прошлому, покоренному тленом и небытием.

Все, кроме неподвластной времени всеохватной человеческой памяти, наделенной извечной способностью превращать прошлое в нынешнее, связывать настоящее с будущим...

1

С терпеливой ненасытностью корова щипала влажную с ночи траву, неторопливо двигаясь исхоженным своим маршрутом: вдоль большака, по заросшей бурьяном канаве, краем дорожной насыпи, через травянистую лощину с гладким, будто откормленный кабан, валуном и дальше, к опушке леса, широкой дугой охватившей пригорок с хутором. Степанида знала, что на опушке корова повернет в сторону Бараньего Лога и там, в ольшанике, надо будет смотреть за ней строже, чтобы не шмыгнула куда-нибудь долой с глаз. Бобовка была корова проворная и хотя пестрая — белые пятна на черном, — но уж если куда запропастится, то побегаешь по кустарникам. Однако это там, на опушке, тут же деваться ей было некуда — невысокая насыпь дороги да голое картофельное поле, тут можно и посидеть в покое. И Степанида, прислонясь бедром к округлому боку валуна, плотнее составила на земле босые ноги, изредка поглядывая на свою Бобовку.

Было не холодно, хотя и зябковато ногам в мокрой от росы траве и ветрено. Небо сплошь устилали набрякшие дождем облака, солнце с утра не показывалось; серый неприютный простор полнился неумолчным шорохом ветра в поле, невольно хотелось отвернуться от него, плотнее закутаться в ватник, не двигаться. Рядом на большаке, как всегда в эти дни, было пустынно и тихо, теперь тут мало ходили и никто уже не ездил. Если и появлялся редкий прохожий, то чаще с утра — какая-нибудь женщина из ближней деревни торопливо пробежит в местечко, обратно появится она только к вечеру.

Эта устоявшаяся заброшенность дороги угнетала Степаниду, особенно после того, как недавно еще все тут ревело и стонало от машин, подвод, лошадей, бесчисленных колонн войск, денно и нощно тянувшихся на восток. Казалось, великому тому шествию не будет конца, а с ним не кончится и тревожная суета на хуторе. Известное дело, придорожная усадьба: какая надобность ни случись — у всех на глазах. Степанида с Петроком сбились с ног, встречая и провожая каждого, кто заезжал, забегал, останавливался, чтобы переобуться, напиться, передохнуть в зной под липами, покормить лошадей, перекусить самому, расспросить о дороге. Правда, однажды под вечер на большаке стало свободнее, движение заметно спало, готовое совсем прекратиться, машины уже не ехали, а строй красноармейцев, свернув с дороги, цепью рассыпался по картошке. Два командира, заехавшие на хутор, что-то долго рассматривали на карте; их боец-коновод попросил ведро напоить лошадей и сказал, что тут будет бой, оставаться на хуторе опасно. Испугавшись, Степанида накинула веревку на рога коровы и кустарниками подалась в Бараний Лог. На хуторе остался Петрок — усадьбу не годилось оставлять без присмотра. Натерпевшись немало страха, она просидела в березнячке ночь и половину следующего дня. После полудня загудели самолеты, тотчас содрогнулась земля, где-то забахало, застучало, и в небе за логом встал сизый столб дыма. Постепенно оправившись от испуга, Степанида поняла, что это далеко, на большаке, а может, и того дальше, в местечке. Вскоре, однако, все стихло, будто и не начиналось вовсе. Некоторое время выждав, она боязливо потащилась с коровой к хутору, не надеясь найти его в целости, да и живого Петрока тоже. Но хутор как ни в чем не бывало спокойно стоял под липами невдалеке от дороги, а во дворе, выбравшись из погреба, похаживал с соломой в бороденке ее Петрок, и ветер доносил из-за тына знакомый дымок его самокрутки.

В ту ночь красноармейцы оставили на картофельном пригорке недокопанную траншею и куда-то ушли стороной; на большаке все опустело, заглохло, наутро редкие военные повозки поворачивали обратно, в объезд на Кульбаки — за сосняком самолеты разбомбили мост через болотистую Деревянку и проехать в местечко большаком было уже невозможно.

Настала новая, страшная в своей непривычности жизнь под немцем, которая постепенно, с неотвратимой

настойчивостью утверждалась в районе. Началось с того, что в Выселках распустили колхоз, разобрали небогатое его имущество, инвентарь, лошадей, и Степанида послала Петрока за своей когда-то обобществленной кобылой. Но кобылы в колхозе не оказалось — накануне прихода немцев отправили подростка с подводой на станцию, откуда он так и не вернулся. Она накричала на Петрока, потому что, если такое случилось, надо было взять какую-либо другую лошадь — как же в хозяйстве без лошади? Как тогда жить? Но этот старый недоумок Петрок, разве он что сделает как следует? Только знает одно — молча дымить вонючей своей махоркой. И теперь вот живи как хочешь. Хорошо еще, что осталась Бобовка, на нее вся надежда, она пока что кормит обоих. А что будет дальше?

Бобовке тем временем, наверное, наскучило пастись на жестком придорожном откосе, и она взобралась повыше, на обочину большака. Степанида поднялась с камня — зачем позволять корове высовываться из-за насыпи, мало ли что может случиться, еще кому попадет на глаза. Правда, за эти два месяца жизни под немцем она поняла, что ото всего не устережешься, как ни скрывайся, а если они захотят, то найдут. Тем более что у немцев выискались уже и помощники из местных, полицаи, которые всех тут знают наперечет. На прошлой неделе повесили двух коммунистов на площади, один из них был директором школы, в которой учились ее Фенька с Федькой. Там же, в местечке, на стенах домов и заборах белели их объявления с обещанием суровой расправы с каждым за ослушание, неподчинение, тем более за сопротивление немецким властям.

Степанида поднялась на дорожный откос, хворостиной легонько стеганула по заду Бобовку, и та не заставила себя ждать, степенно ступая, послушно сошла в канаву. Конечно, трава тут была не очень съедобная — бурьян да осот, — но как-нибудь напасется за день. Степанида немного постояла на большаке, оглядывая с насыпи знакомое до мельчайших подробностей хуторское поле. Минуло десять лет, как оно перестало принадлежать ей с Петроком, стало колхозным, но чье будет теперь? Вряд ли немцы отдадут землю крестьянам, наверно же, знают, что если из рук выпустишь, то обратно не ухватишь. Какая она ни есть, эта земелька, этот проклятый богом пригорок по прозванию Голгофа, а вот жаль его, как матери жалко пусть и больного, единственного

своего ребенка. Сколько тут выходили ее немолодые ноги, переделали работы ее изнуренные руки! Сколько лет они с Петроком тут пахали, сеяли, жали, раскидывали навоз и мельчили глиняные комья, особенно там, на суглинке. К той же нехитрой крестьянской работе со временем приобщился и Федя. Феня же захотела учиться и уехала в Минск. Где теперь ее дети? Феня так, может, еще и жива, если посчастливилось вовремя уйти на восток, и теперь где-то в России. А Федька? Как пошел осенью в армию, за зиму прислал три письма из Латвии, только начинал свою службу на танках, и тут война! Где он, жив ли хотя?

Сквозь узкий разрыв в облаках прорезалось солнце, и нежданным холодным светом озарилась земля. Печальный осенний простор сразу утратил свой унылый вид, будто заулыбался навстречу желанной солнечной ласке. Освещенные косыми лучами, четко обозначились на земле огороды, сады и постройки Слободских Выселок, длинным рядом растянувшихся по задорожному пригорку, поодаль засинела зубчатая стена елового леса, а ближе и правее весело закурчавилась на склоне чаща молодого сосняка, прорезанная узкой лентой дороги. В стороне от нее за полем отбросила длинные тени хуторская усадьба под мощными кронами двух старых лип. Это была ее Яхимовщина. Степанида всмотрелась пристальнее, стараясь разглядеть там Петрока, узнать, чем занят старик. Выгоняя утром корову, она наказывала кое-что сделать по дому, а главное — утеплить и закидать землей картофельный бурт в огороде. Петрока, однако, там не было видно, да и солнце вскоре скрылось за тучами, хуторское поле нахмурилось, помрачнело, и она так и не успела что-либо рассмотреть на подворье.

Степанида спустилась с насыпи — зачем торчать без нужды на дороге — и помалу пошла за коровой.

Она далеко уже отошла от камня, было рукой подать до лесной опушки, и вдруг услышала голос из-за дороги. Подняв голову, вслушалась, но тревога ее исчезла, как только на дорожной насыпи появился вертлявый Рудька. Выскочив на обочину, песик сразу же замер, также узнав женщину, и обрадованно завилял хвостом. По ветру снова донесся сдавленный гортанный вскрик, и Степанида поняла, что это Янка из Выселок пасет свое стадо по ту сторону дороги, как она Бобовку по эту. Он и в самом деле появился за Рудькой на насыпи, длинноногий подросток в забранной в штаны темной сорочке, с кнутом

в руках. Степанида нередко встречала его на этом придорожном поле или в кустарнике все с теми же четырьмя коровами, и всегда от жалости к нему сжималось ее сердце — такой он был худой, недосмотренный, в ветхих штанах, подпоясанных обрывком веревки, и всегда босой. С тревожным недоумением он всмотрелся в ее лицо, будто хотел и не мог понять чего-то, иногда тщился что-то сказать на непонятном ей языке рук и резких гортанных звуков, временами пугавших ее своей неожиданностью. Иногда она старалась что-то сообщить ему, но он отвечал все теми же гортанными вскриками, и она не знала, понял ли он что-нибудь. Но картошку или кусок хлеба с салом, которые она протягивала ему, брал сразу и, приткнувшись где-нибудь на меже, съедал все до крошки. Похоже, частенько он бегал голодным — понятно, жил не у родной матери, а у дальних деревенских родственников и с весны пас скот за кое-какое питание и ночлег под крышей.

Пастушок между тем окинул взглядом свое небольшое стадо, хлестнул кнутом в воздухе и, подойдя к Степаниде, молча опустился на кромку дороги. Его обсыпанные болячками ноги до колен высунулись из холщовых штанов, руки он зябко сцепил на груди, съежился, оперся локтями о колени.

— Ы-ы, а-а-а! — попытался он что-то сказать. — А-э-э!

Кто знает, какие мысли тревожили его, отчего вздрагивала нечесаная голова под мятой, со сломанным козырьком кепчонкой, что выражалось в его наивно раскрытых глазах? Степанида иногда подкидывала ему на полдня или утро Бобовку, если случалась такая надобность, и, возвращаясь в поле, старалась прихватить для него какой-либо гостинец — оладью, шкварку, горстку гороха или хотя бы спелое яблоко с дерева. Теперь же у нее ничего не было.

— Холодно, Яночка? Что же ты теплее одежку не взял? — сказала она с укором, вглядываясь в него снизу.

— А-а, э-э-э! — замычал он и махнул рукой.

— Такой ветер, продует, и заболеешь. Понимаешь, заболеешь, — пошлепала она себя по груди. — Иди одежку какую возьми! Одежду, потеплее чтоб!

Будто поняв что-то, Янка выскочил на дорогу, окинул взглядом свое небольшое стадо.

— А-а-а! У-а-а-а!

— Иди, иди! — сказала она. — Я погляжу. Погля-

жу! — повторила громче и показала рукой на его коров и свою Бобовку.

К ее удивлению, он что-то понял — легко, будто услышал. Сбежав с дороги, взмахом кнута завернул переднюю черную корову и бегом припустил к сосняку, возле которого виделся поворот с большака на Выселки. Рудька сначала побежал за подростком, но, будто вспомнив свою пастушью обязанность, вернулся и присел на обочине невдалеке от Степаниды.

— Рудька, Рудька, сюда! — позвала Степанида. Но Рудька только повел ушами, заботливо оглядывая стадо, спокойно пасущееся в канаве и на дорожном откосе. Это был, в общем, славный, хотя и хитроватый пес, он не шел к человеку, не завидев в его руках съестного.

Чтобы не разминуться с Янкиным стадом, Степанида перегнала на ту сторону большака Бобовку и сама осталась на насыпи. Отсюда ей хорошо видны были все коровы, ногам было удобнее ступать по сухой дорожной траве, но тут сильнее дул ветер, и она повернулась к нему спиной. В небе стремительно проносились нагромождения облаков, неизвестно, в каком месте там было солнце и как скоро настанет вечер. Но она чувствовала, что время давно перевалило за полдень, час-другой, и в поле начнет смеркаться. Раньше она любила и ждала такую вот пору дня, когда с полевой работы возвращалась на усадьбу, где собиралась семья. Разнообразные домашние хлопоты никогда ей не были в тягость, даже после утомительной работы в поле. Теперь же наступление вечера ее мало радовало, не влекла и стряпня возле печи — семьи, считай, не было: один за другим отошли на тот свет старики, чуть повзрослев, разлетелись дети, незаметно минуло все трудное и хорошее, что с ними связано. Остался один Петрок, а двум старым людям много ли надо? Чего-нибудь съесть да на бок, укрывшись вытертым кожушком, не хотелось топить на ночь грубку, хорошо было и так. Правда, была еще скотина: корова, поросенок в хлеве, десяток курей. Их надо кормить, поить, досмотреть. Тем почти и исчерпывались ее нехитрые домашние обязанности.

Рыжая молодая коровенка из выселковского стада начала отставать от других, и Степанида негромко прикрикнула на нее. Но та, по-видимому, не привыкнув к чужому голосу, не спешила догонять стадо. Спустившись с насыпи, Степанида прошла назад и подогнала корову. Ког-

да же снова взобралась на большак, неожиданно увидела, как со стороны соснячка кто-то бежит с такой прытью, что на спине пузырем вздувается рубашка. Немного, однако, вглядевшись, она узнала в бегущем Янку. Но почему он вернулся, почему не добежал до Выселок? Сквозь слезы от ветра она все вглядывалась в него, и что-то внутри у нее защемило — неосознаная еще тревога передалась ей от подростка.

Замерев, Степанида стояла на большаке, уже знала, что случилось плохое, только не понимала еще, что именно. Потом она не раз будет вспоминать это свое предчувствие и удивляться, как верно оно подсказало ей приближение того, что так внезапно перевернуло всю ее жизнь. Было только ощущение, близкое к страху, с которым она и встретила Янку. Немного не добежав до нее, тот бросился с насыпи к передней корове и, стегнув ее пугой, стал яростно заворачивать назад все стадо. Коровы сначала неохотно, а потом одна за другой бегом вдоль канавы припустили к опушке, а Янка что-то зычно непонятно кричал, то и дело взмахивая в воздухе пугой и указывая рукой назад. Лицо его исказилось от страха или удивления, и Степанида нерешительно, но тоже завернула свою Бобовку. Видно, там, в сосняке, появилась опасность, от которой надо спасаться, так поняла она испуг Янки и сама готова была испугаться.

Четверть часа спустя они загнали все стадо в заросли ольшаника на краю болотца, в стороне от дороги, и она подошла к Янке. Пастушок взглянул на нее новым, незнакомым ей взглядом и, гортанно выкрикивая, тревожно пытался объяснить что-то, все указывая рукой на большак.

— Что там? Что? — спрашивала Степанида, видя на обветренном веснушчатом лице Янки только испуг, недобро горевший также в его широко раскрытых глазах. Янка, однако, объяснялся лишь жестами, все указывая на кустарник, что-то обводил в воздухе руками и изображал на пальцах. Она же не могла понять ничего.

«Боже мой, это же надо родиться таким недотепой!» — впервые с досадой подумала она и вслушалась. Но в ольшанике было тихо, шумел в ветвях ветер, да какая-то корова, забравшись в заросли, трещала поодаль хворостом. С дороги же не было слышно ни звука, и Степанида решила сходить к сосняку.

— Ты попаси Бобовку. Ну попаси корову! Я схожу. Я скоро.

Янка лишь промычал нечленораздельно, замахал руками, не понимая ее или не соглашаясь, и она, выждав минуту, стала осторожно пробираться к дороге.

На большаке по-прежнему никого не было, как и возле сосняка. Она постояла немного, подумала и, не поднимаясь на насыпь, скорым шагом пошла вдоль канавы.

Она никак не могла взять в толк, что произошло с Янкой, хотя все время вглядывалась в дальний конец большака и раза четыре останавливалась, вслушиваясь и раздумывая. В Слободских Выселках тоже все было тихо, как и на картофельном косогоре возле ее хутора, навстречу дул порывистый ветер, и ей показалось, вот-вот из-за туч выглянет солнце. Но солнце так и не выглянуло. Она уже приближалась к сосняку, плотная чаща которого нешироко расступилась по обе стороны дороги, когда до ее настороженного слуха впервые донесся странный звук. Вроде бы далекий тяжелый удар за сосняком туго отдался в холодном ветреном воздухе, и ее пронзила догадка: мост! Да, что-то происходило по ту сторону рощи, невдалеке, за поворотом дороги, где с лета дыбились над рекой остатки разрушенного бомбежкой моста.

Степанида замедлила шаг, готовая остановиться, но не остановилась, а быстренько подбежала к опушке и, чтобы не идти по дороге, свернула в хвойную чащу.

Отсюда было рукой подать до хутора, она знала тут все прогалины и стежки, за много лет исхоженные ее ногами. Почти бегом, натыкаясь на колючие ветки, она миновала невысокий, поросший хвойным молодняком пригорок и осторожно выглянула с опушки на широкий луговой простор с невидной отсюда извилиной речки. От моста уже вовсю доносились голоса, грузно отдался в земле звук сброшенного с телеги бревна, она отвела от лица разлапистую сосновую ветку и замерла. На большаке возле моста у самой воды и на развороченной взрывом насыпи копошились люди: одни раскапывали землю, другие сгружали бревна с подвод, а на обрыве у искореженных свай и балок застыли несколько мужчин в незнакомой военной форме, с оружием за плечами. Один из них, в высокой, с широким козырьком фуражке, что-то указывал рукой по сторонам, другие молча слушали, озабоченно оглядывая остатки разрушенного моста, и она вдруг с неожиданным испугом поняла — это же немцы!

2

«Что теперь будет? Чего ждать от немцев? Где наши? — тоскливо думал Петрок. — И как жить дальше?»

Этих бередящих душу вопросов было великое множество, и, не найдя ответа хотя бы на один из них, нельзя было ответить на остальные. Напрасно было ломать голову, сокрушаться, пожалуй, ничего тут не придумаешь, придется принимать то, что уготовано тебе судьбой.

Но мысли все равно лезли в голову, было не по себе: неотвязная тоска, словно жук-короед, с начала войны точила душу, и заглушить ее не было возможности.

Однако нельзя сказать, чтоб на хуторе стало совсем плохо, чтобы переменилось что-либо под новой, немецкой властью. Напротив, почти все здесь оставалось по-прежнему: как всегда, одолевали осенние заботы о хлебе, была коровка, в хлевке подавал голос небольшой поросенок, бродили по двору куры. Был кое-какой приварок: свекла, капуста, картошка в огороде, в пуньке лежало в снопах три копы жита — со Степанидой нажали под осень на покинутом колхозном поле. На столе был хлеб, и даже побольше, чем когда-либо прежде, а картошки можно было накопать и еще — вон она на Голгофе за тыном, колхозная, значит, теперь ничья. Выселковские бабы, которые посмелее, тихо копали от дороги, не дожидаясь на то разрешения. Ему бы тоже не мешало подкопать каких пару мешочков в бурт, который он не мог завершить за неделю. Степанида велела сегодня окончить, вот приведет корову, снова не миновать перебранки. Но у Петрока не лежала душа к работе, голова была занята совсем другими заботами, он томился, без конца дымил самосадом и, словно больной, сидел на низкой скамеечке у порога или бесцельно бродил по двору. Внимание его, однако, ни на чем не задерживалось, вокруг все было привычно, знакомо до мелочей и воспринималось уже как часть его самого. Впрочем, оно и неудивительно: тут прожито им двадцать лет трудной, в лишениях и заботах жизни, которая вот начала сходить на нет клином, и другой уже не будет. Может бы, и дотянул эту самую, богом ему отпущенную жизнь если не в сытости, так хотя бы в покое. Если бы не война...

В последнее время после дождей у крыльца и под тыном сильно пошла в рост мурава, от нее всегда было мокро, и Петрок, выбирая места посуше, прошел вдоль завалины и остановился на середине двора. Много лет он был

тут хозяином, хорошо или худо, но правил усадьбой, а теперь стал глядеть на нее словно чужими глазами, словно он уезжает куда-то и ему предстоит расстаться с местом, где прошла его жизнь. Впрочем, если разобраться, то жалеть было не о чем. Хата давно уже была не новая, хотя дерево когда-то попалось хорошее — спелая смолистая сосна, бревна стен немного потрескались, но ни одно не сгнило. Хата еще постоит, может, послужит людям. Крышу в коньке надо бы залатать, возле дымохода с весны стало протекать, так же как и в истопке, что через сени под одной с хатой крышей. В истопке даже льет, в сильный дождь на глиняном полу образуется лужа, и Степанида бранится: за лето не собрался дыру заделать. Но действительно не собрался — не то, так другое, а главное, не очень хотелось тащить свои кости по шаткой стремянке на крышу, думалось: перестанет дождь — подсохнет и лужа. А то потревожишь гнилую солому, польет сильнее, чего же хотеть от постройки, которой под сотню годков, ставили, кажется, еще при панщине, а истопку и того раньше. Крыша на ней, сколько помнил Петрок, всегда зеленела под шапкой мха, в маленьком, на одну шибку, оконце блестело радужное от старости стекло.

Самая, может, справная здесь постройка — это новая пунька за хлевом, с виду самая малоприметная во дворе, наспех срубленная из тонких еловых верхушек, в стенах сплошь щели, но для пуньки сойдет и со щелями — ветерок в ней продувает, а дождь не мочит. Ставили ее вдвоем с Федькой, думалось, если не самому, так, может, сгодится сыну. Отслужит в армии, женится и продолжит род. Но где теперь Федька?.. А в пуньке ржаные снопы сохнут на ветру, ждут своего часа. Время от времени он снимет сверху два-три, обобьет в сенях на подстилке и смелет на жерновах. Степанида испечет пару буханок, и неделю они с хлебом.

Тоскливым взглядом Петрок окинул серый осенний простор, картофельное поле, протянувшееся до самого леса, подошел к колодцу. Внизу, в черном провале сруба, блестело пятно воды — теперь ее набиралось много, не то что летом. Вода в колодце была приятной на вкус, всегда холодная и чистая как слеза. Такой хорошей воды не было даже в Выселках, ни в одном из восьми колодцев. Рассказывали старики, в давние времена здесь пробивалась из-под земли веселая криничка, поэтому, наверно, возле нее и обосновалась усадьба панов Яхимовских — на пригорке, у глубокого, заросшего лесом оврага. Кто бы

когда ни напился из колодца, всегда хвалил воду. Лет восемь назад вместо неуклюжего журавля Петрок поставил на сруб бревенчатый ворот с цепью и узенькой двухскатной крышей от дождя. Еще надо бы сделать крышку, чтобы не сыпалось что со двора, но он думал: обойдется и так. Что там насыплется? Разве вот ветром нанесет листвы с двух лип, которые осенью густо осыпают усадьбу. Липы сильно разрослись за последние годы, и тень от них в летние месяцы накрывает едва ли не половину огорода. Степанида все требует — обруби, но у него не поднимается рука на такую красоту. Не он их сажал, сажали другие, липы росли здесь при всей его жизни, пусть остаются и после него.

Постояв возле колодца, Петрок посмотрел на большак за полем, где недавно еще виднелась Степанида с коровой, но теперь ни коровы, ни Степаниды там не было видно. Наверно, погнала в кустарник. Время еще было не позднее, до вечера часа два попасет, а потом свобода его кончится, придется приступать к работе: таскать из колодца воду, мыть поросенку картошку, толочь ячмень в ступе. Тогда уже не побудешь наедине с мыслями — Степанида не даст побездельничать.

Из потертого обрывка газеты Петрок свернул толстую, с палец, самокрутку, тщательно завязал кожаный кисет; прикуривать, однако, надо было идти в хату, искать уголек в печи. Где-то оставалось немного спичек, но Степанида их прятала, приберегая на крайний случай. В общем, она была права: где сейчас купишь спички? В местечке торговля свернулась, товар из двух лавок еще летом растаскали свои же, пока немецкая власть чухалась, ничего не осталось ни в сельпо, ни в сельмаге. Как-то он тоже ходил за добычей — Степанида погнала, — но не слишком разжился: из опрокинутой железной бочки за лавкой нацедил бутыль керосина со ржавой гущей на дне. Не бог весть какое добро, но придет осень, зима, понадобится. Хуже вот, что нет соли, а без нее много не съешь. Но разве теперь нет только соли?

Может, самое скверное, что нет лошади.

Петрок повернулся, чтобы отойти от колодца, и вдруг увидел за тыном корову. Бобовка быстро шагала напрямик по картошке почему-то со стороны леса, а не как всегда, по дороге, к воротам, за ней в распахнутом ватнике торопливо бежала Степанида. Весь вид жены выражал тревогу, испуг: платок с головы сбился на сторону, ветер трепал на лбу седую прядь волос. Петрок с недо-

умением уставился в ее распаренное лицо — было еще рано, Бобовку обычно пасли до вечера. Но, по-видимому, что-то случилось, и он подошел к воротцам и вытащил закрывавшую их жердь-поперечину.

— Петрок, немцы!

— Что?

— Немцы, говорю! Там, на большаке, мост строят...

— Мост?

Это была новость. Петрок такого не ожидал. Может, только сейчас он понял, как хорошо было тут без моста и какая опасность надвигалась из местечка вместе с этим мостом.

— Да, дрянь дело.

— Куда как дрянь! Наехало немцев, наши местечковцы с подводами, сгружают бревна. Надо что-то делать! А то приедут, оберут. Как тогда жить?

— Ну. Только что делать? — не мог сообразить Петрок.

— Хотя бы кое-что спрятать. Коровку в лес, может, если привязать... А поросенка...

Может быть, корову можно отвести в лес, привязать на веревку, но вот поросенка в лесу не привяжешь, поросенка надо кормить. Да и куры. Оно и небольшая ценность — десяток курей, но и без них невозможно в хозяйстве. Что было делать, куда прятать все это?

— Я за поросенка боюсь, — устало сказала Степанида, поправляя на голове платок. — Ведь заберут. А он такой ладный.

— На сало они охотники: матка — шпэк, матка — яйка! — сказал Петрок, еще с той войны наслышанный о немцах.

— Я так думаю, надо припрятать. Ты иди сюда, — позвала она мужа в глубину двора.

Они обошли истопку, за углом которой была дровокольня с невысокой поленницей дров под стеной и старой колодой на земле, перелезли через жердь в огород. Тут за обвялыми лопухами и спутанными зарослями крапивы под низко нависшей крышей истопки приткнулся неказистый дощатый засторонок. Сарайчик этот издавна стоял пустой, без надобности, в него сваливали разный хозяйственный хлам и редко заглядывали, разве что за яйцами. Возле двери в соломе иногда неслись куры и теперь лежало два желтых несвежих подклада.

— А если его сюда? — сказала Степанида, шире растворяя низкую дверь засторонка. — Он же тихий, будет сидеть. Авось не найдут.

Найдут или нет, кто знает, но Петрок за совместную жизнь привык слушать жену, она была неглупая баба, а главное, всегда твердо знала, чего хотела. И, хотя забота о поросенке была теперь не самой большой у Петрока, он послушно взялся за устройство нового убежища. Прежде всего повытаскивал из засторонка в беспорядке набитый туда многолетний хлам: какие-то сухие палки, старое, обгрызенное свиньями корыто, поломанное, без спиц колесо от телеги, давнюю, может, дедовскую еще соху со ржавыми лемехами. Спустя полчаса ломаным ящиком и палками кое-как отгородил небольшой закуток, принес из пуньки соломы, не ровняя ее, чтобы меньше было заметно, напихал в отгородку. Степанида тем временем, почесывая за ушами подросшего за лето поросенка, тихонько привела его из хлевка.

— Вот сюда... Теперь сюда. Вот молодец...

«Как малого», — подумал Петрок, пропуская внутрь будки поросенка, который, тихо подавая голос, доверчиво обнюхал порожек, солому и удовлетворенно устроился в своем катухе, вовсе не подозревая о нависшей над ним опасности. В самом деле, это был упитанный спокойный поросенок, и им очень не хотелось лишиться его. Может, еще и уцелеет, если будет иметь свой, хотя бы небольшой, свинячий разум, не заверещит при посторонних, думал Петрок.

— Ну вот, — спокойнее сказала Степанида. — Все скрытнее будет. Пусть сидит там.

Они вернулись во двор, где с тревожным ожиданием в печальных глазах стояла Бобовка, возле ее ног бродили две курицы.

— А как же куры? — спросил Петрок.

Их тоже следовало прибрать куда-нибудь подальше с глаз, но куда спрячешь дурную курицу? Тихо она не может, а, снеся яйцо, радостно закудахчет на всю околицу и тем погубит себя. Но что там куры, куда больших забот требовала корова, как бы на нее первую и не обрушилась беда.

— Корову, может, в Берестовку отвести? К Маньке? Все же дальше от местечка, — неуверенно предложил Петрок. Но Степанида тут же возразила:

— Ну, не. Бобовку я в чужие руки не отдам.

— Как же тогда?

— В Бараний Лог. На веревку или спутать. Пусть ходит.

— А ночью?

— А ночью, может, не приедут. Они же днем больше шарят.

Слабая это была надежда на ночь, но иного, видать, не придумаешь, и Петрок молча согласился.

Осенний день незаметно близился к вечеру, понемногу смеркалось, хотя во дворе и поблизости в поле еще было светло. Встревоженная Степанида не торопилась доить Бобовку, та постояла, вздохнула и, не дождавшись хозяйки, начала щипать траву под тыном, добирать недоеденное в поле. Петрок то и дело с опаской поглядывал за ворота да на большак, ждал, когда покажутся немцы. И все слушал, стараясь в вечерней тиши поймать чужой подозрительный звук. Но, как и всегда, на дорожке и на большаке было пусто, вокруг в понуром осеннем просторе воцарялась вечерняя тишина. Только ветер неутомимо теребил на липах пожелтевшую листву, щедро усыпая ею огород, дорожку, траву-мураву на дворе. Петрок вытащил ведерко воды из колодца и поставил перед Бобовкой. Но та лишь обмакнула губы и не пила, почему-то поглядывая через тын в поле, будто ожидая оттуда чего-то. Надо было загонять ее в хлев, но Степанида задержалась в хате, и Петрок позвал:

— Слышь? Доить надо.

Степанида молчала, и он подумал, что действительно в Яхимовщине что-то круто менялось, если хозяйка опаздывала доить корову. Но теперь все и везде менялось, следовало ли удивляться переменам на хуторе, философски утешал себя Петрок. Не дождавшись ответа Степаниды, он ступил на плоский припорожный камень и заглянул в сени. Степанида, нагнувшись, стояла над синим сундуком, что-то искала там, бросила на хлебную дежку какую-то кофту, еще одну, встряхнула большой черный платок с красными цветами. Петрок удивился:

— Что ты там ищешь?

— А тут это... Фенькино, чтоб спрятать куда подальше.

— Фенькино? Не выдумывай ты! Кому оно нужно?

— Кому? Немцам! — огрызнулась жена, перебирая в сундуке. — А это вот? Что с ней делать?

Она развернула тонкую бумажную трубочку, взглянув на которую он сразу узнал предмет давней Степанидиной гордости — грамоту за успехи в обработке льна. Сверху на плотном листе бумаги виднелся цветной герб Белоруссии, а внизу синели печать и размашистая подпись председателя ЦИКа Червякова. Грамота до войны

висела в простенке между окнами, потом ее сняли, хотели сжечь, но Степанида не дала, прибрала в сундук.

— Ты это в печь! — встревожился Петрок. — Это тебе не игрушка.

— А, пусть лежит. Не за краденое. За старание мое.

Степанида свернула грамоту трубочкой и завернула в какую-то одежку. Из остального отобрала в сундуке что получше, большею частью Фенькино, и большим узлом завязала в цветастый платок.

— Надо спрятать. Может, в бурт с картошкой?

— Сгниет. Да и напрасно ты это. Немцы, они больше по съестной части. Тряпки они не тронут. Я знаю.

— Много ты знаешь! — усомнилась Степанида. — Как бы с твоим знанием голыми не остаться.

— Ничего, как-нибудь, — сказал Петрок. — Мы перед ними вины не имеем. А коли к ним по-хорошему, то, может, и они... Не съедят, может...

Он говорил, подбадривая себя и успокаивая жену, хотя сам не меньше ее сомневался: так ли это? Знал и чувствовал только, что надо как-то переждать лихое время, затаиться, притихнуть, а там, глядишь, изменится что к лучшему. Не вечно же длиться этой войне. Но чтобы остеречься беды, надо вести себя как можно осмотрительнее и тише. Это как перед злой кусливой собакой: надо пройти мимо, не показывая страха, делая вид, что ты вовсе ее не боишься, но и не дай бог зацепить ее. Если он фашистов не зацепит, неужели же они без причины будут к нему вязаться? Разве он какой-нибудь начальник, или партийный, или хотя бы еврей из местечка? Слава богу, он здешний, крещенный в христианскую веру, колхозник, такой, как все в округе. А что сын в Красной Армии, так разве это по его доброй воле? Это же служба. Так было при царе и еще раньше. Служили многие из деревни, правда, самому Петроку не пришлось — подвело здоровье. Вся его жизнь протекла тут, на глазах у людей, за что же к нему можно было придраться?

3

Кое-как управившись со скотом, они наскоро похлебали остывшего в печи супа и легли спать — он на кровати за шкафом, а она в запечье. Пока всюду было глухо и тихо, и эта тишина вместе с привычностью вечерних хлопот несколько уняла тревогу. Петрок невнятной скороговоркой пробубнил «Отче наш», чего этой осенью он дав-

но уже не делал, и со вздохом перекрестился, надеясь, что, может, еще и обойдется. Приехали и поедут дальше, что им тут долго делать, на этом большаке? Может, они для того только и чинят мост, чтобы куда-то проехать, зачем им какой-то хутор на отшибе от дороги? Фронт откатился черт знает куда, ходили слухи, что немцы взяли Москву, но непохоже было, чтобы на том война кончилась, она продолжается где-то, страшная эта война. Может, уже в Сибири? А может, брехня все это про Москву, поди, Москву им не взять. Мало что зашли далеко, но ведь и Наполеон зашел далеко, да подавился. Не так просто проглотить такой кусище России даже с такой пастью, как у этого Гитлера. Небось тоже подавится.

Петрок и так и этак поворочался на своем сенничке, повздыхал, услышал, что Степанида тоже ворочается в запечье, и тихо спросил:

— Баба, не спишь?

— Сплю. Почему же нет, — неохотно отозвалась Степанида и смолкла.

— А я так думаю, может, напрасно боимся? Зачем мы им? Как приехали, так и уедут.

— Если бы! А то вон из местечка не вылезают. Учитель этот да Подобед из сельпо до сих пор на веревках качаются.

— Ай, не говори такое напротив ночи. Не дай бог! — отмахнулся Петрок, уже пожалев, что начал этот разговор с женой.

Больше они не переговаривались, и Петрока мало-помалу сморил тревожный неглубокий сон, не приносящий ни отдыха, ни успокоения. Ему долго снились какие-то черви — целый клубок мелких, будто мясных червей, которые ползали, шевелились, кишели, свивались возле его ног. Петроку стало противно, даже почему-то страшно, и он проснулся. Сразу понял, что еще рано, еще не кричали петухи в Выселках, в тишине хаты звучно тикали ходики, но не хотелось вставать, смотреть время, и он продолжал лежать неподвижно, пытаясь заснуть или дождаться рассвета. Думы его были все о том же: как жить на свете, в котором так неожиданно и без остатка рухнули прежние порядки, на что опереться, чтобы удержаться в этой трудной, тревожной жизни! Думал о сыне Федоре, которого, наверно, уже нет в живых — такая война и столько погибло народу. Да и про Феню тоже. С весны от девчонки не было никаких известий, ждали на каникулы домой, но она так и пропала в Минске. Может, ушла

на восток и теперь где-либо за фронтом, все-таки училась на докторшу, там теперь такие нужны. Это было бы самое лучшее, лишь бы не попала к немцам. А если не остереглась от них в городе или по дороге домой?.. Страшно было подумать, что в такое время могло случиться с девчонкой.

Под утро он все же уснул ненадолго и проснулся, заслышав Степанидины шаги по хате. Начинался новый тревожный день, в запотевших с ночи окнах серел ненастный рассвет. Одетая в ватник Степанида отодвинула занавеску возле кровати.

— Ты бурт окончи. А то без картошки останемся. И поросенка накорми. Ну, я погнала...

Она вышла во двор, и вскоре ее шаги прошуршали возле истопки, потом послышался топот коровьих ног во дворе. Видно, погнала Бобовку в Бараний Лог, ясное дело, там, в стороне от большака, будет спокойнее.

Петрок начал неохотно вставать: свесил с кровати босые, в подштанниках ноги, посидел так, размышляя, закурить теперь или сначала надеть штаны. Курить очень хотелось с ночи. В хате было прохладно. Степанида не топила печь — спешила пораньше выбраться с Бобовкой, — теперь ему до полдня хозяйничать в одиночестве. В одиночестве оно и неплохо, главное, можно никуда не спешить, незавершенный в конце огорода картофельный бурт, наверно, еще подождет: погода стояла дождливая, непохоже, чтобы вдруг повернуло на заморозки. Натянув штаны, Петрок сунул ноги в опорки, набросил кожушок на плечи. Первым делом достал из-за дымохода пару листов самосада и принялся крошить на уголке стола. Это была самая милая его сердцу работа — готовить курево на день, острый кончик ножа легко резал подвяленный желтый лист, источавший приятный щекочущий в носу запах, и Петрок в предвкушении привычного наслаждения с короткой живостью глянул в окно.

Нет, на дороге, ведущей от хутора к большаку, было пусто, никого не видно и возле сосняка, а вот по дороге из Выселок, показалось, кто-то идет. С ножом в руке Петрок потянулся к окну, заглянул выше. Сквозь запотевшее стекло стали видны две далекие человеческие фигуры, которые скорым шагом приближались к повороту на хутор.

Он постоял, вглядываясь, пока внезапная догадка не осенила его — это же выселковские полицаи. Да, это были Гуж с Колонденком. В новой полицейской должности

Петрок их видел впервые, но слышал от людей, что те только и шныряют по Выселкам, местечку, наведываясь в окрестные деревни и хутора, — утверждают немецкую власть. Теперь они направлялись сюда — рослый плечистый Гуж и моложавый Колонденок, с лица будто подросток, оба с винтовками за плечами, с белыми повязками на рукавах. Они приближались к повороту, и у Петрока затеплилась слабенькая надежда, что, может, повернут на большак и пойдут себе дальше. Но он, конечно, ошибся. Полицаи обошли лужу на повороте и по узенькой, заросшей травой дорожке направились к его хутору.

Петрок торопливо надел в рукава кожушок, растворил дверь в сени. Потом, еще не зная, что делать, но уже предчувствуя скверное, тщательно прикрыл ее за собой и через окно у порога стал наблюдать за полицаями. По мере их приближения он, однако, становился спокойнее. Да и чего было бояться, никакой вины за собой он не чувствовал, а Гуж даже приходился ему какой-то дальней родней по деду, когда-то на базаре в местечке даже вместе выпивали в компании. Но с начала коллективизации Петрок с ним не виделся и встречаться не имел никакого желания. Однако ж придется...

Полицаи вскоре миновали ворота под липами и прошли во двор. Цепкий взгляд Гужа метнулся по дровокольне, хлеву и остановился на входе в сени. Наверное, надо было отзываться, хотя и не хотелось, и Петрок, выйдя в сени, нерешительно замер возле скамьи с ведром. Только когда чужая рука зазвякала снаружи клямкой, отворил двери.

— А-а, во где он прячется! — вроде шутливо прогудел Гуж и, нагнув голову, переступил порог. — А я гляжу, во дворе не видать. День добрый!

— Добрый день, — запавшим голосом ответил Петрок. — Так это... Жду вот.

— Кого ждешь? Гостей? Ну, встречай!

— Ага, заходите, — с фальшивым радушием спохватился Петрок и шире растворил дверь в хату. Шурша потертой кожаной курткой, Гуж с винтовкой в руках переступил порог, за ним направился туго подпоясанный ремнем по серой шинели долговязый Колонденок. Войдя следом, Петрок притворил дверь, выдвинул на середину хаты скамью. Но гости не сели. Колонденок, словно на страже, вытянулся у входа, а Гуж неторопливо протопал в тяжелых сапогах к столу и обратно, по очереди заглядывая в каждое из окон.

— Как на курорте! — пробасил он. — И лес и река. И местечко под боком. Ага?

— Близко, ага, — согласился Петрок, уныло соображая, какой черт их принес сюда в такую рань. Что им надо? Он не предлагал другой раз садиться, думал, может, что скажут и уйдут.

Но, кажется, идти они не намеревались.

Оглядев темные углы и оклеенные газетами стены хаты, Гуж продолжительным взглядом повел по образам, будто сосчитал их, и расстегнул на груди несколько пуговиц своей рыжей тесноватой кожанки.

— Тепло, однако, у тебя.

— Так это... Еще не топили.

— Значит, теплая хата. Это хорошо. Надо раздеться, не возражаешь?

Петрок, разумеется, не возражал, и Гуж, покряхтывая, стащил с тугих плеч чужую кожанку, повесил на гвоздь возле висевшей в простенке Петроковой скрипки. Ремнем с желтой военной пряжкой начал подпоясывать вылинявшую до желтизны красноармейскую гимнастерку.

— Все играешь? — кивнул он на скрипку.

— Где там! Не до музыки, — вздохнул Петрок. В самом деле, когда было играть — с некоторых пор в душе его звучала совсем другая, не скрипичная музыка. Но он не стал что-либо объяснять, только подумал с сожалением, что скрипку надо бы прибрать подальше от чужого глаза.

— Помню, как на свадьбе когда-то наяривали. В Выселках. Ты на скрипке, а Ярмаш на бубне.

— Когда то было...

— А было! — сказал Гуж и полез за стол в угол. Длинную свою винтовку положил на скамью рядом. Колонденок, не раздеваясь, с винтовкой в руках присел на пороге. — Ну, угощай, хозяин! — холодным взглядом из-под колючих бровей Гуж уставился на Петрока. — Ставь пол-литра. А как же!

— Ге, если бы оно было! — вроде бы даже обрадовался Петрок. — Закусить можно, конечно, а водки нет, так что...

— Плохо, значит, живешь, Богатька. И при Советах не богател...

— Не богател, нет...

— И при германской власти не хочешь. А мы не так. Мы вот кое-что имеем.

Вытянув под столом толстую в сапоге ногу, Гуж вынул из кармана черных галифе светлую бутылку.

— Вот, чистая московская! — и, громко пристукнув, с показной гордостью утвердил ее на столе.

Далее тянуть было невозможно, проклиная про себя все на свете, Петрок пошел к посуднику за хлебом, вспомнил, что надо бы поискать яиц в истопке, там же было еще немного огурцов в бочке. Ну и сало, конечно, в кадке. Он заметался, стараясь проворнее собрать на стол, чтобы скорее освободиться от полицаев, положил на стол начатую буханку хлеба, но не мог найти нож, который только держал в руках, где он запропастился? Не дождавшись хозяйского, Гуж вытащил из-за голенища свой — широкий, с загнутым концом кинжал и легко отвалил от буханки два толстых ломтя.

— А где же твоя активистка? — вроде между прочим спросил полицай и прищурился в ожидании ответа. — Не в колхозе же вкалывает?

— Да с коровой, знаете, пошла.

— А, значит, корову держишь? А прибедняешься.

— Да я ничего. Как все, знаете...

— А кто картошку выбирать будет?

— Какую картошку?

— Колхозную! Вон на Голгофе. Советская власть хряпнулась, но колхозы ни-ни! Гитлер приказал: колхозы сохраняются. Так что картофелеуборка. Ну и картофелесдача, конечно. Как до войны, ха-ха! — коротко засмеялся полицай.

Это Петрок уже слышал, хотя сначала не очень верилось, что немцы допустят колхозы. Думал, может, будут расправляться с колхозниками, а они вон что! Ради картошки, наверно. Так им удобнее.

— Я, знаете, отработал свое. Пусть помоложе которые, — слабо попытался отказаться Петрок. — Которые поздоровше.

— А кто это нездоровый? Ты? Или, может, баба? Та до войны вон как старалась. Вкалывала за троих, про хворобу не заикалась. На слете выступала, как же, передовая льноводка!

— Какая там льноводка! — тихо сказал Петрок, пытаясь как-то отвести многозначительный намек полицая, и поставил на стол чистый стакан. — Последнее время его мало и сеяли, льна того.

— Сколько ни сеяли! А она старалась. Люди запомнили. А теперь прихворнула...

Петроку надо было в истопку за огурцами и салом, но на пороге сидел белобрысый Колонденок и с кислым выражением прыщавого лица глядел в сторону. Этот явный подкоп полицаев под его Степаниду очень не понравился Петроку, и он подумал: не для того ли они сюда и пожаловали?

— Сказали, ну и выступала. Куда же денешься.

— Сказали, говоришь? А если теперь немецкая власть другое скажет? Как тогда вы?

— А мы что? — передернул Петрок плечами. — Как все, так и мы.

Гуж удобнее устроился за столом, взглянул в окно и широким хозяйским жестом сгреб со стола бутылку.

— Ну а сало у тебя найдется?

— Сейчас, сейчас, — повернулся к двери Петрок и сразу же наткнулся на Колонденка, который не сдвинулся с места.

— Пропустить! — ровным голосом сказал Гуж, и только тогда Колонденок подвинулся с порога, пропуская Петрока в дверь.

Чтобы было светлее, Петрок настежь растворил сени, истопку, нащупал в кадке слежавшийся в соли кусок сала. Он уже понял, что это посещение хутора полицаями не случайно, тут есть определенная цель, вскоре, наверное, все выяснится. Но только бы не сунулась сюда Степанида, как бы дать знать ей, какие тут гости, лихорадочно думал он, торопливо неся угощение в хату.

— Это другое дело! — удовлетворенно сказал Гуж. Полицай уже выпил водку, стакан был пустой, одутловатое лицо его еще кривилось от выпитого, и он сразу принялся нарезать сало. — Так, теперь твоя очередь. Все-таки хозяин. Хозяев немцы уважают. Не то что при Советской власти...

— Да нет, я знаете, не очень того...

— Это ты брось! — прикрикнул на него Гуж и, взболтнув бутылку, налил больше половины стакана. — Пей! За победу.

— Ну, разве за победу, — уныло согласился Петрок, беря из его рук стакан.

— Твой-то сын где? В Красной Армии будто? Сталина защищает?

— Ну, в армии. Солдат, так что...

— Так что за победу! Над большевиками, — уточнил Гуж.

Проклиная про себя все на свете и прежде всего это-

го мордастого гостя, Петрок почти с отвращением вытянул водку из стакана.

— Вот это дело! — одобрил полицай. — Теперь на, закуси.

Гуж держал себя за столом по-хозяйски, а Петрок незаметно как-то превратился из хозяина в гостя, не больше. Конечно, он был напуган этим внезапным приходом полиции, встревожен недобрыми намеками Гужа и боялся, как бы все это не кончилось худо. Однако, может, и хорошо, что не отказался выпить, водка постепенно притупила испуг, и растерянность его стала проходить. Он уже осваивался в роли собутыльника, раз уж его лишили роли хозяина, боком присел к столу и жевал корку хлеба. Гуж тем временем, будто жерновами, широкими челюстями перемалывая хлеб с салом, опять наполнил стакан.

— Хорошее дело можно и повторить. Правда, Богатька?

— Правда, наверное. Первая чарка, она — как синичка, а вторая — как ласточка, — словоохотливо подхватил Петрок. — А это... товарищу? — кивнул он на Колонденка у порога.

— Обойдется, — пробасил Гуж. — Он непьющий. Ты же, правда, Потап, непьющий?

— Непьющий, — тонким голосом ответил Колонденок, и все в хате притихли вслушиваясь. Со двора донеслись звуки шагов, возле хлевка громко закудахтала курица.

— А ну! — кивнул Гуж помощнику, не выпуская из рук стакана. Колонденок выскочил в сени, но скоро вернулся.

— Тетка пришла.

Петрока передернуло от досады, он не на шутку испугался за Степаниду. Зачем она притащилась? Надо бы как-то предупредить ее, чтобы не заходила в хату, но Петрок влез в эту пьянку, и теперь, видно, уже поздно.

— Я это... Скажу, чтоб закуски какой. — Он приподнялся, пытаясь выйти из-за стола. Но Гуж решительным движением руки посадил его обратно.

— Сиди! Сама даст, не слепая.

Действительно, вскоре отворилась дверь из сеней, и Степанида на мгновение замерла на пороге, наверно, не сразу узнав чужих в хате.

— Заходи, заходи! — жуя закуску, по-хозяйски пригласил Гуж. — Не стесняйся, ха-ха! Поди, не стеснительная?

— Здравствуйте, — тихо поздоровалась Степанида и переступила порог. «Ну, сейчас возьмут!» — со страхом подумал Петрок, искоса поглядывая на Гужа. Но тот, казалось, не обращая внимания на хозяйку, отворотил еще один ломоть хлеба от буханки и вместе с салом протянул Колонденку.

— Закуси, Потап.

С сонным безразличием на лице Колонденок приподнялся с порога и взял угощение.

— Пьете, а там немцы по мосту ходят, — сказала Степанида с легким укором, больше, чтобы нарушить неловкую тишину в хате.

— Правильно, ходят, — согласился Гуж. — Еще пару дней, и будут ездить. Германская деловитость!

— А зачем им тут ездить? Что у них, в Германии своих дорог недохват? — недобро прижмурилась Степанида. Гуж испытующе посмотрел на нее и, будто еж, недовольно фыркнул.

— Очень ты умная, гляжу! Недаром активисткой была. Не отреклась еще?

— А от чего это мне отрекаться? Я не злодейка какая. Пусть злодеи от своего отрекаются.

— Намекаешь? На кого намекаешь? — насторожился Гуж.

— На некоторых. Которые сегодня одни, а завтра другие!

«Да замолчи ты, баба! — мысленно внушал ей Петрок. — Чего ты заедаешься? Разве не видишь, кто перед тобой?»

Видно, Степанида и еще хотела что-то сказать, но остановилась и только метнула злым взглядом в сторону Гужа, потом таким же на Петрока и Колонденка. Однако и одного взгляда для Гужа оказалось достаточно, и он угрожающе привстал за столом.

— Ты где шляешься? Что на дорогах высматриваешь? Почему ты со двора, когда гости в дом?

— Я корову пасла. Вон же хозяин в хате.

— Что он могет, хозяин твой? Он и курицу не пощупает! А нам закусь требуется.

— Еще чего?

— Закусь, говорю, хорошая. Как для представителей немецкой власти!

— Давно вы такие представители? — вспыхнула Степанида, и Петрок почувствовал, что сейчас случится непоправимое.

— Баба, молчи! — крикнул он с напускной строгостью. — Жарь яишню! Слыхала мой приказ?

Гуж одобрительно заржал за столом, а Степанида молча повернулась и вышла в сени. Дверь за ней осталась раскрытой, и Колонденок затворил ее, оставаясь все там же, у порога. Гуж, однако, быстро согнал с лица улыбку.

— Вон какая она, твоя баба! Знаешь, что немцы с такими делают?

— Ну, слыхал. Только это...

— Вешают! На телеграфных столбах! — Гуж пристукнул увесистым кулаком по столу. Почувствовав, как холодеет внутри, Петрок весь сжался, втянул голову в плечи. — Немцы с такими не чикаются. И мы не будем! Повесим с десяток, чтоб другим неповадно было, — гремел Гуж.

— Да она так, она не со зла, — слабо попытался оправдать Петрок Степаниду.

— А с чего же тогда? С доброты, скажешь? Коммунистка она, — вдруг заключил Гуж.

— Да нет. Она языком только.

— Во-во, языкастая! Язык — что весло. Не вырвали еще? Так вырвут!

Петрок мучительно соображал, что сказать, как защитить жену, которую очень просто могли погубить эти двое. Он знал, что сама она не побережется, скорее наоборот. Особенно если разозлится, то никому не уступит, будь перед ней хоть сам господь бог. Гуж, видно, тоже почувствовал это и вдруг перевел разговор на другое:

— Ты это... вот что. Скажи мне спасибо. Если бы не я, ты бы уже давно вдовым стал.

— Если так, то спасибо, — сдержанно ответил Петрок.

Постепенно он стал понимать, что на этот раз пронесет, вроде не заберут Степаниду. Пока что. Если только она сама не полезет на полицейский рожон.

— Одним спасибом не отделаешься, — опять куда-то поворачивал Гуж. Петрок снова насторожился, покорно ожидая новой каверзы этого родственника. — За спасибо я тебя покрывать не стану. Да еще водкой поить. Это ты мне поллитровки носить должен.

— Да я бы с милой душой. Но...

— Скажешь, водки нет? А ты достань. Купи! Выменяй! Нагони самогонки. Для родственника не можешь постараться? Я же тебе не чужой, правда?

— Не чужой, ага.

«Чтоб ты сгорел, своячок такой», — угрюмо думал Пет-

рок, уже чувствуя, что новый поворот в разговоре не лучше прежнего. Где он возьмет ему водки? В лавке не купишь, у знакомых не одолжишь. Когда-то, правда, пробовал гнать самогон, но когда это было? С тех пор не сохранилось ни посуды, ни змеевика. Опять же, как было возражать Гужу? Разве его, Петрока, оправдания здесь что-нибудь значили?

— Вот так. Договорились, значит?! — сказал Гуж, уминая хлеб с салом. — Ты слышишь?

— Слышу, как же. Вот только...

Он так и не нашел что сказать полицаю; из сеней вошла Степанида, молча поставила на стол миску с капустой.

— Верно, немцы слабовато кормят? — язвительно спросила она.

Гуж злобно округлил глаза.

— А тебе что? Или очень не нравятся немцы?

— Нравятся, как чирьи на заднице.

— Степанида! — вскричал Петрок. — Молчи!

— А я и молчу.

— Молчи! Знаешь... Он же по-родственному. По-хорошему! А ты...

— Ладно, — сказала она Петроку. — Уже выпил, так готов зад лизать. Чересчур ты быстрый, гляжу.

Последние ее слова уже долетели из сеней, стукнула дверь, и в наступившей тишине Петрок виновато прокашлялся. Он ждал и боялся того, что теперь скажет Гуж. Но Гуж угрюмо молчал, пожирая закуску, и Петрок сказал тихо:

— Баба, известно. Что сделаешь?

— Что сделаешь? — злобно подхватил полицай. — Путо возьми! Которое потолще, с кострой. И путом! А то пеньковой петли дождется. Попомнишь меня.

Петрок уныло молчал, сидя возле стола. Кучку нарезанного самосада сдвинул на угол столешницы и невидяще подбирал пальцами табачные крошки, слушая, как жует его сало Гуж, угрожает и еще поучает, как жить с бабой. Вдвое моложе его, а гляди, какой стал умный при немецкой власти.

— Приезжал важный чин, — прожевав очередной кусок, спокойнее сообщил Гуж.—Называется зондерфюрер. Приказал все с поля убрать.

— Считай, все убрали, — сказал Петрок.

— Не все. То, что убрали, никуда не денется. Попадет в немецкие закрома. Картошка осталась. Вот ее и

выкопать. И сдать. Для германской армии. Понял? Как при Советах.

«Черта с два ты ее с поля возьмешь для германской армии, — подумал Петрок. — Пусть погниет там».

В бутылке еще оставалось немного, Гуж вылил остатки в стакан и молча опрокинул в рот. Крякнул, вытер пятерней жирные от сала губы.

— И еще вот что. Тут, наверное, заходят разные? Из леса которые. Бандиты! — снова уставился он на Петрока, которому опять стало не по себе от этого взгляда. — Что, не было такого? Ладно, верю. Но помни, если кто, сразу в полицию. В местечко или на Выселки. И чтоб немедленно. Понял? А то за укрывательство... знаешь? В местечке был?

— Ну, был.

— Читал приказ? Расстрел и конфискация имущества. Немцы, они не шутят. Понял?

Петрок печально вздохнул. Что сделаешь? Кругом беда. Угрозы, расстрел, конфискация. Как тут жить будешь?

Гуж не спеша выбрался из-за стола и, сыто икая, стал натягивать на плечи потертую рыжую кожанку.

— Яичница отменяется! — неожиданно объявил он. — Другим разом. Так что готовься!

4

Петрок уныло сидел на скамье, подперев голову руками, и рассеянно смотрел на стол, где толстые осенние мухи ползали по жирной от сала столешнице. Он не прибирал посуду, не уносил хлеб, Степанида тоже не подходила сюда — она отчитывала его с порога.

— Устроил угощение! Сало, огурцы! И еще командует: яичницу им! Сам яиц нанесешь? Ты хотя раз кур покормил? Если бы не я, что бы ты сделал в хозяйстве? Даже лошадь свою не вернул, когда все повозвращали...

Лошадь, конечно, была его промашкой, Петрок понимал это и переживал не меньше, чем Степанида, но где он мог взять лошадь? Мало ли он походил в Выселки, повыспрашивал у деревенских, но разве кто уступит? Каждому в хозяйстве прежде всего нужна лошадь. Зато в местечке ему повезло больше, и теперь он вспомнил главную свою удачу.

— А керосина кто расстарался? Не я хиба?

— Ах, керосина! Смех один — керосина! Люди вон

соли мешками натаскали. Спичками запаслись. Сахаром даже. А то бутыль керосина принес — смех один...

— А что! Керосин зимой, знаешь! Мало у кого будет, а у нас есть!

— Молчи ты! Керосин... И это — нашел свояка! Собутыльника. Будь он мой свояк, я бы его помелом из дома. Продажник! А он водку с ним распивает, угощает его. Вон придут немцы, так и их тоже угощать будешь?

Дверь в сени была по-летнему растворена, Степанида ходила то в сени, то к печи, то в истопку, звякала кружкой в ведре, разводила пойло. Теперь, когда они остались вдвоем, она не сдерживалась и выговаривала все, что накипело за эти недели на него, на войну и на жизнь тоже. Петрок больше молчал — что он мог сказать ей, чем возразить? Он понимал женскую правоту Степаниды, но не хотел поступиться в своей, еще более близкой ему правотой, ощущение которой иногда круто поднималось в его душе.

— Придут, угостишь! Куда денешься? — тихо сказал он, подумав, что, может, жена не расслышит. Но она расслышала, и это окончательно вывело ее из себя.

— Ну это ты угощай! Без меня только. Я пойду в лес с коровой, чтоб мои глаза не видели.

— Такая беда! Иди, обойдусь.

— Ага, обойдешься! Думаешь, ты попьянствуешь тут? Подлижешься? Да они твое выпьют и тебе же дулю покажут.

Петрок хотел было что-то сказать, но только махнул рукой — Степаниду не переспоришь. Разве можно что путное внушить женщине? То, что для тебя ясный день, ей кажется ночью. Попробуй убедить ее, что сегодня им здорово повезло с полицаями, что Гуж после выпивки смягчился и не слишком стал придираться, что он, может, и на самом деле защищает их перед немцами. Сам же сказал: родственники! Потому надо с ним ладить, как-то задобрить его, завести дружбу, что ли. Конечно, он сволочь, бандюга, немецкий холуй, но ведь он власть! Как будто ему, Петроку, большое удовольствие пить с ним водку, поддакивать да еще выслушивать его наставления. Но если хочешь жить, то будешь терпеть не такое. С волками жить — по-волчьи и выть.

Правда, эти пространные рассуждения только путано вертелись в его захмелевшей голове, вслух же он лишь тихо огрызался, зная по опыту, что злой жене лучше не перечить, его верха все равно не будет.

Степанида между тем, кажется, выговорилась и как-то разом притихла. Сначала, войдя в избу, она даже испугалась, завидев чужих, но потом постепенно осмелела, особенно когда рассердилась. А рассердилась она больше на Петрока за его выпад против нее, да еще перед этими шавками. Пусть бы кричал-командовал, когда они остались вдвоем, так теперь он молчит или что-то бубнит под нос в свое оправдание. А тогда в его окрике ей послышалось неприкрытое намерение угодить Гужу, унизив ее. Но унижать себя она никому не позволяла, она умела постоять за себя. Выселковцы до сих пор помнят, как когда-то на колхозном собрании она разоблачила перед представителем из района кладовщика, вора и пьяницу Коломийца, как того вскоре сняли с его хлебной должности и даже хотели судить. А когда она была звеньевой по льну и Кондыбишин зять распустил по деревне слух, что ее бабы крадут ночью лен, она добилась проверки, даже обыска — несколько раз их останавливали на стежке, проверяли у баб за пазухой, под одеждой, но всегда напрасно, — и подозрение в воровстве с них сняли.

Она размашисто рубила сечкой траву в корыте. В раскрытой двери у порога было светло, сечка сыпалась на утоптанный земляной пол, на ее ноги, и она горько думала, что в такое проклятое время с ее Петроком пропадешь. Главное, у него и в помине нет твердости, мужской самостоятельности, со всяким он готов согласиться, каждому поддакнуть, хотя тот наглеет, не убоясь самого господа бога. Можно подумать, что людская покорность делает кого-то добрее. Скорее наоборот. Не получив сразу отпора, эти горлохваты тут же норовят взобраться на плечи и ехать куда им захочется. С детской поры она знала выселковского Гужа, который в коллективизацию куда-то удрал от раскулачивания, а теперь вот появился снова с винтовкой в руках, чтобы пить водку да мстить людям за прошлое. Но она не забыла последнюю с ним встречу в тридцатом году и никогда ее не простит ему. Пусть себе он с винтовкой. Так же как и тому Колонденку, которого давно ненавидела вся деревня. В начале войны он по первой мобилизации ушел в армию, но месяц спустя вернулся, говорили люди, что немцы отпустили его из лагеря. Колонденок прибыл в местечко исхудавший, обовшивевший и голодный, а теперь вот отъедается на полицейских харчах.

Степанида их не боялась, потому что презирала. Более того, она их ненавидела. Впрочем, ей не было до них

никакого дела. В той жизни, которую обрушила на свет война, Степанида держалась давней, исповедуемой людьми правды, и пока у нее было сознание этой правоты, она могла смело глядеть в глаза каждому.

По двору, под тыном и по огороду неприкаянно ходили ее молодые курочки, что-то клевали. Неслись пока что шесть старых куриц, которыми особенно дорожила Степанида: давно уже с яиц был весь денежный доход с хутора — несчастная копейка, всегда так необходимая в хозяйстве. Собрав десятка три яиц, она несла их в местечко, меняла на что-нибудь нужное или продавала. Без кур было невозможно. Теперь вот подумала, что надо бы посыпать им каких-то обсевков, но она торопилась в поле и на кур у нее уже не хватало времени. В спешке приготовила и вынесла полведра мешанки поросенку, раскрыла низенькую дверь засторонка, и тот, заслышав хозяйку, поспешно завозился в соломе. Поставив ведро в угол, она подождала немного, наблюдая, как поросенок аппетитно зачмокал в ведерке. Спустя минуту он уже забрался туда с ногами и опрокинул его, но Степанида поправлять ведерко не стала, знала, что и так подберет все до крошки.

Однако надо было бежать в поле — в Бараньем Логу, привязанная к лозине, паслась Бобовка, не годилось в такое время надолго оставлять ее без присмотра. Прежде чем покинуть усадьбу, Степанида заскочила в хату схватить корку хлеба — пожевать самой и угостить корову. В хате было тихо и спокойно, Петрок по-прежнему уныло сидел за столом и даже не оглянулся на Степаниду.

— Покорми кур, — тише, чем давеча, сказала она.

Как всегда, выговорив ему свои обиды, она стала спокойнее и даже пожалела этого незадачливого Петрока, который часто злил ее, временами смешил, редко когда радовал. Но, в общем, он был человек неплохой, главное, не злой, только мало проворный и не очень удачливый в жизни. Еще он был десятью годами старше и давно хворал. Однако все его хворости шли от чрезмерного курения, она это знала точно и твердила ему о том почти ежедневно. Только впустую.

Тропкой через огород Степанида побежала в Бараний Лог, а Петрок посидел еще, тяжело вздохнул и поднялся из-за стола. С утра довелось выпить водки, но не удалось еще закурить, и теперь, оставшись один в хате, он неторопливо свернул самокрутку. Чтобы прикурить, переворошил все вчерашние угли в печи, пока нашел уголек

с искрой, раздул его и наконец с долгожданным наслаждением затянулся дымом. Только и было той радости, что закурить, другого удовольствия в жизни, наверно, уже не осталось. Хорошо, что весной посеял в огороде немного мультановки, не понадеялся на магазинную — теперь в магазине не купишь. Самосад был хотя и похуже махорки, но и не такой уж плохой, Петрок привык к нему, лучшего вроде и не хотелось.

Он чувствовал себя еще пьяноватым, растревоженным всем происшедшим и время от времени тихо, почти беззвучно ругался: пропади оно все пропадом! Где еще те немцы, неизвестно, доберутся ли они до хутора, а свои вот добрались! И кто? Родственник Гуж. От этого, наверно, поросенка не спрячешь, знает и про поросенка, и про корову, про кур, так же как и про всю его прежнюю жизнь, тут ничего не утаишь. У Гужа теперь власть: захочет, поведет в местечко, в полицию и повесит на первом столбе, как это теперь у них принято. Так что же остается — просить, чтоб не трогал, помиловал? Но вряд ли такой помилует. Петрок хотя и был пьяный, но заметил, как хищно блеснули его глаза, когда он заговорил про Степаниду. Вот и приходится задабривать мелочью — яйцами, салом, огурцами с капустой, потому что большего у него нет. Но этим разве задобришь? Вот если бы водка была...

Когда-то, еще до колхозов, Петрок предпринял не очень удачную попытку изготовления самогона, но тут началась большая строгость со льном. Все, что было из волокна, сдали по льнозаготовкам, и еще было мало, приехали уполномоченные из округа, ходили и трясли по дворам тряпье, разбрасывали солому в сараях — искали лен. У него же льна не нашли, но наткнулись на самогонные инструменты в истопке — казан и ладный, выгнутый из медного патрубка змеевик, который тут же и реквизировали. Потом он платил штраф, натерпелся позора на собраниях и надолго проклял малопочтенное дело самогонокурения. Но это было давно. Теперь же, когда все в жизни так круто переиначилось, менялось, наверно, и отношение к самогонке. Петрок всем нутром чувствовал, что водка становится едва ли не единственной ценностью в жизни, без которой по этим временам не обойтись. Пьющий ты или трезвенник, а гнать водку придется.

Он перешел через сени в истопку, кашляя, прислонился к ступе у порога. Как всегда, в истопке царил

полумрак, полный устоявшихся запахов, так перемешавшихся между собой, что их уже невозможно было различить. Больше, однако, отдавало старой одеждой, пылью, мышами. Сквозь маленькое, прорезанное в бревне оконце едва пробивался немощный свет пасмурного утра. Петрок оглядел ряд дощатых закромов под глухой, без окон стеной, пустые плетеные короба из соломы, в которые некогда в урожайные годы ссыпали зерно, если его не могли вместить закрома. В углу при пороге помещались старенькие жернова с тонкими стертыми камнями, густо припорошенные серой мучной пылью. Тут же пылилась старая прялка, белел осиновым боком новый кубелок с уже поржавевшими обручами, стояли большею частью пустые кадки; аккуратно составленные у стены, несколько лет ждали своего дела Степанидины кросна — с бёрдами, нитями, навоями. На полке над ними тускло поблескивал неровный ряд пустых пыльных бутылок, важно темнела с краю большая оплетенная бутыль с керосином. Рядом, возле окошка, висели прошлогодние связки лука, несколько березовых веников под черным от копоти потолком, пучки лекарственных трав, припасенных Степанидой с лета. Небольшая эта истопка с черными, прокопченными за столетие стенами, густо оплетенная по углам паутиной, была тесно заставлена разной хозяйственной утварью, но, где был нужный ему казан, он не мог вспомнить. Петрок обошел истопку, заглядывая во все ее темные углы, поворошил хлам за печкойкаменкой в дальнем углу и наконец вытащил оттуда черную, изъеденную ржавчиной посудину, которой лет десять не пользовались в хозяйстве.

В сенях, у дверей, где посветлее, тщательно осмотрел ее, казан был, в общем, хорош, главное, без дыр, и если его почистить от ржавчины, оттереть песочком, то и вполне сгодится. Еще была нужна какая-нибудь бадейка или кадка, впрочем, бадью можно взять ту, в которой Степанида моет картошку, а картошку можно мыть в чугуне.

Одно плохо — не было змеевика.

Петрок присел на низенькую скамеечку возле ведер с водой и, то и дело покашливая, начал мысленно прикидывать, где бы взять змеевик. Прежде за такой надобностью он бы наведался в местечко к кузнецу Лейбе, который подковывал лошадей, оттягивал топоры, насекал серпы бабам, мог также залудить миску, починить замок. Лейба был человек мастеровой, он бы выручил Петрока, с которым дружил много лет. Во всяком случае,

Петрок относился к нему уважительно и всегда обращался — Лейбочка, в свою очередь, Лейба называл его Петрочек. Кроме всего прочего, они были еще и ровесники и знали друг друга едва ли не с самого детства. Многие годы всю кузнечную работу делал для него Лейба, Петрок же никогда не скупился на плату: деньгами, яйцами, салом, иногда зерном — всем, что по тому времени находилось в хозяйстве. Если же ничего не находилось, Лейба мог сделать в долг, «на повер», подождать месяц, полгода, пока вырастет хлеб или придет время резать скотину. И никогда у них не было недоразумений, тем более обид друг на друга. Лейба наверняка бы выгнул злосчастный змеевик, но кузница его давно перешла к колхозу, а сам он перебрался к родственникам в Лепель. И теперь неизвестно было, работает ли кто-нибудь в кузнице, которая летом стояла закрытой.

За большаком в Выселках был еще один человек, Корнила, тоже весьма способный на разные мастеровые дела, наверно, и он что-нибудь придумал бы или нашел в своих немалых запасах. Но с давних пор Петрок с ним не только не дружил, но более того — они были в разладе и никогда не здоровались. А всему виной Степанида, у которой еще в девичестве что-то было с этим Корнилой, пока она не вышла за Петрока. Впрочем, и правильно сделала, что вышла. Молодой Петрок был совсем неплохим парнем, к тому же играл на скрипке, не то что этот молчаливый упырь Корнила. В самом деле, у того был нелегкий характер, угодить ему трудно, и, уж если он кого невзлюбит, так будет коситься на него до конца своих дней. Еще был он скуп и жаден, хотя жил неплохо, в колхозе не состоял — работал в пожарном обществе. Руки у него умелые — мог настелить пол, связать оконную раму и даже сложить печь в хате, — однако к Корниле лучше ему не соваться. При случае надо спросить еще кого-либо из Выселок.

Всласть накурившись, Петрок откашлялся. Пожалуй, пора было браться за дело. Ага, прежде всего посыпать курам. Найдя в истопке старый деревянный гарнец, он зачерпнул в крайнем сусеке ячменных отходов, вынес из сеней. Куры, по-видимому, уже караулили его и, как только увидели с гарнцем, стремглав бросились из-под ограды, с огорода, из-под повети, и он широко сыпанул по двору, чтобы хватило на всех. Пока те усердно клевали на утоптанный земле двора, подбирали в траве, он думал о поворотах судьбы, которая так круто обращается

с человеком. Разве когда-нибудь хозяин Якимовщины опускался до того, чтобы кормить по утрам кур! Или у него не было другого, поважнее дела в хозяйстве? Одного скота здесь водилось более десятка голов: лошадь, молодая кобылка, две коровы, если они еще не телились, шесть или восемь овец. Ну и свиней, конечно, не менее двух — укормный кабан и меньшой, на будущий год, подсвинок. Правда, и рабочих рук тоже было побольше. Но вот почти все подошло к нулю, только и забот, что корова, малый кабанчик да этих девять куриц. От лошади и всех связанных с ней забот некогда освободил колхоз, овцы постепенно вывелись сами, кому было за ними ухаживать? Дети, едва оперившись, рано выпорхнули из родительского гнезда, их не вернуть. А тут эта война, наверно, она добьет окончательно.

Все покашливая, он постоял на отшлифованных ногами камнях возле порога, пока не решил взяться наконец за картофельный бурт. Картошка хорошо уродила нынче, в огороде все уже выкопали, засыпали погреб. Но в погреб весной иногда подходила вода, потому остаток картошки надобно было закрыть в бурт на пригорке в конце огорода — так обычно делали тут в урожайные на картофель годы. Картошку следовало беречь, она испокон веков была главным урожаем поля — хлеб родил не всегда и к весне часто кончался, а картошечки, слава богу, хватало до новой. Если ее вовремя убрать, сберечь от мороза, воды, так будет вдоволь себе и скоту — картошечка не один год спасала людей от голода...

5

Несколько дней подряд осеннее небо грузно тяжелело от набрякших дождем облаков, дул ветер, заходя то с одной, то с другой стороны, а потом все утихло, ночью потеплело, и под утро зарядил дождь. Проснувшись на рассвете, Степанида услышала его монотонный невнятный шум за стеной и подумала, что сегодня придется повременить с коровой. Петрок лежал в углу на кровати и даже не кашлял, наверное, спал, а она поднялась, вышла в сени. За дверью возле порога, слышно было, тихонько журчало с крыши, а под дырой в сенях уже расплылась на земляном полу темная лужа. В который раз Степанида зло помянула своего нерадивого мужа и подвинула бадейку под то место в крыше, откуда мерно капало вниз. Привыкнув рано вставать, она поняла, что сна уже не бу-

дет, тем более что за дерюжкой уже заворочался, закашлял Петрок, искал свой кисет — дня он не мог начать без закурки. Сонливо зевнув, Степанида взяла под окном кленовый, купленный весной подойник и пошла в хлев к корове.

Тем временем почти рассвело. Дождь густо сеялся с низкого туманного неба, но был по-осеннему мелкий, без ветра и еще не наделал на дворе много грязи. Только возле хлева в низком месте поблескивала навозная лужа, но там она не просыхала с лета.

На мокрой и поникшей, с поредевшей листвой липе начала каркать ворона. Хотя бы не на беду какую, встревоженно подумала Степанида. Ворона прилетала сюда уже четвертое или пятое утро, устроившись на верхушке липы и свесив над усадьбой черный широкий клюв, она пронзительно каркала, будто звала кого-то из леса. Раза два Степанида запускала в нее поленом с дровокольни, но ворону это мало пугало. Теперь, накричавшись, она умолкла сама, недолго еще посидела молча и вот, взмахнув крыльями, полетела к оврагу. На липе тихо покачивалась потревоженная ею ветка с порыжевшим листком на конце.

Не торопясь, Степанида тщательно выдоила Бобовку, с удовлетворением заметив, что та вчера хорошо напаслась в Бараньем Логу — подойник полон был до краев. Ничего не скажешь, коровка удалась на зависть, еще молодая, неприведередливая к кормам и молочная. Степанида дорожила ею как своим самым бесценным сокровищем. По нынешнему времени такая корова — счастье.

Она вышла из хлева, думая, что надо бы бросить ей охапку травы, лишний час побаловать корову в хлеву, а самой, пока дождь, может, сварить суп или картошку — уже несколько дней она не топила печи, не готовила ничего горячего. Однако не успела она перейти двор, как до ее слуха донесся приглушенный непогодой мощный нутряной гул. Не понимая еще, что бы это могло означать, она выглянула в ворота и остолбенела — тяжело покачиваясь на колдобинах, в дождливой мгле от большака к хутору двигалось что-то огромное, серое и тупололобое, что не сразу и с трудом напомнило Степаниде машину. За ней катилось что-то поменьше, однако с высокой, как у самовара, трубой, и ветер уже нес сюда запах дыма. На мокро блестевших боках машины белели какие-то номера и буквы, а огромные колеса не вмещались в узких колеях дороги и одной стороной мяли траву

на обочине. Медленно, но с какой-то неотвратимостью машина приближалась к усадьбе, пока с тяжелым горячим дыханием не остановилась на въезде в ворота. Здесь дыхание ее стало явственнее, во дворе сильно завоняло бензином. С высокой ступеньки возле кабины соскочил тщедушный человек в шляпе и длиннополом мокром пальто, которого Степанида тотчас узнала — это был местечковый учитель Свентковский.

— Добрый день, пани Богатька, — с непривычной любезностью поздоровался он, неся загадочно-слащавую улыбочку на худом остроносом лице. — Гуж распорядился принять на квартирование немецкую команду. Ну, и чтобы все было ладно.

Ах, вот оно что!..

Степанида, однако, молчала в каком-то оцепенении, непонимающе глядя на машину, брезентовый верх которой свернул в сторону низко нависшие ветви лип. В это же время металлически звякнули дверцы кабины, во двор одновременно выскочили двое мужчин. Еще не рассмотрев ни их одежды, ни лиц, по чему-то неуловимо настороженному, что исходило от их фигур, Степанида поняла, что это немцы. Только когда те направились к ней по двору, она отметила мысленно, что ходят они как люди, на двух ногах, и вроде без оружия даже. Тот, что соскочил с этой стороны машины, был в тесноватом, со множеством пуговиц мундирчике, на его голове с высоко подстриженным затылком сидела какая-то растопырка-пилотка, из коротких рукавов свисали тонкие руки. На молодом бледном лице его за круглыми стеклами очков в черной оправе светился совершенно незлой, мальчишечий интерес, почти любопытство ко всему, что он здесь увидел. Правда, другой, что с проворной поспешностью выкатился из-за машины, был совершенно непохож на первого — кругленький, немолодой уже, с чересчур быстрым озабоченным взглядом, которым он мгновенно окинул двор, хлев, хату, вдруг что-то вскрикнул злобно и требовательно. Она не поняла и сама не своя от волнения молча стояла с подойником посередине двора.

— О млеко!

Немцы по одному спрыгивали из брезентового кузова на двор, и Степанида постепенно стала понимать, что заехали они сюда не так себе, а будут квартировать, как сказал учитель, и уже спрашивают про молоко — пусть они подавятся им, ей не жалко было того молока. Но они

не кинулись сразу на молоко, учитель заговорил что-то, обращаясь к кругленькому, и она, никогда не слыхавшая такой речи, с удивленным интересом вслушивалась, хотя и не понимала ни слова. Наверно, Свентковский хорошо говорил по-немецки, а немец по-нашему не знал ничего и по-своему что-то сказал учителю. Свентковский повернулся к Степаниде.

— Пан германский фельдфебель спрашивает, свежее ли это молоко.

— Свежее, почему нет, — сказала она и поставила на мураву подойник, у краев которого еще не улеглась, покачивалась молочная пена.

Немцы и Свентковский обменялись между собой несколькими словами, и молодой побежал к машине, откуда скоро вернулся с белой кружкой в руке, Свентковский осторожно зачерпнул ею в подойнике и услужливо подал фельдфебелю. Тот взял и, пригнувшись, чтобы не облить заметно выдавшийся вперед животик, выпил молоко и опрокинул в воздухе кружку.

— Гут, гут!

Сразу как-то оживившись, учитель зачерпнул еще и поднес молодому, в очках. Вытянув руки из коротковатых рукавов мундирчика, тот тоже выпил. Затем кружку принял еще один, простоватого вида немец с рябоватым, как от оспы, лицом и тоже все выпил. Но четвертый, высокий и тощий, как жердь, одетый в какой-то балахонистый комбинезон, только попробовал из кружки и, недовольно наморщив худое лицо, плеснул молоком на траву. «Не понравилось? Чтоб ты пропал!» — подумала Степанида. Со смешанным чувством страха и любопытства она покорно стояла возле подойника, оглядывая нежданных квартирантов, сердце ее сильно стучало в груди, хотя какой-либо угрозы на их лицах вроде не было видно. Может, попьют и поедут, невольно подумала она, машинально повторяя: доброе молочко, доброе... Немцы, однако, не обращали на ее слова никакого внимания, как и на нее тоже. Пока остальные пили молоко, фельдфебель мелкими шажками проворно обежал двор, заглянул на дровокольню, обошел истопку, она подумала, зайдет в хату, но нет, повернул к хлеву и вдруг остановился у колодца. Свентковский в начищенных хромовых сапогах подался за ним по росистой траве, и она слышала, как они там о чем-то переговаривались на недоступном для нее языке.

Остальные, напившись молока, также по одному пе-

решли к колодцу, что-то их там заинтересовало. Она же продолжала стоять возле подойника, не зная, что лучше — уйти с глаз долой или еще подождать? Но все-таки надо, наверно, чтобы здесь был хозяин, который куда-то запропастился и не показывается. Или он не видит, кто к ним пожаловал, с досадой подумала Степанида.

— Богатька! — снова окликнул ее Свентковский. — Германский фельдфебель желает отведать вашей воды. Будьте добры, принесите ведро.

— Ведро? Сейчас...

«Добрались-таки наконец», — начиная раздражаться, подумала она, вбегая в сени. Там она сдавленно-тревожным голосом крикнула «Петрок!» и, выплеснув остатки воды в бадейку, вынесла им во двор новое цинковое ведро, которое у нее перехватил тот, помоложе, в очках. Пристегнув ведро к цепи, он ловко раскрутил ворот и, как только ведро в глубине коснулось воды, начал легко поднимать его, вращая железную ручку; остальные неподвижно стояли возле колодца — ждали. На нее они снова перестали обращать внимание, и она подумала, что все-таки надо вытолкать сюда Петрока. Но именно в этот момент он и сам появился из сеней, в опорках на босу ногу прошел мимо нее к колодцу и с какой-то боязливой почтительностью снял с головы суконную, с обвислым козырьком кепку.

— Ага, хорошая водичка, знаете... — дрогнувшим от волнения голосом заговорил он, обращаясь к немцам.

Тем временем немцы уже вытащили ведро воды и переливали ее в какой-то плоский зеленый сосуд, сдержанно переговариваясь между собой. Никто из них, кроме разве Свентковского, даже не взглянул на хозяина хутора, и, только когда учитель что-то сказал по-немецки, рябой немец смерил Петрока неопределенным медленным взглядом. Тот поклонился еще раз, и тогда молодой, в очках, стоявший к нему ближе других, вынул из кармана пачку сигарет, сначала взял одну сигарету сам, а другую протянул Петроку. Петрок, все комкая кепку, неловко, заскорузлыми пальцами взял сигарету и стоял, будто не зная, что с нею делать. Немец прикурил от зажигалки, Петроку, однако, прикурить не дал.

Они что-то там обговаривали, кажется, обсуждали колодец, и Степанида взяла со двора подойник и пошла в сени. Закрывать за собой двери она побоялась и из сумрака сеней стала наблюдать за немцами, слушая их разговор и отмечая про себя, как Петрок с подобострастием

что-то там объясняет и показывает. Кепку при этом он не надевал, и мелкий дождь сеялся на его лысоватую, с жалкими остатками седых волос голову. И они слушали его, не перебивая. Эта его легкость в обращении с немцами не понравилась Степаниде, и она подумала: не поведет ли он их еще в хату? Пускать их в хату ей не хотелось до крайности, хата казалась неприкосновенным ее прибежищем, которое следовало оберегать от посторонних, тем более чужаков. Хотя бы они скорее убрались, думала она. Но, судя по всему, уезжать никто не собирался — они отцепили от огромной машины свою походную кухню, и все, кроме фельдфебеля, с раскрасневшимися лицами стали закатывать ее во двор. Петрок тоже помогал — натужась, толкал огромное резиновое колесо, потом указывал, где лучше устроить кухню. Наконец они нашли удобное место рядом с колодцем, и Степанида совсем приуныла — то, чего она больше всего опасалась, случилось: Яхимовщина от немцев не убереглась. Что теперь будет?

Но все шло обычным чередом, независимо от чьей-либо воли, по каким-то своим, иногда страшным, иногда странным законам, которые диктовала война. Установив во дворе кухню, фельдфебель с учителем направились к сенцам, и этот дурак Петрок уже забежал вперед, указывая дорогу в хату. На припорожных камнях фельдфебель остановился, прежде чем перешагнуть порог, недовольно-брезгливым взглядом повел по темноватому подстрешию сеней. Свентковский многословно объяснял что-то, Степанида отодвинула дальше от порога бадейку, и немец вошел в сени. Чтобы не мешать им, она отошла к истопке, все мучаясь вопросом: что им тут надо? Но вот Петрок широко растворил дверь в хату, и все они двинулись туда с каким-то даже любопытством на оживившихся лицах. Из-за их спин она будто впервые, чужими глазами увидела свою давно уже не новую хату с перекошенным простенком и потемневшими балками потолка, стенами, оклеенными старыми, пожелтевшими газетами. Пол она давно уже не мыла и теперь с досадой взирала на грязноватые, с присохшей картофельной кожурой доски у порога, закопченные чугуны возле печи. По всей избе топали чужие сапоги, грубые кожаные ботинки, оставляя мокрые и грязные следы на сухих досках пола, и она подумала: какого черта они тут высматривают? Она все стояла в сенях в напряженном ожидании, когда наконец они выметутся. Но они не спеша разговаривали там, поглядывали в окна, осматривали иконы, а фельдфебель,

отодвинув дерюжку, заглянул в запечье, и губы его брезгливо передернулись.

Она так и не дождалась, когда они выйдут, ее внимание отвлек двор, где возле колодца затхло дымила сырыми дровами кухня и худой, в комбинезоне немец, пригнувшись, ковырялся в топке. Потом куда-то решительно пошагал через двор, и она испугалась: не услышал ли он поросенка? Но нет, вроде не за поросенком, тот сидел себе тихо, а немец вскоре опять появился во дворе, перекосившись в пояснице, нес к кухне целую охапку дров. У Степаниды, увидевшей его, похолодело в душе — это были березовые полешки, которые она берегла на зиму для растопки, их была совсем небольшая кучка под самой стрехой возе хлевка. Но вот нашел же! Первым ее побуждением было выйти и сказать: нехорошо ты делаешь, человек, ведь не твое это, поди. Но Степанида словно бы проглотила тугой комок, застрявший в горле, и сказала себе: пусть, посмотрим, что еще будет.

Она уже справилась с первым испугом и почувствовала себя тут лишней, ей захотелось куда-то уйти, чтобы не видеть ничего и не расстраиваться: пусть хозяйничают как им угодно. Разве в чем-либо она сможет им помешать? Но она поняла, что оставлять усадьбу тоже не годится, все-таки тут корова, поросенок, ее девять куриц без петуха. Как на беду, корову отвести в поле она не успела, слава богу еще, что перепрятала поросенка, которого теперь не так легко найти за хатой в крапиве. И еще хорошо, что она не выпустила из хлева кур — те хотя и голодают, но, может, пока пересидят в безопасности. Корову же прятать не имело смысла, все равно они про нее уже знают, корову надо было отвести на выпас. Только Степанида начала искать в сенях веревку, как из хаты выскочил Петрок, его сморщенное, заросшее щетиной лицо светилось каким-то оживлением, почти радостью.

— Баба, яиц! Яиц давай, быстро!!

«Яиц!» — повторила она про себя. Ну конечно, без яиц у них не обойдется. С яиц они начинают, чем только кончат? Немного, однако, помедлив, она раскрыла дверь в истопку, взяла из-под решета в жерновах старенькую свою корзину, в которой тускло белело два десятка яиц. Она хотела отдать их Петроку в руки, пусть бы угощал сам, но Петрок уже вернулся в хату, и ей пришлось идти следом. Не зная, кому отдать яйца, она поставила корзину на конец скамьи. Сразу же к корзине потянулись руки, и Степанида, отступив на шаг, не в силах была ото-

рвать глаз от этих чужих, жадных рук. Первой в корзину проворно сунулась белая деликатная ручка, наверно, того фельдфебеля, нащупала верхнее круглое яичко от рябенькой курочки, самой ее несушки. Но чем-то оно не удовлетворило немца, и он положил яичко обратно, взял другое, такое же, только поменьше и, может, почище или желтее первого. Круглое же сразу подобрали толстые, как коровьи соски, пальцы с коричневыми полосками возле суставов; затем взяла другое с краю молодая, испачканная черным, шоферская рука, которая вытянулась из знакомого коротковатого рукава мундирчика. Далее Степанида не могла уже смотреть, она опустила глаза на запачканные глиной хромовые сапоги Свентковского. Послышался треск скорлупы, переговариваясь по-своему, немцы стали бить яйца и громко высасывать их без хлеба и соли. Ощутив легкую брезгливость, она повернулась, чтобы выйти в сени, и едва не столкнулась с фельдфебелем, который в стороне от других маленьким ножичком аккуратно продалбливал желтое яичко.

К своему удивлению, она скоро успокоилась, может, потому, что немцы оказались совсем не страшными, не ругались и не угрожали, вели себя ровно и уверенно, как хозяева этой усадьбы. Что ж, оно и понятно: они победили, завоевали эту землю, теперь их право делать на ней что захотят. По всему было видно, что они хорошо знали это свое право и сполна пользовались им. Но именно эта их уверенность в своей правоте вместе с сознанием безнаказанности за то, что не принято делать между людьми, сразу настраивала ее против пришельцев.

Когда они высыпали из низкой двери, соскакивая с каменных ступенек у порога, она стояла возле хлева на дворе и ждала. Она намеренно караулила на пути к поленнице, чтобы встретить того, в комбинезоне, что теперь возился на кухне — накладывал березовые полешки в топку. Сказать ему она не могла ничего, она только хотела взглянуть в его бесстыжие глаза. Но за дровами он больше не шел, он хорошо расшуровал свою кухню-машину, и та нещадно дымила, время от времени стреляя из трубы искрами в небо. Степанида подумала с опаской: хотя бы не случилось пожара. Все годы она боялась пожара от печи или от молнии, не раз ей даже снилось ночью, как горит ее Яхимовщина, а она, будто на ватных ногах, беспомощно бегает вокруг и ничего сделать не может.

Все вместе немцы вышли во двор, фельдфебель немно-

го отделился от остальных и что-то говорил Свентковскому, который с подчеркнутым вниманием выслушивал его. Потом фельдфебель что-то приказал повару, и тот, бросив топку, покорно вытянулся, то и дело приговаривая одно только слово «яволь». О чем они толковали, Степанида не знала и подумала в сердцах: чтоб вы передохли все вместе!

Тем временем остальные немцы сгрузили на завалинку несколько желтых деревянных ящиков, три тяжелых мешка с черными клеймами по бокам, там же, на завалинке, поставили у стенки две короткие винтовки с желтыми ремнями. Очевидно, все это оставалось тут с кухней, а машина собиралась выезжать, молодой очкарик с высоко подстриженным затылком уже садился в машину, и та вскоре зафыркала, затряслась, сильно завоняв бензиновой гарью. Фельдфебель вскочил с другой стороны в кабину, машина грузно откатилась назад и, разворотив яму в мягкой земле, с адским ревом вывернула на дорогу.

Во дворе осталась кухня, при ней двое немцев — тощий, в комбинезоне, и пожилой, с рябоватым лицом солдат. Они принялись таскать из колодца воду, а Петрок с виноватой неловкостью подступил к Степаниде.

— Вой, вой! — тихо пожаловался он. — Долго квартировать будут.

Она молчала, хотя от тех его слов ей и совсем стало плохо. Но она уже догадывалась, что это надолго. Петрок оглянулся, будто их мог кто подслушать.

— Сказали пол вымыть. Лишнее повытаскивать.

— Куда повытаскивать? — удивилась Степанида.

— Сказали, в истопку. Нам тоже вытряхнуться.

— Что это, лето — в истопку? Придумали...

— Сказали. Чтоб к вечеру все. Их главный приедет.

— Пусть убирают! Пусть все уберут. Пусть подавятся, — сердито сказала она, вспомнив, как Петрок тянулся им угодить. И вот все напрасно, их выгоняют.

Было уже не рано, низкое небо висело над неприютной землей, но дождь перестал, ветер тоже стал тише. Першило в горле от дыма, которым обволокло хату, истопку, сизая пелена его расползалась по картофельному полю над огородом. Степанида решительно раскрыла ворота хлева, вывела Бобовку. Пусть делают что хотят, ей надо пасти корову, сколько же та может стоять в хлеву? Чтобы лишний раз не попадаться на глаза немцам, она

повела корову через дровокольню и огород — напрямик в поле. Бобовка раза два тревожно оглянулась, почуяв чужих во дворе, Степанида с ожесточением дернула ее за веревку — скорее прочь со двора.

Она вела корову краем картофельного поля, вдоль заросшего мелколесьем оврага, крутым обрывом подступавшего к хуторскому огороду. Овраг был глубокий, с извилистым говорливым ручьем на дне. На той его стороне высился десяток затесавшихся в гае елок, резко выделявшихся на фоне уже поредевшей, жухлой листвы орешника, берез и осин, которые густо разрослись на обоих склонах. Овраг также был как бы частью этого хутора, там можно было укрыться от беды, день-другой отсидеться от войны, от недоброго чужого глаза. Если бы не скотина. Со скотиной долго не высидишь, ее нужно кормить. Жаль также и усадьбу с ее каким ни есть крестьянским имуществом, которое с собой не возьмешь, а без него какая же это жизнь в лесу? Тем более осенью, когда уже льет за шиворот и подбирается стужа. Вот и приходится держаться жилья. Но вот это жилье приглянулось и немцам, как будто ничего лучшего поблизости для них не нашлось! По-видимому, всему виной мост, который им так понадобился, а заодно потребовался и этот хутор.

Проголодавшись за утро, корова жадно хватала из-под ног мокрую траву, рвала из рук веревку, и Степанида подумала: пусть! Конечно, что толку злиться на этого дурака Петрока, что он вообще теперь может? Как ни верти, а, уж коль приказали, будешь исполнять, готовить для непрошеных гостей квартиру. Но пол Петрок не помоет, значит, достанется обоим. Надо бы ей возвращаться на хутор.

На небольшой травянистой прогалине у самого оврага она привязала конец веревки к орешине и, немного понаблюдав за Бобовкой, пошла краем поля назад.

На душе было тревожно и горестно, чувствовала она: возможности человеческой жизни сходили на нет. Война ухватистой лапой подбиралась все ближе, а теперь и вовсе забралась в хату, под иконы, в застолье. И что тут оставалось делать, разве что переживать да плакать. Но слезами и кровью и без того переполнилась нынче земля. Тогда что ж остается — терпеть все молча и ждать лучших времен? Вряд ли дождешься. Чувствовала она своим сердцем: за малой бедой последует беда большая, вот тогда заревешь и никто тебе не поможет...

6

Два немца возились около кухни, а Петрок присел у окна в хате и с горя свернул большую, с бобовый стручок, цигарку. Помятую в пальцах желтоватую немецкую сигаретку сунул за угол иконы — выкурит когда-нибудь после. Надо было браться за дело: прибрать в хате, повытаскивать в истопку все лишнее, а главное, вымыть пол. Он злился на Степаниду за ее несговорчивость. Бросила все, побежала. Черт бы побрал эту корову, постояла бы полдня и в хлеву. До коровы ли тут, когда во двор въехали эти... Однако же задала нечистая сила забот, наслала немцев — мало им было городов, местечек, малых и больших деревень, так вот добрались до его богом забытого хутора.

Сдавленно покашливая (с ночи болело в груди), Петрок поглядывал в окно на солдат-поваров, которые хозяйничали теперь у колодца. Один, худой и белобрысый, в обвисшем на заду комбинезоне, засыпал что-то белое в котел кухни, из которого валил влажный пар, а пожилой, рябoлицый раскладывал какие-то продукты на крышке деревянного ящика, аккуратно застланного белой клеенкой. «Гляди-ка, культурные!» — с завистью подумал Петрок и печально вздохнул: из-за их этой культуры теперь берись за ведро и тряпку, разводи грязь в хате. Мало им было того, что здесь тепло и сухо, так надо еще, чтобы было и чисто. Культурные...

Цигарка его тем временем расклеилась, он не знал, как прикурить, хотел и не решался попросить у немцев огня. В конце концов желание курить превозмогло нерешительность. Петрок вышел во двор и остановился в пяти шагах от кухни, держа на виду неприкуренную цигарку. Он думал, что, может, они заметят и предложат огня, просить ему было все же неловко и даже немного боязно. Но они будто не замечали его — долговязый все мешал свое варево в котле кухни, которая парила и дымила на всю усадьбу, а приземистый, который, видно, был у него помощником, большущим ножом резал на доске сало. Петрок тихонько прокашлялся и сделал два шага вперед.

— Это... Паночки, прикурить кабы...

Кажется, его поняли, приземистый в белом засаленном фартуке повернул к нему широкое рябое лицо и добродушно проворчал «я-я». Петрок не понял, но по тому, что немец больше ничего не сказал, догадался, что они

разрешают. Подойдя к кухне, он кусочком березовой коры выгреб из топки уголек, не очень проворно, обжигая пальцы, прикурил цигарку и после первых же затяжек почувствовал, как его самосад перебивает на дворе все прочие, чужие тут запахи.

— Вас, вас? — с оживленным интересом обернулся помощник повара и отложил нож на клеенку. Петрок понял и с готовностью вынул из кармана кисет.

— Ага, можно. Свой это, домашний, если пан хочет...

От сложенной газетки немец оторвал небольшой клочок бумаги, и Петрок отмерил хорошую щепоть самосада. Потом немец довольно умело свернул цигарку, старательно послюнявил и прикурил от своей зажигалки — маленькой такой штучки, блеснувшей крошечным язычком пламени. Петрок наблюдал за ним почти с детским трепетом, очень хотелось, чтобы его самосад понравился немцу. Но вот немец основательно затянулся, выпустил дым, и Петрок подумал: закашляет. Однако тот не закашлялся, только сморгнул светлыми, словно выцветшими от солнца ресницами.

— Ист гут!

— Гут? — вспомнил Петрок знакомое еще по той войне слово и обрадовался. — Я ж кажу... Хороший, ага. Свой, так что...

— Гут, — повторил немец и что-то сказал, обращаясь к повару, орудовавшему огромным веслом в котле. Но тот только сердито гаркнул раз, другой, и ряболицый, положив на край стола цигарку, взялся за нож. Петрок подумал, что, наверно, довольно. Все-таки они при деле, докучать им не годится, и он задом и как-то боком отошел к крыльцу.

Надо было браться за уборку, но он все медлил, не зная, с чего лучше начать. Никогда он не прибирал в избе, этим занималась Степанида, последние годы ей помогала Феня, у него же были другие, мужские заботы. Но вот война, кажется, уравняла, бабское дело не обошло и его. Что ж, прежде всего надо было освободить пол, чтобы ничто не мешало мытью, и он начал вытаскивать в сени все горшки, чугуны, вынес вилы, кочергу, помело; отодвинул скамью из угла, где оказалась тьма различного домашнего хлама: рваные опорки, ржавый пустой вазон, крышка от кадки, какие-то тряпки, щепки, верно, для растопки печи. Все это, лежавшее здесь долгие годы, имевшее свое определенное место и никому не мешавшее, почему оно теперь оказалось помехой этим

приблудкам? Петрок вынес в истопку и разное тряпье с шестка возле печи, убрал с гвоздя кожух, осторожно взял в руки скрипку. Скрипку не годилось выносить в истопку, ее следовало беречь от сырости. И Петрок осторожно засунул ее за иконы. Маленькая его скрипочка вся скрылась там, и он подумал: пусть лежит, дожидается лучших времен.

В избе стало свободно, почти пусто. Петрок, повздыхав, принес из сеней ведерко с водой, нашел под печью старую тряпку. Все еще злясь на Степаниду, он полил водой самое затоптанное место возле печи — пусть отмокает. Вода сразу широко разлилась по доскам, постепенно собираясь в черную мутную лужу у порога. Петрок стоял посреди хаты. Надо было выйти в сени за веником, но он не мог перешагнуть лужу, а разуваться или мочить в разбитых опорках ноги ему не хотелось. Оставалось дожидаться, когда вода куда-либо сойдет от порога.

— Боже, что это? Что ты наделал? — послышался из сеней Степанидин голос.

— Пол мою...

— Тряпкой тебе по глазам! Кто так пол моет? С ума ты сошел?

Стоя за порогом, Степанида рассерженно шлепала себя по бокам и бранилась — конечно, он все сделал не так, по-своему, за что всегда доставалось ему от жены. Но, раз пришла, пусть сама моет, он свое сделал, все убрал, осталось пустяки — помыть.

— А что ж ты ушла с коровой?

— У тебя не спросилась...

И хотя они бранились несколько сдержаннее, чем обычно, из-за присутствия чужих во дворе, их все-таки услышали. Степанида все еще всплескивала руками в сенях, также не решаясь переступить порог, когда сзади из-за спины появилось любопытное рябоватое лицо немца. Тот ухмыльнулся, что-то даже сказал, и она осеклась. Немец, однако, вернулся к кухне, а Степанида бросила через порог тряпку.

— Собирай воду! Всю собирай, до капли!

Пришлось повиноваться, и Петрок, кряхтя от натуги, нагнулся к луже. Он разгребал тряпкой грязную воду и выкручивал тряпку над старым закопченным чугуном. Но воды было все еще много, лужа почти не уменьшалась. Степанида тем временем снова исчезла куда-то, и он, чтобы скорее разделаться с этой докучливой работой,

начал разгонять воду по полу — в углы, под печь, лишь бы избавиться от лужи. Это ему удавалось с большим успехом, чем собирать воду тряпкой, Петрок уже приближался к старому стоптанному порогу, но вот в проеме двери снова появилась тень немца, на этот раз он был с ведром, полным воды, легонько дымившей паром. Петрок сразу все понял и с простодушной благодарностью взглянул в простоватое, немолодое, сдержанно улыбавшееся лицо немца.

— Спасибо, паночку. Вот спасибо вам...

Немец поставил через порог ведро и выпрямился.

— Битте, битте.

— Вот спасибо, — повторил Петрок, расчувствовавшись, и подумал, что, верно, за эту доброту надо чем-то отплатить. На добро следовало отвечать добром, это он понимал. — Минуточку, пане, — сказал он и прошмыгнул через сени в истопку, где еще оставалось немного яиц. Он только не знал, где они были, те яйца, и, пока заглядывал в корзины и кадки, во дворе раздался крикливый голос старшего повара:

— Карл, ком! Карл!

Петрок понял, что не успеет — Степанида прятать умела. И действительно, немец выбежал к кухне, а раздосадованный Петрок вышел в сени, где столкнулся с женой.

— Вот, Карла горячей принес.

— Горячей...

Казалось, ничуть не обрадовавшись, Степанида молча переступила порог и подняла с пола тряпку. Но не успела она окунуть ее в теплую воду, как в сенях появился старший долговязый повар. С тихим злобным шепотом он схватил через порог ведро и размашисто опрокинул его над полом. Теплый пар густо шибанул к потолку, закрыв окаменевшее лицо Степаниды, ведро коротко звякнуло, и немец стремительно выскочил из сеней.

— Чтоб ты сдох, злыдень! — тихо сказала Степанида, отряхивая мокрую юбку. Петрок оглянулся — хотя бы не услышали, а то вдруг поймут. Наверно, этот худой действительно злюка, с ним надо держать ухо востро.

— Тихо, баба! Их власть, что сделаешь...

— Власть, чтоб они подавились...

Пол мыли холодной водой — хорошо, что в бадье ее было запасено с ночи, к колодцу теперь не подступиться. Петрок не хотел туда и подходить, Степанида тоже. Она старательно терла веником пол, мыла скамьи, скреб-

ла ножом длинный и старый стол, сметала с подоконников. Петрок прибирал в сенях, выносил всякую рухлядь в истопку или под поветь, на завалинку, забросил на чердак паклю. Наверно, никогда еще это жилище не знало таких забот, даже перед праздником его не убирали так тщательно, как теперь по принуждению, и Петрок думал: кто знает, как все это понравится немцам? А вдруг не угодишь чем-либо, что тогда будет?

Тем временем возле колодца доваривался обед, дым из кухни почти перестал идти, пар тоже кончался, круглая крышка кухни была неплотно прикрыта, и во дворе пахло жареным луком, салом, которыми немцы приправляли суп. Озлобенно-молчаливый повар вертелся там как заведенный, кажется, не присел ни разу; после короткой стычки с ним уныло топтался возле стола присмиревший Карла. Но вот долговязый остановился, вынул из брючного кармашка часы на блестящей цепочке и что-то проговорил помощнику. Петрок помалу прибирал в сенях, все время наблюдая за ними и невольно сочувствуя добряку Карле. Судя по всему, тому попало от старшего, иначе бы он так подчеркнуто безразлично не отворачивался от Петрока, когда тот выходил на ступеньки, заметал у порога. Он еще не кончил подметать, а с большака донесся нутряной гул, и знакомая, с брезентовым верхом машина, покачиваясь на колдобинах, свернула к усадьбе. Петрок с веником в руках бросился в сени.

— Едут! Баба, слышь? Едут!

Что-то хватая на ходу, Степанида выскочила из хаты и прикрыла дверь, оба они замерли в сенях, ждали и слушали. Машина тяжело катилась по узкой дорожке, пока не остановилась в воротцах под липами. Петрок ждал, что вначале кто-то выпрыгнет из кабины, но в машине что-то металлически звякнуло и сразу же из брезентового кузова один за другим высыпались человек десять немцев. Одеты они были по-разному: в мундирчиках, каких-то коротеньких куртках, двое в пятнистых накидках, каждый с плоским котелком в руке или у пояса. Оружия почему-то у них не было видно. Немцы, однако, не бросились к кухне, возле которой вытянулись оба повара, некоторое время все поправляли ремни, одергивали мундиры, ровняли на головах кургузые свои пилотки — наверно, ждали команды. Тем временем из кабины появился человек в черном клеенчатом плаще и высокой, как петушиный гребень, фуражке с белым знаком над козырьком. Он что-то сказал долговязому повару, напряженно передернув-

шему плечами и тут же расслабившемуся. Наверно, это было какое-то разрешение или команда «вольно».

— Охвицер! — догадался Петрок.

Степанида стояла за притолокой у растворенной двери сеней и молчала, полная сторожкого внимания ко всему происходившему во дворе. Но страшного там пока ничего не случилось, солдаты обступили кухню, и над их головами взметнулась длинная ручка поварского черпака — начиналась раздача обеда. Точно так же, как прошлым летом возле реки на привале, когда обедали наши красноармейцы перед тем, как отступить на восток. Теперь возле колодца плотненько столпилось около дюжины немцев, они весело болтали и смеялись, некоторые ополаскивали котелки в ведре, стоявшем под тыном. Только офицер отошел поодаль, на середину двора и, поглядывая куда-то вверх — на крышу возле истопки, вынул из кармана тоненький блестящий портсигар. Пока он закуривал, Петрок пытался поймать его взгляд, но глаз офицера совсем не было видно за широким, словно лошадиное копыто, козырьком фуражки. Немец прикуривал, чуть поводя головой и прислушиваясь к объяснениям знакомого кругленького фельдфебеля, который быстро и непонятно говорил что-то, указывая по сторонам руками. Но вот его рука неожиданно указала на дверь, и офицер, увидев в сенях хозяев, заметно насторожился. Петрок тронул за плечо Степаниду.

— Гляди, идут!

— Пусть идут.

Они несколько растерялись, не зная, что делать — стоять, спрятаться куда или, может, встречать гостей на пороге. Когда наконец Петрок стащил с головы кепку и перешагнул порог, немцы уже шли навстречу. Тогда он подался назад, в сени, попятился к истопке, напряженным взглядом уставясь в лицо офицера, чтобы понять, с чем, плохим или хорошим, тот идет в хату. Однако на бритом моложавом лице офицера не было ничего, кроме внимания и привычной командирской твердости. Темные глаза его под черными бровями лишь безразлично скользнули по хозяевам, дольше задержались на темных сенях, куче картошки в углу, суетливый фельдфебель, однако, уже раскрывал дверь в хату, и офицер неторопливо переступил порог. Дверь за собой не затворили, и Петрок слышал из сеней, как они там разговарили о чем-то, голоса были ровные, как будто спокойные. Потом с привычной для него деловитой суетливостью фельдфебель выскочил

в сени и кого-то позвал со двора («Ком, ком!»), два солдата, затопав тяжелыми сапогами, бегом бросились к сеням, фельдфебель приказал что-то, те согласно кивнули («Яволь, яволь!») и так же бегом бросились к кузову огромной машины под липами. «Однако дисциплинка!» — с невольным уважением подумал Петрок, не понимая еще, что задумали те, в хате. Но вскоре все стало понятно. Солдаты вытащили из машины складные металлические кровати — блестящие спинки, сплетенные из алюминиевых полос сетки, узлы с бельем и одеялами, начали переносить все в хату. Петрок еще попятился к истопке, чтобы не мешать им наводить свой порядок в усадьбе. От усердия, суетясь и толкаясь, они топали по еще не просохшему полу, передвигали скамьи, стучали кроватями. К нему и Степаниде никто не обращался, и Петрок начал уже успокаиваться, думая, что все, может, обойдется по-доброму. Конечно, поработали, убрали на совесть, наверное, теперь будут довольны. Но только он подумал так, как из-за косяка в раскрытой двери появился вертлявый фельдфебель и, будто малого, поманил его пальцем.

— Ком!

Ощутив внезапную слабость в ногах, Петрок вошел в хату. На месте отодвинутого в сторону стола уже стояла собранная блестящая кровать с узлом белья на сетке; с другой кроватью возился молодой, болезненный с виду немчик. Очевидно, у них появилось к Петроку какое-то дело, и офицер, широко расставив на полу ноги, уставился на него, дожидаясь, когда тот подойдет ближе. Их взгляды встретились, и сердце у Петрока недобро встрепенулось от предчувствуя близкой беды.

— Вас ист дас? — со скрытой угрозой спросил офицер, ткнув пальцем куда-то в стену, оклеенную порыжелыми, местами продранными газетами. Едва взглянув туда, Петрок помертвел от страха — в простенке, где обычно висел кожух, темнел газетный снимок первомайского праздника в Москве, на нем явственно виднелось поблекшее лицо Сталина. — Вас ист дас? — повторил немец.

Петрок все понял и молчал — что тут можно было сказать? Он только тихо про себя выругался — надо же было так влопаться! Терли пол, стол, скамьи, прибирали в углах, а на стены не взглянули ни разу. И теперь вот расплата...

— Сталин, паночку, — запавшим голосом наконец выдавил он из себя, готовый принять наказание.

— Сталин карашо?

— Ну, знаете?.. Мы люди простые... Кому хорошо, кому не очень... — попытался выкрутиться Петрок, думая про себя: чтоб тебя молния сразила, чего ты ко мне вяжешься? Взгляд, однако, он не отрывал от офицера, стараясь понять, что будет дальше, какая его ждет кара. В темных глазах того мелькнула гневная строгость, хотя твердое чернявое лицо оставалось прежним, невозмутимо-спокойным. Но вот рука его потянулась к ремню на поясе, где возле пряжки топырилась кожаная кобура. Петрок как загипнотизированный не мог оторвать взгляда от этой руки, которая уже вытаскивала из кобуры черный небольшой пистолет с коротким тупым стволом.

«Ну, все! — уныло подумал Петрок. — Как несуразно, однако... Хотя бы что сказать Степаниде...»

С прежнею неторопливостью немец передернул пистолет, который дважды костяно щелкнул, и рука его начала подниматься. «Сейчас пальнет!» — подумал Петрок и уже сложил пальцы, чтобы перекреститься напоследок, но тут офицер на секунду замер, и в избе оглушительно грохнуло, Петрока качнуло в сторону от испуга, вокруг завоняло порохом, и синий дымок из ствола медленно поплыл к окну. В стене на середине снимка появилось черное пятнышко. Чтобы не опоздать, Петрок загодя торопливо перекрестился, готовый к наихудшему.

— Капут! — холодно бросил немец и, дунув в ствол пистолета, сунул его в кобуру. Лицо его снова не выражало ничего, глаза холодно глядели из-под широкого козырька-копыта. Сам не свой от страха, Петрок стоял у простенка, пока фельдфебель не очень сильно, но твердо не подтолкнул его к двери.

— Вэк!

Шатко переступив порог и едва передвигая отяжелевшие ноги, Петрок побрел в истопку. В пыльном ее полумраке остолбенело застыла Степанида, и Петрок обессиленно прислонился к ее плечу.

7

Пообедав из котелков во дворе, немцы немного потолклись у своей кухни, поразговаривали, покурили и снова забрались в машину. На этот раз с ними поехал фельдфебель, офицер закрылся в избе, и его не было слышно, верно, чем-то был занят или улегся спать. Петрок, уронив голову, сидел подле жерновов в истопке

и не закуривал даже, после происшедшего не помогло бы даже и курево. Степанида постепенно пришла в себя от испуга и тихо затаилась возле оконца, чутко прислушиваясь ко двору. Но во дворе остались лишь два повара, все другие поехали на мост. Выждав немного, она с чуткой настороженностью в душе вышла в сенцы, прислушалась — за дверьми в хате все словно вымерло, не слышно было ни звука. Пожалуй, настал подходящий момент покормить поросенка, а то еще начнет визжать по-дурному и тогда не убережешь, заколют. Подумав так, Степанида нарезала в чугунок картошки, посыпала ее отрубями, добавила еще вчерашней, вареной, все перемешала. Теперь надо незаметно отнести чугунок в засторонок.

— Петрок, глянь там, — шепотом сказала она мужу, но тот даже не поднял головы. — Слышишь?

— А-а-а... Не убережешь! Все равно...

— Как это все равно?

Они тихо переговаривались в истопке. Недавний выстрел в избе, видно, так потряс Петрока, что тот был сам не свой, словно впал в какое-то болезненное оцепенение. В другой раз она бы отругала его, но теперь было не до того, понимала, натерпелся страху старик, и Степанида тихонько выглянула из сеней.

Во дворе было пусто, лишь возле колодца, перегнувшись через край кухни, отмывал котел Карла; злой повар стоял у ящиков спиной к избе и что-то там делал. А почему бы и не выйти, подумала она, мало ли что могло быть у нее в чугунке, какое им дело до этого?

Она так и сделала — тихонько пробежала за истопку и через дровокольню прошмыгнула в обросший репейником огород. Поросенок — молодчина, даже не откликнулся на ее шаги, только задвигался в соломе, когда она начала открывать низкую дверь засторонка. Чтобы не задерживаться там, она поставила через порог чугунок и сохой привалила ветхую дверь.

Поросенок помалу ворошился за дощатой стеной, едва слышно причмокивал, почти не подавая голоса, а она стояла в репейнике и думала, что не очень надежное это убежище, ведь столько людей во дворе — выйдет кто хотя бы по нужде за угол и услышит. Да еще и куры! Как-то вначале она не подумала о них, и те неприкаянно бродили теперь под изгородью в крапиве, что-то выискивали себе, клевали. И она не знала, как лучше: запереть их всех вместе в сарайчик или отогнать подальше от

усадьбы? Немцы, конечно же, не слепые, увидят, и не останется ни одной на развод.

Однако кур она прятать не стала, куда больше беспокоилась за Бобовку, которую на этот раз оставила в кустарнике вместе с Янкиным стадом. Начало вечереть, Янка мог погнать стадо в Выселки. По сырой, протоптанной в картофельном поле стежке Степанида подалась к краю оврага и там взяла в сторону по слегка примятому следу в траве. День кончался, небо так и не высвободилось от облаков, которые сплошь заволакивали его, низко нависнув над серым пространством поля и лесом. Было, однако, не холодно, ветер, похоже, утихал, жухлый кустарник в овраге обнимала сторожкая предвечерняя тишина. В мокрой траве поначалу было неприютно босым ногам, но при ходьбе ноги согревались. Краем поля она торопливо шла к Бараньему Логу и думала, что как ни плохо сейчас, но скоро, видно, станет еще хуже, одним переселением хозяев в истопку немцы не ограничатся. Если обоснуются в усадьбе надолго, то может случиться разное, а хозяйство оберут до нитки, это уж точно. Как тогда жить? Как уберечь корову, поросенка, кур? Зерно или картошку, может, и не возьмут, зачем им зерно, но дрова пожгут. Как привезти тогда их без лошади? Чем обогреться зимой?

Забот было множество, как и тревог, плохие предчувствия неотступно терзали душу, но Степанида терпела и внешне казалась спокойной. Она была не из тех баб, которые при первой же беде бросаются в слезы, понимала, что бед будет с избытком для ее скупых, в свое время немало уже выплаканных слез.

Небольшое Янкино стадо паслось в кустарнике возле дуплистой колоды поваленного на опушке дуба. Коровы разбрелись в ольшанике, а Янка, только завидев ее, о чем-то горячо и тревожно забормотал, то и дело показывая на поле. Может, он что-то увидел? Но теперь там было пусто и тихо, начинало смеркаться, надо было вести корову домой. Степанида отогнала Бобовку от стада и только тут спохватилась, что ничего не взяла для Янки. Но и сама она сегодня еще не имела крошки во рту. Стоя на опушке, Янка все говорил на своем, понятном только ему языке, тревожно взмахивая руками. И вдруг с его уст сорвалось два коротеньких слова, которые теперь понятны каждому:

— Пук! Пук!

Степанида, однако, не стала допытываться, что он хо-

чет сказать, и быстренько погнала хворостиной Бобовку. Пока на усадьбе не было немцев, надо было успеть подоить корову.

Даже немного вспотев в толстом платке и ватнике, она подогнала корову к изгороди у картофельного поля и поняла, что опоздала. Во дворе под липами уже высился брезентовый верх машины и слышался разговор, привычные выкрики, похоже, там что-то происходило. В недоумении она остановилась, Бобовка подняла голову и замедлила шаг. Над изгородью было видать, как немцы, толпясь у машины, вытаскивали из нее нечто громоздкое и тяжелое, а один, вероятно, заметив ее за огородом, молодым голосом озорно закричал издали:

— О матка! Млеко!

Делать было нечего, она тихонько стеганула хворостиной Бобовку, та переступила нижнюю жердь изгороди, привычным путем направляясь во двор к хлеву.

На усадьбе происходило как раз то, чего Степанида больше всего опасалась: немцы устраивались всерьез и надолго. Вывалив из машины громоздкий серый брезент, они растягивали его на истоптанной мураве двора, толкаясь, забивали в землю короткие колья. Двое по краям, почти лежа на земле, изо всех сил тянули за веревки, и брезентовая крыша палатки податливо выравнивалась, образуя тугое вместительное сооружение для солдат на случай ненастья или холодов.

Возле поленницы на дровокольне, сгорбившись, стоял Петрок, украдкой поглядывая из-за угла, и, заметив жену, молча развел руками. Но Степанида смолчала. Черт с ними, подумала она, может, живя в палатке, они будут докучать меньше. Главное, чтобы не занимали этот конец двора, где был сарай, куриный катушок, дровокольня, проход к засторонку. Да и тут, пожалуй, для них слишком грязно, им надо, чтобы посуше и чище. Тот конец двора находился повыше, и, естественно, там было лучше.

Бобовка, очевидно, не меньше хозяев чувствовала непривычное присутствие во дворе чужих и только намерилась было выйти из дровокольни, как нерешительно остановилась и фыркнула — она их боялась. Степанида зашла вперед, ласково погладила корову по теплой, вздрагивающей от ее прикосновений шее.

— Не бойсь... Иди, иди...

— Млека! — пьяно закричал кто-то из немцев.

Не успела она с коровой подойти к воротам хлева, как помощник повара Карла, переваливаясь на своих корот-

ких кривоватых ногах, уже нес навстречу широкое жестяное ведро. Со стороны кухни на нее смотрели три или четыре немца, и среди них тот кругленький краснощекий фельдфебель, который и теперь там суетился, кричал, что-то приказывая.

Обычно перед дойкой Степанида бросала Бобовке охапку какой-либо травы или отавы, занятая едой корова стояла спокойней и лучше отдавала молоко. Теперь же у нее ничего не было под руками, а немцы, судя по всему, не имели намерения ждать. Она хотела сказать Петроку, чтобы принес травы, но передумала: пусть! Что-то в ней гневно вспыхнуло, подхлестнутое этой их бесцеремонностью, и она подумала, что вовсе не обязана обеспечивать эту свору молоком от своей коровы, пусть поищут других коров. Бобовка между тем все перебирала ногами и озиралась по сторонам, когда Степанида подсела к вымени. Присутствие посторонних корове явно не нравилось. Степанида чувствовала это, и тихое возмущение в ней все нарастало. Все же она как-то нацыркала полведра молока и встала. Карла в своем засаленном мундирчике стоял рядом, на его нездоровом, отекшем лице не было ничего, кроме терпеливого безразличного ожидания.

— Вот, больше нет! — сказала Степанида, отдавая ведро.

Немец молча взял ведро и вперевалку понес его к кухне. К Степаниде как-то бочком подступил Петрок, оглянувшись, тихо шепнул:

— Поди, маловато... Чтоб они...

— Хватит! — решительно оборвала она Петрока и шлепнула корову по заду, подталкивая ее в хлев. Но тотчас возле кухни раздался резкий, возмущенный окрик, от которого она содрогнулась:

— Хальт!

Это все тот же фельдфебель. Зло раскрасневшись, в гневном волнении он выхватил у Карлы ведро и, пока Степанида сообразила, чего от нее хотят, с ведром подлетел к ней вплотную. Что-то быстро и зло говорил, потрясая неполным ведром, она слушала, уже понимая, что так возмутило этого немца.

— А нет больше молока. Все.

— Фсе? Аллес?

Кругленький фельдфебель еще проговорил что-то язвительно, потом живо повернулся к кухне и, поискав там кого-то взглядом, мотнул головой — ком! Все тот же Карла по-прежнему неторопливо, вразвалку подошел к

фельдфебелю, взяв ведро, нерешительно шагнул к корове, которая встревоженно и непонимающе озиралась вокруг. Когда он приблизился к ней, корова поспешно отвернулась, будто поняв его намерения, и Карла вынужден был снова обходить ее, чтобы подойти сбоку. Так повторилось два или три раза, пока фельдфебель не прикрикнул на Петрока, и тот испуганно схватил за рога Бобовку.

Степанида уже знала, что сейчас произойдет, и ей стало страшновато — обман ее вот-вот раскроется. Одновременно было противно при виде того, как солдат брался доить, а ее дурень Петрок ему помогал. Бедная Бобовка, что они сейчас с ней сделают, глаза бы ее не глядели на это. Но, как-то словчившись, они уже доили, в ведре зазвякало молоко, раскоряченный Карла сгибался под коровой, неловко заглядывая на вымя, Бобовка перебирала ногами и крутила головой, похоже, пыталась вывернуть рога, но Петрок держал крепко. Степанида, вся напрягшись в молчаливом гневе, стояла поодаль, не поднимая глаз. Она все видела и так, мысленно, про себя проклинала немцев, а больше всего этого разжиревшего фельдфебеля, который теперь напряженно следил за всем, что происходило возле коровы. Наконец, спустя какие-либо пять минут, она заглянула в ведро и съежилась еще больше — молока в ведре заметно прибавилось. Ах ты, дуреха Бобовка, зачем ты отдаешь им! Но, видно, корова вынуждена была отдавать, ведь она тоже боялась, боялся и Петрок, полусогнутые ноги которого в суконных, залатанных на коленях штанах мелко подрагивали, когда он с усилием держал корову. Степанида робела все больше, знала, добром это не кончится.

— Генуг! — вдруг скомандовал фельдфебель, ведро наполнилось до краев. Карла выпрямился и осторожно, чтобы не разлить, поставил молоко перед начальством. Фельдфебель с ненавистью посмотрел на Степаниду, туго сжав челюсти. — Ком!

Она уже знала, что означает это короткое слово, и медленно, будто завороженная, подошла к немцу, не в силах отвести глаз от ведра с молоком. Она ожидала крика, угроз, но фельдфебель не кричал, лишь сдвинул поближе к пряжке свою тяжелую кобуру.

— Паночку! — вдруг чужим хриплым голосом закричал Петрок и упал коленями на грязную, раскисшую после дождей землю. — Паночку, не надо!

Тут только она поняла, что немец намеревается до-

стать револьвер, и сердце ее неприятно содрогнулось в груди. Но она не тронулась с места, она лишь глядела, как он неловко возится с револьвером, не может его отстегнуть, что ли. Петрок снова взмолился, переступив на коленях ближе, с измятой кепкой в руках, седой, небритый, испуганный. Она же стояла, одеревенев, словно неподвластная смерти и ежесекундно готовая к ней. Но вот фельдфебель отстегнул от кобуры длинную белую цепочку, и, прежде чем Степанида успела что-либо понять, резкая боль обожгла ее шею и плечо. Она вскинула руку, и тотчас острой болью свело на ее руке пальцы, следующий удар пришелся по спине; хорошо, что на плечах был ватник, который смягчил удар. Фельдфебель озлобленно выкрикивал немецкие ругательства и еще несколько раз стегнул ее, но больше всего досталось пальцам после второго удара, спине же было почти не больно. Она уже нашла способ заслоняться от его ударов — не пальцами, а больше локтями, и немец, стегнув изо всей силы еще раза два, видно, понял, что так ее не проймешь. Тогда, опустив цепь, он закричал, от натужной злости багровея белобрысым лицом, но она, словно глухая, уже не слышала его крика и не хотела понимать его. Краешком глаз она видела, что возле палатки и кухни собрались солдаты, некоторые весело ржали, наверно, эта расправа казалась им очень смешной, представлялась веселой забавой, не больше. Что ж, смейтесь, проклятые, забавляйтесь, подумала она, бейте несчастную женщину, которую некому защитить. Но знайте, у этой женщины есть сын-солдат, он все вам попомнит. Пускай не сейчас, потом, но придет время, он расквитается за материнскую боль и унижение. И ты встань, Петрок, негоже ползать перед ними на коленях. Пусть! Ее отстегали на своем же дворе под смех и хохот чужих солдат, но она стерпит. Она все стерпит. Терпи и ты.

Жгучей болью горела шея под ухом, сводило пальцы на левой руке, когда она медленным шагом, исполненная невысказанной обиды, шла на дровокольню, чтобы скрыться от этих наглых глаз, а может, и заплакать. Но так, чтобы они не видели. Очень хотелось заплакать, если бы были слезы. Но слез у нее давно не было, был только гнев, придавленный усилием воли, отчего ей было особенно трудно. Но все же пусть, утешала она себя, пусть будет все, чему суждено быть, а там посмотрим. Может, не убьют, не застрелят до вечера, еще поживем немного...

8

Всю ночь Петрок беспокойно ворочался на своих жестких кадках, пытаясь уснуть под кожушком. Сперва все прислушивался к тому, что происходило во дворе, где хотя и стемнело, но долго еще слышался незнакомый говор, выкрики, смех немцев — почему-то допоздна не было на них угомону. В сенях то и дело грохали двери, бегали в хату, из хаты, гремели посудой — это угощалось начальство. Утихло там, может, за полночь, солдаты уснули в палатке, но Петрока все не брал сон, горестно и неотступно думалось: что делать? Послал бог кару на двух стариков, за что только? Петрок хотел спросить об этом жену, но на его приглушенный шепот та не отозвалась, а окликать ее громче не решился. Он уже был научен за долгую жизнь всего побаиваться, а теперь и подавно — было чего опасаться!

Перед рассветом он все же вздремнул, казалось, совсем ненадолго, и увидел отвратительный, дурной сон. Под жерновами в истопке давно была широкая крысиная нора, и вот во сне из нее вдруг высунулось какое-то противное существо с клыкастым, словно у кабана, рылом. Петрок швырнул в него веник, затем пырял туда палкой, да все впустую: крыса пряталась, чтобы тут же высунуться снова и скалиться клыкастой пастью, не то угрожая ему, не то над ним насмехаясь. Почти в отчаянии Петрок схватил у порога заржавленный старый колун и запустил им в угол, зацепив жернова, и те с грохотом рухнули, подняв тучу пыли в истопке.

Петрок тотчас проснулся, сразу поняв, что грохнуло где-то наяву и рядом. В истопке развиднело, наступало утро. На твердом земляном полу посередине валялись его опорки, жернова стояли на своем месте в углу, а Степаниды уже не было, на топчане под оконцем лежал ее смятый сенник. Петрок, как был босиком, метнулся к окошку с грязным, в паутине стеклом, сквозь которое, однако, разглядел двор с кухней и там тощего злого повара, который стоял с поднятой вверх винтовкой. Клацнув затвором, он выбросил на траву гильзу и пошел к воротцам. Винтовку с желтым ремнем повесил на тын возле кухни. Испугавшись за Степаниду, Петрок набросил на плечи кожушок и босиком выскочил из сеней; рядом из палатки высунулся солдат с подтяжками поверх синей майки, с суконной пилоткой на голове, он что-то говорил повару, который тем временем скрылся за ты-

ном. Скоро, однако, все стало ясно: повар появился в воротцах, держа в поднятой руке обвисшую, с окровавленным клювом ворону, еще слабо трепыхавшуюся в воздухе.

Петрок перевел взгляд на хлев, ворота которого были широко раскрыты, значит, Степанида уже погнала Бобовку. Это его успокоило, ворону он не жалел, черт ее бери, надо было не прилетать, не каркать. Накаркала на свою голову...

Он снова вернулся в истопку, прикрыл за собой дверь. Чувствовал, теперь надо как можно реже выходить во двор, чтобы не мозолить солдатам глаза, а лучше тихо сидеть в этом ветхом убежище. Стараясь не загреметь чем в полумраке, он тихонько надел опорки, туже запахнулся в кожушок и стал у оконца. Хотелось курить, но не было спичек, и он терпеливо ждал неизвестно чего. Тем временем совсем рассвело, попросыпались, начали сновать по двору немцы, раздетые, в нижних сорочках, голубых и белых майках, то бегали по нужде за хлев, то курили, некоторые бодро разминались возле палатки — делали утреннюю зарядку. Один со спущенными подтяжками вытащил из колодца ведро воды, начал умываться в стороне от кухни, под тыном. Там же другие приспособили на изгороди небольшое зеркальце и брились какими-то коротенькими бритвами. Молодой долговязый очкарик с высоко подстриженным затылком не спеша прогуливался по двору, что-то заинтересованно разглядывая по углам, на крыше, остановился перед дровокольней и что-то записал карандашиком в крохотной черной книжечке. Спрятал ее. Затем прошел к хлеву, через раскрытую дверь заглянул внутрь. Петроку показалось, будто он что-то там ищет, но немец, пожалуй, не искал, а опять достал из бокового кармана свою книжечку и снова что-то аккуратно записал в нее. «Ученый, — подумал Петрок. — Только что там смотреть, в хлеву?» Он ждал, что солдаты соберутся и поедут на мост, ведь надо же было работать. Но время шло, хорошо задымила кухня, от которой исходил какой-то незнакомый и вкусный запах, а они все толклись во дворе, видно по всему, не торопясь с работой. Да и офицера с фельдфебелем еще не было видно, наверно, спали в хате — в сени никто с утра не заглядывал.

Над усадьбой занималось не по-осеннему теплое утро. Где-то за тонкой пеленой облаков мерцало готовое вот-вот ярко засветить солнце. Почувствовав тепло, немцы не

торопились одеваться, один, с коричневой от загара спиной, долго с наслаждением мылся у колодца, подрагивая тощим, в одних трусах задом, другой поливал ему из котелка, и оба молодо, беззаботно смеялись. Обряженные сегодня в чистые белые курточки, повар и Карла старались у кухни: Карла, пригнувшись, шуровал в топке, а повар что-то мешал в котле с настежь откинутой крышкой. Убитую им ворону двое уже одетых, но без пилоток немцев прилаживали к колу на изгороди: аккуратно сложили ей крылья, чтобы казалась живой, но мертвая голова птицы не держалась ровно, все заваливаясь набок. Тогда один из немцев принес тонкую проволоку и с ее помощью выпрямил голову, хотя все равно было видно, что ворона убитая. Только немец отошел, удовлетворенно оглядывая свою работу, как в сенях громко стукнула дверь, Петрок насторожился, выглядывая наискосок в оконце. На камнях у порога стоял офицер тоже в расстегнутом кителе, с черной взлохмаченной чуприной на голове. Он оглядел двор, на котором сразу подтянулись, притихли солдаты, и что-то сказал тому, что стоял возле вороны. Тот ответил, широко улыбаясь загорелым молодым лицом, и отошел к палатке.

Петрок плотнее припал к бревнам стены, стараясь увидеть, что будет дальше, хотя, пожалуй, и так все было ясно. Офицер целился с крыльца в ворону, короткий ствол его пистолета слегка покачивался, пока он ловил ворону на мушку, затем коротко замер, и неожиданно ударил выстрел — над птицей взвились в воздухе перья.

— Браво! Браво! — захлопали в ладоши немцы, тот, что умывался у колодца, и один с намыленными щеками в стороне, и еще кто-то, кого Петрок не мог видеть из оконца. Тогда офицер прицелился еще и еще выстрелил, на этот раз пулей отбило у вороны голову с клювом. Офицер удовлетворенно спрятал пистолет в кобуру и, на ходу надевая китель, направился к кухне. Откуда-то к нему подскочил верткий фельдфебель, и они начали непонятный разговор, в который Петрок не вслушивался.

Стоя у окна, он услышал иное, от чего на минуту растерялся, не зная, что делать. За глухой стеной истопки, где был небольшой садик, трясли яблоню, слышно было, как сильно шелестела листва и с частым стуком о землю падали яблоки его антоновки, которые он терпеливо берег к зиме. Конечно, он не ждал от этих солдат ничего хорошего, но разве так можно поступать взрослым людям? Ну, сорвали бы пяток или десяток яблок, пускай бы

набрали пару пилоток — зачем до времени отрясать все дерево? И этот офицер, почему он не остановит их?

Подхваченный внезапной обидой, Петрок выскочил через раскрытые двери из сеней и возле растянутой у самой завалинки палатки вбежал в огород. Конечно, так оно и было. Один немец, раскорячась, в сапогах, сидел на яблоне и тряс сук, спелые яблоки с тяжелым стуком сыпались на грядки, где их собирал в шапку рыжеголовый, болезненного вида немчик. Петрок стал на меже и укоризненно уставился на них. Но те даже не глянули на него, словно он тоже был дерево, а не хозяин хутора.

— Все же нехорошо, — стараясь как можно спокойнее, сказал он. — Я вашему офицеру пожалуюсь. Нехорошо так, паны немцы.

Тот, рыженький, с виду еще мальчик, выпрямился, как-то озорно взглянул на него и, хихикнув, замахнулся надкушенным яблоком. Петрок едва успел уклониться, яблоко, ударившись сзади о стену, отскочило в крапиву.

— Злодеи вы! — выкрикнул Петрок почти в отчаянии. — Ну, погодите!..

Он повернулся с твердой решимостью пожаловаться офицеру, но еще не добежал вдоль лопухов до засторонка, как на дровокольне щелкнуло подряд два выстрела и через ограду с диким кудахтаньем бросились куры. Потеряв в борозде опорок, Петрок поспешил к сарайчику по эту сторону истопки. Выстрел ударил еще раз, и долговязый немец, легко перескочив изгородь, с растопыренными руками бросился в бурьян. Сзади у старой колоды стоял с револьвером в руке фельдфебель, он оживленно говорил что-то, обращаясь к двум или трем солдатам, и те скалили белые зубы — смеялись. Поодаль, добродушно наблюдая за происходящим, спокойно прохаживался офицер в не застегнутом с утра кителе, из-под которого временами выглядывала его маленькая черная кобура на ремне.

Враз утратив недавнюю решимость, Петрок остановился — кому было жаловаться? То, что делали солдаты, видно, не было у них чем-то недозволенным, их командиры, вероятно, были такими же. Все это казалось им делом обычным, правом завоевателей. Долговязый тем временем уже перелезал через изгородь, в поднятой руке держа за ноги подстреленную курицу, которая еще отчаянно била крыльями. Фельдфебель с револьвером в руках оглядывался по сторонам, верно, искал еще кур. Куры же со страху попрятались куда попало, и ни одной не

было видно во дворе. Ощущая полное свое бессилие, Петрок уныло побрел по дровокольне, не зная, куда податься, чтобы не видеть этого разбоя в усадьбе. Однако он уже попал на глаза фельдфебелю, который опустил револьвер и, смахнув с лица добродушное охотничье оживление, гаркнул:

— Ком!

Ну, конечно, сейчас он начнет цепляться, может, побьет или даже пристрелит, разве это им долго. Петрок, как был, с одной босой ногой, остановился возле обрушенной с краю поленницы.

— Млеко! Варум никс млеко?

Фельдфебель ожидал ответа, с ним рядом стояли еще два немца, сюда же в своем незастегнутом кителе со множеством пуговиц на груди направлялся и офицер.

— Так корова пасется, — просто сказал Петрок, немного удивляясь наивности этого вопроса.

— Ком корова! Бистро! Поняль? — прокричал фельдфебель, и Петрок подумал: однако же далось им молоко. Или у них нечего больше жрать, что они так полюбили это молоко? — Ком корова! Нах хауз корова! Поняль?

— Понял, — уныло сказал Петрок и повернулся назад к огороду. Надо было идти искать в зарослях Степаниду с Бобовкой.

Немцы на огороде уже влезли на другую яблоню с кисловатыми небольшими яблоками, густо осыпавшими ее ветви, и набивали ими свои карманы и пилотки. Двое других высматривали что-то на земле, шныряли по грядкам, вытаптывая невыбранные еще лук, бураки, морковку. На этот раз Петрок ничего не сказал им — пусть топчут, мнут, едят, хоть подавятся. Он нашел в борозде свой опорок и пошел грядкой к оврагу. Было уже очевидно, что овощи, фрукты, да и все хозяйство его пойдет прахом, теперь не убережешь ничего. Сберечь бы голову!

Он неторопливо шел стежкой, ожидая новых выстрелов в усадьбе, поди, одной курицы им будет мало. И только он дошел до кустарника на краю оврага, как позади бабахнуло три раза подряд. Петрок оглянулся. Нет, отсюда не было видно, стреляли во дворе, по ту сторону усадьбы. Пусть бы они и сами перестрелялись там, все меньше осталось бы на свете. Нет, верно, до этого не дойдет, а вот кур сведут, это уж точно. И, гляди-ка, вроде совсем не собираются на работу, на мост. Или у них выходной сегодня, или, может, праздник какой, думал Петрок. Так хотелось ему уйти и не возвращаться на этот

хутор, тем более что с утра выдалась хорошая погода, небо прояснилось, даже стало пригревать солнце, ветер повернул с юга, и столько запоздалой ласки было в природе. Осенью такое случается нечасто и всегда миром и добротой наполняет душу крестьянина. Было бы так хорошо на душе, если бы не война, не эти непрошеные гости на хуторе.

Однако надо было искать Степаниду.

Он уже прошел вдоль опушки у оврага, над полем, постоял у белой, без коры колоды поваленного дуба, прислушался. Степаниды и коровы вроде бы нигде не было, но так недолго и опоздать, что тогда скажут немцы? Еще с той войны Петрок слыхал от людей, что немцы страшно не любят, когда их приказы выполняются не бегом, и что беда тому, кто медлителен, нерасторопен. Не угодишь, застрелят, как курицу, и не трепыхнешься.

Немало уже набегавшись по зарослям и Бараньему Логу, он вдруг услышал Бобовку, которая тихонько шелестела в кустарнике на краю болотца. Рядом стояла Степанида. Каким-то затравленно отрешенным взглядом она издали уставилась на Петрока, ждала, когда тот подойдет ближе, должно быть, почуяв недоброе.

— Ну и забралась! Едва нашел! — устало проговорил он, продираясь сквозь чащу молодого, почти уже голого, без листьев осинника. — Молока требуют.

Степанида минуту подумала, прислушалась.

— Сказал бы: нет. Вчера все сожрали.

— Сказали привести корову. Наверно, сами будут доить. Курей стреляют. Яблоки обколотили...

Степанида спокойно выслушала эти невеселые новости. Ни о чем не спросив, потуже затянула платок на шее.

— А фигу им, — наконец сказала она и пошла к корове, которая спокойно паслась в кустарнике.

Петрок подумал, что она все же завернет Бобовку и они поведут ее домой. Однако на уме у Степаниды, видно, было другое, и она решительно подсела к корове.

— Что ты надумала?

— Что видишь.

Ну конечно, она начала доить корову в траву, и Петрок даже испугался.

— Но ведь молоко!..

— Фигу им, сказала, а не молоко...

Должно быть, действительно фигу, подумал он, в замешательстве глядя, как белые струи молока из-под ее рук исчезают в мелкой, пересыпанной опавшей листвой

траве. Он слишком хорошо знал характер жены и понимал, что ее не переубедишь, особенно такую, захлестнутую обидой после вчерашнего. И он покорно стоял поодаль в кустарнике, пока она не выдоила корову.

— Да-а... Что делать?

— Вот теперь веди. Пусть доят.

Степанида набросила на рога корове веревку, другой ее конец сунула Петроку в руки.

— Веди!

Он повел корову к опушке, где была тропинка на хутор, Степанида, немного поотстав, шла сзади. Бобовка, мало что понимая в намерениях хозяев, то шла, то останавливалась, хватая из-под ног какой-нибудь клок травы, видно, еще не напаслась и не стремилась домой. Словно чувствовала, что ничего хорошего ее там не ждет, до вечера же было еще далеко. Петрок с усилием переступал ногами в мокрых опорках, беспокойно думая о том, что это никуда не годится — привести корову без молока. Но что он мог сделать: корова — это уже не его собственность, она больше принадлежала жене. А после вчерашнего Степанида, конечно, здорово обиделась, и было отчего. Он бы тоже, наверно, не выдержал, если бы его так отстегали револьверной цепью. К счастью, его пока только пугали. Однако пугаться ему было не впервой, к страху он давно притерпелся и научился скоро приходить в себя. Разве иначе можно было выдержать? Особенно в эту войну.

Словно что-то почувствовав, возле хутора Бобовка совсем заупрямилась и с огорода не хотела идти во двор: упиралась ногами, выкручивала голову на веревке, оглядывалась на хозяйку. Петрок покрикивал на нее, дергал за веревку, но, пока сзади ее не стеганула прутом Степанида, корова не слушалась. Еще от оврага стало понятно, что немцы сегодня и не думали выметаться с хутора — гомон там стоял в самом разгаре, доносился смех, что-то мерно и негромко бахало в воздухе. Петрок присмотрелся к антоновке возле истопки — лишь на верхушке ее осталось несколько мелких яблок, а так все дерево было опустошено, внизу свисал до земли толстый надломленный сук. Весь огород был измят сапогами, гряды растоптаны; на огуречнике виднелись раздавленные семенные огурцы. «Вот кара божья, — горестно подумал Петрок. — За какие только грехи? И почему на меня именно обрушилось такое?»

Еще в огороде Петрок сообразил, что во дворе шла

игра — сквозь оживленный говор и вскрики слышались тугие удары по мячу, смех. Вскоре этот здоровенный, как тыква, коричневый мяч выкатился из-за сарайчика, за ним выскочил разгоряченный игрой молодой белобрысый немец. Он коротко взглянул на хозяев, подхватил мяч и скрылся во дворе за углом истопки.

Петрок провел через дровокольню Бобовку и молча остановился в ожидании фельдфебеля, который уже нацелился на него взглядом от кухни. Он коротко гаркнул что-то, и Карла с блестящим ведром поспешил к корове. Очень неуютно, почти страшно стало Петроку, когда он глянул на это ведро и подумал: хоть бы собралось что у Бобовки, иначе будет беда. На том конце двора человек пять раздетых до пояса немцев с поднятыми руками били вверх мяч, начисто вытаптывая мураву и палатки, колобок-фельдфебель принялся что-то обсуждать с поваром, а Карла медленно приближался к корове. Петрок, не выпуская из рук веревку, покороче подобрал ее. Бобовка по-прежнему испуганно оглядывалась на немцев и взмахом мохнатых ресниц реагировала на каждый удар по мячу. Карла, как и вчера, опустился подле нее на корточки и, двигая оттопыренными локтями, начал доить.

Впрочем, доить-то было нечего, и корова не хотела стоять, хотя Петрок и держал ее, все время переступала и дергалась. Через какую-нибудь минуту Карла подхватил пустое ведро и выпрямился. Как показалось Петроку, обеспокоенно посмотрел на него, потом оглянулся на дровокольню, где показалась и исчезла Степанида. Он тихо произнес всего лишь два непонятных слова, которые, однако, услышал фельдфебель и тут же подлетел к корове.

— Вас ист дас? — указал он на ведро. — Варум никс млеко?

— А кто же его знает, — с притворной искренностью пожал плечами Петрок, почти преданно глядя в злые глаза фельдфебеля. Красное лицо того побагровело еще больше.

— Варум? — громче гаркнул он и привычно схватился за свою огромную кобуру.

— Так не дает. Запускаться будет. Стельная она, — путаясь, неумело соврал Петрок, мысленно ругая Степаниду: надо же было так выдоить! Пусть бы подавились тем молоком, пропадать из-за него Петроку совсем не хотелось.

Немцы во дворе прервали игру, один с мячом под

мышкой подошел ближе, за ним с любопытством на потных лицах приблизились остальные. Все по очереди заглядывали в почти пустое ведро, на дне которого белела от силы кружка молока, не больше. Фельдфебель о чем-то переговорил со злым поваром, который также приволокся сюда и стоял, больше вглядываясь в Петрока, чем в ведро или корову. В короткую паузу, когда все замолчали, фельдфебель со скрипом расстегнул кобуру и медленно вытащил из нее свой революьвер с тонким стволом и черной костяной рукояткой.

Охваченный внезапным испугом, Петрок подумал, должны же они хотя бы о чем-то спросить, прежде чем застрелят, вероятно, и ему что-нибудь надобно сказать перед смертью. Хоть выругаться, что ли. Но, сбитый с толку неожиданностью происшедшего, он просто забыл все слова и невидяще глядел, как фельдфебель хлестко щелкнул револьвером.

— Вэк, ферфлюхтер...

Коротким ударом локтя он оттолкнул Петрока, выхватил из его рук веревку. Бобовка мотнула головой, скосила глаза, словно учуяв погибель, а немец очень споровисто, будто ненароком бахнул выстрелом в ее всегда чуткое, трепетное ухо.

Петрок ждал, что корова рванется, взревет, а та как-то очень покорно опустилась на подломившиеся ноги и ткнулась влажной мордой в грязь. Медленно ложась на бок, взмахом откинула голову, зрачки ее больших глаз закатились, из горла вырвался короткий негромкий всхрип, и все ее тело с огромным животом покойно замерло на земле. Только по коже несколько раз пробежала волнистая дрожь, и все в ней затихло.

У Петрока мелко тряслись руки, пока он на ватных ногах шатко брел со двора, где фельдфебель уже бодро покрикивал на солдат, должно быть, отдавал приказания.

9

На удивление самой себе, Степанида не слишком убивалась по корове — как ни жаль ей было Бобовку, она чувствовала, что рушилось что-то большее, неотвратимая опасность приближается уже к ним самим вплотную. Заходила эта опасность издалека — со двора, от дороги через молоко, хату, колодец, но подступила уже так близко, что сомнений не оставалось: немцы схватят обоих за горло! Правда, как она ни вдумывалась, все же не

могла с ясностью постичь истинный смысл их поступков и намерений, они были ей сплошь враждебны, но как тут понять, что из них приведет ее к самому страшному. Конечно, можно бы вроде и отодвинуть его, это страшное, затаиться, как-то подмазаться к чужеземцам, попытаться угодить им в большом или малом, но, думала она, разве этим поможешь? Опять же с детства она не умела насиловать себя, поступать вопреки желанию, тем более унижаться; нужных для того способностей у нее никогда не было, и она не знала даже, как это можно — ладить с немцами, особенно если те вытворяют такое. То унижение, которому они подвергли ее при первом своем появлении, не давало ей настроиться иначе, чем неприязненно, дальнейшее же и подавно вызвало у нее возмущение и ненависть к ним. Действительно, такого с ней никогда еще не случалось. Бывало, что ее обижали, притесняли, даже унижали, но никто еще не поднимал на нее руку — ни отец на малую, ни кто-нибудь из родни, ни даже Петрок. А вот эти подняли, хотя по возрасту она многим из них годилась в матери.

Степанида сидела в истопке и даже не поглядывала в оконце, она и без того слышала все, что творилось в усадьбе. Крича и толкаясь, немцы сняли с крюков в хлеву двери, разложили их посреди двора и принялись свежевать Бобовку. Наверно, драл шкуру все тот же Карла. Она слышала, как там среди криков и смеха солдатни выговаривалось его имя, когда говорил фельфебель, другие смолкали, коротко звучало чье-то «яволь»; сопели от усилия солдаты, и трещала шкура Бобовки. Петрок исчез где-то, на дворе его не было, иначе бы она услыхала чей-нибудь крик на него. И она сидела одна на своем сеннике под окном в прохладном полумраке истопки, теперь ей некуда было идти, нечего делать. В истопке было тихо и покойно, на дворе кончался погожий осенний день, косой солнечный лучик из окна скользнул по выщербленному земляному полу к жерновам и косо высветил там черные потрескавшиеся бревна стены. Этот золотистый лучик, однако, становился все уже, будто таял, превращаясь в тонкий блестящий осколочек, и наконец пропал вовсе — солнце спряталось за выселковским пригорком. В истопке сразу стало темнее, в полумраке утонули углы с разной рухлядью, надвигалась тревожная ночь. Немцы весь день протолклись на хуторе, на мост так и не ездили, наверно, действительно сегодня у них был какой-нибудь праздник. Степанида ждала, когда они

наконец угомонятся во дворе или хотя бы займутся делом — ей надо было наведаться в засторонок, покормить поросенка, чтобы тот ненароком не завизжал с голоду и, как и Бобовка, не оказался в их прожорливой кухне. Весь день Степанида ждала подходящего для того момента и вот дождалась вечера.

Она содрогнулась от какого-то сильного тупого удара там, во дворе, затем следующего; что-то трещало, будто дерево-сухостоина, и она встала, выглянула в оконце. Четыре солдата возились возле освежеванной, какой-то совсем маленькой, будто телячья тушка, Бобовки, и крутоплечий, без мундира немец с засученными рукавами нательной сорочки сек ее топором, на досках дверей со стуком подскакивали коровьи ноги. Голову они уже отрубили, и та лежала теперь на истоптанной траве под тыном, выставив в вечернее небо черные, круто заломленные рога.

Степанида глянула в оконце раз и другой, больше смотреть не стала — она не могла видеть всего этого. А они там долго еще рубили Бобовкины кости, ребра, хребет, и каждый удар топора болью отдавался в ее душе.

Сумерки близкой ночи все больше заполняли тесную, захламленную истопку. Надо было чем-то заняться, но чем? Да и вообще, что она могла делать здесь, когда не имела сейчас никаких прав, не могла ничем распоряжаться, наоборот, теперь распоряжались ею. И все же ее деятельная натура не могла примириться с собственным бессилием, жаждала выхода, какой-то возможности не поддаться, постоять за себя.

Она снова взглянула в оконце, кажется, с Бобовкой все было кончено, на траве лежали испачканные кровью двери, немцы стояли и сидели возле кухни, где, видно, доваривался ужин и откуда несло нестерпимо приторным запахом вареного мяса. Петрока по-прежнему не было. Она подошла к глухой стене истопки, вслушалась — нет, с огорода не слыхать было никаких звуков, может быть, стоило именно теперь, в сумерках, и прошмыгнуть к засторонку? Когда она прислушивалась, взгляд ее случайно скользнул по запыленному боку бутыли на полке, и она подумала: немцы сожгут. Конечно же, понадобится свет, заберут и керосин. Чтобы уберечь его от чужих глаз, Степанида сняла тяжелую бутыль с полки и, поглубже задвинув под жернова, заставила ушатом. Потом набрала из ушата в чугунок позавчерашней вареной кар-

топки, прикрыла его передником и осторожно приоткрыла дверь истопки.

В сенях никого не было, на ступеньках тоже, она неслышно переступила порог и под стеной истопки прошла к дровокольне. Она не глядела на немцев, ожидая и боясь их окрика, но, занявшись возле кухни, они, верно, не очень присматривались к ней. За поленницей она вздохнула, перелезла через жердку в огород. Куриный сарайчик был настежь распахнут, на земле валялась подпорка, курей там не было ни одной — уж не всех ли перестреляли эти собаки, подумала она. А может, куры попрятались? Или ушли в овраг, как они это делали иногда летом? Прислушавшись к дружному взрыву солдатского хохота во дворе, она тихонько отвалила от дверей засторонка соху, и к ногам с такой радостью выкатился ее поросенок, что она испугалась: что же с ним делать? Тихо похрюкивая, тот ласково тыкался в ее ноги своим холодным тупым пятачком, словно требуя чего-то, и она подалась сквозь репейник по стежке через огород к оврагу. Поросенок, будто собачонка, с необычайным проворством заторопился следом, но бежал с небольшими остановками, а она вся сжималась от страха: хотя бы не вышел кто со двора, не увидел их здесь.

Но все обошлось счастливо — со двора никто не появился, она провела поросенка огородом к изгороди, перебралась через жердь, поросенок, посопев, прощемился под жердкой снизу, и тут уже его укрыл чернобыльник, кусты ежевики у стежки. Рядом был ров с кустарником, на краю которого в сумерках затемнелась знакомая фигура. Это был Янка, и она удивилась: зачем он здесь! Убегай ты отсюда! Убегай, замахала она рукой. Не хватало еще, чтобы Янка попался на глаза немцам с этим его стадом, постреляют коров — им разве жаль? Но стада поблизости не было, видно, Янка загнал его в Выселки, а сам непонятно зачем пришел к хутору и вот уж бежал ей навстречу. Они остановились на краю оврага, едва прикрывшись от усадьбы крайними кустами ольшаника. Янка, как всегда, мучительно пытался что-то сказать, но она ничего не поняла, в свою очередь, бормоча:

— Поросенок вот! Спрятать бы где?!

Как ни странно, он догадался. На мгновение лицо его омрачилось заботой, но скоро он замахал руками, указывая в охваченные вечерними сумерками овражные недра, куда вела извилистая стежка в кустарнике. Степанида не поняла, и он, ухватив ее за рукав ватника, потя-

нул по стежке. Прежде чем она решилась, поросенок уже побежал за ним, нетерпеливо тычась в его грязные босые пятки.

Они медленно стали спускаться крутой, местами даже обрывистой стежкой в овраг. Поросенок не отставал, лишь перед обрывом испуганно взвизгнул, испугавшись крутизны. Янка опустился на колено, снизу перехватил его поперек тела. На более отлогом месте он опустил поросенка наземь, и тот, не сворачивая с тропки, шустро побежал за подростком.

Вскоре они оказались в сырых сумрачных зарослях возле ручья, высокие ольхи с поредевшей листвой стояли над их головами. Янка стремился все дальше, увлекая поросенка и Степаниду в притихшие вечерние дебри лесного оврага. Удивительно, но поросенок бежал за ним охотнее, чем если бы его вела Степанида. Когда вскоре Янка свернул с тропы в сторону и, хватаясь за ветки орешника, полез вверх, Степанида догадалась, куда он привел поросенка. Где-то здесь, на склоне оврага, была барсучья нора. Барсука давно уже затравили собаками братья Боклаги из местечка, года четыре нора пустовала, ребятишки, играя, разрыли ее вход, но до конца не дорылись, такой длинной она оказалась.

Нора, конечно, сгодится.

Тут надо было лезть по склону в кустистой чащобе орешника, поросенок то неловко карабкался вверх, то ненадолго останавливался, притомившись, и тогда на особенно крутых местах Янка подхватывал его на руки и несколько шагов, не обращая внимания на тихое повизгивание, пробирался так — на ногах и коленях. Степанида одной рукой держала чугунок, другой, чтобы не упасть, хваталась за черные ветки деревьев и едва успевала за парнем. Так они взобрались к растопыренному корневищу елового выворотня на склоне, рядом за небольшой гравийной площадкой чернело устье барсучьей норы. Выпущенный из рук поросенок успокоился и начал обрадованно обнюхивать утоптанный мальчишечьими ногами песок, корни выворотня. Но только Степанида поставила наземь чугунок, он сразу, будто забыв обо всем, с аппетитом набросился на картошку.

— Ы-ы-ы! — снова замахал руками Янка. — Ы-у-у! — натужно рвалось из его груди, но ничего внятного не получалось, а Степанида думала, чем бы загородить эту нору, чтобы поросенок не вылез в овраг. — Ы-ы-э! — еще раз попытался объяснить что-то Янка и,

махнув рукой, снова бросился по овражному склону вверх.

Степанида стояла около выворотня, прислушиваясь к тому, как чавкает в чугунке поросенок и шелестит опалая листва на склоне. Шелест, однако, все отдалялся, пока совсем не затих. В овраге почти стемнело, только край неба над противоположным склоном слабо брезжил последним отсветом зашедшего солнца. Степанида не знала, куда побежал Янка — домой ли, в Выселки, а может, здесь искал, чем бы помочь ей. Но пока поросенок ел, она стояла рядом, вслушиваясь в затаенные, по-ночному пугающие звуки оврага, и вдруг подумала: до чего дожила! Чтобы бежать из дома, прятаться в овраге, искать прибежища там, где она обычно испытывала страх, особенно в сумерках — вечером или ночью. Но именно так: здесь ей было спокойнее, чем на своей усадьбе — в хате или истопке, и это милое существо, послушный поросенок показался ей роднее человека, словно дитя какое. Особенно после Бобовки, которую она сегодня так глупо не уберегла.

Степанида присела на торчащий обломок корня и замерла, навострив слух. Поросенок выел все, что было в чугунке, и успокоенно улегся у ее ног, горячими боками приятно согревая ее настылые ступни, и она стала тихонько почесывать его ногами под брюхом. Охотно поддаваясь человеческой ласке, поросенок медленно перекачивался на бок, довольно похрюкивая. Так она сидела на выворотне, пока наверху в овраге не зашуршала опалая листва в траве, что-то там сильно хрустнуло, верно, сломалась валежина. Степанида вскочила, прислушалась. Вокруг было темно, внизу, где бежал ручей, царила непроглядная тьма, да и вверху, над оврагом, в сплошную черную массу слились деревья, кустарники, только едва светился дальний край неба. Шорох вверху все усиливался, что-то стукнуло сбоку от норы, и к выворотню скатился Янка. Припадая низко к земле, он волок что-то громоздкое, вероятно, слишком тяжелое для него.

— Э-э-э! Ы! — устало оповестил пастушок и сбросил у самого устья, по-видимому, найденную в поле деревянную борону с зубьями.

Это было неплохо — борона сразу загородила весь вход в нору, надо было только чем-то ее закрепить, чтобы не повалил поросенок. Вдвоем с Янкой они сунули его в пустовавшее барсучье жилище и быстренько заставили нору бороной. Поросенок встревоженно захрюкал, несиль-

но толкнул борону, пробуя повалить, но Степанида придержала ее, а Янка тем временем выломал неподалеку хороший сук, и они с усилием подперли им борону.

— Вот и ладно, — тихо сказала Степанида. — Сиди и не хрюкай, а то... сожрут и спасибо не скажут.

Янка что-то достал из кармана и сунул поросенку, тот сразу смачно зачавкал, теряясь во тьме норы, а они полезли по склону вверх. Пожалуй, так было ближе, хотя и менее удобно, чем по стежке возле ручья. Вскоре, порядком угревшись, выбрались на пригорок и, пройдя кустарник, очутились на краю картофельной нивы. На поле и хутор уже легла ночь, было темно, вдали ничего не видать; покатый горб недалекой Голгофы почти совсем слился с темным закрайком неба, на котором одиноко мерцала крохотная красноватая звездочка. Деревья и кустарник рядом чернели сплошной неровной стеной, в которой местами проглядывала туманная прорва оврага.

— Спасибо тебе, Яночка, — сказала Степанида, тронув рукой худое под легкой сорочкой плечо мальчишки. Янка напрягся, остановился, приблизившись, вопросительно глянул в ее лицо и промычал что-то, как всегда, понятное лишь ему одному. Она подумала, что следовало бы и еще что-нибудь сказать ему, да не нашла что и пошла к хутору. Стежка вела здесь по ровному месту, вдоль овражной опушки, на меже с полем. Янка остался сзади. Конечно, он побежит в свои Выселки стороной, на хутор теперь не сунешься. Хутор надо обходить за версту.

Еще издали Степанида вдруг увидела яркий, почти ослепительный свет в окнах и подумала: это не лампа, наверно, они зажгли свое электричество. С неприятным боязливым чувством Степанида подошла к усадьбе, по тропке вошла в огород. Здесь было темно и тихо, немцы, похоже, угомонились, только из окна хаты на истоптанные грядки падал яркий косой сноп света; такой же сноп она увидела во дворе, куда вошла с дровокольни. Черная кухня с высокой трубой стояла старательно прибранная, накрытая сверху широким куском брезента; под тыном, составленные в ряд, видны были ведра. Сбоку от них неясно серела в полумраке, наверно, забытая с утра винтовка с новеньким желтым ремнем. Степанида охватила все это одним беглым взглядом и вскочила в сени, дверь которых была не заперта. Из хаты слышался спокойный, словно картавый разговор двух или трех немцев, и она быстренько прошмыгнула через сени в истопку.

Петрок уже был на месте, на кадках, и сразу отозвался из темноты, как только она закрыла за собой дверь:

— Ай, где это тебя носит по ночи? Страху понатерпелся тут...

— Так и ты же где-то пропадал полдня, — тихо сказала она, нащупывая в темноте свой сенничок.

— Кур стерег. Тех двух застрелили, так остальные за гумном в яму забились. Ту, что с хворостом. Сидят, так посыпал им там, пусть ночуют.

— Сколько же их хоть осталось?

— А семеро. Одной рябенькой и черноголовки нет. И старой желтой нет. Но не похоже, что желтую застрелили. Так где-то в крапиве спряталась.

— Хорошо, если спряталась, — вздохнула Степанида, думая уже о другом. Новая мысль неожиданно завладевала ею, и она уже не могла думать о курах, поросенке — двор властно притягивал ее внимание. Но она еще ничего не решила и только молча слушала, как сокрушался Петрок.

— Ай-ай! Что делать? Что делать?.. Вот корку жую. На и тебе, наверно же, ничего не ела сегодня...

Он сунул ей из темноты черствый кусок хлеба, и она взяла с неожиданной горечью не за себя — за него. Который день без горячего, на сухомятке с больным-то желудком — бедный старый Петрок! Прежде он стал бы сетовать на собственную долюшку или упрекать ее, Степаниду, а теперь вот смирился и обходится черствой коркой. Дожился! Да ведь дожилась и она. Со вчерашнего не было во рту маковой росинки, и теперь кусок черствого хлеба показался ей лакомством. Она прилегла на сенничок, прикрыв ноги ватником, и, понемногу отламывая от куска, клала хлеб в рот, тихо жевала. Но больше прислушивалась. Во дворе и в палатке уже успокоились, правда, через сени в хате еще слышалась негромкая вечерняя беседа офицера с фельдфебелем, эти еще не спали. А очень хотелось, чтобы они уснули, в ней все настойчивее и сильней разрастался тайный, рисковый замысел, от которого даже бросало в дрожь, но знала она, что отказаться от него уже не сможет. Впрочем, она и не думала отказываться, наоборот, собиралась с духом, она осуществила бы задуманное, даже если бы и знала наверняка, что это ей вылезет боком. Хотя пока надо отсидеться: раз они там не спят, ей нельзя выходить из истопки. Степанида умела ждать. Всю жизнь она только и делала, что ждала. Порой понапрасну, а иногда все-та-

ки ей везло. И лишь в редких случаях отказывалась она от своих намерений, уж такая была натура: чтобы отказаться от них, ей часто требовалось больше усилий, чем для их осуществления.

Хлеб она весь сжевала и теперь лежала без сна на своем сенничке. Неизвестно, спал ли Петрок, но его не было слышно — ни дыхания, ни движения, видно, намаявшись за день, все же уснул. Картавый разговор в хате, похоже, стал утихать. Полежав еще несколько минут, она тихонько поднялась и, опершись рукой о стену, выглянула в оконце. Нет, во дворе все еще блестела на траве яркая полоса света, рассеченная черной тенью от рамы, дальним концом почти достигавшая ведер под тыном. Винтовки отсюда не было видно, но, чувствовала она, та висела на прежнем месте. Степанида глянула наискосок в одну сторону двора, в другую. Нигде вроде бы никого не было. Она снова легла на сенничок, обнадеживающе подумав: ничего, рано или поздно улягутся и те, что в хате. Надо лишь выждать.

Она еще полежала около часа, внимательно прислушиваясь к близким и далеким звукам ночи. Где-то, наверно, в Заболотье за оврагом, долго, надоедливо лаяла собака, потом особенно резко взвизгнула и умолкла — ударили ее или, может, спустили с цепи. Разговор в хате смолк, но в тишине послышался звук шагов по половицам, коротко стукнула дверь, кто-то вышел во двор, но скоро вернулся. По тому, как, моргнув, исчез тусклый отсвет на черной балке вверху, она поняла, что наконец в хате погасили свет, в сенях, во дворе, в истопке воцарился мрак безлунной осенней ночи. Степанида долго еще лежала, словно краешком сознания переживая невеселые события минувшего дня: собственную проделку с молоком, которая погубила Бобовку, разграбление усадьбы, стрельбу по курам, ее неожиданную удачу с поросенком. Может, хоть он уцелеет, если эти злодеи не доберутся до оврага, не вытащат его из барсучьей норы. Так думала она о разном и обо всем сразу, как бы исподволь собираясь с силами, чтобы наконец решиться на самое трудное.

Кажется, однако, она задремала немного и спохватилась вдруг от неосознанного внутреннего толчка, прислушалась. Под жерновами тихонько ворошилась крыса да сипато, с присвистом дышал на кадках Петрок. Она села на сенничке, опустив ноги на землю. Теперь уже ничего не чувствовала, кроме упрямого стремления к цели —

сделать то, чего она уже не могла не сделать. Словно не по собственной воле, а по чьему-то жестокому принуждению она поднялась, тихонько, как только было возможно, повернула щеколду и приоткрыла старую, из дубовых досок сбитую дверь истопки. Хорошо, та не скрипнула, только прошуршала немного, и она оставила ее так, не закрытой. Потом на цыпочках приблизилась к полураскрытым дверям из сеней, в которые легонько задувал ветер, опять прислушалась. В хате кто-то сонно храпел, не так чтобы громко, скорее успокоенно, ровно. Надо быть смелее. Что, в конце концов, она не имеет права по своей нужде выйти во двор, или она перестала быть человеком?! Ну и что, коли война, немцы... Жили люди до этой войны и будут жить после, а вот доведется ли выжить этим, еще неизвестно. Кто с рожном полез на других, как бы сам на него не напоролся. Осторожно нащупывая ногами землю, она сошла с каменных ступенек на холодную влажную траву, проскользнула за угол и там затаилась — показалось, в палатке заворошился кто-то. Но это, пожалуй, во сне, никто оттуда не вышел. Часового во дворе не было видно, и это ее ободрило. Конечно, они чувствовали себя уверенно, словно хозяева. Да и чего им бояться, кто им тут мог повредить?

И все же она боялась, как, может, никогда в жизни: особенно было страшно, когда она вышла с дровокольни и на шатких ногах приблизилась к тыну. Ей не было нужды вглядываться в темноту, она точно знала, где было то место, и сразу нащупала рукой винтовку, обхватила ее за тонкий холодный ствол. Винтовка оказалась увесистей, чем она предполагала; как бы такая тяжесть, бултыхнувшись в воду, не подняла всех на ноги, обеспокоенно подумала Степанида. Это обстоятельство несколько смутило ее, но изменить свое намерение она уже не имела силы — она была целиком в его власти. На цыпочках подбежав к колодцу, Степанида перекинула винтовку в сруб. Перед тем как насовсем выпустить ее из рук, взглянула на хату и выгнувшийся горб палатки, но там все мирно покоились в ночи, никто нигде не показывался, и она разомкнула пальцы.

Степанида отскочила от колодца, когда в его глубине чересчур звучно бултыхнуло, казалось, сейчас все вскочат на ноги. Не чуя себя, Степанида метнулась к истопке, под стеной которой прошмыгнула в сени. Здесь ей совсем стало дурно, когда она обнаружила дверь в истопку закрытой, но затем вспомнилось, что та иногда за-

крывалась сама, и Степанида с облегчением потянула на себя деревянную ручку.

Прежде чем закрыться в истопке, минуту помедлила — нет, все вокруг тихо и покойно, кажется, удалось. «Что теперь будет?» — словно в горячке, содрогаясь от внезапного озноба, подумала она и, может, только теперь испугалась по-настоящему. Страх охватил ее с такой силой, что она мелко застучала зубами и, наверно, тем разбудила Петрока.

— Ничего, ничего... Спи.

— Что, озябла? Накройся, — проговорил он спросонья и тотчас мерно задышал на кадках.

Она же до утра не уснула.

10

Немцы поднялись раненько, еще до рассвета. Петрок слышал их шаги у истопки, кашель, притихшие хрипловатые голоса во дворе. Звякнуло ведро в колодце — начали таскать воду для кухни. Кажется, вчерашний праздник окончился, сегодня, судя по всему, они намеревались браться за дело.

Петрок лежал на прикрытых тряпьем твердых досках кадушек, натянув на голову кожушок, слушал дворовую суету и думал, как у них все не по-нашему, у этих немцев, по-своему, иначе. Даже вчера вечером, когда устроили себе праздник, ярко засветили электричеством в хате, ели из тарелок вилками и что-то выпивали из маленьких белых чарочек, немного оживились, разговаривали, но почти так, как обычно, пьяных не видать было ни одного. Офицер и фельдфебель закусывали отдельно от других в хате, куда им носили что-то на блестящих тарелках, сверху прикрытых салфетками, и эти тоже вели себя сдержанно, разговаривали негромко и сидели не дольше, чем при обычном ужине. Наверно, прошел час или немногим больше с начала того ужина, когда на ступеньки вышел фельдфебель, что-то скомандовал, и во дворе сразу как вымело — все удалились в палатку. «Дисциплина, однако, мать вашу!» — подумал тогда Петрок с тихой завистью. Слово начальника у них закон, все едят, спят и молятся только по команде. Неудивительно, что побеждают. Организация!

Вот и съели Бобовку. Петрок немного серчал на Степаниду при этой мысли: надо было не рыпаться, отдать им все молоко, пусть бы жрали, если так его любят, за-

чем было хитрить? Пожалуй, из-за этих Степанидиных хитростей и остались теперь без коровы. Хотя Петрок понимал, что и без того могли отобрать корову, — не теперь, так потом, при отъезде. Конечно, Бобовку лучше было бы спрятать. Только как спрячешь? Корова не курица, в крапиве не затаится. Да и кто знал, что они так неожиданно нагрянут на хутор? Ведь их не было даже в Выселках.

Снаружи в истопку донесся приятный, сладковатый, будто даже знакомый запах съестного, и Петрок не сразу понял, что это кофе. Ну, конечно же, он слышал еще с той стороны, что утром германцы перво-наперво пьют кофе, а не какой-нибудь квас или чай, как, скажем, русские. Петрок никогда не пробовал этого напитка и теперь представлял его себе очень вкусным. Впрочем, что кофе, когда соли осталось три горсти, как есть без соли картошку? Не полезет в горло. Беда, да и только!

Снаружи понемногу светало, но солнца не было видно, слышно только, как по крыше шуршал напористый ветер, кажется, на вчерашнем дне и кончилась хорошая погода. С ночи в худой, с гниловатыми углами истопке было прохладно, под утро Петрок даже озяб, съежился под кожушком, хотя и вставать не хотелось. Косо, одним глазом взглянул на сенник у окошка — Степанида, будто неживая, скорчившись, лежала под ватником, и он подумал: переживает из-за Бобовки. Конечно, какая теперь жизнь без коровы? Без коровы бабе погибель.

Только он собрался вставать, как дверь в истопку с силой дернулась из сеней, и на пороге появился немец — тот самый злобный повар, в перекрученной поперек головы пилотке, за ним выглядывал молодой немец в очках. Петрок быстренько сел на кадках, нащупывая рукава кожушка, а повар, ничего не говоря, блеснул ему в глаза фонариком и зашарил по истопке, высвечивая по очереди пыльные камни жерновов, полку, большую кадку в углу; подскочил к закромам, начал сбрасывать крышки, посветил во все три. Два были совсем пустые, а в третьем хранилось пуда три ячменя — на крупу. Затем, рявкнув «вэк», он подскочил к Петроку, тот босиком слетел на холодный пол, а немец посбрасывал прочь все его одежки, крышки с кадушек, заглянул в каждую. Неизвестно, за каким чертом согнулся под жернова, помельтешил белым пятном фонаря по стенам, углам, даже потолку и, не сказав ни слова, выскочил в сени.

Петрок надел-таки в рукава кожушок, осторожно при-

крыл за поваром дверь и повернулся к жене, которая, потупясь, с безразличным видом сидела на сенничке.

— Чего это он?

Степанида повела плечами, молча закуталась в платок, неторопливо надела ватник. Казалось, ее совсем не удивило это странное появление немца, одни только глаза говорили, что она внимательно прислушивалась ко всем звукам извне. Ничего не понимая, Петрок выглянул в оконце. Немцы там о чем-то возбужденно, даже напуганно переговаривались, сгрудившись около кухни, некоторые зачем-то бродили возле хлева, по дровокольне. Что они там искали?

— Будто потеряли что-то, — сказал Петрок.

Не успела Степанида ответить, как немцы от кухни гурьбой двинулись к хате, густо затопали сапогами в сенях, и уже не один, а трое сразу ввалились в истопку. И пошло... С выражением злой, непонятной решимости на лицах начали переворачивать все вверх ногами — кадки, кадушки, сбрасывать с гвоздей навешанное на них тряпье; в сенях разгребли ногами кучу картошки, с грохотом откинули прочь крышку сундука и моментально перевернули там все кверху дном. Петрок съежился возле двери и молчал, у него тоже никто ни о чем не спрашивал. Он поглядывал только, как долговязый, в широких сапогах немец злобно ворочал корзины, кадку с коноплей, раскатал все чугуны из-под ног. Подскочив к Степаниде, оттолкнул ее в сторону и коленом прощупал сенник на скамейке. Выглянув в оконце, Петрок увидел, как несколько солдат влезли на снопы в пуньке и начали шарить там, сбрасывая снопы к воротам.

— Что, паны, ищете? — как можно ласковее спросил Петрок, ни к кому, однако, не обращаясь.

Долговязый, измерив его ледяным взглядом водянистых глаз, что-то непонятно крикнул, и Петрок не спрашивал больше. Он еще глубже забился в угол, подальше от двери, и молча наблюдал за происходящим. Наконец, оставив разгромный ералаш в сенях и в истопке, немцы вытряхнулись во двор и там долго еще ходили вдоль стен, заглядывая под стрехи, за изгородь в крапиву и даже на обросшую мхом крышу истопки.

— Сдурели они, что ли? — недоумевал Петрок.

Однако надо было наводить какой-то порядок, Петрок взялся сдвигать на прежнее место кадушки, как вдруг услыхал знакомый звук струн и замер в испуге — они уже добрались до его скрипки. «Ах ты, горечко!» — поду-

мал Петрок, готовый заплакать от такой неприятности, но что было делать? Может, позабавятся, да и отдадут? А то неужто поломают и бросят, но зачем им скрипка?! Не слишком, однако, рассуждая, он выскочил в сени как раз в тот момент, когда из хаты, пригнув голову в высокой фуражке, стремительно выходил офицер, за ним катился кругленький фельдфебель. В сенях они столкнулись с Петроком, и тот заговорил, путаясь от волнения:

— Пан офицер, пусть мне отдадут ее... Ну, скрипку... Потому что моя ж это, собственная... Купил, знаете...

— Вэк! — гаркнул, словно плетью хлестнул, офицер.

Кляня все на свете, Петрок задом подался к истопке, тихонько отворил дверь. У оконца, полная напряженного внимания, стояла Степанида.

— Пропала скрипочка, — сокрушенно сказал Петрок. — И что за холера на них напала?

А стряслось, наверное, что-то скверное, подумал Петрок, услышав во дворе резкую команду, и в оконце стало видать, как они начали строиться — в две шеренги, с винтовками в руках. Все стали в строй — и фельдфебель и Карла, — перед строем остался лишь офицер, и рядом, прижав к бокам руки, с убитым видом вытянулся повар. Его белая куртка также была подпоясана ремнем, обвисшим от тяжести двух подсумков по обе стороны от пряжки. Уронив голову, повар неподвижно смотрел перед собой в мураву, и только, когда офицер что-то рыкнул, тот поднял узкое, болезненное, испитое лицо и сдержанно ответил двумя словами. Офицер тут же коротко, без размаха смазал его по щеке, немец пошатнулся, но не сошел с места и даже не поднял руки, чтобы защититься.

— Степанида, Степанида! Глянь! — почти испуганно заговорили Петрок. — Вот диво!

Степанида, однако, зябко кутаясь в ватник, села на сенник, а Петрок, словно там шло интересное кино, смотрел сквозь оконце во двор. Немцы понуро молчали, молчал и побитый повар, который также стал в конце строя, а офицер, заложив за спину руки в перчатках, ходил перед ними и что-то говорил отрывистым голосом. Скажет, помолчит, сделает три шага, остановится, снова скажет и снова молчит. Судя по мрачным выражениям солдатских лиц, говорил он не слишком веселое, наверно, отчитывал. Петрок догадывался, там что-то случилось, и, кажется, провинился повар. Вообще это было интересно, но Петрок начал немного опасаться, как бы это лихо не пе-

рекинулось и на него со Степанидой. Все, пожалуй, зависело от офицера. Петрок уже знал точно, что самый старший здесь этот офицер и что хорошего ждать от него не приходится, а на плохое, судя по всему, он всегда готов.

Но вот нотации во дворе окончились, строй рассыпался, некоторые из немцев начали закуривать, а остальные пошли к машине. Уж не выберутся ли они совсем, с надеждой подумал Петрок. Но, пожалуй, выбираться им было рано. Во дворе еще оставалась серая палатка, кухня, офицер чего-то помахал руками перед фельдфебелем, и тот вдруг покатился к приступкам. Сердце у Петрока екнуло: не сюда ли, в истопку?

Он не ошибся. Дверь истопки широко растворилась, и фельдфебель, словно собачонку, поманил его пальцем с порога.

— Ком! Ком-ком...

— Я?

— Я, я. Ты, — подтвердил фельдфебель.

Петрок поправил на голове кепку и пошел за ним через сени во двор. Солдаты уже садились в машину, один за другим по очереди взбирались через задний борт, офицер стоял у раскрытой дверцы кабины. Сквозь дыру-проломину в изгороди фельдфебель пролез в огород и, растаптывая бураки на грядке, мелко засеменил в дальний конец огорода. Петрок недоуменно тащился следом.

— Клозет нихт? — спросил фельдфебель, вдруг остановившись.

— Кого? — не понял Петрок.

— Клозет нихт? Ферштейн? Клозет, клозет? — добивался фельдфебель, но, видно, поняв безуспешность своей попытки, суетливо опустился на корточки и произнес четко: — А-а-а...

— А! — понял Петрок. — Это самое?

— Его самое, — повторил немец. — Делайт!

— Так это... Если кому надо, так...

Петрок хотел подробнее разъяснять этот деликатный вопрос, показать на хлев, который теперь пустовал без надобности. Но фельдфебель не стал его слушать, а коротенькими ногами отмерил три широких шага у зарослей смородины под тыном.

— Официрклозет! — объявил он решительно. — Драй час врэмя. Ферштейн? Понятнё?

— Так, понятно, — не совсем уверенно сказал Петрок.

Что ж, это было не самое худшее — выкопать им клозет, Петрок даже обрадовался, что все обошлось таким

простым образом. А он уже думал... Он даже испугался, как бы эта ямка не стала его последним пристанищем.

Он вернулся во двор и на дровокольне вытащил из-под досок старую, заржавелую лопату. Копать ею было не очень удобно, но за три часа, может, и выкопает. Надо выкопать, потому черт их знает, что его ждет, если не управится вовремя.

Машина, слышно было, уже заурчала мотором, наверно, все там уселись. Петрок, чтобы убедиться, украдкой выглянул из-за угла поленницы. Двор почти опустел; разрывая огромными колесами огородную землю, машина разворачивалась под липой. Возле кухни остался один Карла, и рядом на скамье под тыном устраивалась чистить картошку Степанида. Ну, конечно, всем дали работу, подумал Петрок, заметив перед женой полмешка картошки, видно, набранной у него в сенях. Все отдаляясь, машина с урчанием поползла к дороге, и Петрок с лопатой вышел во двор, испытывая в душе маленькое облегчение оттого, что хоть на время избавился от своих постояльцев. Но рано порадовался — между палаткой и окнами хаты с холодным выражением на молодом прыщеватом лице стоял немец с винтовкой, над которой торчал блестящий широкий штык. Ну вот, поставили часового, догадался Петрок, тотчас возвращаясь к привычному состоянию унылой озабоченности. Конечно, радости тут не дождешься, подумал он, направляясь через двор в огород, и услышал голос Карлы от кухни:

— Фатэр, ком!

Карла стоял над большим белым чаном и, когда Петрок подошел ближе, приподнял крышку, в чане было мясо. Конечно же, Бобовкино мясо. Ухватив увесистый кусок, сначала поднес его Степаниде. Та, однако, брезгливо покачала головой.

— Не буду.

Тогда Карла повернулся к Петроку, и тот взял из его рук хороший кусок с костью. От мяса исходил вкусный и сытный запах, очень захотелось есть, но Степанида из-под тына с таким презрением взглянула на Петрока, что тот смешался.

— Это... Может, потом, пан Карла? Знаете, мне бы лучше это самое... Прикурить.

— Курить! — понял Карла. — Я! Яволь.

Он достал из кармана пачку сигарет, они неторопливо закурили по одной. Петрок жадно затянулся, все еще держа в левой руке кусок мяса.

— Я это... положу. Ну, потом чтоб, — показал он на мясо и на истопку.

— Я, я, — согласился Карла.

Петрок быстренько подался к сенцам, но тут от палатки решительно шагнул часовой.

— Хальт! Ферботэн!

— Что?

— Хальт! Цурюк! — металлическим голосом гаркнул тот, ловко перегородив путь к порогу. Его молодое лицо было каменным.

«Ох ты, горе! — подумал Петрок. — Уж и в хату не пускают. Как тут жить?» Но так: не пускали даже в истопку. Петрок потоптался во дворе, докурил до ногтей Карлову сигарету. Карла, изредка поглядывая на него ничего не выражающим взглядом, начал хлопотать возле кухни. У тына чистила картошку Степанида. Наверно, чтобы не видеть никого во дворе, она повернулась к кухне спиной.

Что поделаешь, Петрок с сожалением положил кусок на металлическую крышку чана и пошел в огород. Надо было копать офицерский клозет.

Копать сначала было легко, лопата без труда лезла в мягкий огородный перегной, который Петрок понемногу отбрасывал к тыну. Но потом земля стала тверже, пошла глина, тут надо было долбить да еще неудобно выкручиваться с лопатой в узкой тесной ямке. Хотя погода с утра выдалась холодноватой и ветреной, Петрок быстро согрелся, расстегнул кожушок. Он выкопал только до колена, а уже устал и почувствовал, что так можно и опоздать. Верно, прошла половина, если не больше, отпущенного ему срока. Взмокрела спина под кожушком, и, чтобы немного передохнуть, Петрок присел на край ямы.

В это время он и услышал голоса во дворе. Они показались ему знакомыми. Петрок оглянулся. Из-за хаты по бурачным грядкам к нему широко шагал Гуж в испачканных грязью сапогах, с винтовкой на плече. Белая мятая повязка сползла ниже локтя на рукаве все той же рыжей кожаной куртки. «Что за напасть!» — недобро подумал Петрок, уже чувствуя приближение новой беды. Полицай подошел к разрытой земле и сбросил с плеча винтовку.

— Копаем? — не здороваясь, сказал он.

— Да вот... Как видишь...

— Не то копаешь.

— Что скажут. Мы теперь, знаешь, все по приказу.

— Так вот тебе мой приказ: пойдешь на картошку. В Выселки. Уже всех выгнал, одни вы с бабой остались.

«Вот еще новость! — подумал Петрок. — Чтоб вас с вашей картошкой!» Идти на эту стужу, не поев, на весь день в поле Петроку совсем не хотелось, но он не знал, как отказаться.

— А может бы, нас освободили? Га? Здоровьичко, знаешь, того... В боку крутит, так это...

— Ну, ну мне! — строго перебил его Гуж. — Крутит ему! Вот не выберем картошку, тогда немцы голову открутят. Приказали: выбрать до последней картофелины и отвезти на станцию. Срок — до воскресенья.

— Так это... Разве помоложе нет? — заволновался Петрок. — Баб, девок. Я ведь шестьдесят лет имею...

— Давай, давай! — нетерпеливо пристукнул прикладом по земле Гуж. — Без разговоров.

Немного помедлив, Петрок начал вылезать из недокопанной ямы. Очень ему не хотелось идти неизвестно куда, на выселковское поле, но, наверно, придется. Эти тем более не отцепятся. Эти найдут тебя под землей, вытащат и заставят делать все, что им прикажут немцы.

Захватив лопату, он покорно пошел за полицаем к хате, чувствуя, как ноет натруженная поясница, и вдруг подумал: а может, так будет и лучше — подальше от этой истоптанной, разграбленной усадьбы, во чистое поле. Там хоть среди своих, без этих понуканий да издевательств. Как и всегда, он уже пытался найти какие-то преимущества в новом положении, потому что как же иначе жить, если не приспосабливаться к обстоятельствам? Так, как хочется, все равно не будет, это он знал определенно.

Они пролезли через дыру в изгороди и очутились во дворе, где уже густо дымила кухня, из котла клубами валил пар. Карла помешивал там что-то, а Степанида попрежнему с молчаливой сосредоточенностью чистила возле тына картошку.

— Ну, активистка, ты долго там? — нетерпеливо гаркнул на нее Гуж.

— Не погоняй, не запряжена, — спокойно ответила Степанида, с силой бросив в ведро очищенную картофелину.

— Я не погоняю, а приказываю. Берите корзины и марш оба за мной!

— А где я их возьму?

— Дома возьми! Поди, есть же в сенях корзины?

— А кто меня туда пустит?

— Как кто? А часовой что, не пустит?.. Эй, приятель! — другим тоном, гораздо мягче обратился Гуж к часовому. — Дай я погляжу. Корзина нужна. Понимаешь, корзина!

— Цурюк! — гаркнул часовой и скинул с плеча винтовку.

«Вот хорошо! — молча порадовался Петрок. — Вот так тебе и надо: цурюк! А ты думал?» И он почти с симпатией посмотрел на этого тупорылого часового, который так кстати осадил гонористого полицая.

— Ах ты, черт! — озабоченно крутанулся Гуж. — Ну, мешок бери, какое-нибудь ведро...

— Где я возьму ведро? Это же ихнее.

«Да, Степаниду голыми руками не схватишь! — может, впервые за много лет с восхищением подумал о жене Петрок. — Если уж заупрямится, так поскачешь. И я тут тебе не помощник. Заставь, если сумеешь!»

За разговорами во дворе они не сразу услышали, как огромная немецкая машина свернула с большака и подкатила к воротам. Она еще не остановилась, а из кабины поспешно вывалился колобок-фельдфебель, на его раскрасневшемся лице было какое-то оживление, доброе или нет, сразу трудно было и понять.

— Вас ист дас? — гаркнул фельдфебель, останавливаясь перед Гужом. Тот неуклюже попробовал взять под козырек, но ему все испортила винтовка, ремень которой неловко соскользнул с кожаного плеча и повис на локте. — Вас ист дас? Что есть это? — совсем уже зло повторил фельдфебель. Подбоченясь одной рукой, он так и стоял, маленький и круглый, перед неуклюжим длинноруким Гужом.

— Приказ на картошку, пан офицер. На картошку! — уточнил Гуж. — Чтоб выбрали до воскресенья.

— Вас ист дас? — не принимая объяснения, разъяренно взвизгнул фельдфебель и подступил на шаг к полицаю.

— Я же говорю, пан офицер, приказано всем на картошку. Пан бургомистр...

— Вас ист дас? — добивался фельдфебель, и Гуж на этот раз проглотил все слова. Вытянувшись и вытаращив глаза, он молча стоял перед немцем, который вдруг встрепенулся и как-то очень ловко снизу вверх ударил его два раза — по одной и по другой щеке. Полицай отшатнулся с винтовкой, облаписто прижал ее к боку, расте-

рянно моргая глазами, верно, в ожидании новых оплеух. Но фельдфебель больше не бил, вместо того ткнул коротеньким пальчиком в ворота. — Вэк!

И когда Гуж то ли испуганно, то ли с облегчением подался со двора, фельдфебель презрительно процедил сквозь зубы:

— Ванютши полицайшвайн...

— Ага, правильно вы его. Нехороший человек, — не удержался Петрок, весьма довольный таким оборотом дела. Он весь затрясся от радости, но фельдфебель как-то странно взглянул на старика, будто впервые увидел его тут, и недобро сощурил глаза.

— Официрклозет фертиг?

— Га?

— Там готоф? — указал он на огород.

— Так где же готов, когда этот приперся, — спохватился Петрок, догадавшись, о чем спрашивает немец. Но тут же он замолчал, заметив, как фельдфебель украдкой заходит сбоку, и прежде, чем он что-либо понял, острая боль от удара сапогом в зад заставила его отскочить на три шага к ограде. «О божечка мой!» — только успел подумать Петрок и как ошпаренный вылетел через дыру в огород.

11

Степанида сама не знала, как пережила тот страшный предутренний час, когда немцы трясли усадьбу, переворачивали всю утварь. То, что ночью никто ее не заметил, было уже ясно, но оттого не становилось легче, думалось разное. Опять же винтовка пропала именно здесь, на хуторе, и этого, наверно, было достаточно, чтобы жестоко расправиться с хозяевами. Странно, как это вчерашней ночью, охваченная неодолимой жаждой мести, она не подумала о том. Зато под утро от этих мыслей ей стало страшно.

Но пока все обошлось, немцы вымелись на работу, при кухне остался один только Карла, и ей приказали ему помогать: сначала чистить картошку (три полных ведра), потом перемыть две дюжины плоских котелков с крышками; еще Карла заставил ее оттереть песком два закоптелых чана и вдобавок постирать какие-то кухонные тряпки в горячей воде с мылом. Нарочно не торопясь, безо всякой охоты она делала все это, и постепенно, по мере того, как отходила от утреннего испуга, в ней росло бес-

покойство за поросенка: как он там? Надо было его накормить, а то еще завизжит на всю округу, кто-то наткнется и выпустит или украдет, что тогда в хозяйстве останется?

Но Карла ни на шаг не отпускал ее от кухни, находил разную работу, и она молча, безотказно все делала. Обедать немцы на хутор не приезжали, может, вышла какая неуправка с мостом или отрабатывали за вчерашний праздничный день. Приехали они перед сумерками и сразу обсыпали кухню, все, видно было, усталые, изголодавшиеся и озябшие на ветру. Петрок уже выкопал и обносил тыном офицерский клозет на огороде, а она шмыгнула от кухни к сеням, и часовой отступил в сторону, теперь он позволил ей войти в истопку.

Степанида вошла и затаилась, она опасалась им мозолить глаза, все думалось: а вдруг кто узнает или догадается, что именно она взяла винтовку. Не будь надобности, она бы и не вылезала из этой истопки, где теперь был для нее приют и убежище и где с утра все оставалось развороченным, опрокинутым вверх дном. Петрок еще не вернулся с огорода, и она сама порассовывала по углам кадки, утварь, повесила шмотки на гвозди по стенам. Зябкий осенний день под вечер и совсем испортился, начал моросить дождь, немцы не слишком разгуливали по двору, а как-то быстро разобрали возле кухни свои котелки с мясом и позабирались в палатку.

Наступил вечер.

Когда во дворе опустело, Степанида собрала в чугунок остатки старой вареной картошки из ушата, немного присыпала ее отрубями, глянула в окошко. Двор и окрестности хутора быстро погружались в ненастные осенние сумерки, возле кухни не было никого, кроме Карлы, который, напялив на голову косой клин пятнистой накидки, наводил там порядок. С чугунком, прикрытым полой ватника, она шагнула из сеней, сразу, однако, наткнувшись на часового — пожилого длинноносого немца в надвинутой на уши мокрой пилотке. Тот стоял у двери под крышей и тотчас вытянул ногу перед порогом.

— Эс ист ферботэн! Нэльзя!

— Нельзя?.. Вот как...

Она не стала ни просить его, ни уговаривать — из хаты доносились злые слова фельдфебеля, значит, он или офицер приказали часовому не пускать во двор. «Чтоб вы посдыхали все!» — мысленно сказала она себе и вернулась в истопку.

Она поставила чугунок у порога, села на сенник и просидела так до тех пор, пока в истопку не влез Петрок. От него повеяло студеной мокрядью, хотя Петрок вовсе не казался озябшим или усталым, скорее веселым и довольным.

— Баба, живем! — с необычным для него оживлением заговорил он прямо с порога. — Сделал сортир, ну, этот клозет... Офицер похвалил.

— Может, обругал?

— Нет, похвалил, ей-богу. По плечу так похлопал. Гут, сказал.

— Здорово ты выслужился, — с издевкой сказала Степанида, удивляясь про себя: нашел, чему радоваться.

— Да не выслужился, черт их бери! — переходя на шепот, заговорил Петрок. — А вот подумал, может, скрипку отдадут.

— Не отдадут, — сказала она. — Не затем брали.

— А зачем она им? Играть же не умеют.

— А вдруг и умеют.

— Если бы умели, уже играли бы. Я знаю.

— Ну иди. Проси, — сказала она, думая между тем о другом.

Поросенок, верно, пропадет, просто околеет в такую стужу, если до того не сдохнет с голоду в барсучьей норе. И что делать? Разве попроситься по какой нужде с усадьбы, может, пустили бы? Но какую придумать причину, чтобы поверили, она все не могла сообразить и напряженно думала об этом.

— А и пойду, — набирался решимости Петрок, однако не двигаясь с места.

И тогда она вспомнила о своих недостреленных курах, которые скорее всего куда-нибудь сошли с хутора или, может, разбежались по оврагу. Хлопоча днем возле кухни, она поглядывала украдкой по задворкам, не покажется ли какая. Но не показалась ни одна, куда-то запропастились надолго.

— Попроси там, чтобы пустили курей поискать. Кур, скажи, разогнали вчера, надо собрать.

— А что? Можно. Ну, боже, помилуй!

Не видно было в темноте, но она знала, Петрок перекрестился и нерешительно открыл дверь. Потом не сразу, погодя из сеней послышался тихонький стук в хату, и Степанида заволновалась: черт знает, что сейчас будет? Хотя бы живым вернулся ее Петрок.

Кажется, его впустили в хату, и он пропал там на-

долго. Она ждала и слушала, но почти ничего не было слышно, кроме редких не наших слов, из которых ничего невозможно было понять. И вдруг тоненько, певуче зазвучала одна струна скрипки, другая и третья, их звуки слаженно слились в мелодию, и она узнала Петрокову руку. На что другое он был не слишком сноровист, но играть на скрипке умел, это она знала. Неужели вернут, с грустной радостью подумала Степанида. Однако Петрок не возвращался, зато из хаты певуче заструилась печальная музыка некогда любимой ее «Купалинки». Степанида слушала-слушала, подавляя в себе что-то жалостливое, что властно овладевало ее чувствами, и не сдержалась. Из глаз выкатились одна за другой несколько слезинок, она быстренько стерла их с лица уголком жесткого платка и снова затаилась слушая. Петрок играл чисто, очень старательно, как когда-то играл на вечеринках в Выселках, Замошье, Гущах на пару с цимбалистом Лавриком. Когда окончил, там снова заговорили, но скоро притихли, и опять зазвучал новый мотив, песня про Волгу, которую пели перед войной. Слышно было, ему даже подпевали, несуразно фальшивя, на чужом языке. Степанида все слушала, и ее первое невольное очарование музыкой начало уступать место досаде и даже злобе — зачем он им играет? Нашел кого тешить музыкой! Не мог отказаться, что ли? Сказал бы: не умею, не моя скрипка, чужая. А то обрадовался: похвалил офицер за сортир, так, может, теперь наймется ему играть, когда тот будет сидеть там. Ну, пусть только вернется!.. Если в конце концов не заслужит от них еще одного пинка в зад.

Время шло, а с пинками там явно не торопились, наверно, действительно его игра нравилась. Петрок играл долго, после песен взялся за танцы и переиграл им и «Казачка», и «Левониху», и краковяк. Степаниде показалось даже, что там раза два похлопали в ладоши и кто-то сказал «браво», что ли. «Смотри ты! — удивлялась Степанида. — Ну погоди же, я тебе покажу, как угождать этому воронью!»

Может, спустя только час стукнули двери — одна, вторая. Петрок вернулся в истопку и уже с порога сказал тихо, но вполне удовлетворенно:

— Ну, я же говорил...

— Отдали?

— Отдали вот, а ты не верила, — он сунул ей что-то в темноте, и она не сразу нащупала тоненький гриф скрипки.

— А про кур спросил?

— А, про кур... Забыл. Забыл, знаешь. Там, поди, с ними не очень поговоришь.

Коротко размахнувшись, она швырнула скрипку на жернова, та слегка стукнулась о что-то нетвердое и отскочила, тихонько загудев струнами. Петрок ужаснулся:

— Ты что? Ты что это, того?..

— Я не того. Это ты, гляжу, скоро будешь того, — вполголоса, зло заговорила она. — Приладился, играет. Кому ты играешь, подумал? Может, они детей твоих поубивали. Где твоя дочка? Где сын? Который уже месяц ни весточки, может, в земле уже, а он им играет!

— Ну а что поделаешь? Сказали! Ну и играл. Зато отдали.

— Отдали! Теперь каждый вечер им играть будешь?

Петрок не успел ответить, как снаружи где-то поблизости от хаты громыхнул очень звучный в ночной тиши выстрел, и сразу там загалдело множество голосов — встревоженно, громко, по-немецки. В хате стукнули двери, все выскочили из нее на темный двор, и тут же опять послышались тревожные крики, и снова два раза подряд грохнули выстрелы. Степанида сидела будто неживая, не понимая, что происходит, куда и в кого там стреляют, как вдруг над хатой и двором вспыхнул слепящий, словно электрический свет; в оконце ударил яркий огненный сноп, быстро перебежавший по полу, по кадкам, по Петроку, который, замерев, держал в руках красную скрипку, и вдруг погас на стене под черной потолочной балкой.

— Ракета, — упавшим голосом сказал Петрок. — Что же это делается? Спалят...

Она также не знала, что там делается, и, ничего не видя, с ужасом прислушивалась к загадочной суматохе возле усадьбы. Похоже было, весь этот гвалт смещался за хату, к оврагу, слышен был топот сапог по земле, там же в отдалении бахнуло еще несколько выстрелов. А когда вскоре вспыхнула еще одна ракета, ее дальний свет тусклым неверным отблеском метнулся по ветвям лип к громоздкому верху машины под ними. «Кого они там увидели? — думала в страхе Степанида. — Неужели поросенка? Может, выбрался, прибежал, теперь точно застрелят».

Она уже не могла оставаться на сеннике, стала на коленях к оконцу и всматривалась в темень двора. Потом попыталась выйти, но тут же вернулась к оконцу, решив, что теперь выходить нельзя: чего доброго, еще убьют

в темноте. И она вслушивалась в выкрики, недалекую тревожную суету возле оврага или на огороде по ту сторону усадьбы. Там громыхнуло еще несколько выстрелов и послышалась зычная отрывистая команда.

— Боже мой! Что же это? — не в состоянии что-либо понять, спрашивал Петрок.

— Тихо ты! Слушай...

Ну, конечно же, что им еще оставалось, кроме как сидеть и слушать. И вот в этой нескончаемой напряженности, когда там немного притихло, она услышала короткий разговор у крыльца, кто-то обратился к часовому, и она поняла одно только знакомое слово «бандытэн». «Но откуда здесь могут взяться бандиты? — подумала она. — Может, из лесу напали на немцев, если те так яростно бросились к оврагу? Но почему тогда не слышно выстрелов с той стороны, от оврага?..»

— Что будет, что будет? — продолжал сетовать Петрок, и она тихо откликнулась:

— Что будет, то и будет. Не знаешь разве?

— Хоть бы не запалили хутор.

— Могут и запалить, — согласилась Степанида. — Они все могут.

Ей показалось, что кто-то пробежал вдоль стены за истопкой во двор или к палатке, там снова послышались голоса, но в этот раз сдержанные, и прибежавший, громко топая по земле, снова скрылся. Выстрелов не было слышно, хотя еще несколько раз засветили ракеты, их дальний скользящий отсвет ненадолго разогнал мрак во дворе и в истопке. Она увидела белое, словно полотно, Петроково лицо, в руках тот держал ненужную теперь скрипку, вроде не зная, куда с нею деваться.

— Идут!!

Петрок весь напрягся в темноте, она почти физически ощутила это, а потом уже и до ее слуха донесся далековатый еще разговор, возбужденные голоса немцев. Голоса приближались — группа или, может, все вместе они возвращались в усадьбу. Да, возвращались — голоса стали явственнее, временами их перебивал один погромче, может быть, голос фельдфебеля, подумала Степанида и снова прислушалась. Нет, это был другой голос, он разъяснял что-то или, возможно, оправдывался.

Вскоре по стежке за истопкой и на дровокольне затопали тяжелые шаги, по двору метнулось несколько лучей фонариков, которыми немцы освещали себе дорогу. Они ввалились во двор, кажется, всей оравой, остановились

посередине. Кто-то вбежал в хату («Лихт, лихт!»), и в окне засияла электрическая лампочка — включили свет.

Степанида стояла возле оконца, уже ясно сознавая, что сейчас обнаружится что-то очень неприятное для нее, но того, что оказалось на деле, она не предвидела. Сквозь старое грязное стекло оконца не много было видно в ночной мгле двора, разве только то, что высвечивалось электричеством из хаты. Она увидела, как немцы приволокли и бросили на траву что-то тяжелое, а сами столпились вокруг, оживленно разговаривая между собой. Одни смеялись, другие возбужденно что-то выкрикивали. Из-за их спин и пилоток видна была в середине только высокая фуражка офицера в блестящем плаще. Фонарик бросал светлое пятно у ног на землю.

— Кого-то убили, — сказала она Петроку, который пристроился рядом, заглядывая в оконце. Но не успел тот что-либо увидеть, как в сенях раздался грохот, слабый лучик фонарика метнулся по истопке, ослепил их на сеннике под оконцем.

— Фатэр, ком! Смотрель айн бандит! Опознаваль айн бандит, — сказал, тут же поправив себя, фельдфебель.

Перекрестившись на ходу, Петрок подался к двери, Степанида осталась в темноте и уже не смотрела в оконце. Она будто вся окаменела, стоя на середине истопки, уже зная, что произошло страшное, и, как приговора, ждала подтверждения своей догадки.

Когда вскоре Петрок вернулся, Степанида не спросила у него — кто. Она была бы благодарна Петроку, если бы тот вообще ничего не сказал, просто помолчал до утра. Но Петрок был не таков, чтобы долго молчать о главном, и, едва прикрыв за собой дверь, сообщил испуганным шепотом:

— Янку убили!

Почувствовав, будто рухнула куда-то во тьму, Степанида молчала, сердце ее болезненно защемило, а Петрок, видно, понял это ее молчание как невысказанный вопрос к нему и поспешил уточнить:

— Ну, того пастушонка. С Выселок.

Чтобы в самом деле не упасть, она руками нащупала край сенника и медленно опустилась на него.

Сознание ее и вправду словно провалилось куда-то из этой истопки и этой страшной ночи, она перестала ощущать себя в этом суматошном мире, который все сужился вокруг нее, уменьшался, чтобы вскоре захлопнуться

западней. Она знала, ее конец близился скоро и неумолимо, и думала только: за что? Что она сделала не так, против бога и совести, почему такая кара обрушилась на нее, на людей? Почему в эту и без того трудную жизнь вторглись эти пришельцы и все перевернули вверх дном, лишив человека даже маленькой надежды на будущее?!

Почему и за что, непрестанно спрашивала она себя, не находя ответа, и мысли ее обращались вспять, в глубину прожитого. За стеной во дворе понемногу утихало, переставали топать грубые солдатские сапоги, временами доносились немецкие фразы, но она не слушала эти постылые чужие слова, душевно успокаиваясь, он уже видела другое время и слышала в нем другие голоса людей, сопровождавших ее всю жизнь. Может, только в них и было теперь утешение, если в этом мире еще оставалось место для какого-нибудь утешения...

12

На хуторе в тот день не обедали: Степанида ждала из школы детей. Петрока с утра не было дома — на рассвете повез с мужиками самообложение на станцию, вернуться должен был ночью. Как раз сделалось очень скользко — дня три до того была оттепель, на дворе все плыло, с неба сеялся мелкий дождик, а утром ударил мороз, — поле, дорога, деревья покрылись ледяной коркой; один сук на липе не выдержал, обломился и обледенелыми ветвями завис над снегом. Сквозь оттаявшее окно Степанида увидела за этим суком человека в поле, который то быстро бежал по дороге из Выселок, то приостанавливался и ровно скользил по санной колее, размахивая длинными рукавами зипуна. Когда человек перебежал большак и направился к хутору, Степанида признала в нем выселковского подростка Потапку. Потапка — переросток, в школу зимой он не ходил: не было обувки — и целыми днями сидел на скамейке в хате, половину которой занимал сельсовет, всегда, разинув рот, слушал, о чем говорили мужчины. Если случалась надобность кого-либо позвать, сельсоветский председатель, одноглазый Левон Богатька посылал Потапку. Подросток не слишком охотно, но шел или бежал, куда посылали, и, вернувшись, снова присаживался у порога, полный внимания ко всему, о чем говорили старшие.

Недолго поглядев в окно, Степанида отставила в угол

прялку, поправила платок. Было уже ясно, что Потапка бежит на хутор не так себе, что у него какая-то надобность. Последнее время в Выселках едва ли не каждый вечер собирались сходки, с крещения деревенские активисты и приезжие уполномоченные из района старались сагитировать мужиков в колхоз. Да впустую. Позавчера просидели всю ночь, спорили и ругались, разошлись, когда уже занялся рассвет, а в колхоз записалось всего шесть хозяйств.

Глядя на Потапку, Степанида подумала, что, верно, и теперь тот бежит оповестить о собрании. Значит, ликбеза сегодня не будет. Она немного пожалела об этом, потому что сегодня, как никогда раньше, удачно исписала страничку в тетрадке, и слова, может быть, первый раз за зиму, получились довольно аккуратные, почти все ровненькие, вероятно, в школе ее похвалили бы. Прошлый раз учительница упрекнула за небрежность — было темновато, писала, когда улеглись дети, в коптилке кончался керосин, а Петрок все ворчал за печью, что не вовремя пристрастилась к грамоте, надо ложиться спать. Теперь же, оставшись одна в хате, она села за прибранный стол и неторопливо вывела: «Мы строим машины, мы строим колхозы». Но, пожалуй, сегодня занятий не будет.

Тем временем в сенях стукнула дверь, и, не отряхивая ног, в хату ввалился Потапка — рослый бледнолицый подросток, подпоясанный веревкой по заплатанному, с чужого плеча зипуну. Не поздоровавшись, прежде шморгнул раза два покрасневшим простуженным носом и прогугнявил:

— Тетка, там Левон кличет.

— А что, сходка?

— Не, не сходка. Комбед будет.

— Теперь?

— Ну.

— Соберусь, приду, — сказала Степанида, слегка озадаченная этим сообщением. С осени комбед не собирался, говорили, что будут выбирать новый. Но вот, видно, нашлась какая-то надобность в старом.

Потап еще раз шморгнул носом, поправил на голове перекрученную овчинную шапку и вылез в дверь. Прежде чем закрыть ее, стукнул о порог каблуками больших сапог, и Степанида узнала — это были Левоновы сапоги. Сам Левон теперь, наверно, подальше залез за стол в сельсовете, подобрав под скамейку ноги, чтобы никто из приходящих не увидел председателя босым. Но

с обувью и на хуторе было не лучше, просто беда с этой обувью: ни себе, ни детям ни купить, ни сшить. На всю семью одни заплатанные валенки, которые сегодня утром надел в дорогу Петрок, и ей теперь приходилось обувать лапти-чуни. Правда, о себе она не слишком заботилась, шла же не в церковь, а коли уж заседание комитета бедноты, то чего там стесняться. Лишь бы тепло было ногам.

Она быстро собралась, надела поновее шерстяную юбку, завязала свежий, белый в крапинку платочек, аккуратнее перевязала на ногах лапти. Ни к чему стараться над нарядом: не молодая, хотя здоровьем бог не обидел, все же сорок лет — бабий век, не то что двадцать. Сняла с гвоздя у порога главное свое убранство — украшенный спереди вышивкой, хотя и не новый, но аккуратный и теплый полушубочек, пригодный на любой выход. Хату она не закрывала, скоро должны были вернуться из школы дети, может, она еще встретит их по дороге. Школа была недалеко, все в тех же Выселках, куда вела узенькая санная дорожка от хутора. Степанида шла и поглядывала вперед, не покажутся ли ее двое малых: Фенечка ходила в третий класс, а Федя во второй. Но детей не было видно, а дорога была очень скользкая, просто стекло. Чтобы не упасть, Степанида то и дело смотрела под ноги, ступала осторожно и озабоченно думала: что еще будет там, на комбеде?

Но если звали, то что-то, наверно, будет.

Вчера ночью, под утро, в непроглядном табачном дыму сельсоветской хаты завязалось такое, что, почувствовала она, добром-миром не кончится, обязательно что-нибудь случится. Началось все с напряженной настороженности и мужиков, и уполномоченного, и сельсоветского председателя Левона, пока выбирали президиум, голосовали, утверждали порядок дня — один и тот же теперь с рождества, — в хате накапливалось, зрело что-то тревожное и даже угрожающее. Когда заговорил уполномоченный из района Космачев, все уронили головы, попрятали глаза, слушали и молчали. Космачев говорил складно, больше упирал на политику и приводил пример, как хорошо зажили колхозники в какой-то деревне под Лепелем: второй год большие урожаи, строят клуб, на поле работает два трактора, приобрели молотилку, жнейки. Довольно им, выселковцам, держаться за узкие шнурки-наделы, влачить бедняцкое существование, раз своя, Советская власть предоставляет такие возможности, идет на-

встречу беднякам и сознательным середнякам тоже. Вся страна дружно становится на рельсы коллективизации, так к лицу ли им отставать? Космачев говорил рассудительно, взывал к сознательности середняка, который должен выступать в союзе с бедняком против кулаков и подкулачников. Слова подбирал умные, хорошие слова и сам выглядел умным, рассудительным человеком. Он и в самом деле был неглупым руководителем: перед тем как начал работать в районе, несколько лет преподавал историю в школе и, говорили, был толковым учителем. Ему верили. Но одной только веры для выселковцев оказалось мало, нужен был свой наглядный пример. А такого примера, который можно было бы увидеть, поблизости как раз и не было.

Рядом с Космачевым, тяжело навалившись грудью на стол, сидел Левон Богатька с узенькой черной повязкой наискосок через лоб. Левон был свой, выселковский мужик, многодетный, малоземельный и, как она с Петроком, наделенный по бедности двумя десятинами яхимовщинской земли. Глаз Левон потерял на войне, где-то под Вислой, когда схватился на саблях с двумя польскими уланами. Там ему сильно досталось, едва очухался в госпитале и вернулся домой инвалидом — с покалеченной ногой, без глаза и без двух пальцев на правой руке. Складно говорить Левон не умел нисколько, обычно его речь походила на перекатывание валунов в поле, и в делах он больше брал характером, упрямым и неуступчивым. После выступления Космачева кое-как, с большим недобором рук проголосовали за организацию колхоза, а как дело дошло до записи, все остановилось. Левон тогда неуклюже, в кожухе поднялся за столом над вконец закоптевшей лампой и сказал, подняв руку:

— Если так, я первый. Пускай! И вызываю последовать Богатька Степаниду.

Мужики будто онемели.

Это было уже что-то новое. В прошлые разы Левон также записывался первым, но следовать примеру не призывал, за ним записывались Степанида, Антось Недосека, демобилизованный красноармеец, безземельный Василь Гончарик, и на этом наступал перерыв. Больше никто не записывался, сидели молча, курили. Снова выступал уполномоченный, матерно ругался Левон за несознательность, и опять понапрасну.

Теперь Степанида встала со скамейки под стеной и сказала, что согласна вступить в колхоз.

— А кого вызываешь последовать примеру? — напряженно уставился на нее одним глазом Левон.

Степанида слегка смешалась. Однако, пока стояла возле скамейки над согнутыми спинами мужиков и оглядывала их вскудлаченные, седые, лысоватые затылки, ссутуленные годами, трудом и этой неожиданной заботой плечи в кожушках, поддевках, заплатанных армячках, сообразила: вызвать надо того, кто точно запишется и также вызовет кого-то подходящего для примера. Сначала она хотела назвать Корнилу, который теперь сидел через три человека от нее, тот как раз и глянул в ее сторону как-то боком из-за косматого воротника кожуха, но в этом его взгляде она не увидела поддержки, скорее страх, недоброжелательность, и смешалась.

— Ну, вызываю Ладимира Богатьку, — сказала она погодя, даже не обдумав, хорошо это будет или не очень.

Ладимир был человек не самый бедный в деревне, но и не богатый, земли имел, может, на какую десятину больше, чем она с Петроком, с его младшей дочерью Анютой Степанида ходила на ликбез и сидела за одним столом в школе.

Высокий, худощавый, в коротковатой поддевке, Ладимир поднялся со скамьи, дрожащей рукой потрогал усы. С большой неохотой, словно больной, выцедил из себя что-то, что товарищи из президиума поняли как согласие вступить. Потом он с таким же едва преодолеваемым напряжением думал, кого вызвать последовать примеру, и назвал Недосеку Антося. Молодой еще, живой и подвижный Антось тут же согласился и вызвал соседа через улицу Ивана Гужова, которого в деревне звали просто Гужом.

Как-то пошло, тронулось, подумала Степанида и даже порадовалась, что Левон придумал такой удачный способ двинуть колхозное дело. Ведь это так просто: один за другим, цепочкой; по примеру активиста, соседа, свояка. Все же так веселее и надежнее, не то что вылезать одному с мучительной мыслью: а вдруг другие не захотят, не поддержат и ты окажешься выскочкой и дураком, потому что вряд ли выгадаешь, если поступишь наперекор всей деревне. Все же дело это хотя и заманчивое, если посмотреть вообще, хотя и государственное, умными людьми придуманное, но ведь новое, в здешних местах не виданное, никем не испытанное; кто знает, чем оно обернется. Может, где и обернулось добром, но ведь там и земля, может быть, лучше здешних песков, суглинка и болот, и люди, наверно, более прилежные, не такие, как

в Выселках. Кого ни возьми, так если не лодырь, то немощный, а то вот жадный не в меру, то сварливый, нехозяйственный или слишком тупой. Если они и к единоличному хозяйству малоспособные, то какими будут в колхозе? За себя Степанида не очень боялась, она как все, а если шла добровольно первой, так, верно, потому, что в случае неудачи теряла немного — была беднячкой и полною мерой познала нужду на двух десятинах суглинка за большаком под оврагом. С нее уже хватит. Хватит того, что она шесть лет, не щадя себя, надрывалась в батрачках у пана Яхимовского. А что заработала? Хорошо, ей дали хату да две десятины. Как бы жила иначе? С Петроком, таким же, как она, батраком, да двумя нажитыми детьми.

В тот вечер в сельсоветской хате Степанида воспрянула духом: наконец тронулось, пошло, будет колхоз, чего уж цепляться за беспросветную нищету, не пора ли довериться новому? Тем более что советуют умные люди. Она уважала умных людей, особенно тех, которые были из города, из рабочего класса, понимала, уж они на плохое подбивать не станут. Хорошо, что и Петрок особенно не возражал, хотя на собрания ходить перестал, посылал ее и беззлобно ворчал по утрам, когда собирался на ток или к скотине. Но что знал Петрок, который поучился когда-то две зимы в школе, только и умел расписаться, да и то вспотеет, бывало, пока выведет на бумаге нехитрую свою фамилию. Однако порадовалась она раньше времени, хотя давно знала, добром это не кончается. Старый Гуж вызов Недосеки не принял, записаться в колхоз отказался. Так много обещавшая цепочка внезапно порвалась.

Снова выступал Космачев, стучал кулаком по столу Левон, взывал к сознательности, собрание загомонило не в лад и без смысла, в людях словно прорвалось что-то недоброе. Ладимир затеял ссору с Корнилой, едва не подрались. А старый, обросший клочковатой щетиной Гуж сидел, будто перед смертью, прямой и молчаливый, крепко сжав губы, и смотрел в угол, где когда-то висели иконы, а теперь, прибитый по уголкам гвоздями, едва светился сквозь табачный дым бумажный портрет Карла Маркса. Так ничего больше и не удалось. На рассвете по одному разошлись.

Еще с улицы в Выселках Степанида увидела на сельсоветском дворе буланого коника под пестрой попоной, запряженного в аккуратный зеленый возок, и догадалась,

что это приехал Новик. С начала зимы тот ездил в этом ладном возке, потому что еще летом перебрался в город и стал работать в окружкоме. Быстро пошел в гору этот выселковский Богатька, который, став начальником, прежде всего сменил фамилию на Новика, прежняя ему чем-то претила. Он и в детстве был парень смышленый, неплохо учился в школе, а потом на учителя в Витебске, но учителем работать не захотел, подался в руководители. Этот не Космачев, подумала Степанида, поворачивая к сельсовету, этот всех здесь видит насквозь. И не смотри, что местный, а с людьми ведет себя строго, по-начальнически, принципиальный, деловой, говорят, шибко партийный. А вообще-то, думала Степанида, может, теперь таким и следует быть, потому что со здешними людьми иначе нельзя. Если они еще что и признают, так это твердую над собой руку, строгость.

Сельсоветская хата стояла подле самой улицы в середине деревни — длинная низковатая постройка под дранкой с выцветшим полотнищем лозунга через стену, на котором белыми буквами выведено: «Теснее смычку города с деревней!» Сеней при хате не было, открыв двери, вошедший сразу попадал в большое пустоватое помещение, где когда-то с большой семьей жил ныне высланный псаломщик Конон, а теперь квартировала больная Колонденчиха с сыном, на вид не то парнем, не то подростком Потапом. Возле порога Степанида слегка отряхнула лапти и открыла дверь, откуда ее обдало теплом нагретой печки, а низом из-под ног шугануло в избу облако стужи. Она торопливо закрыла дверь и остановилась, стараясь прежде всего рассмотреть присутствующих. У стен на скамьях сидели несколько мужчин, под потолком плавали-вихрились сизые космы табачного дыма. Громкий разговор мужчин разом прервался.

— Вот и Богатька, — сказал из-за стола Левон и умолк.

Она поздоровалась и присела на конце скамейки возле дверей, знала, спрашивать нечего, сейчас и без того все прояснится. Она только сдержанно взглянула на озабоченное, даже чем-то угнетенное лицо председателя, который сидел над какой-то бумагой, перевела взгляд на ладную, подтянутую фигуру Новика, подпоясанную широким военным ремнем по защитного цвета френчу, его щегольские, с высокими голенищами сапоги, в которых он энергично вышагивал между окном и печуркой и, видимо, говорил что-то важное перед ее приходом. Черный

жесткий чуб его то и дело спадал на лоб, и Новик, энергично встряхивая головой, откидывал его назад. Возле порога ковырялся в печке Потапка — совал в топку толстые смолистые поленья, пламя от которых приятно гудело в когда-то побеленной, но порядком-таки обшарпанной крестьянскими спинами печке. Рядом со скамьи за ним внимательно наблюдал Недосека, который, как и Степанида, был членом комитета бедноты. Облезлый заплатанный кожушок на нем был широко распахнут, в хате вообще было тепло.

Помолчав, Новик твердо ступил по полу три шага и решительно повернулся к столу.

— Я уже сказал: главная опасность на данном этапе — это правый уклон. Нельзя допустить, чтобы темпы коллективизации замедлились. Тем более сорвались. А у вас именно так: срыв! Головотяпство! Восемь собраний, и не можете организовать колхоз. Мягкотелость и попустительство классовому врагу. Товарищ председатель, скольких вы раскулачили? — Новик вдруг живо повернулся на каблуках и оказался перед Левоном. Тот недоуменно поднял свое большое одноглазое лицо с синим шрамом на левой щеке.

— А кого раскулачивать? Голытьба.

— Ах, голытьба? Так почему же твоя голытьба бойкотирует колхозное строительство?

— А потому, что боится. Не знает. Как будет в колхозе, не знает. Не шуточки...

— Как будет, партия сказала. В решениях съезда Советов написано. Или вы не разъясняли?

— Мы разъясняли. Сознательная часть крестьян — за. Но сознательных мало.

— Сознательных мало? — подхватил Новик. — Прежде всего самим надо стать сознательными. А то вы сами — вы же заражены душком уклонизма. Я вот гляжу, частнособственнические тенденции для вас важнее, чем решения партии.

Новик злился, это было видно по его нервным движениям, походке, по тому, как он часто останавливался и бросал Левону обидные слова обвинений. Но и Левона, видно, доняло: покалеченное лицо его багровело все больше, единственный глаз под косматой бровью наливался внутренним гневом, и он не выдержал:

— Ты уклонизмом меня не кори! Я не меньше твоего болею за колхозы. Я кровь проливал за новую жизнь. Тебе хорошо ездить, требовать! А вот сядь на мое место,

убеди! Чтобы согласились по своей охоте. Чтобы без нагана, как у некоторых...

Наверно, Новик понял, что так получится не разговор, а ссора, да еще при людях. Он помолчал немного и сел у края стола.

— Ладно. Я вас научу, — сказал он спокойнее. — Где комбед?

— Вот Богатька Степанида, сейчас придет Гончарик. Семена не будет, повез зерно на станцию, — преодолевая возбуждение, тише ответил Левон.

— Ну что ж, будет полномочно. Сельсовет, комбед, представитель окружкома — будет полномочно. Надо решать. Открывай совместное заседание.

— Это... Совместное заседание считается открытым, — проворчал Левон и смолк.

— Вопрос один: отпор саботажникам колхозного движения, — подсказал Новик. — Пунктом первым предлагаю: раскулачить Гужова Ивана. Как кулацкого подпевалу и саботажника.

Новик решительно пристукнул по ободранной столешнице, взглянул на Степаниду, потом продолжительным взглядом остановился на лице Левона. Левон навалился грудью на стол и затих.

— А по какой статье? — спросил он, помолчав. — У него земли четыре десятины. Самый середняк.

— Знаю, — сказал Новик. — Его надел рядом с нашим. Земли немного, согласен. Но саботажник, сорвал собрание. Срывщик, значит. Когда упрется, ничем не сдвинешь. Уж я его знаю...

Степанида молчала — к такому повороту дела она была не готова. В ее глазах Гуж ничем не отличался от прочих: был не богаче других, разве что проявлял больше усердия в работе, к тому же имел двух сыновей, работников в самой силе, а три мужика в хозяйстве — это тебе не три бабы. Ворочают, ого! Но почему раскулачивать?

— Так он же других не подбивал. Он сам не пошел, при чем же здесь срывщик? Или саботажник? — напряженно рассуждал за столом Левон, перекладывая с места на место бумагу.

— Как вы не понимаете?! — резко повернулся к нему Новик. — Его не сдвинете — не сдвинутся и остальные. На него в деревне всегда оглядывались — авторитет! Вот мы и ударим по этому авторитету! Тогда запоют иначе. Побоятся.

— А хиба это правильно? — набравшись духу, сказа-

ла Степанида. — Раскулачивать, которые кулаки. А Гуж — середняк. Нет, я не согласная.

— Ну и руководство! Ну и актив! — возмутился Новик и вскочил от стола. — Головотяпы вы! Он ведь хуже любого мироеда. Он саботажник! Срывает коллективизацию в Выселках. А Выселки срывают темп в районе. Район — срывщик в округе, вы понимаете, что это такое? За это по головке нас не погладят. И нас и вас!

— Как хотите, а несправедливо это, — не соглашалась Степанида. В горле у нее перехватило, и она уже готова была не сдаваться, но Новик вдруг встрепенулся и закричал, будто она оскорбила его:

— Какая справедливость, тетка! У вас мракобесие в голове, отсталое представление о какой-то неклассовой справедливости! А мы должны руководствоваться единственно классовой справедливостью: никакой пощады врагу! Тот, кто стоит у нас на пути, — враг, и мы ему ломаем хребет. Иначе нам не видать новой жизни. Нас самих сотрут в порошок. У вас капитулянтские правоуклонистские взгляды, которые надо беспощадно искоренять!

Степанида молчала, подумав, может, и так, может, этот Новик и прав. Конечно, он умный, образованный, не то что она — ходит во второй класс ликбеза. Но Степанида как представила себе это раскулачивание, так ей стало муторно. Что было делать?

— Как я скажу нашим деревенским? — мучительно ерзал за столом Левон. — Что саботажник? Поймут разве? Нет, не поймут. Потому что и сам не понимаю, — говорил он, все перекладывая на столе бумажку — то ближе, то дальше, то по одну сторону от себя, то по другую.

В это время размашисто растворилась дверь и с улицы в хату вскочил рослый парень в шинели с яркими малиновыми петлицами на воротнике, снял с головы островерхий шлем с широкой звездой спереди. Выглядел он усталым, запыхавшимся, видно, от спешки, а глаза светились живостью и удовлетворением от переполнявшей его молодой силы, нерастраченной душевной щедрости.

— Опаздываешь, Гончарик, — мрачно упрекнул Левон. — Давно ждем...

— Только прибежал из местечка, мать говорит: комбед.

Василь Гончарик сначала поздоровался за руку с Новиком, потом с Левоном, Недосекой, тронул плечо Потапа, пожал холодноватыми пальцами руку Степаниде.

— Я возле вас, тетка.

— Садись, — слегка подвинулась Степанида. Ей было не до Гончарика — большая тревога охватила ее душу.

— О чем разговор? — спросил Гончарик, все еще усмехаясь, с симпатичными ямочками на раскрасневшихся щеках. Он только осенью вернулся из армии, отслужив действительную на Дальнем Востоке, теперь собирался жениться. На его вопрос никто не ответил, все озабоченно насупились, и он, что-то почувствовав, также согнал с лица милую усмешку. Степанида шепнула:

— Гужа раскулачивать...

— Вон что!

— Да, раскулачивать! — снова вскричал Новик. — И нечего рассусоливать. Колхоз под угрозой срыва. А Гуж... Наемный труд был? — вдруг спросил Новик и насторожился в ожидании ответа.

— Какой там наемный! — сказал, будто отмахнулся, Левон.

Но в это время у печки зашевелился на скамье Антось Недосека.

— А это... Как тристен ставил. Нанимал, ага. Из Загрязья. Еще за деньги ругались.

— Видишь?! — оживился Новик, пригнувшись перед Левоном. — Было?

— Так мало ли... Строил тристен! Оно, если так...

— Не так, все правильно. Наемная рабочая сила — первый признак эксплуататора. Это неважно, что мало земли.

— И это... Жать помогали, — обрадовавшись своей сообразительности, продолжал Недосека. — Нанимал или за так, не знаю. Но помогали. Портнова дочка Маруся жала.

— Тем более! — Новик сел на прежнее место у стола. — Все ясно. Давай ставь на голосование.

Степанида так заволновалась, что не замечала, как уже который раз расстегнула полушубок и снова начала застегивать его. Понимала, Новик говорил правильно: этот Гуж уперся, не сдвинуть, а на него оглядываются другие, может, и была наемная сила — на стройке или в жатву, но все же... Нет, не могла она переступить через свою жалость даже ради громадных классовых интересов. И не знала, что делать.

— Что ж, — понурившись, пробурчал за столом Левон. — Если так, проголосуем. Кто, значит, чтобы не раскулачивать, оставить...

— Не так! — спохватился Новик. — Неправильно! Кто за то, чтобы Гужова Ивана раскулачить, поднять руки, — объявил он и высоко поднял свою руку.

Возле печки охотно поднял руку Антось. (Потап Колонденок, стоя на коленях у топки, оглянулся с раскрытым ртом, как на что-то очень любопытное, смотрел на голосование.) Степанида, пряча глаза, скосила взгляд в сторону стола, чтобы увидеть, как поступит Левон. Тот, однако, еще больше навалился грудью на стол, а руки не поднял.

— Два всего, — недовольно сказал Новик и опустил руку. — Кто против раскулачивания?

Не поднимая головы от стола, двинул в воздухе кистью Левон, и Степанида также немного приподняла руку.

— Два на два, значит! — разочарованно объявил Новик. — Дела! А ты, Гончарик? — вдруг уставился он в Василя, и Степанида сообразила, что парень не голосовал ни в первый, ни во второй раз.

— Я воздержался, — просто сказал Василь.

— Как это воздержался? — встрепенулся Новик и вскочил со скамьи. — Как это воздержался? Ты комсомолец, демобилизованный красноармеец? Собираешься служить в красной милиции и воздерживаешься от острой классовой борьбы? Так что же ты, сознательно играешь на руку классовому врагу? — гневно кричал он, все ближе подступая к Василю. Тот беспомощно заморгал красивыми, словно у девушки, глазами.

— А если я не разобрался!

— Разбирайся! Дело коллективизации под угрозой срыва. А он не разобрался! Три минуты тебе на размышление, и чтобы определился: кто? За колхозную политику или против колхозной политики? Определи свое политическое лицо.

Степанида поняла: сейчас что-то решится. От Василева голоса будет зависеть судьба Гужовых, а может, и всего их колхоза.

Действительно, Василь думал не более трех минут, что-то прикидывал, нагнув лицо к полу, и его пальцы на колене в синем галифе легонько подрагивали. Новик, стоя напротив, ждал.

— Ну?

— Так, хорошо. Я — за, — решил Гончарик и выпрямился.

Новик круто повернулся к Левону.

— Все! Принято! Большинством голосов. Оформить в протокол. Гужов Иван подлежит раскулачиванию.

13

Если бы дано было человеку хоть немного заглянуть вперед, увидеть уготованное ему, но пока скрытое за пластами времени, то, что со всей очевидностью откроется в наплыве грядущих дней. Где там! Не может человек узнать ничего из своего будущего и, бывает, радуется тому, что вскоре обернется причиной горя, а то горько плачет над тем, что потом вызовет разве что усмешку.

Степанида в тот вечер все же не миновала ликбеза и хотя не похвалилась аккуратно написанными строчками (не было времени бежать за тетрадкой на хутор), зато хорошо прочитала заданное, только один раз сбившись на слове, которое теперь чаще других звучало в людских устах. «Коллективизация, — поправила Роза Яковлевна, их учительница на ликбезе, и повторила: — Коллективизация! Запомните все, как правильно произносится это слово».

Уж, конечно, запомнила она и все другие, кто был в тот вечер в нетопленой школе — парни да мужики, что собрались на ликбез, и среди них только две женщины, Степанида Богатька и Анна Богатька, или, как ее звали в деревне, Анюта. Нет, не родня, чужие, просто в Выселках полдеревни были Богатьки, а другая половина Недосеки, Гужовы, небольшая семья Гончариков. К полуночи, когда окончились занятия, они вдвоем вышли из школы и неторопливо пошли в конец Выселок.

Анюта весь вечер была невеселой и, читая, делала ошибки. Степанида даже подсказывала ей дважды: «Да працы усе, хто чуе сілу, пад сцяг чырвоны, вольны сцяг», — а та все равно не могла запомнить. Что-то происходило с ней непонятное. Правда, Степанида не имела такой привычки — лезть с расспросами в чужую душу, хватало собственных забот. Однако Анюта сама не удержалась:

— Знаешь, теточка, радость же у меня. А вот нерадостно.

— Отчего же нерадостно, когда радость? — удивилась Степанида.

Они шли узкой, укатанной санями улицей, вверху над крышами глядела всем своим круглым ликом луна, густо роились звезды, крепкий мороз пощипывал щеки. Степа-

нида спрятала пальцы в рукава кожушка, сцепив на животе руки. Но было очень скользко, шли мелкими неверными шажками. Чтобы не упасть. Анюта взяла Степаниду за локоть.

— Договорились с Василем Гончариком на Восьмое марта пожениться. Вчера приходил к нам, с батькой советовался.

— Ну, так в чем же дело?! — сказала Степанида. — Вася — парень хороший. Говорят, милиционером будет работать?

— Будет, ага. Он такой умный, ласковый...

— Любишь его?

— Ой, теточка, не знаю как! Уж очень люблю.

— Ну и хорошо. Чего же печалиться. Радоваться надо.

— Так я бы и радовалась. Но венчаться не хочет.

— Не беда, что не хочет! Теперь ведь устраивают комсомольские свадьбы, без попа. В сельсовете запишутся, повыступают, и все.

— Так я ничего... Но отец! — вздохнула Анюта. — Отец не хочет так, без попа. Говорит, несчастливо выйдет. А я же не хочу, чтоб несчастливо. Я ведь столько счастья желаю ему, если бы ты только знала, теточка...

— Ай, не слушай ты, Анюта. От попа счастья немного. Раньше, бывало, все в церкви венчались, но разве все счастливо жили? О-ей! А теперь что там отец! Как вы захотите, так и будет.

— Оно так. Но все же...

Анюта смолкла, отдавшись своей печали, и Степанида подумала: как не ко времени! Еще не вышла замуж, а уже печаль-кручина, уже сохнет девка. Конечно, Анюта не из тех невест, которым лишь бы повернуть по-своему, лишь бы окрутить жениха. Ей еще надо, чтобы и другим возле нее было хорошо, чтобы отец с матерью были довольны, чтобы все обошлось достойно. Но разве Гончарик согласится венчаться в церкви или, как прежде, справлять свадьбу со сватами и сватьями, шаферами, дружками, выпивкой и целованием? Верно же, не к лицу комсомольцу такое.

— Теточка, может, ты пришла бы как-нибудь, попросила отца. Он ведь тебя послушает, — вдруг остановилась Анюта. В ее тоненьком голосе было столько печали и одновременно столько надежды, что Степанида быстренько согласилась:

— Ну хорошо. Скажи когда...

У околицы они разошлись. Анюта повернула на стежку к своему двору, а Степанида пошла по дороге дальше — с пригорка вниз, через большак, к хутору. Она думала, что независимо от ее разговора с Ладимиром будет так, как решат молодые. Теперь наступает их время. Это не то что при старом режиме, когда без родителей молодые не могли решить ничего, а родители твердо держались давних, дедовских законов, нарушать которые никто не отваживался. Но прежнее рушилось до основания, к добру или нет, кто знает. Может, и пожалеют потом, но нынче ходу назад не было — только вперед и вперед, как поется в песне.

Вокруг расстилалась притуманенная белизна поля, небо полнилось сияющим миганием звезд, видно было далеко — широкий снежный простор с большаком, ровной чертой прорезавшим ее путь. В дали этого простора у мрачной стены приовражных зарослей на Голгофе темнели постройки ее Яхимовщины, хутора, ставшего ее судьбой. И кто бы мог думать? Когда-то молодой девушкой она пошла туда наниматься на жатву к неизвестному хозяину, в незнакомую усадьбу, а теперь вот бежит туда как в свое единственное пристанище. Вот как повернулась жизнь. Как в сказке! Степанида не цеплялась за старое — в старом у нее вряд ли нашлось бы полгода сносной человеческой жизни, всегда давила работа, а еще раньше сиротство, нищета и бесправие. Сколько лет пробатрачила она у пана Жулеги и старого шляхтича Яхимовского, трудилась на чужой земле, потому как своей не имела. Кто хоть раз попробовал хлеба из милости, из чужих рук, тот до конца своих дней не забудет, что такое чужая земля. Правда, после революции все круто изменилось, повернулось к таким, как она, другой стороной: Жулега убежал в Варшаву, завершил свой путь на земле старик Яхимовский, и она с Петроком получила от новой власти две десятины хуторской земли. Сначала зажили, и неплохо, вволю наелись своего, а не панского хлеба, обзавелись скотиной, лошадью. Петрок, который в неимущей отцовской семье был ненанятым батраком, так отдался хозяйничанию на своей земле, что она испугалась за его здоровье. Но своя земля требовала, и он усердствовал в любой работе: пахал, мельчил комья, удобрял каждый клочок почвы, потом сам косил, свозил и снова пахал, сеял, бороновал. Их молодая кобылка пала первой же весной, это было большое горе, которым они нагоревались вдосталь, пока не нажили но-

вую лошадь. Но тут свалилась беда на Петрока. Когда родилась Феня, Степанида не убереглась со здоровьем, и он вынужден был один и жать и косить, тянул за двоих и надорвался. Как-то возил с поймы сено, на краю оврага телега подвернулась, Петрок подставил плечо и сломал ключицу. Два месяца пролежал в больнице, едва выходили доктора. А на поле яровые перестояли, осенью нажали копны две ячменя, едва семена вернули. Тот год выдался голодноватым, хлеба хватило до пасхи, хорошо, что спасла картошка. Были и еще скупые на хлеб годы, когда то вымачивало, то засушивало, а то не хватало семян, навоза, скотины. Однако Петрок не сдавался, работал как проклятый, односельчане из Выселок нередко посмеивались над ним, и действительно — выкладывался днем и ночью, а результат был ничтожный. Но он все не мог нахозяйствоваться вволю, исхудал, даже высох, хрипло дышал, но ворочал, позже всех ложился и раньше вставал. Сам себе хозяин, какой уход, такой и умолот, что заслужишь, то и получишь, любил он повторять, когда она уговаривала его повременить, отдохнуть, поберечься. Степанида же после ряда неудач в этом бесконечном поединке с землей сказала себе: нет, так не разбогатеешь, потеряешь здоровье и раньше времени переселишься на деревенское кладбище, в сосны. Колхоз так колхоз, сказала она себе, как бы там ни было, а хуже не будет. Как все, так и мы, авось не пропадем и в колхозе. А Петроку даже будет полезно, может, лишний год проживет на этом неласковом свете.

Вдалеке под лесом замигал красный огонек в окне, она подумала, значит, приехал Петрок, и порадовалась молодой бабьей радостью тому, что вся семья собралась, окончились дневные хлопоты, теперь до завтра душа будет спокойна. Приспешив шаг, она перебежала большак и по узкой дорожке дошла до хутора. На белом от лунного света дворе стояли сани с остатками сена, лошадь была уже досмотрена и кормилась в хлеву. Может, Петрок разжился керосином, подумала Степанида, в коптилке-то его оставалось совсем немного — на один вечер, не больше. Еще наказывала утром спросить насчет сапог у одного знакомого сапожника на станции. На сапоги, конечно, было маловато денег, всего десять рублей, но вдруг бы и договорился, пообещав какую баранью лопатку, фунта два масла или еще что, как-нибудь уплатили бы. А то одними валенками двоим не обойтись: когда кто наденет, другому сиди дома, никуда не высунься. А вы-

сунуться бывает надо, как вот сегодня, да и каждый день так: не то, так другое, все зовут, обязывают, надо идти-бежать — в Выселки, в сельсовет, а то и в местечко, в район.

Сени были не заперты, она переступила порог и, защепив двери, вошла в хату. Сразу поняла, дети уже спят, в дымноватых сумерках хаты было тихо и тепло, сильно воняло керосином и табачным дымом, на конце стола мигала коптилка, и Петрок в ее свете перебирал какие-то бумаги, наверно, квитанции, выверял платежи: что уплатил, что просрочили, сколько наросло пени и что осталось.

— Давно приехал? — вполголоса спросила Степанида.

— А недавно.

— Ел что?

— Ели тут. Картоплю.

Она начала раздеваться, повесила на гвоздь кожушок, сняла с головы теплый платок.

— Ну, как коммуна? — спросил от коптилки Петрок. — Сорганизовали уже?

— Постановили Гужа раскулачить, — сказала она с другом. — Приезжал Новик. Как саботажника и что наемная сила была.

Петрок поднял от коптилки немолодое, сморщенное, заросшее щетиной лицо и внимательно поглядел на нее. В его глазах сначала отразилось тревожное удивление, которое вскоре уступило место горечи невеселого размышления.

— Что творится на свете! — медленно сказал Петрок. — Наемная сила! Какая наемная сила?

— А такая, — сказала она. — Помогали ставить тристен. Нанимал. И на уборке тоже.

— Бога на вас нет! — вздохнул Петрок. — Наемная сила!.. Тогда и у председателя Левона тоже была наемная сила. Как молотили. Вон, Ладимировы мальцы помогали. С такой рукой, что он, и цепом не ударит. Так и его раскулачить?

— Тут, видишь, еще саботаж,— сказала Степанида. — Позавчера это ведь он на собрании уперся и сорвал колхоз.

Она присела на низкую скамеечку и начала разматывать веревки, снимать свои обледенелые за дорогу лапти. Петрок же все не мог успокоиться за столом.

— Коли уж до таких дошла очередь, так что же по-

том будет? Кого же вы через год-два будете раскулачивать?

— А тогда, может, все в колхоз повступают.

— Может, и повступают. Но как с классовой борьбой? Классовая ж борьба не отменяется?

— Может, и отменят. Когда врагов не станет. Много ты знаешь! — оборвала его Степанида.

В самом деле, что он знал, этот темный мужик, который даже не ходил на собрания, редко когда брал в руки газету, никогда не разговаривал с начальством! Только вот берется путано судить обо всем, руководствуясь своим скудным мужицким умишком.

— Что-то все у нас не так, как у людей, — тем временем размышлял Петрок, глядя на вздрагивающий огонек коптилки. — Вон на станции говорил с одним мужиком откуда-то из-под Улы. У них ничего. Тихо. Никого не раскулачили.

— Подожди, доберутся. В глуши, может, живут. За болотом где.

— Может, и за болотом. А у нас?..

— А у нас вот у района под носом. Да и из округа не минуют, при дороге ведь. Оно и хорошо, что при дороге, в том тоже выгода, — сказала Степанида и вспомнила: — Керосину купил?

— Дали. Одну литру. На пай. Много ее хватит, этой литры?

— Ну, сколько хватит. А там подвезут. Дорога же установилась. А про сапоги спрашивал?

— Сапоги? — как-то испуганно глянул на нее Петрок, будто только сейчас вспомнив про сапоги. — Сапог нет, — сказал он и встал из-за стола, малорослый, худой, со впалой грудью старик. Да, старик, потому как совсем состарился в свои пятьдесят лет. Петрок отодвинул подстилку в запечье и что-то взял с кровати, на которой они спали. — Вот вместо сапог.

— Что это?

Она недоуменно взяла из его рук какой-то аккуратненький черный футлярчик, будто легонькую детскую игрушку, и не сразу сообразила, что это и зачем понадобилось ему.

— Скрипка! — сказал Петрок.

— Сдурел ты!

— Можа, и сдурел.

— Это же дорого, верно? — испугалась Степанида, —

Вот, ходить не в чем. У Федьки башмаки развалились, а он скрипку? Она же больших денег стоит. Поди, всю десятку отдал?

Петрок неловко потоптался возле нее, взял футляр и, бережно касаясь его заскорузлыми пальцами, раздвинул защелки. Трепетно, будто ребенка, вынул оттуда красную блестящую скрипочку с черной декой и красиво изогнутыми вырезами по бокам.

— Ты же хотела, — виновато напомнил Петрок.

— Когда это я хотела? Когда молодая была, детей не имела. А теперь... Ну, ты сдурел! Во что теперь обуться, хоть босая ходи, а он скрипку! Когда ты на ней играть будешь — зима кончается, сеять скоро...

— Да уж, видно, отсеялся, — понурившись, сказал Петрок и отчужденно отошел, сел на лавку. Мимолетная приподнятость в настроении окончательно оставила его. На столе рядом с футляром лежала не тронутая смычком скрипка. — Червонец заплатил, еще два должен. На слово дал. Еврей один на станции.

Степанида всплеснула руками.

— Три червонца, ая-ёй! Ну, ты с ума спятил! Ошалел на старости лет. Мы же за страховку еще не рассчитались. Налог только за тот год выплатили, а уже новый прислали. Пеня по недоимке набежала. Обуть нечего на ноги. Керосина нет. Сахара с осени ни кусочка, а Фенечка без сладкого не ест ничего. Чтобы хоть булку какую купить, а то скрипку! И за такие деньги! Где ты теперь возьмешь те червонцы? Кто тебе даст?

— В коммуне заработаем.

Степанида злилась, едва не плакала. Что он говорит, этот безумный человек, зачем ему скрипка? В такое время? Когда-то научился немного водить смычком, однажды на ярмарке в местечке попросил у какого-то цыгана немного поиграть, она стояла рядом и похвалила, так он загорелся: куплю! И вот нашел время и деньги, купил, но не на радость, скорее на горе. Зачем ей эта скрипка? До скрипки ли теперь, когда не сегодня, так завтра придется свести в колхоз лошадь, ссыпать семена, отдать сбрую, сани, телегу, перестроить всю жизнь на новый, незнакомый и неминуемый лад. До музыки ли теперь?

Жизнь так переиначилась, все на глазах меняется. Что осталось от того времени, когда оба они были молодыми, с мужицкой силой в руках и страстной надеждой на будущее?..

14

Очень нелегкой выдалась та памятная, теперь уж такая далекая весна, принесшая людям столько тревог в их и без того трудной жизни. Только окончилась долгая мучительная война, в деревни, в местечки, на хутора понемногу возвращались молодые мужики и парни, гордые своими победами над белыми, немцами, поляками, в островерхих буденовских шлемах, разбитых ботинках с обмотками, с тощими вещмешками на плечах, но с огромной надеждой на новую, отвоеванную у старого режима жизнь. Предстояло браться за землю, пахать и сеять, чтобы было что есть на следующий год. Земля ждала работников и будто даже готовилась к своему извечному делу — родить людям хлеб. С благовещенья дружно пригрело солнце, за неделю согнало снег, стало тепло и почти сухо в поле. На вербное воскресенье Степанида с Петроком собрались в церковь и немного повздорили с утра, решая, одеваться или идти налегке, как летом. Петрок пригрелся на солнце, ему было жарко в сатиновой рубашке, и Степанида едва заставила его накинуть на плечи поддевку. Слегка осерчав друг на друга и примолкнув, они вышли из истопки, чтобы стежкой через озимые направиться в местечко. Старик Яхимовский стоял на дворе возле завалинки, сутулый, сгорбленный, в своем черном кафтане с густым рядом аккуратно застегнутых пуговиц, опирался на фасонную, с перламутровым украшением палку и несколько странно, вроде как с завистью смотрел им вслед выцветшими старческими глазами. Как раз за неделю до того он пустил их на хутор, потому что в Петроковой семье на Выселках им уже стало невмочь, Степанида сразу не поладила со свекровью и накануне попросилась у пана Яхимовского в истопку, все равно она уже хозяйничала на усадьбе, а новый батрак Петрок будет ей в помощь, куда же деваться им без хаты, без своей земли и хозяйства. Раньше с весны отправлялся Петрок по фольваркам батрачить, теперь же неизвестно было, какие где будут заработки. Степанида ласково так попросила, и, наверно, учтя ее четырехлетнюю преданность хутору, Яхимовский согласился, сказал: живите, места хватит, истопка теплая. Тем более весна на дворе.

Весна в самом деле быстро набирала силу, на косогорах и межах напористо пробивалась к солнцу молодая травка, парни и девушки в Выселках посбрасывали с ног лапти и стали ходить босиком — теперь до покрова. По-

сле благовещенья несколько дней и ночей подряд над Голгофой и хутором слышалось радостно-тревожное курлыканье журавлей — длинные, не очень стройные клинья их обессиленно тянулись в ветреном небе на север. На пойме в Бараньем Логу уже появился длинноногий облезлый аист; степенно прохаживался по болоту, задумчиво высматривая лягушек. Однажды солнечным утром над озимью посыпались с неба знакомые трели жаворонка, и Степанида, управляясь на дворе со скотиной, радостно встрепенулась от этой песни, от весны, от внезапного ощущения близкого счастья.

Шла первая весна их совместной с Петроком жизни, пускай не на своей земле, в чужой хате, зато в любви, мире и согласии. Она уже ходила с зарождающейся жизнью под сердцем, временами слышала ее трепетание, и мысли ее устремлялись в будущее, туда, где их уже будет трое. Невидимый жавороночек затронул в ней что-то очень созвучное этой весенней песне, на какое-то время Степанида всецело отдалась ей, вслушиваясь в разноголосие и других птиц и одновременно в звучание струн собственной души. Однако это длилось недолго. В тот же день к вечеру подул пронизывающий северный ветер, из-за оврага надвинулась серая обложная туча, сильно похолодало, и к ночи с неба посыпал снег. В природе все вдруг изменилось, застыло, слегка припорошенное снегом, стало серым, от весны не осталось и следа. В истопке было по-зимнему холодно, согреть ее нельзя: печка-каменка когда-то топилась по-черному, а дым выходил в оконце под потолком, которое теперь было заделано досками. На ночь Степанида принесла в чугунке углей из хаты, тем немного согрелись, и она все думала: а как же те жаворонки в поле? Пения их она больше так и не услышала, из заснеженного гнезда на старом клене в Выселках жалобно торчали головы аиста и аистихи с длинными клювами, ночью ударил крепкий морозец, тонким льдом покрылись лужи, несколько ночей, не стихая, завывал по углам ветер. Со дня на день люди ожидали потепления, но тщетно; снег, правда, долго не лежал, растаял, но потом повалил опять вперемежку с дождем, все вокруг раскисло; над полями дул промозглый северный ветер. Во двор было не выйти, люди выскакивали из хат, только чтобы досмотреть скотину, и снова спешили в хату, укрыться в тепле и ждать.

Однажды, когда Степанида вышла в сени, чтобы натолочь свиньям картошки, а Петрок занимался в истоп-

ке разборкой хозяйской упряжи, во дворе послышались голоса незнакомых людей. Бросив толкач, она приоткрыла дверь, к которой уже направлялись от калитки трое мужчин. В переднем, усмешистом усатом мужике в военном картузе она признала Цыпрукова, служащего волостного комитета, другой, бедно одетый в армячок, был выселковский комсомолец Гришка, а третий, он нес под мышкой желтую картонную папку с завязками, был ей незнаком, может, кто из уезда или даже выше. Мужчины поздоровались, и Цыпруков спросил, дома ли Адольф Яхимовский.

— Пане Адоля! — позвала она, приоткрыв дверь в хату, чтобы хозяин вышел навстречу гостям, но те сами, не ожидая приглашения, двинулись к двери. Она осталась там, где стояла, в сенях, над казаном с вареной картошкой, но не могла не слышать, о чем разговаривали в хате. Петрок также высунулся из истопки, затаив дыхание оба прислушались.

Впрочем, скоро все стало понятно — приезжие описывали хутор. Прежде всего начали с земли, проверили по документам хуторские наделы, межи, выясняли, сколько и чем засеяно, что в аренде. Справлялись о батраках и арендаторах и все записывали в картонную папку.

Адольф Яхимовский происходил из какого-то древнего шляхетского рода, некогда слывшего богатым, но постепенно обедневшего, сошедшего клином на нет, как говорил Яхимовский. Как-то, будучи в хорошем настроении, он показывал Степаниде старые пожелтевшие бумаги с гербами и обкрошенными красными печатями, в которых были описаны владения яхимовских предков и тут, и в других местах. Его дед имел фольварки под Дриссой, в Подсвилье и еще где-то, но этот хуторок оказался последним пристанищем обедневшего рода, и, хотя Адольф старался изо всех сил, чтобы сохранить если не былое богатство, так хотя бы остаток былого достоинства, это ему едва ли удавалось. Двое его сыновей, родившихся на хуторе, отцу помогали мало, повзрослев, оба подались в город, кажется, в Вильно и только изредка летом наведывались на хутор недели на две, не больше. Как началась война с немцами и Вильно оказался по ту сторону фронта, от сыновей не было никаких известий, пан Адольф не любил говорить об этом, но Степанида знала, это его последняя надежда. Не дождавшись весточки от сыновей, умерла старая Адолиха, домашнее хозяйство и скотина держались на Степаниде. часть земли

Яхимовский сдавал в аренду — с половины или как договорятся, — на остальную нанимал на сезон батраков. Был он человек молчаливый, спокойный, за что больше всего и почитала его Степанида. Хотя временами этот ее хуторской хлеб был не сладок, знала, легче не найти. Теперь же, заслышав тот разговор в хате и кое-что поняв, она вдруг ощутила себя на крутом повороте жизни, только не могла еще сообразить, в какую сторону тот поворот — к лучшему или худшему. Но что настал час перемен, это было ясно.

Сделав все, что надо было в хате, мужчины вышли во двор осмотреть хозяйство. Пан Адольф с ними не вышел, понурый, остался, как был, у стола на скамейке, и она пошла показывать начальникам зерно в амбаре, хлев, двух лошадей, подсвинков. Гости считали и все записывали на бумагу — и зерно в засеках, и лен под навесом, и скотину, — и она спросила у Цыпрукова, зачем они так проверяют. Цыпруков объяснил, что это экспроприация — имущество эксплуататоров теперь переходит во владение народа. Степанида не могла всего понять, хотя догадывалась, и с маленькой затаенной надеждой спросила: «А земля как?» И Цыпруков сказал, что землю разделят между безземельными и батраками и чтобы Петрок завтра с утра пришел в волисполком, где все и решится.

Помнится, она затряслась как в испуге от этой ошеломляющей новости и, когда мужчины пошли со двора, долго не могла отважиться сказать о ней Петроку. Она готова была плясать от радости: это же подумать, они заимеют землю — без денег, без ссоры, без судов и прошений, — получат, и все. По праву экспроприации.

Когда она сказала об этом Петроку на дровокольне, тот выпустил из рук полено и сел мимо колоды — просто шлепнулся в грязь. Тотчас же подхватился, начал чистить штаны, а она засмеялась счастливо и радостно, однако, заметив, как вдруг изменилось растерянное выражение лица мужа на почти испуганное, она оглянулась. Сзади стоял пан Адольф со своей неизменной палкой в руках.

— Радуетесь? Шчястья вам?!

Не успели они сообразить, что случилось, как он повернулся и пошел к крыльцу. Его согнутые ревматизмом ноги мелко тряслись в коленях.

С этой минуты Степанида не знала, как держать себя и что думать, Радость ее омрачилась, стало неловко, буд-

то ее поймали на чем-то запретном, и она понимала, что виновата. Пусть в мыслях и надеждах, но она позарилась на чужое, чего не позволяла себе за все годы службы в Яхимовщине, где изо всех сил, через нужду и бедность берегла свою честь, старалась, чтобы никто, никогда и ни в чем не упрекнул ее. А ведь она могла бы и взять, не спрашивая, в ее руках было многое, считай, все хозяйство, но, если что было надо, она обращалась к хозяину и не помнила случая, чтобы тот отказал ей. Он был неплохой человек, пан Адоля, ценил в ней старательную работницу и еще больше уважал за добросовестность в отношении к его хозяйству. Теперь же все эти перемены взбудоражили ее совесть. Как быть? Как жить, если не взять, отказаться от земли? А если взять, то как смотреть в глаза ее хозяину?

Бессонная ночь, наступившая после того злополучного дня, была полна размышлений, тревог, колебаний. Оба они с Петроком намучились в истопке, и нашептались, и намолчались, но так и не придумали, чем успокоить совесть. Утром же надо было идти в Выселки, в волисполком. И тогда Петрок уже на рассвете свесил с кровати босые ноги и, еще раз подумав, решил:

— Не пойду. Ну ее...

Степанида выскочила из-под одеяла.

— Как не пойдешь? Как же тогда?

— Не пойду, и все. Не могу я...

Нет, на это она не могла согласиться, утром она почувствовала себя увереннеи, ведь их уже не двое в семье, а почти трое, и, значит, у нее два голоса, ее и дитя, против одного нерешительного голоса Петрока. Пока тот собирался к скотине, она отругала его, даже немного всплакнула, но делать было нечего, быстренько собралась сама и побежала через поле в Выселки.

Из огромного хуторского надела им вырезали две десятины за усадьбой, остальная земля отошла другим беднякам и безземельным, которых с избытком для одной экспроприации набралось в Выселках. На раздел Степанида не пошла, все же вытолкала туда Петрока, а сама ожидала во дворе за тыном, все приглядываясь к группке мужчин, что сновали с саженью в поле, мерили, считали. В окне временами мелькала длинная, во всем черном тень Яхимовского и выглядывало его изможденное лицо, и тогда Степанида пряталась за угол или шла на дровокольню; было неловко, почти мучительно оттого, что на все это глядел прежний хозяин хутора. По-

следние дни он почти не показывался из хаты и не разговаривал с ними, он сидел там обиженным сиднем, кажется, потеряв интерес не только к хозяйству, но и к жизни вообще. Она и Петрок также не трогали его, ни о чем не спрашивали и по-прежнему ничего у него не брали, обходились своим. Хозяйство на хуторе уменьшилось, в конюшне осталась только молодая кобылка, коня забрали в волость, в хлеву оставили одну корову, поросят отвезли в местечко, в столовую. Остальное — упряжь, кое-какой инвентарь, домашняя утварь — было как бы ничье. Степанида с Петроком хотели бы обойтись своим. Но это не всегда получалось, иногда приходилось обращаться к хозяйскому: то ведро, то сено корове, то начать новый бурт картошки, когда прежний кончался. В таких случаях Степанида открывала дверь в хату и спрашивала пана Адолю, который в наброшенной на костлявые плечи жилетке сидел на аккуратно застланной одеялом кровати, поставив худые ноги в носках на облезлый, некогда крашенный пол. Не поднимая голой, без единого волоска головы, он коротко бросал ей:

— Берите. Теперь же все ваше.

Она поворачивалась и выходила из хаты, успев, однако, заметить на уголке стола не тронутую им еду — миску остывшей картошки, кувшин молока и два ломтя хлеба, которые приносили утром. Похоже, старик совсем перестал есть.

Ей было жаль его, и эта жалость сильно омрачала их большую радость начала хозяйствования на собственной земле, счастливое сознание того, что вороная кобылка теперь принадлежит им, так же как и пегая покладистая корова, не очень, правда, молодая, зато молочная. Впереди была вольная жизнь со множеством забот, тяжелым трудом, но без принуждения, жизнь, где все, плохое и хорошее, будет зависеть только от них двоих и ни от кого более. Это было счастье, возносившее их под самое небо, удача, которую можно было разве что увидеть во сне.

Как-то она не выдержала и вечером, управившись со скотиной, сказала Петроку, что надо поговорить с Яхимовским, что так нехорошо получается, они ведь столько прожили совместно в добре и согласии, а теперь... Опять же надо сказать, что тут нет их вины, что так повернула власть, что хотя те две десятины им дали, но они ведь их не просили. Взяли — правда, но, если бы не взяли они, так отдали бы другим, мало ли голытьбы на

свете. Надо было как-то поддобриться к Яхимовскому, чтобы не таил зла, а жить — пусть живет в хате, они перебьются в истопке, пока не наживут как-нибудь свою хату. Как встанут на ноги. Она же будет присматривать за стариком, неужто за его добро и ласку она не отблагодарит его на его же земле!

Петрок покряхтел, чувствуя неловкость, но вынужден был пойти в хату, и она стала прислушиваться из сеней. Но разве этот Петрок мог что-нибудь сделать как надо. Начал издалека, и они долго говорили о разном: вспоминали жизнь за царем, порядки в местечке, разные случаи в лесу, на охоте. Не вытерпев, Степанида вытерла фартуком руки и также ступила через порог. Видимо, что-то почувствовав в этом ее приходе, пан Адоля поднялся, надел свой черный кафтан, застегнул его на весь ряд пуговиц. Она присела на лавку возле порога, а он, кряхтя, уселся в старосветское кресло против большого тусклого зеркала в простенке.

— Простите нас, пане Адоля, — сказала Степанида, когда он, расправив полы кафтана, вытянул на коленях худые длинные руки.

— Пан Езус простит, — сказал Яхимовский и строго поглядел на порог.

— Вы же знаете, мы не сами. Разве мы просили? Нам дали.

— Но вы же не отказались...

— Как же было отказаться, пане Адоля? Отдали бы еще кому. Вон Гончарикам ничего не досталось.

Кажется, она сказала удачно. Яхимовский минуту молчал, наверное, не зная, как отвечать ей. Только потом произнес твердо:

— Грех зариться на чужое.

«Какое же это мне чужое», — невольно подумалось Степаниде.

Она примолкла у порога, а он задумчиво кивал голой и желтой, как кость, головой и размышлял о чем-то или молча про себя упрекал их. Эти его слова — не о себе, а о них — отозвались тревогой в душе Степаниды.

— Но ничего не сделаешь, — сказал он погодя. — Я совсем не желаю вам зла. Пусть Езус, Мария помогут вам...

— Спасибо на том, — сказала Степанида почти растроганно. — А мы, пан Адоля, за вами присмотрим.

Это было главное — чтобы он не затаил обиду на них, не пожелал худого, с остальным они бы как-нибудь

сладили. У них была лошадь, было хозяйство, в амбаре оставили им семян, чтобы засеять яровыми две десятины, может, останется еще и ячменя на крупу или гороха на суп. Картошки в хозяйстве хватало, было две кадки сала — с осени берегли для батраков в сезон полевых работ, теперь батраков больше не будет. Они бы его прокормили, этого старика, бог с ним! Разве они хотели ему плохого?

Капризная, с холодами весна затянулась почти до пасхи, и только после нее нерешительно, запоздало начало теплеть. На юрьев день стало совсем тепло, и, встав раненько, Степанида с Петроком по стародавнему обычаю пошли в хлев. В прежние времена в этот день выгоняли скотину на пастьбу, но теперь выгонять было некуда, кроме сухой серой травы, свинухи, на пастбищах еще ничего не выросло. Петрок стоял в дверях, а Степанида огарком припасенной с громниц обходной свечи натерла корове подгрудок — от злого духа и чтобы весь год была молочной, а Петрок зажег пучок сухой евангельской травки, старательно окурил хлев, стойла коровы и лошади — так издавна было заведено на хуторе. К полудню еще потеплело. Прибрав в хате, Степанида достала освященные ветки вербы, завязала в платок кусок прибереженного с пасхи кулича. Надев что почище, они отправились на смотрины поля, которое с утра влажно парило под ласковым солнцем — ждало плуга.

Начали осмотр с озимых у сосняка, где ярко зеленела всходами продолговатая нивка ржи. Петрок шел впереди и сдержанно усмехался в коротко подстриженные усы. Был он тогда уже не молод, хотя еще и не стар: сорок лет — не срок для мужчины. А усмехался все от той же неожиданной радости: шел на хутор, считай, батраком, а вот стал хозяином и теперь осматривает свои нивы и пажити. Конечно, он понимал, что с двух десятин не разбогатеешь, но все же прожить на своем хлебе можно. Немного опасался, как бы эта зима и особенно холодная затяжная весна не повредили озимым, но, кажется, худшее миновало — всходы оправились от холодов и ярко зеленели почти на всем поле. Только нижний конец его возле дороги был еще темноват, наверно, от долгой воды. Петрок сошел с межи и нагнулся, чтобы вырвать росток, посмотреть корень. Но эдва он протянул руку к бледному увядшему росточку, как среди слипшихся комьев земли разглядел и еще что-то серое, а пальцы его растерянно подняли с земли за растопырен-

ное крылышко маленькую серую птичку. Это был жаворонок, наверно, из тех несчастных, что обманулись первым дыханием весны и поплатились жизнью за свою преждевременную песню.

— Глянь, Степа...

Степанида подбежала к Петроку и растерянно приняла из его рук мертвую птичку, раскинутые крылья которой бессильно обвисали в воздухе, как и головка с маленьким разинутым клювом.

— Боже... Петрок! Кто же это?.. Это же плохо...

— Плохо?

— Ой, это к несчастью! Это же на беду нам, — готова была расплакаться Степанида.

Петрок был тоже неприятно поражен находкой, но старался казаться спокойным, не желая верить, что от этой пернатой малявки возможно какое несчастье людям.

— Ну, какая беда! Замерз просто. Такая стужа...

— Боже мой, боже мой! Зачем ты его трогал? Зачем ты его увидел? — причитала Степанида, сама не своя от столь явного предзнаменования беды.

Какое-то время они не знали, что делать, и, ошеломленные, стояли над маленькой мертвой птичкой с бледными, как ржаные ростки, скрюченными коготками. Степанида немного всплакнула, и Петрок не утешал ее, самому было не лучше. Жаворонка закопали под межой в ямке, рядом воткнули вербную ветку. Что делать с остальными вербинами, не знали, желание обносить ими озимь разом пропало, было не по себе и даже немного боязно неизвестно отчего. Подавленные, без прежнего интереса к полю, они обошли надел и скорым шагом повернули на хутор.

Если бы они знали, что их ждет дома, так, наверно, убежали бы отсюда куда-либо подальше, может, никогда бы и не вернулись обратно. Но великая сила — незнание, оно значит для человека не меньше, чем его самые верные знания и способность предвидеть будущее. Видно, незнание тоже охраняет, оберегает душу, давая человеку возможность жить.

На хуторе в истопке Степанида развязала платок с куличом, отрезала кусок и отнесла в хату пану Адольфу. Как ей показалось, тот спал за печью, потому что в хате его не было видно, и Степанида, положив кулич на тарелку, поставила ее на стол. В хате царила устоявшаяся тишина, но она не обратила на это внимания, вообще

она не имела обыкновения задерживаться здесь — сделает что или что-либо возьмет и в сени, зачем беспокоить старого человека. В истопке они съели остатки кулича с молоком, и Петрок вышел во двор. Им все же овладело весеннее беспокойство, надо было ладить плуг для борозды, под навесом он не мог отыскать валек, без которого невозможно было запрячь лошадь. Степанида же в большом чугуне начала забалтывать пойло корове, которая любила именно такое, слегка заболтанное мукой пойло и не хотела пить воду. Так она помешивала, присев над чугуном, когда в раскрытую дверь сеней, странно пошатнувшись, сунулся Петрок и сдавленно крикнул ей с беспокойством, даже испугом в голосе:

— Степанида!

Она не сразу вскочила, показалось, что Петроку стало плохо, он и впрямь очень побелел с лица, протянутые к ней руки недобро дрожали.

— Степанида!!!

Она бросилась к мужу, но тот отступил, подался обратно во двор, переводя ее внимание в другую сторону — к хлеву. Она бросила взгляд дальше и увидела, что амбарные двери настежь раскрыты, чего никогда не случалось прежде, всегда там громоздился черный ржавый замок, большой ключ от которого висел на гвозде в хате. Почуяв недоброе, она бегом бросилась к этим растворенным дверям и еще со двора в сумерках амбара увидела тусклую тень человека. Будто склонившись над закромами, неподвижно стоял на длинных, подогнутых в коленях ногах Адольф Яхимовский. Не своим голосом она крикнула: «Паночку Адоля!» — но тот не откликнулся. Тогда она вскочила в амбар и поняла все. Сверху от балки свисала туго натянутая веревка, желтая, как кость, голова Яхимовского вместе с шеей была неестественно свернута набок, руки упали вдоль обвисшего тела, одно плечо вздернулось вверх, и все туловище перекосилось. Она схватила его за костлявые под суконным кафтаном плечи, и тело грузно с усилием повернулось. Он висел так низко, что скрюченные ноги его в праздничных хромовых сапогах с шорохом черкнули по земляному полу. Не в лад со своим испугом Степанида подумала, что даже и здесь, чтобы повеситься, человеку не хватило места, так было низко и неудобно в этом амбаре.

Через два дня они с Петроком отвезли кое-как сколоченный из старых, неструганых досок гроб на католическое кладбище при костеле и закопали. Еще через день

из местечка приехал арендатор Мацкевич, который погрузил в пароконную фуру громоздкое дубовое кресло, часы в узком футляре и красивую, красного дерева конторку, сказал: за долг, который не уплатил ему Яхимовский. Степанида с Петроком не возражали, сказали: бери! Им оставалось больше — почти вся усадьба, две десятины земли, молодая кобылка, корова. Разве по тому времени этого было мало?

Несколько дней спустя они перетащили из истопки небогатые свои пожитки и стали жить в хате.

Старик Яхимовский начал понемногу забываться. Иногда вспоминался, но воспоминания о нем лишь омрачали душу, и они старались о нем не думать.

Это удавалось, тем более что бед и тревог хватало во все те трудные, неспокойные годы...

Озимые росли сами собой, забот о них было немного, но посеяно их было всего две нивки, а главную часть надела на пригорке надо было пахать под яровые. Оно ничего, конечно, как-нибудь бы вспахали, вот только самый верх пригорка с позапрошлого года оставался залежью, Яхимовский его не пахал: арендатор когда-то забросил, потому что земля там была не дай бог — камни, суглинок, который в засушливый год становился как скала. Яхимовский, разумеется, мог позволить себе десятину-другую бросить под залежь, у него хватало и лучшей земли, а каково было им? Весной засушило, дождей не было, но, когда потеплело, Петрок запряг в плуг молодую кобылу и поехал поднимать залежь.

Он бился там с утра до полудня. Степанида, занятая другими делами в усадьбе, ждала его обедать и не дождалась. Почувствовав недоброе, она бросила недоделанное на дворе и краем оврага помчалась на тот их злополучный надел.

Еще издали, от оврага, она увидела на пригорке мужа, который, почему-то оставив в борозде плуг, хлопотал возле кобылки, понуро стоявшей среди сухих стеблей прошлогоднего бурьяна с низко опущенной головой и мокрыми от пота боками. Степанида взбежала на узенькие вспаханные бороздки и ойкнула, поколов ноги о суглинок, который вперемежку с бурьяном и комьями сухого навоза, будто битый кирпич, краснел на пахоте. Неудивительно, что изнемогла кобылка, тут и старая хорошая лошадь, верно, надорвала бы жилы, потягав за собой плуг. Вороная их кобылка совсем потемнела от пота, ручьями стекавшего по ее выдававшимся ребрам, бо-

ка ее ходили ходуном от усталости, а голова опускалась все ниже к земле. Босой, в неподпоясанной самотканой сорочке, Петрок со взмокшими от пота плечами оглянулся на Степаниду и дернул за узду кобылку, та вдруг пошатнулась, задние ноги ее раскорячились, и она опустилась в постромках на жесткую пахоту.

— Ой, беда, что же делать? — сокрушался Петрок, пытаясь угрозами и лаской поднять кобылку, но все его усилия оставались напрасными. Вскоре не выдержали и передние ноги, кобылка вытянулась в упряжи, судорожно загребая копытами суглинок. Петрок испуганно бросился ее распрягать, но впопыхах не мог освободить от съехавшего на голову хомута, тогда Степанида сбросила с плуга валек, тем ослабив постромки. Она уже отчетливо сознавала, что в их только что начавшуюся самостоятельную жизнь вдруг ворвалась беда.

Так оно и случилось. Кобылка не поднялась больше, как они ни помогали ей, соблазняя сеном, травой, куском хлеба, принесенным Степанидой с хутора. Голова ее на худой длинной шее в конце концов тоже опустилась наземь, лишь глаза временами вращались в глазницах, будто умоляя людей о помощи. Но спасти ее было уже невозможно. Под вечер кобылка в последний раз напряглась и окончательно выпростала ноги.

— Вот и все! — вскрикнул Петрок. — Что теперь делать? Что делать?..

Степанида же будто окаменела с горя, уже хорошо представляя, что ожидает хозяйство без лошади да еще в такую пору, когда та была нужнее всего. Мокрый от пота Петрок растерянно постоял, потом молча сел и, закрыв руками лицо, заплакал. Степанида не утешала его, сама вытерла украдкой слезу и вспомнила недавние смотрины поля и замерзшего жавороночка под межой.

— Ее прокляли, гору эту. Не было земли, но и это не земля.

Понемногу Петрок успокоился, посидел еще и начал собираться домой. Надо было думать, как жить дальше.

Под вечер он пришел с хомутом на хутор, взял старую лопату и направился в Бараний Лог к хвойному пригорку, где обычно копали песок и зарывали павший в деревне скот. Там на окраине соснячка вырыл яму, затем привел из Выселок Ладимирова коня и отволок к ней кобылку. Степанида туда не пошла, она не могла смотреть на такое и все думала, как преодолеть эти напасти. Где взять лошадь, чтобы вспахать тот проклятый

пригорок? Не оставлять же его снова залежью, с чего тогда жить?

Петрок притащился поздно, скупо ответил на ее вопросы, похлебал супа и присел на пороге в сенях. Она пыталась что-то сказать, вызвать его на разговор, но ему было не до того, и она не стала надоедать, занялась своими делами. А потом и она прикорнула в запечье, а когда на рассвете проснулась, Петрока уже не было, куда-то пошел. Она подумала: наверно, в Выселки, надо же было добывать лошадь, заканчивать с тем пригорком. Другие уже отсеялись, а они не могли даже вспахать.

Но его не было и к завтраку. Встревожась, она взглянула через тын на пригорок и едва не заплакала, увидев там, далеко среди поля, одинокую фигуру мужа, который, мерно пошатываясь из стороны в сторону, ковырялся в земле. Она хотела побежать туда, но в печи уже варилась картошка, не годилось оставлять печь без присмотра. Однако четверть часа спустя она собрала кое-какой завтрак — миску картошки, кусок сала, хлеб, кувшин молока, — завязала платок и пошла на пригорок.

Петрок копал вручную, лопатой, ковырял, долбил, рубил проклятый суглинок, сквозь прошлогодний бурьян начавший зарастать молодым пыреем, и уже взрыхлил ладный клин с конца нивы. Взглянув на его лицо, Степанида едва узнала мужа, такой он сделался страшный, постаревший, с заросшими темной щетиной щеками. Плоская грудь его еще больше запала, плечи заострились от худобы, пропотевшая сорочка свободно болталась, как на колу, а в округлившихся страдальческих глазах тлел немой укор кому-то за все неудачи жизни.

— Петрок, что же ты делаешь?

— Что видишь, — глухим от усталости голосом ответил он, не прекращая работы.

— Разве так вскопаешь?

— А что же делать?

— Может, кто бы дал лошадь? Надо к людям сходить.

— Уж ходил. Кто даст лошадь гробить?

Она не настаивала больше, поняла, что вообще-то Петрок прав: в такую пору у кого допросишься лошадь, каждому она нужна самому; опять же кто решится отдать свою береженую в чужие руки да еще на такую земельку? Так что же остается, копать лопатами? Но иного выхода не было.

Помнится, она даже всплакнула тогда, живо представив себе крестьянскую долю без лошади. Петрок перестал копать, устало оперся о лопату.

— Что же делать? Жить надо... Как-нибудь...

Четыре дня с утра до ночи они в две лопаты долбили суглинок и все-таки одолели его. Правда, оба остались без сил, изнемогли до предела, но как-то все же взрыхлили, хотя и мелко, местами лишь поковыряв сверху лопатами. Работали все дни молча, переводя дыхание с лопатами в руках. Потом Петрок полдня разбивал крупные комья и вот однажды утром, взвалив на себя полмешка ячменя, взял плетенное из соломы лукошко. Посеял быстро, забороновать, правда, ему одолжил на полдня лошадь Левон, надел которого был по соседству, чуть ниже, земля там тоже была не дай бог никому, разве немного помягче, на супеси. Управились как раз в субботу, тихим погожим вечером, и Степанида думала немного дать отдохнуть одубевшим, в мозолях рукам. Но Петрок, посидев на завалинке, взял топор и куда-то пошел к оврагу. Она спросила, куда это, думала, может, за какой сухостиной для печи, потому как дров было мало, но он, так и не ответив, исчез за углом истопки.

Вернулся домой, когда она взялась доить корову, и сразу, не поужинав, повалился в запечье. Управясь с вечерними заботами по хозяйству, она пошла в хату, он уже сонно храпел, и Степанида не стала ни о чем спрашивать, тоже легла рядом.

Назавтра все повторилось — он исчез на рассвете, и она даже не знала куда. Но мало ли у мужика дел по весне, да еще при такой беде. Может, пошел в Выселки, думала она, снова насчет лошади, потому что надо было вывозить навоз под картошку, вспахать огород, сеять горох — работы на земле весной всегда прорва. Степанида привязала возле оврага корову и, возвращаясь к усадьбе, бросила взгляд на пригорок и опять содрогнулась от того, что увидела.

Как раз вставало утреннее солнце и тут же, над лесом, входило в низкую багровую тучу. В стороне от него на светлом закрайке неба темнела вдали человеческая фигура — кто-то, пригнувшись, будто боролся с непокорным столбом или деревом. Степанида уже поняла: это Петрок, но что он там делает?

Свернув со стежки, она бросилась напрямик к пригорку, исколов ноги в мелком суглинке засеянной нивы,

выбежала на свою полоску. Тут уже стало видать, как на самом высоком месте в конце их надела наклонно стоял огромный, сколоченный из бревна крест, который, упираясь в землю, поднимал над собой Петрок. Как только она подбежала ближе, он сдавленно крикнул ей: подмогни! Обеими руками она обхватила шершавый ствол молодого дубка, удерживая его нижний конец в глубоко вырытой яме, которую поспешно стал зарывать Петрок. Крест был сырой, стоило ей невзначай чуть наклонить его, как огромная тяжесть потянула ее в сторону, она было испугалась, но все-таки удержала, и Петрок забросал яму землей.

— Помоги, боже, не отступись от рабов твоих, — проговорил он, крестясь и утирая вспотевшее, изможденное за эти трудные дни лицо. Она также перекрестилась, подумав: а вдруг и в самом деле поможет? Отведет беду от этой их проклятой людьми и богом земли.

Крест простоял весну и лето на самой вершине пригорка, над оврагом и лесом, поодаль от дороги, и всякий, кто шел или ехал по большаку, видел этот знак человеческой беды. Тогда же кто-то из выселковцев назвал этот пригорок Голгофой, и с его легкой руки так и пошло: Голгофа, или гора Голгофа, или даже Петрокова Голгофа. Так продолжали называть и после того, как местечковые комсомольцы Копылов, Меерсон и Хвасько осенью повалили крест. Как-то зашли на хутор, попросили пилу, которую Петрок принес из истопки, а Степанида еще угостила их квасом — как раз настоялся, хороший был квас, — ребята пошутили, попили и пошли. Она думала, что они направятся к оврагу или в сторону леса, а они повернули по меже на пригорок и за каких-нибудь десять минут спилили крест. А потом, принеся пилу, прочитали им длинную нотацию о вреде религиозных верований. Петрок насупился, умолк и не спорил, а Степанида зло поругалась с ними, вспомнив, как весной, когда она с Петроком разбивалась на той Голгофе, им никто не собрался помочь, а теперь, как вырос ячмень, этим олухам, видишь ли, крест глаза колет. Но что ребятам слова, они посмеялись над ее темнотой и с сознанием исполненного долга пошли в местечко.

А название пригорка осталось и, верно, еще останется надолго, точно определяя невеселую сущность этого малопригодного для хлеборобства клочка земли, освященного слезами, трудом, многолетними крестьянскими муками.

15

Зима поворачивала на весну — кончились вьюги, днем потеплело, на солнечной стороне двора в полдень капало с крыши, хотя ночью еще жал крепкий морозец, даже потрескивало по углам. Утро начиналось широким, на полнеба разливом багряной зари, из-за леса в серой морозной дымке поднималось красное солнце, набиралось силы, и вскоре длиннющие тени от деревьев, пригорков, столбов полосовали все поле с осевшим после оттепелей, плотным, хрустящим снегом. В морозной утренней дали нежно просвечивала сероватая просинь леса, едва заметная пестрота перелесков, кустарников, а в поле вокруг все ярко сияло ослепительной, до рези в глазах белизной. Было нехолодно, по-праздничному нарядно и тихо.

Степанида, однако, мало любовалась красотой погожего зимнего утра, вряд ли даже замечала его, она завозилась у печи, не управилась со скотиной, сказала Петроку, что доделать — напоить овец, замесить курам, — а сама побежала через поле в Выселки.

В старых, залатанных валенках было нетрудно бежать по накатанной ледяной дороге, и она думала, что вернется теперь лишь в сумерки — настала самая горячка с колхозом, который все же организовали неделю назад. Сидели до утра, но все же добились — большая половина Выселок согласилась вступить. Новик по-своему был прав, когда говорил: раскулачишь одного — многие задумаются. Задумались, порассуждали и согласились. Теперь три дня подряд комиссия по обобществлению ходила по дворам, описывала семена, инвентарь, лошадей, упряжь. Обычно Степанида прибегала утречком в сельсовет, и оттуда их четыре человека шли по деревне, никого, не пропуская, в каждый двор — через женский плач, под напряженно озабоченные взгляды стариков, примолкшее внимание ребятишек, — брали все на учет. Было трудно, но надо было.

Она думала в тот день, что уже не застанет председателя в сельсовете, что, наверно, придется догонять комиссию где-то в деревне, и очень удивилась, когда, открыв дверь длинной, как коровник, псаломщиковой хаты, увидела всех на месте. Примолкнув, сидел за столом Левон, напротив коренастый мужик в черном полушубке, его сосед Корнила, которого также выбрали в комиссию по обобществлению; отвернувшись к окну, стоял в своей красноармейской шинели Вася Гончарик. Было

очень накурено, холодно, между мужчинами ощущалось какое-то напряжение, которое сразу уловила Степанида и сдержанно поздоровалась:

— День добрый.

— Добрый день, — ответил Корнила.

— Черта он добрый, — сказал Левон, поведя на нее одним глазом. — Поганый день, хуже некуда.

Степанида не поняла.

— А что? Погода хорошая.

— Слишком хорошая. Ранняя весна берется... Но... На вот прочитай.

Он протянул ей небольшой, уже изрядно помятый листок районной газеты «Чырвоны араты». Еще ничего не понимая, она с трудом начала читать рассыпанные по странице заголовки: «Выше знамя индустриализации», «На новые рельсы!», «План вывозки деловой древесины под угрозой срыва». На другой стороне был небольшой рисунок: красноармеец, широко расставив ноги, протыкает штыком толстого брюхатого буржуя с оскаленными зубами.

— Не туда глядишь, — сказал Корнила. — Вон, в самом углу.

Действительно, в уголке газеты не слишком большими буквами выделялся заголовочек: «В Слободских Выселках потворствуют классовому врагу — кулаку». Степанида впилась глазами в мелкие буквы заметки и, чуть шевеля губами, стала читать. В заметке говорилось, что в то время, как по всей стране идет острая борьба с кулаком как с классовым врагом, в Выселках эту борьбу игнорируют и раскулачили только одного врага, который имел наемную силу, Гужова Ивана. А наемную силу имели еще следующие хозяева: Богатька Корнила, который два лета нанимал беднячку Колонденок Фрузыну жать рожь, Прохориха, которая три года подряд нанимает пахать, жать и сеять, Богатька Ладимир, который нанимал молотить. Все это могут подтвердить свидетели. «Никакой пощады классовому врагу!» — таким призывом заканчивалась эта заметка. Подписана она была загадочно-просто: Грамотей.

Степанида сразу поняла, отчего пришли в уныние мужчины, особенно Корнила, да и сам председатель Левон. Ей тоже стало страшновато, и она хотела еще раз прочитать, убедиться, что все поняла правильно, но Корнила протянул руку за газетой.

— Ну, видела? Это я классовый враг!

— А я потворствую! — криво усмехнулся Левон.

Степанида присела на лавку, все-таки чего-то она не могла понять, хотя написанное в газете было правдой, но все же... Куда она вела, эта правда заметки, об этом страшно было подумать.

— И кто бы это был сволота?! — тремя пальцами изувеченной руки ударил по столу Левон.

— Я же тебе сказал кто! Его работа! — заметно нервничая, выпалил Корнила и встал. От окна обернулся Гончарик, статный в своей красноармейской форме, поверх которой висела на боку тяжелая кобура с наганом — особая примета его новой милицейской службы.

— Поеду в район. Я найду кто.

— Нечего искать, — стоял на своем Корнила. — Колонденок это, я вам говорю. Могу биться об заклад на что хочешь.

— Может, и Колонденок, — сказал Левон. — Он ведь у нас грамотей. Но не это главное.

— А что же еще главное? — горячился Корнила. — Написали поклеп, разве так можно?

— В том-то и дело, что не поклеп. Что правда! Нанимали же? Нанимали. Значит, наемная сила.

В хате все смолкли, нахмурились, глядя каждый перед собой. Что такое наемная сила и какие она имеет последствия, было всем хорошо известно. Степанида также молчала, хотя и понимала, что надобно что-то делать, кому-то пожаловаться, что ли? Правда, в глубине души она все еще не верила в худшее, потому что перечисленные в заметке люди хотя и нанимали помочь в хозяйстве, но какие же они враги? И не саботажники даже, потому что вместе со всеми вступили в колхоз, а Прохориха — просто старая бобылка, которая доживала свой век в трухлявой хате. Разве ей под силу самой засеять и убрать четыре десятины земли? Ну и нанимала со стороны обработать поле с половины или третьей части. Так какой же она классовый враг?

— А где Потап? — спросил Гончарик.

— Сбежал, щенок! Знает, поганец, что теперь ему лучше долой с глаз, — не унимался Корнила. Левон жадно затянулся последними затяжками с окурка и швырнул его на пол.

— А я-то ему угол дал! В сельсовет пустил... Подлец! Ну, подожди у меня!

— Что ты ему сделаешь? — спросил Корнила. — Не выгонишь же.

— За преследование селькора уголовная ответственность, — напомнил Гончарик.

— Какой он селькор?! Далеко еще ему до селькора. Однако вот накропал.

— За него ответственность. Только ему никакой ответственности! Наплел и с воза долой. А тут переживай. Бойся! Думай, что выйдет. Верно же, этим не кончится? — спросил Корнила.

— Верно, не кончится.

— Надо ехать в местечко, — сказал Левон и поднял изувеченное лицо на Гончарика. — Поедем вместе.

— А как же опись? — спросила Степанида. — Еще тот конец села остался. Или в другой раз?

— Нет, — сказал Левон. — Вы описывайте. А мы под вечер приедем.

— Ну, хорошо.

Медленно, в унылом раздумье Корнила прошелся по хате, остановился, что-то прикидывал и так и этак. Конечно, в такой момент любому было бы несладко, и Степанида посочувствовала ему. Корнила хотел было что-то сказать, надел на руки новые, сшитые из овчины рукавицы, снова снял их. Но, видно, передумал, махнул рукой и взялся за ручку двери. Степанида направилась за ним.

Так, молча, Корнила впереди, а Степанида сзади, они пошли улицей в дальний конец Выселок, что раскинулся за пригорком в низинке. Корнила долго молчал, широко ступая по обледенелому снегу в черных валенках. Валенки были еще новые, жесткие и казались тяжелыми в грубых, клеенных из толстой автомобильной резины галошах. Конечно, иногда он нанимал кого-нибудь в помощь, хотя и был небогат на землю, но в деревне слыл бережливым, расчетливым мужиком, любил мастерить по дереву и держал несколько колод пчел. Еще говорили о нем, что был скуп и не любил одалживать не только односельчанам, но даже и родственникам. От колхоза не отказывался, вступил вместе со всеми, и Левон хотел поставить его бригадиром, потому что Корнила хозяйствовать умел, не то что некоторые. Но вот эта статейка в газете...

— Вот говорят: руководители, руководители! — сказал он, обернувшись к Степаниде, и та, подбежав, пошла рядом. — А я тебе скажу: хуже своих, местных, нет никого. Никто тебе столько вреда не учинит, как твой сосед. От своих вся погибель.

— Може, и так, — согласилась Степанида. — Потому что близко, под боком.

— Под боком, все видит и заходится от зависти. Особенно если сам неудачник. Такой порадуется не когда сам коня купит, а когда у тебя конь сдохнет. Правда! Знаю я этих соседей. От них кусок хлеба надо, укрывшись армяком, есть. А то позавидуют. А зависть, она всегда кому-то боком вылазит. Я не кулак, не богатей. И земли немного. Но я работу люблю. И порядок. Не то что другой: кинул, бросил, пошел. Я если взялся, так доведу все до ладу. За землю я больше, чем за своего дитенка, болею. Весь надел на коленях выползаю, все комочки пальцами перетру. Я ржавую проволоку не обойду, подберу. А как же иначе в хозяйстве? Так, вишь, кому-то глаза колет.

— А неужто правда, что это Потап написал? — усомнилась Степанида.

— А то кто еще? Грамотей! Помнишь, как на Прокопиху показал? Про лен?

Это Степанида помнила хорошо. О том поступке Потапа Колонденка, может, с год толковали в Выселках, а то и во всем районе. Даже возникали споры: некоторые из молодых чуть не за грудки брались со старыми, поносившими парня. Некоторые ему завидовали, потому что про Колонденка написала газета, прославила на всю округу. Случилось это поздней осенью позапрошлого года, когда район оказался в прорыве по льнозаготовкам. Лен не уродил, не вырос, потому что с весны засушило, а сдавать было надо, и мужики сплошь стали недоимщиками. Из округа приехали сразу два уполномоченных и вместе с Левоном начали ходить по дворам, выбивать лен. Но что можно выбить, если все уже посдавали, себе не оставив ни стебелька; прялки и кросна в тот год стояли без дела. Чтобы как-то выползти с планом, раскручивали старые веревки, конские путы — все сдавали как волокно. У старой Прокопихи, конечно, не нашлось раскрутить даже подходящей веревки, уполномоченные лишь пожалели старую бобылку, которая все плакала и жалилась на судьбу, на старость и нездоровье. Но как только комиссия вышла из холодной нетопленой хаты во двор, Потапка Колонденок, который привык вертеться возле начальства, подошел к старшему уполномоченному, молодому мужчине в черном бобриковом пальто, и шепнул, что в хлеву у бабки припрятан лен. Сперва ему не поверили, но все же заглянули в пустой, с раскрыты-

ми воротами хлев, и Потапка, взобравшись на балку, вытащил откуда-то из-под крыши три мотка отличного льняного волокна. Это был саботаж, и хотя Прокопиха оправдывалась, что вконец обносилась, что это ей для исподнего на похороны, составили протокол и хотели судить. С судом, правда, обошлось, все же пожалели бабулю, а о классовой бдительности Потапа Колонденка с похвалой отозвалась районная газета «Чырвоны араты». Вот после этого случая Левон и пустил в сельсоветскую хату Колонденка с матерью, которые ютились до того в бане. Самого же Потапа в деревне стали называть Грамотеем — одни с похвалой и завистью, другие с насмешкой. Что же касается Потапа, так он, видно, понял это по-своему, и еще раза два в газете появлялись коротенькие заметки о выселковцах: одна о том, что в деревне хорошо работает ликбез, а другая — о важности сбора золы на удобрение.

Они подошли к скособоченной, под трухлявой крышей хатенке, Корнила потрогал закрытую изнутри калитку. Тут жил Богатька Борис, многодетный бедняк, который едва ли не последним на собрании записался в колхоз и сразу исчез из деревни. Говорили, куда-то съехал. Калитка никак не открывалась, тогда Корнила так тряхнул ее, что та едва не рухнула вместе со столбиками и раскрылась. Они оба вошли в замусоренный, порыжевший от помоев двор, в холодных сенях нашли дверь в хату.

— День добрый. Есть кто здесь? — подал голос Корнила.

Не сразу из-за печи показалась Лизавета, жена Бориса, с поспешно прикрытым какой-то дерюжкой ребеночком на руках, который испачканной мордашкой прижимался к тощей Лизаветиной груди. Покрасневшими, верно, от плача глазами Лизавета уставилась на вошедших.

— Лизаветка, мы описать, что в колхозе обобществлению подлежит, — стараясь как можно ласковее, сказала Степанида. Лизаветино лицо при этих словах вспыхнуло внезапным гневом.

— Описывать? Описывайте! Вот их описывайте! Маня, Тэкля, Ганули, сюда! Вот их берите, описывайте, кормите в своей коммуне...

Из-за печи к матери бросились две босоногие малышки в заношенных кафтанчиках, испуганно ухватились за грязную юбку. Стесняясь, вышла старшая Гануля и так-

же, поглядывая исподлобья, стала за матерью. Под печью, слышно было, испуганно кудахтали куры, чем-то воняло, и было очень неуютно в этой запущенной хате.

— Ладно, — сказал Корнила. — Ты нам спектакль тут не строй. Где Борис?

— А я знаю, где тот Борис? Мне не сказал. Если в колхоз записался, так его и описывайте. А я не пойду и корову не дам! Корова моя, в приданое батька выделил. Не имеете права отбирать.

— Да стихни ты, Лизавета! — разозлилась и Степанида. — Корову мы писать и не будем. Запишем только коня. Ну и упряжь. Семена тоже.

— А нету семян. И коня тоже нету.

— Как это нету? — насторожился Корнила. — Был же конь вороной.

— Был, да нету. Сплыл. Вот как!

— Сплавили? Продали?

— Хотя бы и продали, — вытерла слезы Лизавета. — А что ж, за так в коммуну отдавать? Или нам его кто даром дал? Деньги платили.

— Дурная ты, как рваный сапог! — сказал Корнила. — Вот и построй с такими колхоз! Сначала тебе бы ума набраться! Культуре какой научиться. Вот в хате не прибрано, дети мурзатые. Лентяйка ты, а молодая еще! Только малых рожать, больше ни на черта ты не годишься.

— Какая уж есть!

— Иди показывай, что где. Чтоб мы не тыкались, как злодеи.

— А я не буду ничего показывать. Сами смотрите.

Она начала кутать в дерюжку мало́го, и Корнила, не выдержав, плюнул под ноги.

— Ну, смотри, опишем. Потом не ропщи!

Вдвоем со Степанидой они снова вышли на загаженный вконец двор. Корнила осмотрелся.

— Где тут у них что? Там варовня, кажется?

Но не успели они повернуть к старому, с прогнившими углами строению, как с улицы послышался запыхавшийся детский голос:

— Дядька Корнила, папка сказал, чтоб вы в сельсовет шли.

Обвязанная под мышки платком, по ту сторону калитки стояла меньшая Левонова дочка Олечка. Взглянув на ее раскрасневшееся от бега лицо, Степанида поняла, что-то случилось.

— Чего ему так приспело? — насторожился Корнила.

— Ай, там приехал... Ну, из местечка дядька такой с черным воротником.

— Космачев?

— Ну. И еще другой с ним. Так папка сказал...

Корнила помрачнел с лица, о чем-то напряженно подумал и в сердцах грубо выругался:

— Едрит твою мать! Так я и знал!..

Больше он не сказал ничего, вразвалку припустил по обледенелой улице, и Степанида едва поспевала за ним. Поодаль бежала запыхавшаяся Олечка.

Возле сельсовета как будто все было по-прежнему, лошадей не было видно, может, стояли где во дворе? Напустив в хату стужи, они вошли вместе. Степанида не очень сноровисто закрыла за собой тяжелую дверь и посмотрела в угол. Там уже сидели двое: Космачев у окна и за столом под портретом Маркса незнакомый мужчина с твердым бритым лицом, в блестящей кожанке, наискосок от плеча перетянутой ремнем, — от нагана, что ли? Мужчина смотрел перед собой на сплетенные на столе руки, большими пальцами которых он как-то забавно вертел одним возле другого. Космачев в поддевке с черным воротником озабоченно поглядывал на порог; в простенке на скамье, наклонив голову и опершись локтями о колени, нервно дымил самосадом Левон. Рядом с ним сидел Вася Гончарик. Все угнетенно молчали, видно, переживая что-то, и эта их угнетенность сразу передалась вошедшим, которые, тихо поздоровавшись, сели на скамейку у порога.

— Собрание или что будет? — спросил погодя Корнила больше для того, чтобы нарушить неловкую тишину в хате.

— Раскулачивание! — буркнул Левон.

— Как? Уже раскулачили!

— Раскулачили, да не всех! — сорвавшимся на крик голосом выпалил Левон и отвернулся к окну. — Говорил же, одним не обойдется.

Космачев в конце стола повернулся боком, потом снова оперся локтем о стол, видно было, он также с трудом сдерживал волнение, хотя внешне старался выглядеть спокойным и, как всегда, рассудительным. Это ему удавалось плохо. Вдруг Левон безо всякой причины зло и скверно выругался, швырнул окурок на пол. Незнакомый мужчина, не поднимая головы от стола, исподлобья уста-

вился на него тяжелым пристальным взглядом, потом перевел взгляд на Космачева. В ответ тот повернулся к Левону и сказал с укором:

— В классовой борьбе надо уметь подняться над личным.

Снова наступила гнетущая тишина, казалось, никто в хате даже не дышит. Степанида заскорузлыми пальцами нервно теребила шов на поле кожушка и думала, что это какое-то недоразумение, что вот-вот все выяснится, беда пройдет стороной.

— Так кого же раскулачивать? — внутренне напрягшись, спросил в этой тишине Корнила. Левон с прытью отскочил от окна.

— А тех, кто наемным трудом пользовался! Что в газете протянуты! Усек? — крикнул он, и было непонятно, отчего он срывался — от злости на раскулачиваемых или от сочувствия к ним.

Корнила сжал широкие челюсти, медленно опустил голову. Посидев немного, встал и медленно, молча побрел к двери. Когда дверь за ним закрылась, Степаниду пронзило болью от мысли: что же это делается?

— Что, и его? — спросила она, обращаясь ко всем. Слегка дрогнувший голос ее напрягся от волнения.

— И его. И Ладимира. И Прохориху, — бросил Левон.

— Раскулачить?

— Неужто премировать?!

Лихорадочная дрожь охватила Степаниду, спина ее тотчас вспотела под кожушком, глаза застлало непроглядным туманом, минуту она не знала, что сказать им и что подумать самой. А они все тут — мужчина за столом, Космачев возле него, одноглазый Левон и даже Гончарик — смолкли в каком-то напряженном внимании, будто только и ждали, что скажет она. И она совсем не в лад со своими чувствами засмеялась натужным, неестественным смехом, которого сама испугалась, потому как почувствовала, что смех ее вот-вот нехорошо оборвется.

— Дурье вы! — вдруг перестав смеяться, крикнула она. — Олухи! Кого раскулачиваете? Тогда всех раскулачивайте! Всех до единого! И колхоза не надо будет. И никаких забот. Давайте всех! И меня тоже — батрачку пана Яхимовского. И его вон — безземельного Гончарика! Всех! До последнего!

Ее трясло как в лихорадке, мутным взглядом она обвела присутствующих в хате и думала, что те вот-вот

прозреют, поняв бессмысленность своих намерений, столь очевидную их несправедливость. Но все спокойно себе сидели, как пни на делянке.

— Тихо, тетка, — действительно очень спокойно сказал Космачев. — В политике нужна последовательность.

— Какая последовательность? — теряя самообладание, вскочила она со скамейки, больше всего задетая именно этим его спокойствием. — Какая последовательность? А справедливость не нужна? Вы, умные люди, разве не видите, что делается? Или вы сдурели там от науки, ничего не поймете!..

Она кричала сбивчиво и путано, перескакивая с обид на упреки, больше обращаясь, однако, к незнакомому мужчине в черной кожанке. Она хотела, чтобы он, посторонний здесь человек и, наверно, какой-то начальник, понял, что совершается несправедливость, и заступился. Она жаждала справедливости. Но в хате по-прежнему все молчали, молчал и этот мужчина, упрямо пряча глаза и даже не взглянув на нее. Тогда она закричала громче:

— Это же с ума сойти надо! Левон! Надо в Москву ехать, к самому Калинину. Ты же свой, местный, как же так можно! Надо жаловаться. Нельзя же так! Не по-человечески это.

— А ну тихо, тетка! — прикрикнул зло Космачев. — Товарищ Гончарик, чего стоите? Успокойте гражданку!

Вася обернулся от окна, и на его молодом краснощеком лице отразились такая мука и растерянность, что Степанида вдруг осеклась и погодя махнула рукой.

— К черту вас всех! Делайте что хотите! Но без меня!

Она повернулась и бросилась к двери, размашисто хлопнув ею снаружи. Дверь не закрылась, тогда, вздохнув, она вернулась и плотно прикрыла ее.

Степанида бежала утоптанной дорогой в свою Яхимовщину, и слезы лились по ее озябшим обветренным щекам, а внутри у нее все кричало, и она не знала, что делать. Только чувствовала с необычайной отчетливостью, что сейчас же надо что-то сделать, куда-то бежать, обратиться к кому-то. Но куда бежать и к кому обращаться?..

А может, к Новику? Все же свой, деревенский, теперь, говорят, немалый начальник. Ведь он в прошлый раз вел разговор об одном Гуже, не называя никого больше. Он ведь знает этих людей, какие же они кулаки? Пожаловаться, пусть отменит этот приказ на раскулачивание. Мало ли что написала газета? Посмотреть, кто написал в

нее — недоумок зеленый, кастрат несчастный, ни парень, ни девка, паскудство одно. Так его слушаться?

Степанида прибежала на хутор, заглянула в хлев, где обычно возился возле скотины Петрок, но Петрока там не было, не было и саней возле хлева. Уж не поехал ли он за дровами? Давно собирался, говорил: пока не отобрали коня, надо хоть навозить дров. Пускай возит. Она забежала в хату, в уголке сундука у нее была припрятана завязанная в носовой платок трешка. Приберегала на крайний случай, но, наверно, крайнего уже не будет. Подумав, прихватила еще корзинку, бросила туда свежий платок, отрезала ломоть хлеба. Не близкий свет Полоцк, когда доберешься до него? Но из местечка кто-то да поедет. Забежать к Лейбе, он извозчик, может, свезет. Не хватит денег, чтобы уплатить, попросит в долг, потом заплатит яйцами или чем-либо еще. Лейба был человек сговорчивый, мог и подождать до весны или до лета. Не ругался, не попрекал, как другие.

Было уже не рано, солнце осело в тучу на западе, мороз ослаб, ночью, похоже, повернет к оттепели. В ветвях лип насело воронья, драчливо возились там, каркали, наверно, действительно нахлынет оттепель или поднимется ветер.

Степанида спешила. Чтобы сберечь время, свернула с дороги на тропку через молодой соснячок, чем срезала лишних полкилометра пути. Тропка была не очень утоптанная — несколько пар ног прошло по снегу, — но теперь, после оттепелей и морозов, снег держал хорошо, только в самом соснячке был рыхловат, и она раза два провалилась. Стало жарко, она немного распустила платок возле шеи и, то и дело пригибая голову от колючих ветвей, пробиралась в чаще к большаку и думала: хотя бы застать Лейбу дома, а то, может, поехал куда, тогда придется или ночевать в местечке, или возвращаться на хутор.

Она уже готова была сбежать с пригорка на уезженный снег дороги, как в придорожных сосенках впереди мелькнули две человеческие тени. Однако было темновато, она лишь заметила, как один кто-то, пригнувшись, метнулся от нее в сторону, а другой, рослый здоровый мужик в коротковатом полушубке и черной мохнатой шапке, шагнул ей навстречу.

— Куда, Степанида? — буднично и очень спокойно спросил тот, и она сразу узнала в нем младшего Гужова, сына Змитера. Гужовых неделю назад раскулачили, за-

брали пожитки, но пока никуда не вывезли. Теперь этот Змитер преградил ей стежку, и она остановилась, не зная, как ответить ему. — Куда разбежалась, спрашиваю?

— В местечко. А тебе что?

— Чего это в местечко?

— Ну, дело есть.

— Дело напротив ночи?

— Ну а что?

— А то, что повернешь обратно. Поняла?

— Это почему обратно? Мне что, в местечко нельзя?

Гуж подошел вплотную, думая, видно, что она повернет назад или соступит в сторону. Но она стояла на месте и гневно глядела в его не очень трезвое крупное молодое лицо с белыми бровями. На этом лице, однако, не было ничего — ни особенной злости, ни угрозы, — только глаза смотрели очень внимательно и дерзко.

— Там что? — кивнул Гуж на корзинку и, прежде чем она успела ответить, выхватил корзинку из рук. — Платок, хлеб... А это? Деньги? Деньги пригодятся.

Он затолкал в карман черных суконных бриджей ее платочек с завязанной в нем трешкой и вдруг гадко выругался.

— А теперь бегом! На хутор бегом! Ах ты, активистка, едрит твою такую...

— Что ты делаешь? Что делаешь? Я закричу, бандюга ты! — закричала Степанида. Гуж решительно рванул что-то из-под полы полушубка, и не успела она опомниться, как в ее грудь против сердца уперлось черное без мушки дуло. Большая Гужова рука туго обхватывала обрезанную деревяшку ложа.

— Твое счастье, что родня! А то... Поняла?

Да, наверно, она поняла, хотя и с опозданием. Тем более что неподалеку в чащобе, заметно шевеля ветвями, притаился и еще кто-то, внимательно следящий за их стычкой на стежке.

Степанида повернулась и пошла в глубь сосняка, к хутору, ни разу не оглянувшись и слегка опасаясь выстрела в спину. Знала, Змитер способен на все. Бывало, подростком опустошал сады, издевался над младшими, вытаптывал грядки в Выселках. Когда у соседа Корнилы завелась собачонка, которая не давала Змитеру разбойничать по ночам, тот поймал ее, задушил и повесил у Корнилы на яблоне. Жалости он не знал отроду. Не то что его добрый и совестливый старший брат или даже

строгий, но добропорядочный отец, который приходился дальней родней Петроку.

— И чтоб никому ни слова! Поняла? А то петуха под крышу! Ты меня знаешь, — донеслось уже издали.

Будто побитая собака, она снова шла на свой хутор и давилась слезами обиды и бессилия. Никуда не сунуться! Ее обобрали, как глупую бабу, в версте от жилья, отобрали последние деньги. И кто? Опять же свой человек, которого она еще сморкачом грозилась когда-то обжечь крапивой за то, что обижал малых на выгоне. Теперь крапивой не обожжешь — теперь обжигает он, да так, что выворачивает душу от обиды. Не жалко ей было трешки, но оскорбляла наглая угроза, которой она должна была подчиниться, потому что знала: он способен на все. Если пошел на такое, то вполне может поджечь усадьбу. Либо убить в сосняке.

Но тогда что же, терпеть?

Терпеть было не в ее характере, она все же на что-то решится, что-то предпримет. Прежде всего расскажет Петроку, а завтра сбегает к Гончарику, в сельсовет. Все же есть Советская власть на свете, найдется какая-то управа на этих разбойников из леса.

Пока она добиралась до хутора, уже стемнело. В намерзлом оконце хаты мирно поблескивал красный огонек коптилки — дети сидели за уроками. Петрок поил на дворе коня, только что выпряженного из саней, которые стояли на дровокольне с тремя толстыми бревнами, наверно, из Бараньего Лога. Если топить поэкономнее, то хватит до весны. Но дрова, которые в другой раз порадовали бы ее, теперь едва коснулись ее сознания, она подалась к Петроку.

— Петрок! А Петрок!..

Вероятно, Петрок сразу почувствовал что-то неладное в ее голосе — таким голосом она обращалась к нему нечасто. Бросив на снег ведро, он встревоженно шагнул ей навстречу.

— Пётра, что же это делается! — сказала она и всхлипнула. Петрок растерянно стоял напротив.

— Кто тебя? Что тебе?..

— Они же убьют нас. И хату сожгут... Они же озверели! У меня и корзинку отобрали...

Петрок как-то враз обвял, нахмурился и, тихо вздохнув, вымолвил:

— Так и тебя, значит?

— А что, и тебя?

— И меня... В сосняке, ага?

— В сосняке.

Петрок оглянулся, подошел к изгороди, послушал немного, вглядываясь в сторону недалекого оврага.

— Слушай... Послушай меня. Никому ни слова! И никуда не суй носа. Сиди дома. Потому что... И мне грозились: за одно слово сожгут.

Степанида опустилась на шершавый еловый комель на санях, у нее уже не было силы стоять. Значит, и Петрок тоже побывал в их руках и теперь приказывает ей молчать. Иначе... действительно, страшно подумать, что может случиться, если «иначе»... Где тогда жить? Куда идти с детьми?

Петрок напоил коня, завел в хлев. Недолго повозился там и снова вышел во двор. Уже совершенно стемнело, из-за угла истопки задувал порывистый, нехолодный ветер, звезд в небе не было видно. Обессиленная, заплаканная Степанида сидела на бревне и думала: что делать? Наверно, им с Петроком от беды уже не уйти, но хотя бы эта беда не задела детей, не обожгла их слабые души. Потом, конечно, достанется и детям, познают и они кривду, которой немало в жизни, но когда подрастут, пусть. А теперь еще рано, теперь она готова была заслонить их собой от злобных укусов жизни.

— Вот, бабонька ты моя, до чего докатились! — подошел к ней Петрок. — Кто бы когда подумал! Вот и я... Еду, только лошадь повернул с большака, напрямик хотел, выходят: давай коня! Какой тебе конь, не видишь, дрова. Давай, и все. И дуло под нос. Взял бы, но гужи у меня слабые, я и говорю, мол, вот, рваные гужи... Посмотрел отпустил. Говорит, родня все же. Чтоб ты околел, такой родич! Но, если что, сожгут. Они такие. Разъяренные. Им что? Им терять нечего. Как волки в лесу.

— Братья там или кто?

— А черт их знает! Но не один. Я видел...

— Так что же? Молчать?

— А что же еще? Жаловаться? Так пожалей детей!

Степанида молчала. Детей она пожалеет, конечно, но кто пожалеет ее? Над ней издевались, а теперь она должна измываться сама над собой, терпеть, когда не терпится, молчать, когда изнутри рвется крик. Разве так можно?

Всю ту долгую ветреную ночь она не сомкнула глаз, лежала, как деревянная, в запечье, размышляла. Думы были бесконечные, тяжелые, беспросветные, со множеством вопросов, на которые она не находила ответа. Что-

то в мире запуталось, перемешалось зло с добром или одно зло с другим. Или, может, в ней самой что-то изменилось, переиначилось, надломилось, превратилось в прах? Она многого не понимала, но хорошо чувствовала одно: так не должно быть, не по-человечески это, значит, надо было что-то делать. Не лежать, не ждать, не мириться — завтра же надо бежать в Выселки, в местечко, в округ, в Полоцк, дойти до добрых людей. Перед ее глазами все стоял Новик, который требовал раскулачить только одного Гужова, о других он не говорил ни слова. Она не голосовала против Гужова и потом очень жалела стариков Гужовых, но теперь, после вчерашней стычки в сосняке с их Змитером, жалость к ним у нее пропала. Пусть раскулачивают, пусть вывозят из деревни этого волка, чтоб его и духу тут не было. Без него тут будет спокойнее.

Но за что же других?

О других она не могла думать без боли в душе, особенно когда вспомнила Анюту Ладимирову, старую Прохориху, да и Корнилу. С Корнилой у нее издавна были особые отношения, которые когда-то едва не стали их общей судьбой. Правда, не стали...

Она тогда была девкой, служила у старого Яхимовского, жила в Выселках и на работу каждый день ходила в Яхимовщину: вставала раненько, на заре, и через большак бежала на хутор. Надо было подоить и выгнать на пастбище двух коров, заготовить корм для свиней и гусей — тех и других здесь было немалое стадо, которое паслось по стерне на Голгофе. Старик Яхимовский в хозяйство почти не вникал, кряхтел себе на завалинке или в запечье, и она хозяйничала как знала. Кроме нее, на хуторе были еще батраки, но те работали в поле, к которому она не имела отношения. Ей хватало хуторской усадьбы, огорода, скотины, не дававшей передыху ни зимой, ни летом. Не мед был тот хутор, но что она могла без земли, без приданого, бедная приживалка в неласковой и малоземельной семье старшего брата в Выселках?

Однажды она запоздала встать и торопливо бежала по росистой стежке через картофельные огороды к большаку. Возле усадьбы Корнилы услышала во дворе его рассерженный голос, там же металась норовистая Корнилова корова, не давая сладить с собой. За год перед тем Корнила овдовел, остался с двумя ребятами, всю женскую работу по хозяйству делал сам, не слишком умело, иногда неуклюже, и бабы в деревне посмеивались над тем, как он стирает белье или замешивает хлеб; некото-

рые открыто сочувствовали ему. Степанида остановилась, уже поняв, что корова не дает себя подоить и Корнила бегает за ней с подойником, грозясь и уговаривая, да все напрасно. С некоторой робостью Степанида вошла в ворота и тихим голосом приласкала встревоженную корову, та постепенно успокоилась, Корнила вынес из сеней хлеб, посыпанный солью, и Степанида взялась доить. Молока было не так много, она быстро выдоила его и, улыбаясь, протянула подойник хозяину. Но Корнила, не беря подойник, как-то странно надвинулся на нее, молодой сильный мужик в расстегнутой на широкой груди сорочке, приземистый и рукастый. Степанида немного испугалась, но, увидев в его потемневших глазах совершенную беспомощность, почти растерянность, отвела его руки и засмеялась:

— Ты что, Корнилка? Опомнись...

Видно, это его отрезвило, он отошел к забору и, отвернувшись, постоял немного, загораживая, однако, проход в калитку, и она засмущалась было: что делать? Снова повернувшись к ней, он сказал с грустью в хрипловатом голосе:

— Вот бы мне женкой тебя...

Она засмеялась снова:

— Так шли сватов, чего же ты?..

— А пойдешь? — снова насторожился взглядом Корнила.

— Подумаю. Может, и пойду. Не знаю еще...

Она и впрямь не знала, хотя ничего не имела против, Корнила был мужик работящий, но ведь вдовец и с двумя детьми. А она ходила в девках, из парней на примете никого не имела, никто еще к ней не сватался. Что было делать? Несколько месяцев она ждала, мечтала о разном, представляла, фантазировала, даже возненавидела себя, да и Корнилу тоже. Но сватов Корнила так и не прислал, а после поста привез из Кухналей засидевшуюся в девках перестарку Вандзю, которая и захозяйничала на Корниловой усадьбе. Степанида немного поплакала в подушку и успокоилась, хотя и не забыла о том маленьком происшествии на его дворе.

Может, теперь ему божеское наказание за это?

Но нет, разве можно за такое наказывать? А за что тогда будут наказаны Ладимир, старая Прохориха? Да и Гужовы тоже... В конце концов, если подумать, так, может, все и началось из-за этого Гужа? Если бы он не заупрямился на собрании, кого-нибудь вызвал, так, верно,

не приезжал бы Новик, не потребовал бы раскулачивания. И не раскулачили, если бы на голосовании Гончарик не поднял руку и тем не образовал большинства. А не раскулачили бы Гужа, не было бы заметки в газете и тогда... Может, не тронули бы и остальных.

Но тогда из-за кого же все это? Из-за Гужа? Новика? Или из-за Василевой уступчивости? Так неужели же причиной всему одна поднятая рука? Просто страшно подумать, как много иногда зависит в жизни, судьбах от одного только слова, руки, даже чьего-то невинного взгляда. Особенно в такое время. Каким надо быть рассудительным, незлым, справедливым! Потому что твое зло против ближнего может обрушиться — и еще с большей силой! — назад, на тебя самого, тогда ой как сделается больно.

Утром Степанида встала разбитая, вконец истерзанная своими мыслями. Надо было собирать в школу детей, а то бы не вставала вовсе. Пускай бы Петрок кормил поросенка, овец, хорошо, что корова еще не телилась, не надо было доить. При коптилке начистила чугунок картошки, растопила печь. Дети еще спали — сладко посапывал под утро Федька, Фенечка тоже притихла, а то всю ночь неспокойно ворочалась на кровати. Петрок вышел во двор и, верно, завозился возле скотины. Теперь, как заметила она, он больше, чем когда-либо прежде, проводил время возле коня, знал, скоро придется расстаться. Жаль было хорошего коника, которого только год назад нажили, и теперь отдавать... Она понимала Петрока. Тем временем началось утро, засинел рассвет в окнах, в хате было светло от огня из печи, и она только хотела задуть коптилку, как в окно постучали. Сначала она подумала, что это Петрок, но нет, стук был чересчур тревожный и резкий, испуганный, что ли. Степанида подумала: если что, там ведь где-то хозяин. Она подошла к окну и не сразу разглядела за намерзлым и подтаявшим стеклом женскую фигуру возле завалинки.

— Теточка... — послышалось из-за окна глухо, как с того света, и Степанида узнала Анютку. Она торопливо отворила дверь в сенях, Анютка вбежала в хату, упала на скамью и заголосила сдавленно и безысходно. Ее плюшевый черный сак был расстегнут, платок сбился на затылок, светлая расплетенная коса рассыпалась по плечам. — Ой, теточка, ой, беда у нас...

Степанида уже догадалась. Вчера в сельсовете стало ясно, какая беда надвигалась на Ладимира, Анютку и ее

взрослых братьев, и теперь Степанида хотела как-то успокоить девушку. Но та вдруг поднялась со скамьи, оборвала плач и, вытирая слезы с лица, заговорила:

— Ой, теточка, ночью же Антипа с Андреем забрали. Приехала милиция и забрала, все перетрясли, искали еще Гужового Змитера, но тот хитрее. Змитер утек, а наших побрали, повели куда-то...

— Так, так, так, — машинально повторяла Степанида, кое о чем догадываясь. — Они с Гужом были?

— Ой, теточка, разве ж я знаю, но эти дни где-то пропадали. Змитер как пришел за ними, так и пропали, две ночи не были дома. А сегодня... Вы, может, слышали, что ночью случилось на большаке? Ой, беда же случилась. Говорят, кто-то перенял Космачева, ну и того, из Полоцка, и стреляли. Вон там, в соснячке. Говорят, Космачева ранили, хорошо, что конь вынес. Конь как поддал и понес до самого местечка. Ну, милицию подняли, ой, что делалось! Ночью... Наехали, аккурат как братья вернулись. Только кожухи постягивали — стук-стук, спрашивают: где были? Те — дома. Тогда ко мне... А я что скажу, я же ничего не знаю...

Ошеломленная услышанным, Степанида опустилась на скамью, чувствуя, как все враз перемешалось и в чувствах и в голове тоже. Понемногу, однако, она начала понимать, что произошло страшное. Ощутила еще неясную связь этого страшного случая с тем, что происходило в Выселках, со вчерашней встречей в сосняке. Она молчала, поглядывая на Анютку, которая немного утихла от плача и взялась поправлять платок. Смысл этих необычных событий медленно доходил до ее сознания. За печью повставали дети. Федька, надев штанишки, высунулся из-за дерюжки и стоял так с испугом на сонном лице.

Анютка тем временем все говорила, в отчаянии заламывая руки:

— Не знаю теперь, что и делать! Отец плачет, говорит: зачем вы так на старость мою? А как повели Антипа с Андреем, так и совсем стал биться о землю, мне страшно стало, ну, я и побежала сюда. Что же делать теперь, теточка?

Что делать? Если бы она знала, что надо было делать. Но, пожалуй, теперь уже ничего не сделаешь. Теперь поздно! После такого совсем поздно. Теперь уже никуда не сунешься. Постепенно ей стало понятно, что делалось в сосняке, когда она бежала в местечко, почему они остановили ее: им не трешка понадобилась —

они ждали. А она могла помешать. Но надо же на такое отважиться, дойти до такого! А теперь... Что теперь будет?

16

Степанида постепенно успокаивалась, собиралась с мыслями, однако ее не переставало угнетать ощущение несправедливости, и, хотя она понимала, что поздно уже что-либо делать после той ночи и того случая на большаке, что-то недосказанное и недоосознанное требовало прояснения, выхода или осознания хотя бы для собственного успокоения, что ли?

Уже далеко отойдя от Ладимирова двора, заметила, что идет не в Яхимовщину, а в другой конец Выселок, но поворачивать не стала. Как раз впереди увидела знакомое место, где когда-то стояла их хата, а теперь неприютно стыли на ветру четыре березы да на меже усадьбы распустил тонкие ветки ряд вишенок. Хаты не было, хата давно уже сгнила, остатки ее разобрали на дрова, а огород перешел соседу, Богатьке Демьяну, который заботливо обнес его аккуратной березовой изгородью. Степанида, однако, не задержалась возле места бывшего ее жилища и потащилась дальше — мимо знакомых до мелочей хатенок, бревенчатых стен, изгородей, уличных деревьев; обошла толстенный, вылезший на улицу комель Меланьиного клена. Спустилась с пригорка и все шла, пока не наткнулась на новый штакетник возле Авсюковой хаты, где теперь помещалась школа и куда недавно еще три раза в неделю бегала она на ликбез. Теперь там учились ее Федька, Феня и еще три десятка ребят, посаженных в четыре ряда — по ряду парт на класс. Степанида прислонилась грудью к штакетнику и все думала. Дети пусть учатся, может, им достанется лучшая доля, нежели выпала их родителям: наука даст хлеб и выведет в люди. А она все, она больше на ликбез не пойдет. После отъезда Анютки она уже не сможет без нее сесть за ту парту, не сможет переступить порог школы. В начале минувшей осени Анютка уговорила ее пойти на ликбез, убеждала: стыдно быть неграмотной, когда вся страна учится. Сама она очень старалась преуспеть в грамоте, и Степанида поняла почему — Гончарик перед службой окончил четыре класса в местечке. Как же Анютка могла отстать от него? В пору, когда была девчонкой, учиться не имела возможности, а в шест-

надцать и подавно — пришлось стать за хозяйку в доме, мать умерла от чахотки, отец не женился больше, а близнецы-братья, Антип с Андреем, все что-то медлили обзаводиться женами, присматривались да колебались. Теперь уж, видно, не женятся.

Когда в школе раздался вдруг радостный детский гомон, Степанида поняла, что началась перемена, и оторвалась от штакетника. Далее стоять тут было ни к чему, и она медленно побрела улицей назад, поднялась на пригорок. На Ладимировом дворе уже никого не было. Проходя мимо хаты псаломщика, она захотела увидеть Левона, казалось, тот знает что-то такое, чего не знала она, что-то скажет, может, чем-либо утешит. В сельсоветской половине, однако, никого не было, лишь тучей клубилась пыль — это Потап Колонденок стертым веником драл затоптанный, неизвестно когда мытый пол, и она остановилась на пороге.

— Левон не заходил разве?

— Не, не заходил.

Не обращая на нее внимания, Колонденок нещадно орудовал веником — сметал к порогу песок и мусор, и она увидела на его всегда синюшных босых ногах неплохие еще, хотя и поношенные чьи-то сапоги. Но эти сапоги были не Левоновы.

— Что, сапоги заработал?

— Реквизированные, — тонким голосом ответил Потап, неприязненно взглянув на нее сквозь облако поднятой пыли.

— Старайся, паршивец! — в сердцах бросила Степанида.

Она шла вдоль изгороди и думала, что вот живет человек, еще молодой и грамотный (даже чересчур грамотный — окончил три или четыре класса), и во всем поступает вроде честно, по велению времени, а ведь ничего, кроме озлобления, к себе он не вызывает в деревне. Написал вот в газету, что само по себе было, наверно, правильно, а чем оно обернулось в итоге? Она не имела еще слов на уме, чтобы сказать ему все, что чувствовала, но определенно ощущала только брезгливость к этому молчаливому переростку, который едва ли понимал, что творил собственным усердием. Этот не Змитер. На Змитера взглянешь, и сразу видать, на что он способен, а что сотворит завтра этот тихоня, поди догадайся. Ей вспомнилось, даже дети в деревне никогда не играли с ним в свои детские игры, и, хотя по натуре он был не

злой и особенно никого не обижал, ровесники обходили его стороной. Всегда он был сам с собою, один — в деревне, по дороге в школу или возле стада в поле. Когда немного подрос, начал прислушиваться к непростым делам старших, не пропускал ни одного собрания, с утра до позднего вечера торчал в сельсовете, слушал разинув рот и молчал. Что вот думал только?..

— Ох, чтоб тебя разорвало, паршивца! — раздраженно пробормотала Степанида.

Она уже миновала последние хаты Выселок, уже был виден на отшибе сиротливо опустевший двор Ладимира с раскрытыми настежь воротами, когда вдруг где-то за Гончариковой хатой взвился истошный женский крик. Она содрогнулась от этого крика и остановилась посередине улицы. Из-за угла хаты выскочила расхристанная Ульяна, мать Василя, она дико вопила одно лишь: «Людцы! Людцы!» — исступленно бия себя в грудь кулаками. Увидев Степаниду, бросилась к ней, все крича что-то, чего Степанида не могла понять, одно было ясно — произошло нечто страшное. Сквозь плач и причитания Ульяна показывала на хату, на голые окна с толсто намерзшим на стеклах льдом. Степанида бегом бросилась туда и уже со двора услышала такой же раздирающий душу крик из хаты — это заходился от плача Ульянин сынишка Яночка. Через распахнутые двери Степанида вскочила в сени, отбросила полураскрытую дверь в хату, думая, что надо спасать от какого-то несчастья Янку, но в мрачном незнакомом пространстве хаты не могла сообразить сразу, где он кричит.

Зато она увидела другое и в ужасе остолбенела посередине хаты.

Навалясь грудью на конец пустого стола, у окна неподвижно сидел Вася Гончарик, как был в своей красноармейской форме — шинели, ремнях, — неестественно уронив на плечо светлую с растрепанными волосами голову. В затхлом воздухе хаты явственно слышался тревожный запах недавнего выстрела, на полу у стола валялся наган, а где-то в углу возле печи заливался плачем трехлетний Яночка.

17

И вот в эту осень свелся на нет и без того немногочисленный, горемычный род выселковских Гончариков.

Щуплое, тонкое тело подростка в завернувшейся на

животе одежке лежало возле скамейки под тыном. Петрок был ошеломлен этим убийством и не мог понять, как это произошло, как немой пастушок оказался ночью на хуторе. Что ему понадобилось тут? Петрок словно лишился речи и даже перестал сетовать на жизнь, его сковал страх. Впрочем, как и Степаниду, которая в молчаливом оцепенении сидела на своем топчане под окошком.

Немцы давно угомонились, наверно, уснули в своей палатке, не спал лишь часовой, который то стоял под крышей возле порога, то тихо прохаживался по двору. Когда немного засерело в окошке, как всегда, звякнула посуда на кухне — это принимался за свое дело Карла. Петрок отметил про себя эти знакомые звуки, выходя из полусонного забытья. Надо было готовиться к новым бедам и страхам, ибо что же еще мог принести с собой новый день? Но только он опустил ноги с кадушек, нащупывая ими подсохшие за ночь опорки, как услыхал далекий, прерывисто тарахтящий гул со стороны большака — так некогда трещали мотоциклы, которые там, однако, давно уже не ездили. Значит, мост уже готов, если по большаку носятся мотоциклы, уныло подумал Петрок. Густой треск временами приглушался, но тут же становился звучнее, вот он послышался совсем близко (верно, уже за липами) и вдруг смолк. Кто-то заговорил с Карлой, потом с часовым возле двери. Петрок затаив дыхание слушал. Мотоцикла тут прежде не было, значит, этот прикатил издалека с каким-то, видно, приказом. Может, теперь что-нибудь изменится на хуторе? И правда, было похоже, что приехал посыльный: раздался сдержанный стук в хату, где ночевал офицер, погодя дверь отворилась и затворилась снова, тихого разговора немцев в истопке почти не было слышно. Зато, когда оттуда вышли, часовой во дворе прокричал что-то, и возле палатки поднялась суматоха — немцы затопали, загорланили, забегали по двору. Но вроде бы без особой тревоги, просто живо поднимались по неурочной команде, что ли?

Петрок прилип к оконцу — очень хотелось узнать, что там еще происходит. Степанида же, с виду безразличная ко всему, сидела на сенничке, прислонясь плечами к бревнам стены. Глаза ее были закрыты, но по тому, как подрагивали веки, Петрок догадался, что она не спала, как и он, чутко прислушивалась к происходившему во дворе.

В этот раз только два или три немца торопливо по-

мылись возле колодца, другие выходили из палатки уже в шинелях и даже с винтовками в руках, некоторые с ранцами, сумками и будто в ожидании чего-то останавливались возле кухни, болтая, закуривали. Похоже было, однако, что ни завтракать, ни на работу они не собирались, и это навело Петрока на мысль, которая заставила его встрепенуться.

— Баба, а баба, слышь? Они выезжают!

— Жди, выедут тебе.

— Ей-богу, выезжают! Гляди, барахло из палатки выносят. Вон к машине...

В самом деле они вытаскивали из палатки ящики, узлы, одежду и через задний борт все швыряли в машину. Минуту спустя два солдата выдернули несколько колышков из земли, тугой горб палатки обвял, сморщился и опал наземь.

— Ага, выметаются-таки! Ай, слава тебе, господи! — охватила Петрока неожиданная радость, и Степанида, привстав, заглянула в оконце. Но прежде всего она увидела там вовсе не то, что обрадовало Петрока.

— Лежит... Хотя бы прикрыли чем. Как скотину какую... Звери.

Конечно, это она про Янку. Но Петрок даже боялся глянуть туда, под тын, где лежало худенькое тело подростка, до которого теперь никому из этих, кажется, не было дела. Застрелили и бросили. Но за что? Конечно, глухонемого убить нетрудно — окрика часового он не слышит, сказать ничего не может. Но за что убивать? Что он им сделал плохого?

Он полагал, что немцы заберут Янку — если убили, так, верно же, имели в том какую-то цель, ведь не ради забавы убивали. Однако те грузили имущество в машину, к убитому никто из них не приблизился даже. Один лишь пожилой грузноватый немец в шинели, с ранцем за спиной и винтовкой на ремне отошел немного от кухни, издали посмотрел под тын и, как показалось Петроку, вздохнув, пошел обратно к машине. Карла, несмотря на сборы, был занят своим повседневным делом: заталкивал дрова в топку, помешивал в котле, где закипало что-то, и ветер гнал сырой пар через тын в поле. За этим паром Петрок не сразу увидел телегу, которая незаметно подъехала к воротцам и остановилась возле машины. С телеги соскочил Гуж все в той же рыжей кожанке, с винтовкой в руках.

Именно в этот момент из сеней показался офицер в

черном клеенчатом плаще, он остановился на ступеньках, по-хозяйски оглядывая двор, и Гуж моментально подбежал к нему, неуклюже вытянулся, как по команде «смирно». «От сейчас даст!» — злорадно подумал Петрок, вспомнив его вчерашнюю стычку с фельдфебелем. Но похоже, сегодня что-то переменилось в отношениях немцев с полицаем, офицер сдержанно поглядывал по сторонам. Петроку из окошка не были видны его глаза, заслоненные широким козырьком-копытом, но выражение лица казалось добродушно-спокойным. Гуж что-то объяснял, а тот, скупо «якая», слушал, потом подошел ближе и поднял руку. Петрок снова ощутил коротенькую злую радость: врежет! Но нет, не врезал, несколько раз одобряюще похлопал Гужа по плечу — гут, гут! Точно так, как вчера фельдфебель похлопывал его, Петрока, за старательно оборудованный офицерский клозет, который, судя по всему, больше им не понадобится. Значит, чем-то угодил полицай, чем-то выслужился, подумал Петрок, и его приподнятое настроение начало быстро омрачаться — приезд Гужа обещал мало хорошего. Особенно после того, как его похвалил офицер. Теперь жди новой пакости.

Немцы тем временем живо погрузили имущество, последними вынесли из хаты белые складные кровати и начали цеплять к машине свою громоздкую кухню. Человек пять их, напрягаясь, катили ее к воротам, разворачивали, из топки сыпался огонь, и всюду воняло дымом, ветер крутил по усадьбе клубы сырого пара. Гуж помогал тоже, а Петрок стоял у оконца и думал: «Рви кишки, кати, а я не пойду и не выйду, если, конечно, не выгонят. Глаза бы мои на вас не смотрели, злыдни. Постреляли кур, сожрали корову, убили мальчишку — за что? Разве по-человечески это? Если не людей, то хотя бы побоялись бога, бог ведь все видит. Уж он вам припомнит эти злодейства на чужой земле».

Наконец все было кончено. Солдаты забрались под брезент на машину, фельдфебель последний раз обежал двор и полез в кабину. О хозяевах, слава богу, они не вспомнили, не распрощались, значит, не имели в том надобности. Хозяева тем более. Тяжело раскачиваясь на выбоинах, огромная машина с кухней поползла к большаку. Петрок уже хотел было с облегчением перекреститься, как вдруг в воротцах из-под липы, неуклюже выворачивая передком, появился рыжий коник с телегой, в которой подергивал вожжами полицай Колонде-

нок. Гуж, сразу обретя нагловатую решимость в движениях, уже по-хозяйски указывал, как следует заехать и где стать во дворе. Петрок с досады зло плюнул под ноги.

— Мать твою... Не успели одни, уже другие...

Но делать было нечего, он понял, что в истопке не отсидишься, надо выходить во двор.

— Ну?! — — вперил в него взгляд Гуж. — С бандитами снюхался?

— Я? — опешил Петрок.

— Ты. А то кто же. Вон немецкая команда всю ночь облаву делала.

— Облаву? А мне откуда знать? Я в истопке сидел. Они же вот видели.

— Видели?! — передразнил его Гуж и ткнул большим пальцем под тын. — А этот? Янка! Как здесь оказался?

— А я знаю?

— Не знаешь? — Гуж переступил с ноги на ногу, перехватил в другую руку винтовку. — А ну зови свою бабу!

— Степанида! — позвал Петрок и ступил в сторону от камней.

Из сеней появилась Степанида, затянула платок у подбородка и остановилась в дверях, зябко кутаясь в ватник.

— С этим коров пасла? — кивнул Гуж в сторону тына.

— Ну, пасла, — тихо сказала Степанида, засовывая руки в рукава ватника.

— Космачев приходил? Ну, к нему в олешниках?

— Какой Космачев? — подняла глаза Степанида.

— Тот самый! Где-то здесь шастает. Партизанщину разжигает. Я ему покажу партизанщину.

— Никого я не видела. Никто не приходил.

— Почему тогда этот под пулю полез?

— А я знаю, почему?

— Ты не знаешь, он не знает! — взорвался Гуж и, ловко перехватив из руки в руку винтовку, угрожающе потряс ею в воздухе. — Вы мне дураков не стройте. Я насквозь вижу обоих. Особенно тебя, активистка. Уж та винтовочка твоих рук не минула, — пронзая Степаниду злым взглядом, гремел Гуж. Степанида, затаив дыхание, сосредоточенно глядела куда-то под липы.

— Сказать все можно, — вставил свое Петрок. —

Но грех, не зная, валить на человека. Мы вон в истопке сидели. Считай, под арестом. Если бы что...

Телега стояла во дворе, понуро опустив голову, дремал в оглоблях рыжий коник, возле молча ждал чего-то перетянутый по шинели ремнем полицай Колонденок. Закатив глаза, он полностью, казалось, ушел в себя, в свои мысли. Но стоило Гужу повернуться к телеге, как полицай снова стал полон внимания.

— Ладно, — сказал Гуж. — Потом. Теперь некогда. Давай пацана на воз, — спокойнее сказал он Петроку и направился к тыну. Колонденок бросил вожжи на охапку сена в телеге.

Затаив страх в душе, Петрок боязливо подошел к распластанному телу подростка в темной заскорузлой одежонке, голова его была запрокинута, на виске возле уха присох комок грязи или, может, крови; бурые кровавые подтеки на голом, перепачканном землей животе тоже подсохли. Петрок нерешительно остановился, не зная, как взяться за убитого, и стоял. Но Колонденок, не дожидаясь его, ухватил Янку за голые грязные лодыжки и, будто бревно, безразлично поволок к повозке. Руки парнишки неловко раскинулись, голова на худой тонкой шее задвигалась, словно у живого. «Боже, боже! — ужаснулся Петрок, сам не свой направляясь следом. — Что делается!»

— Бери, что стал! — гаркнул издали Гуж, когда оба они остановились возле телеги. Сам, однако, близко не подошел, взялся свертывать из обрывка газеты цигарку.

Петрок с Колонденком кое-как подняли окоченевшее тело Янки, перевалили через борт в телегу. Колонденок слегка забросал его сеном, хотя все равно было видно, что в телеге лежит убитый. Петрок подумал, что теперь-то они уедут, и отошел в сторону, чтобы не стоять на дороге, но Гуж выпалил:

— Ты тоже с нами!

— Куда?

— На работу, куда! Позагорали на курорте, теперь за работу! Мост доделывать. А как же? Вон местечковцы который день вкалывают, а вы тут запановали под боком у немцев.

«Чтоб ты всю жизнь так пановал, горлохват проклятый!» — уныло подумал Петрок, зная, однако, что придется идти. Уж этого не упросишь, особенно после того, что здесь произошло, на этой усадьбе. Хорошо еще, что

не заарестовал насовсем, а только выгоняет на работу.

Матерясь в душе, Петрок пошел за телегой, в которую на ходу повскакивали полицаи. Колонденок управлял конем, а Гуж сидел сзади, свесив до земли длинные ноги, и следил за Петроком, чтобы не убежал, верно. Но куда было убегать? Он прожил здесь половину жизни, вырастил двоих детей, познал столько забот, страха и горя, а может, немного и радости. Куда было удирать? Он ведь человек слабый, зависимый и всю жизнь вынужден был делать то, что ему скажут. Ведь у них сила, а что осталось у него? Пара натруженных рук, ревматизм в ногах и шестьдесят лет за плечами, что он мог выставить против их хищной воли? Разве что малость схитрить, но и то с немцами, а с этими не очень схитришь, эти были свои, своих не обманешь. Да и с немцами вон Степанидина хитрость едва не обернулась бедой. Лучше бы уж без хитрости, по правде, в открытую.

Спустившись к большаку, телега объехала широкую желтую лужу и взобралась на насыпь, а Петрок пошел себе стежкой возле придорожной канавы. Тут уже близко начинался сосняк, за ним виден был поворот и там мост. Чтоб он пропал, этот проклятый мост, сколько из-за него напастей на Яхимовщину, думал Петрок. Как было хорошо, когда он был разворочен бомбами и два месяца никто здесь не ходил и не ездил. А теперь... Теперь тут начнется ад, это точно.

Но до моста они не доехали, не доехали до поворота даже. В стороне от большака в сосняке, где когда-то выселковские мужики и местечковцы копали для хозяйственных нужд песок, стояло три повозки, и несколько мужиков лениво нагружали их. Колонденок свернул к обочине и остановил коня. Гуж спрыгнул с телеги. Мужики перестали копать, кто-то один, а за ним и остальные по очереди нерешительно стянули с голов шапки и молчаливо замерли перед полицаем.

— Почему медленно? — строго спросил Гуж. — Сколько возов отправили?

— Шесть, кажется, — сказал из ямы немолодой мужчина с лицом, густо заросшим седой щетиной.

Петрок узнал в нем Игната Дубасея из Загрязья. Когда-то, еще до колхозов, Дубасей выделывал овчины, и Петрок наведывался к нему, надумав шить кожушок, вот этот самый, что был у него на плечах. Неловко переминаясь с ноги на ногу, Петрок не знал, что лучше: как и все, снять шапку или стоять, как пришел. Но чтобы

излишне не отделяться от остальных, также потихоньку стянул с головы суконную кепку.

— Надо двенадцать, душу из вас вон! — вдруг начал звереть Гуж. — Надо шевелиться, а не лодырничать, не за Советами вам! Перекуриваете помногу?

— Да мы...

— Никаких перекуров! Дотемна засыпать шоссе! Ты! — бросил он Колонденку. — Слезай и следи. Чтобы никто никуда!! Работать мне, работать!

Колонденок положил на телегу вожжи и вытащил из-под сена длинную свою винтовку. На его место сел Гуж. Напоследок он обвел строгим, ненавидящим взглядом яму и трех притихших в ней мужиков, заметил Петрока на обочине.

— Ты, Богатька, им в помощь! И шнель, шнель, шнель! Понятно?

Телега с Гужом покатила к речке, кто-то из мужиков вполголоса выругался, кто-то трудно вздохнул. Петрок по сыпучему склону сошел на дно ямы и взял лопату с надломленной ручкой, которая торчала сбоку в песке. Вверху над ним стояла недогруженная телега, а возле нее с винтовкой под мышкой, как часовой, столбом застыл Колонденок. Его глаза снова закатились под лоб, кажется, в мыслях он далеко унесся отсюда.

Вряд ли быстрее, чем прежде, они начали бросать песок вверх, в телегу. Бросать было неудобно, высоко, яма стала довольно глубокой, вблизи от дороги песок весь выбрали и копали все дальше. Петрок быстро согрелся, но скоро и утомился, стало неприятно горчить в груди, он замедлил темп, а потом и вовсе остановился. Но только он раза два спокойно вздохнул, как на обрыве встрепенулся Колонденок.

— Копать!

— Так это... Уморился я... Отдохнуть...

— Копать!

— Так это... Сынок...

«Сынок», однако, уже схватился за винтовку и клацнул затвором, готовый вот-вот выстрелить. Петрок испугался, руки сами ухватились за ручку лопаты, он бросил немного песка в повозку, и Колонденок опустил винтовку. «Ну и гад! — подумал Петрок. — Почему его мать не придушила малого? Ведь он хуже, чем Гуж. С тем хоть поругаться можно, как-то оправдаться, а этот, чуть что, сразу за винтовку».

Накопав воза четыре, Петрок с трудом выпрямился.

Груженая телега выезжала на дорогу, кажется, больше телег не было, можно было бы немного отдохнуть. Но не успел он обрадоваться, как из-за поворота снова застучали колеса, и вскоре новый возничий осаживал задом коня, удобнее подставляя телегу. Это был Корнила из Выселок, как всегда, молчаливый, насупленный, однако неплохо одетый — в малоношеной суконной поддевке. Последнее время он отпустил черную косматую бороду, подделываясь под деда, хотя был на пять лет моложе Петрока. Долгие годы они не разговаривали и не здоровались, но теперь Корнила, завидев в яме Петрока, сдержанно кивнул:

— День добрый.

И Петрок неожиданно для себя заговорил радостно:

— Ага, добрый... Тоже выгнали, с конем даже?

— Да вот, стараемся, — пробурчал в бороду Корнила, беря с телеги лопату. — Торопятся, мост нужен.

— Кому надо, а нам — так сгори он ясным огнем, мост этот...

Корнила коротко глянул на Петрока, косо посмотрел на Колонденка, который уже навострил ухо к их разговору, и громко сказал, наверно, чтоб слышал полицай:

— Надо, надо помочь немецкой армии. А как же?

Петрок смолчал, не зная, как понимать эти его слова. Судя со стороны, говорил он искренне, вроде бы так и думал. Но Петрок понимал, что слишком хитер этот Корнила, с ним так не потолкуешь. Что бы он ни говорил, всегда имел в виду что-то свое, прямо не высказанное. Таким скрытным стал лет десять назад, когда его исключили из колхоза и раскулачили. Правда, не выслали, и Корнила начал работать в местечке, сначала в промартели, а потом года четыре состоял в пожарной команде и, как оказалось, зажил не хуже, чем они все в колхозе. А может, и лучше.

Они копали не переводя дыхания, до полудня и после полудня; телеги все сновали на мост и с моста, благо возить было близко. Те, кто на лошадях, немного отдыхали в недолгом пути от моста, а бесконные Петрок с Дубасеем не знали минуты передышки и думали, что упадут от усталости. Игнат так хоть был легче одет, в старый суконный кафтан, Петрок же в своем кожушке давно уже вспотел, как щенок, и думал: не миновать снова воспаления легких. Когда-то он уже хворал воспалением легких — простудился на лесозаготовках, когда возили бревна из пущи и у него сломались груженые

сани, ну, пришлось попотеть, порвать кишки. Через три дня свалился в жару среди чужих людей в деревне, где квартировали заготовители, думал, не выживет. Может бы, и в самом деле не выжил, если бы не отвезли в больницу. А в больнице, когда полегчало, был даже доволен, что захворал и никуда не надо ехать, лежи себе в тепле, при сносных харчах и человеческом обращении, не то что в лесу, на морозе, с лошадьми, в плохой одежке и всегда мокрых чунях. Последнее время лес заготавливали каждую зиму, давали рудничные крепления Донбассу, а в ту ему просто здорово повезло благодаря болезни. Правда, потом еще долго водило из стороны в сторону от слабости, но был помоложе, мало-помалу пришел в себя, а к весне и вовсе поправился. Но тогда были доктора, больницы, а теперь? Заболеешь, кто тебя вылечит? Приедет и застрелит этот полоумный Колонденок, скажет: провинился перед Германией.

Игнат Дубасей, понемногу копая рядом, все что-то ворчал про себя в яме, Петрок прислушался: старик роптал, что пригнали сюда его, старого человека, в то время как другие остались дома, их не трогают. Петрок немного удивился и спросил: почему?

— Хе, почему? Самогоночкой рот залили этому злыдню. Самогоночка теперь — сила.

О том, что самогонка — сила, Петрок уже знал и молча согласился с дедом. Только на все надо умельство, не каждый ее может и выгнать, эту самогонку. Опять же нужен инструмент.

— Инструмент, холера на него, вывелся. Теперь где его возьмешь? Змеевик, например, — с тайным намерением посетовал Петрок и настороженно притих в ожидании ответа.

— Ха, инструмент! Вон у нас Тимка Рукатый. Бывало, до войны за деньги самого черта тебе мог смастерить. Теперь не знаю. Теперь что ему деньги?..

— Этот, что под вязом хата? Отсюда, с краю? Гнездо там еще, аиста, кажется...

— Вот, возле аиста. Хорошая хата. Под новой дранкой.

Петрок хотел уточнить еще что-то, но сверху с дороги их разговор услышал Колонденок и взвизгнул тонким голосом:

— Не разговаривать! Копать!

— Копаем, копаем. Чтоб тебя... — тихо пробурчал Дубасей и громче, уже с угодливостью обратился к поли-

цаю: — Сынок, это мне по нужде чтоб... Ну, в лесок, а?

— Копать!

— Так мне по нужде сынок...

— В ямине.

— Как же в ямине? Человек же я... Надо...

Но Колонденок, будто оглохнув, уже закатил глаза и, казалось, ничего не видел вокруг. Старик воткнул лопату в песок и, страдальчески наморщив защетиненное лицо, полез по обрыву из ямы туда, где начинался мелкий молодой соснячок на пригорке.

— Назад! — взвизгнул с дороги Колонденок. Но Дубасей уже выбрался из-под обрыва к сосенкам, и Петрок снизу видел лишь его голову в черной косматой шапке. Вдруг эта шапка странно взметнулась над головой, и тотчас с дороги раскатисто ахнул винтовочный выстрел, широко расставив тонкие ноги, Колонденок перезаряжал винтовку. — Назад!

Старый Дубасей задом сполз по обрыву, обрушивая песок, и Петрок ужаснулся от мысли, что тот, наверно, убит. Но нет, кажется, был живой, только побледнел от страха и остался без шапки. Сползши до низа не сразу, расслабленно стал подниматься на ноги.

— Копать! Быстро! Шнель! — визжал с дороги полицай, держа в обеих руках винтовку.

Невидящими, полными слез глазами Дубасей осмотрел яму, слепо нашарил возле себя лопату.

— Боже мой, боже! — тихо шептали его губы. — Что же это? Как же это? Ведь мы же с его отцом дружили. Вместе на службу призывались. Отец же человеком был...

«Ну и гадюка, — думал Петрок, обессиленно втыкая в песок лопату. — И почему его малым еще хвороба какая не придушила? Сколько хороших людей погибло, а этот живет и свирепствует. Какая несправедливость на божьем свете...»

Петрок почти не помнил его малым, кажется, был он как и все ребятишки, но вот, когда стал ходить в школу, однажды о нем заговорили в деревне. Это тогда его крепко побил младший Лукашонок, словив на чердаке с украденной колбасой за пазухой. Как-то перед рождеством по деревне пошли разговоры, что стали пропадать мясные припасы с чердаков, сначала нарекали на старого ленивого кота Корнилы, даже пытались его убить колом из забора и, наверное, убили бы, если бы

кот не поспешил взобраться на самую верхушку клена, где и просидел до вечера. А наутро оказалось, что кот ни при чем, это десятилетний Потапка Колонденок регулярно обшаривал чердаки деревенцев. Тогда ему здорово досталось от злого и сильного Лукашонка, неделю пролежал в постели, а поднявшись, перестал ходить в школу и еще долго сторонился людей. Люди, однако, со временем забыли о ребячьем грехе Потапки, вот только Потап, похоже, не забыл о нем и теперь мстил за свою проделку другим.

Колонденок не позволил им ни закурить, ни передохнуть, телеги все шли, и они все копали и копали. Яма стала глубокой, в рост человека, надо было хорошо размахнуться, чтобы добросить до телеги, а руки уже не слушались. Дубасей работал без шапки, с голой, неприкрытой головой, на которой ветер играл белым пушком, и в глазах у старика было полно слез, которые он украдкой вытирал заскорузлой рукой. Вверху на дороге столбом вытянулся Колонденок. Видно, ему было холодно, руки он засунул в карманы, полы шинели хлопали на ветру по его сапогам, но полицай ни на шаг не отходил от ямы.

Как-то, однако, они дотянули до вечера, хотя изнемогли вконец, а сколько набросали возов, так перестали и считать. Когда начало вечереть и в яме сгустились сумерки, на дороге появился Гуж. Рыжая кожанка его была расстегнута на груди, лицо потно раскраснелось, глаза хищно горели — от самогона, не иначе.

— Генуг, лодыри! На сегодня генуг! А завтра будет приказ! Или сюда, или на картошку. По домам разойдись!

От этой команды у Петрока подогнулись колени, и он сел, где стоял, на песчаный откос, совершенно без сил, отощавший без еды за целый день. Дубасей начал вылезать из ямы и едва выбрался под сосенки, где лежала его простреленная шапка. Погодя вылез из ямы и Петрок.

Было уже темно, разгоряченное тело быстро остывало на ветру, Петрок согнулся и как мог скорее подался большаком на хутор. Он понял, что если так будет и дальше, то на жизнь рассчитывать нечего, придется загнуться, и чем скорее, тем, может, лучше. Хотя боязно было помирать, хотелось еще пожить. Хотя бы затем, чтоб посмотреть, как наконец дадут этим под зад, как завоют они от русского сапога. Верно, все же завоют.

Не может быть, чтоб не завыли, не должно так быть. Жаль вот, что можно и не дождаться...

Уже в потемках он притащился на замершую свою усадьбу, вопхнулся в сени и смешался, забыв, куда надо идти, в хату или в истопку. Но вот дверь из хаты сама растворилась, он узнал Степаниду и переступил порог. Тут уже все было прибрано и стояло на своих местах, как прежде, до немцев, топилась грубка, ярко светились щели около дверцы, было тепло. Петрок, как был в кожушке, опустился на скамейку напротив грубки.

Степанида что-то сказала насчет еды, но он притерпелся к голоду и о еде перестал уже думать. Тело его жаждало лишь одного — свалиться и лежать в неожиданно обретенном тепле своей хаты, но он не мог позволить себе свалиться. Он уже понял сегодня там, в яме, что прежде надо позаботиться о завтрашнем дне, если хочешь немного пожить и дождаться лучшего.

— Ты принеси скрипку, — слабым голосом сказал он жене.

— Скрипку? Зачем? Что ты, играть будешь?

— Отыгрался уже...

Он не сказал ничего больше, и она пошла с лучинкой в истопку, откуда вскоре принесла скрипку и смычок. Снова ничего не говоря жене, Петрок вышел со скрипкой во двор, по стежке перешел огород и перелез через ограду, направляясь к оврагу.

Дальше надо было обойти поле, перебраться через конец оврага — за Бараньим Логом под лесом было Загрязье, где в хате под вязом жил Тимка Рукатый, который за плату мог смастерить все, что захочешь.

18

Судьба или случай дали передышку, вроде бы отодвинули в сторону самое страшное, и Степанида немного воспрянула духом. А то были минуты, когда она уже прощалась с жизнью и только жалела, что была чересчур боязливой и так мало сделала во вред немцам. Но и то, на что отважилась, было сделано не всегда в лад, получалось через пень колоду, по-глупому. По-глупому она лишилась Бобовки, из-за своего недосмотра растеряла курей. Да и Янка тоже, верно, погиб по ее вине: была бы умнее, как-нибудь втолковала бы парню, что и близко нельзя подходить к хутору. Но что делать,

если верная мысль зачастую приходит поздно, когда она уже бесполезна.

Как бы там ни было, жизнь пока продолжалась, надо было что-то есть сегодня, да и позаботиться о завтрашнем дне, а не только о том, чтобы дожить до вечера. Надвигались холода, который день подряд хмурилось осеннее небо, слегка дождило, а картошка лежала в куче на конце огорода. Петроку все не выпадало заняться ею, и Степанида, подумав, взялась за лопату. Не очень сложное это дело хотя и считалось чисто мужским — забуртовать два воза картошки. Степанида подровняла кучу, подгребла, плотнее обложила соломой и начала окапывать землей.

В усадьбе ее ничто больше не волновало. Постепенно собрались в хлеве шесть куриц, остальных, видно, съели немцы. Вчера утром, как только, забрав Петрока, убрались со двора полицаи, она прежде всего побежала в овраг, нашла в барсучьей норе своего изголодавшегося поросенка, который так ей обрадовался, что бросился в ноги и даже забыл о голоде, когда она почесывала его похудевший, опавший живот. Он не подал голоса за все время, пока она волокла его из оврага, а затем трусцой бежал по тропинке к хутору и, видно, с большой неохотой снова влез в тесный свой засторонок. Там она вволю накормила его картошкой, не пожалела обмешки, потом он выпил чугунок воды и успокоился.

Окапывать бурт было нетрудно, хотя, конечно, Петрок мог бы сделать это скорее. Но Петрок с утра занялся другим делом. Встав до рассвета, он долго гремел самогонным приспособлением, потом куда-то исчез, появился снова, взял ведра, коромысла, начал переносить брагу. Она думала, что он устроится в истопке или хотя бы в овине, а он забрался и еще дальше, куда не сказал даже ей. Только когда все настроил, пришел просить спички. Голос его стал совсем сиплый, сам он выглядел усталым, измученным, каким давно уже не был. Она дала ему две спички и сказала, чтобы недолго торчал на стуже, на дворе было сыро и холодно, недолго застудить грудь, что тогда пользы будет с его самогонки.

— А, черт его бери, — устало отмахнулся Петрок. — Все равно уже...

Степанида забросала землей одну сторону бурта, обшлепала ее лопатой, ровняя пласт земли на соломе. Все это время, что бы она ни делала — возилась дома или

устраивала поросенка, — не могла избавиться от мысли о Янке. Она очень жалела теперь, что в тот вечер встретила его возле оврага, пусть бы он пас где-нибудь в зарослях, зачем было приближаться к хутору. Но, видно, какая-то злая сила влекла его к той опасности, которая обернулась для него гибелью. Степанида не могла избавиться от горького ощущения какой-то своей причастности к его гибели, хотя и понимала: то, что сделала она с винтовкой, не касалось никого больше, даже Петрока, и она не видела здесь никакой связи с Янкой. Правда, она догадывалась, что привело парня ночью в овраг, скорее всего он шел к барсучьей норе, но зачем так близко от хутора? Разве нельзя было пройти с другого конца оврага? Неужели не чувствовал, чем это может для него кончиться?

Бурта она еще не закончила, когда услышала со двора голос, ее окликали. Кто в такое время мог здесь появиться, не надо было долго гадать, конечно, это были все те же злыдни. Вся внутренне напрягшись, готовая к худшему, Степанида воткнула в землю лопату и пошла через огород к дровокольне.

Так оно и было, она не ошиблась. На том месте, где недавно дымила немецкая кухня, теперь стояла телега со знакомым понурым конем в оглоблях, а Гуж с Колонденком, выкрикивая ее имя, уже заглядывали в окна. Возле повозки с бесстрастно скучающим выражением на смуглом лице стоял с винтовкой на ремне полицай Антось Недосека.

— А, вот она! — завидев Степаниду, сказал Гуж. — Где Петрок?

— А тут разве нет? Тогда не знаю, — соврала она, сразу сообразив, что этот приезд, верно, не к ней — к хозяину хутора.

— Открывай двери! — приказал Гуж. Но, опередив ее, сам сбросил щеколду и размашисто стукнул дверью.

Пока она шла за ними, Гуж успел заглянуть в истопку, бегло осмотреть сени, даже принюхался к чему-то своим мясистым широким носом и стремительно вскочил в хату. Там он сначала заглянул в каждое из четырех окон.

— Где Петрок!

— А не знаю, сказала. Я вон картошку буртую.

— Ах, ты не знаешь? Так мы знаем — самогон гонит! Где гонит? — вдруг насторожился Гуж, оборачиваясь к ней и сразу заслонив весь свет из окон. Она не ста-

ла ни переубеждать его, ни божиться, что не знает, где Петрок, только произнесла тихо:

— Мне не сказал.

Гуж что-то взвесил, подумал, и его широкие челюсти по-волчьи зло клацнули.

— Ну, падла, ты у меня дождешься! Наконец я тебя повешу. С моим большим удовольствием. С наслаждением!

— Это за что? — не поднимая взгляда, спокойно поинтересовалась она, не отходя от порога. У нее также невольно сжались челюсти, только она не показывала того и смотрела в землю. Чистый после немцев пол они нещадно затоптали грязными сапогами. Но пусть, ей не жаль было пола, но очень хотелось ответить этому немецкому прислужнику, и она резче повторила: — За что?

— Сама знаешь, за что! Вы! — рявкнул он на своих помощников. — А ну, пошуруйте по усадьбе. Где-то тут он гонит.

Колонденок с Недосекой бросились в дверь, а Гуж сел возле стола, пронзая Степаниду гневно-угрожающим взглядом.

— Ты же знаешь, что тебя надо повесить как большевистскую активистку. А еще хвост поднимаешь! На что ты рассчитываешь?

— А ни на что не рассчитываю. Я темная женщина.

— Это ты темная женщина? А кто колхозы организовывал? Кто баб в избу-читальню сгонял? Темная женщина! А раскулачивание?

— Раскулачивание ты не забудешь, конечно, — задумчиво сказала она, прислонясь к печи. Она уже совладала с собой и смело, в упор глядела на полицая.

— Нет, не забуду! По гроб не забуду. И попомню еще некоторым. Жаль, Левона нет. Я бы ему!..

— Лучше об этом теперь забыть, — помолчав, сказала Степанида. — Для тебя лучше. Спокойнее было бы.

— Ну, это уже хрена! Я не забуду. Не забуду, по чьей милости в чужих краях горе мыкал. Я теперь чего сюда прибился? — заходясь в напряженной, едва сдерживаемой ярости, говорил Гуж. — Думаешь, немцам служить? Чихал я на немцев. Мне надо рассчитаться с некоторыми. С колхозничками, мать вашу за ногу! За то, что роскошествовали, когда мой батька на Соловках доходил!

— Уж и роскошествовали! Работали...

— За палочки работали? — спохватился Гуж. — Так вам и надо! Зачем было лезть в колхоз? Ты же в колхоз агитировала!

— Нетрудно было агитировать. Разве не знаешь?!

— Так какого ж шиша не зная, не ведая полезли? Как в прорву. Теперь нажрались палочек, поумнели?

— Умные и тогда были. Но малоземелье не лучше. Как было жить на двух десятинах с детьми?

— А на шестидесяти сотках лучше стало? Двух десятин им мало было! Вот теперь немцы дадут земли сколько хочешь. До тридцати га. Тем, кто, конечно, заслужит. У германской власти заслужит.

— Тебе уж точно дадут. Заслужил!

— Мне? А на черта мне земля? Я ее с детских лет ненавижу. Плевал я на землю.

— За что же тогда стараешься?

— Ах, какая умная, гляжу! Все тебе знать надо! А хоть бы за то, что власть дали. Для власти! Я всю жизнь был подчиненный, безвластный человечек. Не мог ничего. А теперь у меня власть! Полная. Я же теперь для вас выше, чем сельсовет. Выше, чем райком. Чем совнарком даже. Я же могу любого, кого захочу, пристрелить. Мне всё доверяют. А могу и наградить. Вот тебе что надо? Корова нужна, немцы сожрали? Будет корова! Завтра приведу. Поросенка? Так же. Коня нет? Завтра из Выселок двух пригоню. Отберу у любого и пригоню. А ты думала?

— Отобранных нам не надо.

— А я тебе и не дам. Ты же враг! Враг Германии. Думаешь, я не знаю, чьих рук не миновала та их винтовочка? Напрасно дураки немцы на немого списали. Я согласился, думаю: пусть! А сам имею в виду. Тебя, Степанида, имею в виду. Я еще тут пошурую. В одном месте. Знаешь, в каком!

Он почти выкрикивал это, вперив в нее твердый, безжалостный взгляд, и она смешалась, первый раз за эту встречу подумав: неужели разнюхал, холуй немецкий! Но и в самом деле у нее стало муторно на душе, казалось, он что-то узнал, вроде сам подглядел или, может, подсказал кто. Хотя рассудком она убеждала себя, что ничего знать он не мог. Пугал? Испытывал? Может быть, хотя все равно было скверно.

— А вот Петрок умнее тебя, — помолчав и немного успокоясь, сказал Гуж и вскочил из-за стола. — За само-

гон взялся. Правильно! Только пускай не вздумает от меня скрываться. Голову откручу и скажу, что безголовым родился. Выменял змеевик на скрипку и думает утаить. Не удастся, у меня агентура!

В сенях раздались шаги, через порог шагнули длинноногий Колонденок и плотный, плечистый Недосека.

— Ну что?

— Нигде нетути! — взвизгнул Колонденок.

Недосека сначала изобразил глубокую озабоченность на лице и, жестикулируя, начал пространно объяснять:

— Обшарили это, считай, насквозь. И в пуне, и в хлевках. Нету. И куда он пропал, кто его знает...

— Хреново шарили! — оборвал его Гуж. — Ну ладно. Некогда сейчас, а то бы...

Он еще раз торопливо заглянул в каждое окно и перехватил винтовку.

— Недосека, будешь стеречь! Садись и дожидайся! Придет, никуда не денется. Ее, — кивнул он на Степаниду, — никуда за порог. Придет, горелку ко мне. Понял?

— Понял, ну, — не очень решительно сказал полицай.

— Вот так! Поехали, Потап! А ты запомни, что я сказал, — на прощание бросил он Степаниде. — Покеда не поздно.

Она стояла возле печи и смотрела в окно, как они там разворачивали телегу, как садились в нее на ходу и выезжали из ворот. Только потом она оторвалась от окна и оглядела притихшую фигуру Недосеки, который терпеливо стоял у порога.

— Садись, чего же стоять.

— Ага. Это... сяду. А то ноги, они свои, не казенные.

Недосека скромно опустился на скамью, вздохнул, обеими руками оперся на дуло винтовки с заметно расколотым вдоль прикладом.

— За водкой ехали или как? — спросила Степанида.

Недосека изобразил искреннее недоумение на простодушном, в общем, симпатичном, с ровными бровями лице.

— А кто ж его знает! Он все. Или за водкой, или еще зачем. Нам не говорит.

— Неужто никогда и не говорит?

— Не-а, — захлопал круглыми глазами Недосека. —

Правда, когда жидов выкуривали, так говорил. Инструктаж подробный давал: и сколько патронов брать, и где стоять каждому. Кому в оцепление, значит, а кому их барахлом заниматься.

— А их куда?

— А их погнали. Зондеркоманда погнала в карьер. А там...

— Всех? — внутренне холодея, насторожилась Степанида.

— Считай, что всех. Мало осталось.

«Ну вот, эти уже дождались!» — почти с ужасом подумала Степанида. Как-то в конце лета слышала, люди рассказывали: немцы отвели в местечке три улицы возле речки, согнали туда всех евреев. Одни говорили: ой, ненадолго это, все равно побьют, надо разбегаться. Другие рассуждали так, что не должны уничтожить, что и немцы люди, веруют в бога — это и на пряжках у них написано. Очень правдоподобно рассуждали умники, и их слушали. Известно, когда человек чего хочет, так всегда найдет тому оправдание, убедит сначала себя, а потом и других. Или наоборот. Ну и досиделись вот до карьера.

— Сколько людей ни за что погибло, а такую холеру так никто и не трогает. И пули на него не найдется. Я про твоего дружка, про Колонденка. И прежде он был сволочь, а теперь и подавно, — сказала Степанида.

— Сволочь, ага, — просто согласился Недосека. — Сначала Гуж хотел его шлепнуть. В хату ночью пришел, меня на караул поставил. А поговорили и полюбились. Назавтра уже и винтовку ему вручил. Вот как делается.

— Быстро делается. Красноармейской формы еще не сносил. Как был у своих...

— Я так думаю: а куда ему больше? Его же тут все ненавидели еще с той поры. Куда деваться? Только в полицию.

— Только в полицию, это правда, — подтвердила Степанида. — Прямая дорожка. А тебя к ним что привело? Или, может, понравилось? — осмелев, спросила Степанида.

— Где там! — просто сознался Недосека. — Не дай бог никому!

Он горестно вздохнул и толстым прикладом тихонько поскреб доски пола.

— Думала, нравится, раз так стараешься.

— Постараешься! Вчера на мосту немец-начальник

на него накричал, ну, на Гужа этого. Так он меня грозился стрельнуть. Мужика одного из Загрязья не устерег. Удрал на подводе.

— Еще застрелит, — сказала она. — Если у вас такие порядки. Или наши убьют.

— Может быть, — согласился Недосека. — Только что поделаешь? Пропащий я, — заключил он и вдруг попросил: — Может бы, поесть дали, тетка? Не евши сегодня.

Степанида удивилась: полицай, а просит, такое теперь услышишь не часто. Гуж, конечно, просить бы не стал, а этот впрямь как ягненок. В печи у нее стоял чугунок со щами, которые она держала для Петрока, но теперь, подумав, сняла заслонку и выдвинула чугунок.

— Чего же не позавтракал утром?

— Да не было времени. Ночью Гуж на задание поднял. Бомбу искали. Черта ее найдешь...

— Какую бомбу?

— А ту, что после бомбежки возле моста лежала. Что не разорвалась. Кто-то, однако, уволок. Видно, понадобилась.

— Ну, уволок, так что?

— Ага. А если под мост подложит? Да ухнет? Тогда кому отвечать? Полиции, конечно. Потому как недосмотрела.

Она налила миску щей, положила кусок лепешки на стол. Недосека прислонил к печи винтовку, которая явно мешала ему, и с аппетитом принялся хлебать заправленные салом щи. Понемногу он разогрелся, расстегнул на груди серую суконную поддевку, а кепку не снял; лицо его как-то по-домашнему оживилось, вроде прояснилось, как у молодого. Украдкой Степанида поглядывала на него и вспоминала его шурина из местечка, в хату которого перебрался перед войной Антось. Шурин в той хате давно не жил, после гражданской остался в армии и все довоенные годы служил на японской границе, был командиром. Иногда Недосека не без гордости показывал мужикам его письма и фотографии с двумя шпалами в петлицах — дослужился до большого чина. Конечно, Антосю завидовали, тем более что шурин иногда присылал сотню-другую рублей перед праздниками — для большой многодетной семьи это было весьма кстати.

— Вспомнила шурина твоего, — сказала Степанида, встретившись с вопросительным взглядом Недосеки.

— Шурин? Что шурин? Ему теперь хорошо, а мне?

Это ж я из-за него все... С этим тягаюсь, — шевельнул он локтем с повязкой на рукаве. — Все из-за него.

— Кто бы тебя заставил?

— Гуж, кто? Что же мне было делать? Лучше в землю ложиться? С таким шурином... Когда-то были почет и уважение, а теперь? Теперь одно спасение — в полиции.

— Боюсь, не спасешься.

— Может, и не спасусь. Как знать? Если бы человек свою судьбу знал, так ведь не знает.

— Может, и лучше, что не знает, — сказала Степанида. — А то бы натворили такого...

Она стояла возле печи, то и дело поглядывала в окна, не идет ли Петрок, и ей стало жаль этого жалобщика полицая. Действительно, вляпался в дело, из которого вряд ли найдешь благополучный выход.

— А ты уже и вешал кого? — спросила она.

— Не-а. Еще нет. Не дай бог вешать, страшно!

— А если скажут?

— Скажут, так что ж. Должон!

— И своих тоже?

— Почему своих? Не-а. Которые коммунисты. Ну, там бандиты.

— А что бы тебе сказал твой шурин? Если бы пришел теперь? Ты думал об этом?

— Думал. Хорошего бы не сказал.

— Ну а если бы его взяли и тебе приказали повесить? Повесил бы шурина?

— Вот ты странная, тетка! Дисциплины не знаешь. Прикажут, и повесишь. А то самого повесят.

— Так у тебя же есть дети.

— Вот то-то и оно, что дети. Если бы не было детей, я бы — ого! Я бы сбежал в лес. А то шестеро детей, далеко не уйдешь.

— Ну вот, ты для детей так стараешься. А когда они вырастут, поумнеют, думаешь, они скажут тебе спасибо?

— Кто знает? Смотря который, — смешался Недосека и положил ложку.

— Они же будут тебя проклинать всю жизнь.

— Как проклинать? — недоуменно сморгнул Недосека. — Я же для них... Из-за них страдаю, делаю все это.

— Антоська! — неожиданно для себя сказала она почти участливо, тронутая этой его непонятливостью. — Лучше бы ты для них умер.

— Я?

— Ты, Антоська! Ты же губишь всю жизнь их. И себя в первую голову.

— Ну нет, я не согласный, — надулся Недосека. — Себя, может, и гублю, а их не-а. Что бы они жрали теперь без меня? Я им муки два мешка притащил. Сапог три пары. Пальтишки. Я же не то что некоторые — лишь бы напиться. Я о них забочусь. Все-таки шестеро, не шуточки. Старшему только пятнадцатый... Легко тебе, тетка, говорить, а мне... Да и шурин еще. Эх, кабы не шурин...

Степанида не возражала больше, только слушала его путаное объяснение и думала, какой же он дурень, а может, еще и подлец. Ее сочувствие к нему быстро вытеснялось злостью: жизнь таких ничему не научит, ничего им не понять в ней, потому что дальше своего корыта им не дано видеть. Такие от природы слепы ко всякому проблеску человечности, заботятся лишь о себе, иногда оправдываясь детьми. Боже, что еще будет из тех детей, что они унаследуют от таких вот отцов? Лучше бы его застрелили скорее, меньше было бы вреда и больше пользы своим же. Да и его детям, которых он так заботливо обеспечивает мукой и обувкой...

19

Петрок гнал водку. Он выбрал самый укромный закуток, который можно было отыскать возле хутора, разложистый мелковатый овражек за барсучьей норой, густо заросшей молодым ельником, в котором было затишно, глухо и скрытно. На небольшой узкой полянке меж елок расставил нехитрое свое оборудование: казан с брагой, кадку, наполненную студеной, из ручья водой; долго возился, пока приладил к месту медный змеевик, и наконец разложил костерок. От бережно зажженной спички легко загорелась сухая растопка, а за ней и березовые поленца, охапку которых он предусмотрительно захватил с хутора; жадные языки пламени начали резво лизать старый закопченный казан. От сухих дров дыму было немного, и Петрок впервые за утро довольно посмотрел вверх, в хмурое осеннее небо над еловыми вершинами, думая, что издали его вряд ли заметят, разве кто случайно набредет на поляну. Дрова быстро разгорались. Петрок, стоя на коленях перед казаном, заботливо пододвигал головешки, чтобы больше пригревало снизу. Он и сам грелся, потому что хотя и было затишно, однако от ручья

снизу тянуло лесной сыростью, в которой стыли колени и руки. Возле костра было хорошо. Опять же надо было следить, чтобы вовремя уменьшить огонь, иначе пригорит брага и пропадет весь выгон. Конечно, Петрок не первый раз в жизни принимался за такое дело, имел уже некоторый опыт. Но опыт этот приходился на давние, доколхозные годы. Последнее же время перед войной самогон гнали редко, больше заботились о том, чтобы поесть. Но, видно, казан все же грелся медленно, в лесу, конечно, не то что в овине или истопке, где было бы гораздо сподручнее. Но разве теперь там выгонишь?

В который раз за последние дни Петрок посетовал при мысли, что в таком неподходящем месте оказался хутор — так близко от дороги. В мирное время так оно и неплохо, может, удобнее даже вблизи от большака, от деревни и местечка. Правда, в последние перед войной годы этому удобству, казалось, пришел конец: хутора взялись сселять в деревни, в Выселках сразу удлинилась улица из хуторских построек, этим летом как раз подошла очередь к его Яхимовщине. Уже разобрали и свезли гумно, после сенокоса намеревались разобрать весь хутор. Но помешала война, и теперь можно только завидовать тем, кто оказался в деревенском гурте, а не остался, как он, на отшибе. Хотя и сейчас есть уголки, где по-прежнему живут, как у Христа за пазухой. Вон то же Загрязье. Хотя и не очень далеко от местечка, но спряталось за болотом и не знает беды, даже Гуж появляется не часто, а немцев там и вовсе не видели. А в его Яхимовщине? Немцы постояли несколько дней, а разорили, считай, все хозяйство. Но черт с ним, с хозяйством, хуже вот приключилась беда — убили подростка, безобидного сироту-мальчишку, да и они со Степанидой едва избежали погибели. Так то немцы, побыли и уехали, а как жить вот с этим Гужом, который видит тебя насквозь и еще таит какое-то зло за прошлое. Только напрасно он придирается, Степанида тут ни при чем, Степанида как раз была против того раскулачивания. Но вот привязался, ездит, выгоняет на работу. И верно, будет еще цепляться, пока не загоняет вконец эта сволочная нелюдь, злая собака на привязи. Теперь, черт его побери, Петроку не жалко ни хлеба, ни трудов, лишь бы самогонкой залить его ненасытное горло.

Боже мой, думал Петрок, глядя на суетливую пляску огненных языков по казану, что делается на свете! Какая страшная война, как страшно все началось, что бу-

дет дальше? Ужасное время! Хотя и до войны хватало всякого, боролись то с теми, то с этими. Петрок слабо разбирался во всей сложности борьбы в масштабах страны, но что касается своей деревни, то здесь он понимал больше любых самых высоких уполномоченных. Тем, бывало, нравилось, как выступал на собраниях Антось Недосека, они думали, верно: какой сознательный! Но Петрок знал, что это он так сознательно выступает, потому, что на днях подал заявление об оказании помощи как многодетному и малоземельному. Вот и старается. А если Борис Богатька голосовал за колхоз, то совсем не потому что хотел скорейшей его организации, а чтоб досадить Гужову, с которым был в давней вражде и который, как черт ладана, боялся колхоза. Да и его Степанида, хоть и агитировала за новую жизнь по всей деревне, если разобраться, больше старалась за себя, ну и за него, конечно, потому что убедилась, что с двух десятин прожить невозможно, а здоровьишко надорвешь, это точно. Но вот оно как обернулось: Борис сразу же сбежал в Ленинград к родственникам, Гужа раскулачили и выслали, а теперь за все и за всех надо отдуваться Петроку Богатьке, жена которого когда-то попала в комитет бедноты и на собраниях посидела в президиуме. Как бы те ее посиделки не вылезли теперь боком.

Петрок дальше под казан пододвинул две головешки, подложил сбоку березовое поленце, подумал, что, видать, скоро уже закапает. Медная литровая кружка давно ждала под кончиком трубки, но там пока было сухо, еще ни одна капля не упала из змеевика. Петрок снова поглядел вверх. В ельнике на краю оврага суетливо-тревожно завертелась сорока, настойчиво стрекоча о чем-то, и Петрок насторожился — не крадется ли кто по оврагу? А может, сорока стрекочет на него самого? Все же для уверенности, чтобы успокоить себя, он встал и огляделся сквозь ельник. Вроде поблизости никого не было. Но сорока не утихала, то приближалась, то облетала прогалину стороной и настойчиво трещала неугомонную свою тревогу. Пригнувшись, Петрок пробрался сквозь чащу ельника и увидел возле ручья Рудьку, знакомую собачку пастуха Янки. Осиротев без хозяина, Рудька, видно, метался по окрестностям, забрел вот на костер и теперь, завидев Петрока, живо завилял хвостом, не сводя обрадованно-вопросительного взгляда с человека.

— Ну что? Чего стоишь? Иди сюда, — тихонько позвал он Рудьку, и тот, послушно прошмыгнув под елоч-

ками, выскочил на прогалину. Однако к костру не подошел, сел от него поодаль. — Что, есть хочешь? Так нет ничего. Выпить будет, а поесть нечего, — словно с человеком, охотно заговорил с ним Петрок. Однако, пристав к знакомому, Рудька, похоже, готов был на том успокоиться и, положив морду на грязные лапы, устало поглядывал на огонь.

Но вот, кажется, приблизился тот самый приятный момент, когда первые капли из трубки, торжественно звякнув, упали на дно медной кружки. Петрок тотчас выгреб из-под казана недогоревшие концы головешек, теперь там хватит углей со слабым синим огнем, пламя было уже ни к чему. Тем временем капли из трубки посыпались чаще, даже будто бы зажурчало тоненькой, как нитка, струйкой; среди дымного смрада в овражке вкусно запахло спиртным. С этого момента следовало особенно бережно обращаться с огнем, поддерживая его в одной мере: чтобы казан не остыл, но чтоб и не перегрелся, не подгорела гуща. Умельства здесь надо было не меньше, чем при игре на скрипке. Петрок даже разволновался и то пододвигал головешки под дно казана, то отодвигал их подальше; от дыма у него слезились глаза, он вытирал их заскорузлыми пальцами и все заглядывал в кружку: много ли? Наконец там набралось до половины, он взял кружку и бережно перелил чистую как слеза жидкость в старую, от лимонада бутылку. Это был первач, самая крепкая порция из всей выгонки. Ему стало жаль отдавать ее в ненасытное горло Гужа, может бы, когда сам выпил при случае или сберег для хорошего человека. Так поразмыслив немного, Петрок мятой бумажкой заткнул бутылку и отошел к кусту шиповника на краю прогалины. Там он выковырял небольшую ямку в земле и, пристроив туда бутылку, старательно закопал ее, укрыв сверху прелой листвой. Пускай лежит до лучших времен.

Рудька, не отрывая глаз от его возни у костра, выжидающим взглядом сопровождал каждое движение Петрока с кружкой, терпеливо ожидал, не угостит ли и его. Но угостить собачонку было нечем, он и сам проголодался, пока перегонял казан браги.

Вышло еще три бутылки, дальше сочилась рыжая жижа, в казане, верно, осталась только гуща на дне. Надо было кончать, и Петрок разбросал головешки, угли, затоптал по земле опорками, казан отволок с полянки все в те же заросли шиповника, где старательно упрятал в

листву, сверху бросил несколько еловых веток. Змеевик, как самую ценную деталь аппарата, надо было взять с собой, кадку тоже. Три бутылки еще теплой мутноватой самогонки рассовал по карманам, за пазуху. Напоследок прикурил от уголька и не спеша стал выбираться на стежку.

Пока шел вдоль ручья оврагом, Рудька бежал сзади, но на повороте к хутору вдруг отстал, и Петрок, обернувшись, тихо позвал его. Рудька вприпрыжку догнал старика и больше уже не отставал. Кажется, он был вежливым, тихим псом, уважал людей и никуда не совался без приглашения.

Еще подходя огородом к истопке, Петрок услышал невнятный человеческий голос, донесшийся вроде из хаты, он прислушался, но голос тотчас умолк, и Петрок подумал, что ему показалось — кто теперь, кроме Степаниды, мог быть на усадьбе? Тем не менее слабая тревога уже запала в душу, и на дровокольне он остановился, сбросил на щепки кадку, оглянувшись, сунул за дрова змеевик и туда же опустил три бутылки с водкой. Тут надежнее, потому что мало ли кто мог забрести в хату, не немцы, так полицаи, что еще и похуже. Потом, придав лицу утомленно безразличное выражение, вошел в сени.

Ну, так оно и было, он не ошибся, в хате слышались голоса: один был Степанидин, а другой... Не сообразив сразу, чей же был другой, Петрок несмело открыл дверь в хату.

— Вот, а мы ждем, думали уже, не дождемся.

«Вы, да кабы не дождались — волк за горой сдох бы», — подумал Петрок, увидев полицая Недосеку, который поднялся навстречу ему со скамьи. Полицай протянул широкую руку, Петрок тихонько пожал ее, сообразив: «Унюхали-таки! Догадливые... Не успеешь что-либо подумать, как они уже знают».

— Если на работу, так не пойду, — сказал Петрок. — Вчера навкалывался, нет сил больше.

— А и не ходи, — охотно согласился полицай. — Сегодня можно и не идти, немцы уехали. Ну как, выгнал? — вдруг спросил он и смолк, преисполненный внимания.

Петрок понял, что он имеет в виду, и уже хотел было отказаться, что-то соврать, но прежде взглянул на Степаниду, которая молча стояла при печи. Поймав его взгляд, она тихо сказала:

— Вот дожидается. Был Гуж, все уже знают.

В который раз Петрок молча зло выругался. Ну что ж! Без Гужа, конечно, тут не обойдется, хотя, может, и лучше, что нет самого старшего полицая, не надо ничего объяснять или оправдываться. И все же самогон он намеревался отдать Гужу в собственные руки, чтобы уж было понятно, кому от кого, да, может, и обговорить, за что, тоже. Попросить, чтобы не докучал работой, не присылал квартировать немцев, перестал придираться к жене. Да мало ли у него было дел к Гужу! Но вот придется отдать самогон Недосеке, который, поди, сам его и выпьет.

Помедлив чуток, Петрок вышел из хаты и на дровокольне вытащил из-за поленницы две еще теплые бутылки. Третью решил пока не отдавать, поберечь немного. Возвращаясь, подумал, что Недосека может заупрямиться, скажет: мало, тогда придется оправдываться, божиться, что вот всего и выгнал-то, потому как плохое оборудование или не из чего было заквасить. Но, к его удивлению, Недосека не сказал ни слова, запихал бутылки в карманы суконных галифе, которые оттого низко сползли на колени.

— Из картошки или хлебная? — только и поинтересовался полицай.

— Хлебная. Старался, а как же! Теперь же, знаешь, надо всем угодить, власти особенно, — сказал Петрок.

— Власти всегда угождать надо. Хоть советской, хоть немецкой, а как же? — со вздохом заключил Недосека и взялся за ручку двери. — Ну, то до свидания!

Он пошел, будто бы даже довольный тем, что получил, Петрок в окно подозрительно проследил за ним и устало опустился на конец скамьи у стола. Степанида полезла в печь за чугунком с остатками щей.

— Двумя бутылками думаешь залить им глаза? — с ехидцей спросила она, исподлобья поглядывая на Петрока.

— А что, мало?

— Сам знаешь. Как бы снова не приперся.

— А не дам. Что у меня, спиртзавод?

— Однако уже знают, что гонишь. Что змеевик на скрипку выменял. Агентура, говорит.

— Вот как! Чтоб она сдохла, агентура его!

— Только вот бомбу не могут найти. Бомба там возле моста лежала, да спер кто-то.

— Бомбу? Ну кому она нужна... Разве Корнила? Вер-

но, Корнила, — сказал, подумав, Петрок. — Тому все надо. Что где увидит, все домой тащит.

Сидя на том самом месте, где недавно сидел Недосека, Петрок хлебал щи. Чувствовал он себя вконец усталым, почти больным, хрипело в груди, видать, от дыма, но впервые за последние дни появилась удовлетворенность в душе, что сделал дело и тем немного откупился ради покоя, надолго вот только или нет, неизвестно. Но на сегодня, пожалуй, откупился, уж сегодня Гуж оставит его в покое. Доедая щи из глиняной миски, он думал, что сначала закурит, потом отдохнет в домашнем тепле своей хаты, а там будет видно, что делать дальше. Но, как всегда, Степанида лучше его знала, что следует делать раньше, а что потом.

— Бурт так и не закончили. Мне сегодня эти не дали. Да и хлеба нет, молоть надо, — начала она возле печи.

— Картошка подождет. Не морозит еще.

— Ну а хлеб? Есть ведь нечего.

— Завтра, — сказал Петрок.

После еды в тепле его совсем разморило от усталости, и уже не было силы браться теперь за дело. Хотя бы и за самое срочное.

— А если завтра выгонят обоих? На мост или на картошку? Или еще куда? — наседала Степанида.

— Не выгонят.

— Как это не выгонят! Что, он тебе дал освобождение? Напьется и снова приедет, будет цепляться.

Может, и приедет, и будет цепляться, угрожать, но Петрок так вымотался за эти страшные дни, что уже не осталось никаких сил что-нибудь делать. Поев, он свернул цигарку, прикурил ее от уголька с загнетки и побрел в запечье.

— Я сейчас...

Не снимая опорок, прилег и, не докурив цигарку, уснул. Казалось, только сомкнул веки, как во дворе сильно залаял забытый им Рудька, послышались чьи-то шаги. Петрок подхватился со сна и с тяжелой головой метнулся к окну. Во дворе за колодцем кто-то привязывал к тыну тонкогрудую гнедую лошадь, и, когда обернулся к хате, Петрок узнал Колонденка — в шинели, с винтовкой за узкой сутулой спиной.

— Чтоб вы пропали! — в отчаянии выругался Петрок, уже чувствуя, какая нужда привела этого полицая на хутор.

Рудька все лаял — сначала на лошадь, которая сто-

рожко стригла ушами, не сходя, однако, с места, потом напустился на Колонденка. И тот вдруг остановился, хватаясь рукой за винтовку. Петрок, как был, без кожушка и без шапки выскочил на ступеньки и закричал на собачонку:

— Рудька, прочь! Прочь ты, щенок! Я тебе дам!.. Не надо его стрелять, он не укусит! — заговорил он, обращаясь к полицаю, который уже загонял в патронник патрон. Рудька, видно, понял наконец, что ему угрожает, и скрылся за углом дровокольни. Он еще полаял оттуда, но уже без большой злости, и Колонденок забросил винтовку на узкое, обвисшее плечо.

— За водкой приехал, — просто объявил полицай, не меняя постного выражения на бледном понуром лице.

— Так я же отдал! Недосека взял две бутылки, — заволновался Петрок. — Что у меня, фабрика?

— Гуж сказал: еще две бутылки. Иначе завтра будет репрессия.

— Что будет? — не понял Петрок.

— Репрессия. Ну, это, будет тебя вешать. Или, может, стрелять? — усомнился Колонденок. — Нет, вешать, кажется. Ага, вспомнил — вешать. Репрессия — значит повешение.

— От чудеса! — развел руками Петрок. — Так где же я возьму? Я ведь отдал. Недосека же...

— Тогда бери шапку.

— Зачем?

— Пойдешь в местечко. Гуж сказал: не даст водки — самого за шиворот и сюда. На репрессию.

— Да?..

Ну что еще можно было сделать с этими злодеями? Петрок помолчал, подумал и почти с предельной очевидностью понял, что и водка — не выход. Нет, не спасет его самогон, как бы еще не погубил, и скорее, чем что другое.

Он молча ступил опорками на сырую землю двора, в открытую, не таясь, прошлепал на дровокольню и вытащил из-за ольховой поленницы третью бутылку.

— Ну вот! А говорил, нет! — зло взвизгнул Колонденок и выхватил из его рук бутылку. — А еще?

— Нету! Ей-богу, больше ничего нету. Вот хоть обыщите. Выгнал, знаете, мало, запарка неудачная...

— Ну ладно, — подумав, смягчился Колонденок. — Отдам, а там пускай сам решает.

Он отвязал лошадь и вскочил на нее поперек живо-

том, перебросил на другую сторону длинную ногу. Лошадь резво побежала к большаку, а из огорода во двор вышла Степанида с корзиной картошки в руках.

— Опять за водкой?

— Опять, — невесело подтвердил Петрок.

— А я что говорила? Теперь начнут ездить...

— Ну уже кол им в глотку! Больше нету.

— Тебе же оттого будет хуже.

— А уже хуже не будет, — запальчиво сказал Петрок, не чувствуя, однако, уверенности в своих силах. Правда, в душе он не хотел верить в плохое, все думал: а может, еще обойдется...

20

Под вечер, когда стало смеркаться, покряхтев немного и побранившись с женой, Петрок нагреб в ночовке высушенной на печи ржи и пошел в истопку. Надо было молоть — на хлеб, да и на водку, потому что стало уже ясно, что без того и без другого на свете прожить невозможно.

Жернова были стародавние, с тонкими, стертыми и стянутыми обручем камнями, мололи они чересчур крупно, только и радости, что крутить их было нетрудно. И Петрок помалу крутил за ручку, изредка подсыпая тепловатого зерна из ночовок, и неотвязно думал о разном, больше плохом, что теперь, словно мошка летним днем, все время вертелось в его голове.

Война, конечно, никому не в радость, считай, для каждого горе, он если это горе из-за чужестранца, немца, так чему тут удивляться, это как мор, чума или язва, тут на кого обижаться? Ну а если эта чума из-за своих, деревенских, местных людей, известных тебе до третьего колена, которые вдруг перестали быть теми, кем были всю жизнь, а стали зверьем, подвластным только этим оккупантам, немцам, тогда как понимать их? Или они вдруг превратились в зверье и вытворяют такое по принуждению, подавив в себе все человеческое?! Или, может, они и не были людьми, только притворялись ими все годы до войны, которая вдруг разбудила в них зверя? По натуре своей Петрок был человеком тихим, таким, как и большинство в Выселках: в меру осторожным, уважительным к другим, немного суеверным и набожным. Такими же были и все его предки. Дед, бывало, никогда не позволял себе сказать грубое слово не только кому из

близких, но и сельчанам, местечковцам или обругать какую-нибудь животину, как это повелось сейчас, когда даже подростки и те все с матюгом да криком к коню или корове. Упаси бог, чтобы он сделал кому во вред или взял не свое со двора или с поля. А теперь?.. Хорошо, что не дожил он до такого позора, не увидел, что творится в мире, на этой войне...

Сначала, как только появились немцы, Петрок наведывался в местечко, чтобы добыть соли, керосина, спичек, взглянуть на «новый порядок», а главное — узнать, что делается в мире, и прикинуть, как оно будет дальше. Помнится, как-то возле пожарной собрались в тени под кленом несколько мужиков, сидели курили. Разговор был невеселый — все о том же. Несколько дней назад в район приехал важный немецкий чин в рыжем френче, с красной повязкой на рукаве, говорили: назначил новое руководство из местных. Мужикам, в общем, это понравилось, что руководство будет не из немцев, не присланное, из чужих, а именно из своих, местных. Немного погодя новое начальство обосновалось в каменном здании бывшего райисполкома, и там уже видели немецкого переводчика, бывшего учителя, незаметного холостяка Свентковского, который несколько лет квартировал возле моста у еврейки Ривы. Главным полицаем сразу стал Гуж, который перед тем только появился в местечке. Вскоре надел на рукав полицейскую повязку и Антось Недосека, что очень удивило местечковцев, потому что никто из них не мог сказать ничего плохого об этом человеке. Третьим полицаем многие возмущались открыто, так как давно его не любили в Выселках, но Потап Колонденок, наверно, уже привык к косым взглядам сельчан и не слишком обращал на них внимание. Теперь он считался лишь с немцами и своим непосредственным начальником, старшим полицейским Гужом. А Гуж? Взялся за старое или новое, разве поймешь? Десять лет его не было тут — проходил науку в далеком Донбассе, на кого там выучился? Но теперь вот открыто упивается данной ему над людьми властью, вместе с немецкой командой уничтожил местечковых евреев, разграбил их имущество и бесстыже фуфырится в рыжей кожанке, которую недавно еще носил заведующий райземотделом Ефим Кац.

Вот тебе и свое руководство, на которое так уповали местечковцы!

Но как же так можно, думал Петрок, размеренно покачиваясь возле жерновов в такт хода ручки — взад и

вперед. Было совсем темно, коптилку не зажигали, Степанида берегла керосин, и он не хотел с ней препираться, можно смолоть и впотьмах. Как же так можно, мысленно переспрашивал себя Петрок, чтобы свои своих! Ведь в деревне испокон веков ценились добрые отношения между людьми, редко кто, разве выродок только, решался поднять руку на соседа, враждовать или ссориться с таким же, как сам, землепашцем. Случалось, конечно, всякое, не без того в жизни, но чаще всего из-за земли — за наделы, сенокосы, ну и скотину. Но теперь-то какая земля? Кому она стала нужна, эта земля, давно всякая вражда из-за нее отпала, а покоя от того не прибавилось. Люди распустились. Раньше молодой не мог позволить себе пройти мимо старика, чтобы не снять шапку, а теперь эти вот молодые снимают другим головы вместе с шапками. И ничего не боятся — ни божьего гнева, ни суда человеческого. Как будто так заведено издревле, как будто на их стороне не только сила, но еще и правда. А может, им и не нужна правда, достаточно кровожадной немецкой силы? На правду они готовы наплевать, если та будет мешать им в их кровавых злодействах. Однако правда им все же мешает, подумал Петрок, иначе бы они не оглядывались каждый раз на немцев, не заливали бы совесть водкой, не хватались бы за винтовку, когда не находят веского слова в стычках с деревенскими бабами. Мужики-то с ними не спорили, мужики молчали.

Петрок смолол, может, с четверть ржи, пощупал рукой мягкую, тепловатую возле нагревшихся камней муку и подумал, что если уж взялся, так надо намолоть побольше — на хлеб и на брагу, потому что надо же заквашивать снова. За мерным глуховатым гулом камней он не сразу услышал голос Степаниды из хаты, а услышав, смекнул, что зовет она не впервой и какой-то испуг был в том ее голосе. Он перестал крутить, и сразу звучные удары в сенях тревогой наполнили усадьбу — кто-то сильно колотил в дверь, басовито ругаясь:

— Хозяин, курва твою мать! Открой!..

Петрок сообразил — это снаружи, сунулся в сенцы, дрожащими руками нащупал крюк и выдернул его из пробоя. Двери, раскрывшись, едва не сшибли его с ног, Петрок уклонился, и в сени вначале ввалился кто-то большой, показалось, косматый, за ним другие; на Петрока пахнуло крепким запахом водки, лука и еще чем-то чужим и противным. Он молча стоял за отворенной дверью, а они нашли дверь в хату и раскрыли ее, в сенях

полыхнуло красным отблеском от яркого пламени грубки, которую топила Степанида, и четверо непрошеных гостей с топаньем, шорохом мокрой одежды ввалились в хату.

— Хозяин! — снова рявкнул басом косматый, и Петрок, напрягая внимание, старался угадать, кто же это. Но догадаться никак не мог, верно, это были незнакомые.

— Я тут, — сказал он из сеней.

— Хозяин, свету! Свету дай!

— Та где же теперь свету? Нетути света. Вот разве из печки...

— Дай из печки! Лучину зажги!

Петрок вошел в хату, которая сразу стала тесной от посторонних, и приткнулся у самого порога, уже точно зная, что добром для него это ночное посещение не кончится. Степанида торопливо прилаживала на загнетке длинную лучину с огнем на конце. Вскоре свет от нее забрезжил по четырем неуклюжим настороженным фигурам, которые развалисто топтались по хате, оглядывая стены, ощупывая скамьи, стол. Петрок снова попытался угадать, есть ли тут кто из знакомых, но не узнал никого. Тот большой, что первым ввалился в сенцы, когда разгорелась лучина, повернул к нему носатое, обросшее щетиной лицо.

— Хозяин?

— Ну, хозяин. Известно...

— Бандиты заходят? Говори быстро!

— Какие бандиты? — не понял Петрок. — От нас вот недавно немцы выехали, считай, неделю стояли...

Двое присели на скамью, поставив между колен винтовки, двое остались на середине хаты.

— Сало есть? — спросил носатый, и не успел Петрок ответить, как другой, стоявший впереди, повернулся боком, подставив его взгляду левую, с белой повязкой руку. «Ага, полицаи, значит», — понял Петрок, который сначала даже не знал, как себя с ними вести, что говорить.

— Да что ты к нему с салом?! — каким-то приятным, открытым голосом упрекнул полицай носатого и с усмешкой спросил Петрока: — Водка есть?

— Откуда? Нету водки, — выдавил Петрок вдруг осипшим голосом. Гости заговорщически переглянулись.

— Брось зажиматься! — готов был обидеться полицай. — Ставь бутылку, и не будем ссориться.

— Так честно, нет. Что я, врать буду? — стараясь как можно искреннее и потому, наверно, фальшиво ска-

зал Петрок. Однако гости, видно, уже уловили эту неестественность в его голосе и еще больше удивились.

— Ты видел? — после недолгой заминки сказал полицай носатому. — Отказывается!

— Что, жить надоело? А это ты нюхал?

Прежде чем Петрок успел что-либо понять, носатый ткнул ему под нос холодный ствол выхваченного из-под полы нагана. Петрок невольно поморщился от резкой вони пороховой гари.

— Самогону, живо!

— Так я же не имею, — слабо стоял на своем Петрок, хотя уже знал, что его слова никого из них убедить не способны.

— Какой самогон! — вдруг загорячилась Степанида, которая до сих пор молча жалась в тени возле печи. — Где он возьмет его вам?

— Гужу где-то взял, — тихим голосом, почти ласково сказал полицай с повязкой. — А нам жалеет. Нехорошо так. Не по-честному.

— Какому Гужу? Кто вам сказал?

— Колонденок сказал, — уточнил полицай, и Петрок догадался: наверно, это приезжие полицаи из Кринок. Конечно, мост починен, теперь будут ездить и кринковские, и вязниковские, и еще многие из далеких и близких деревень, и все станут заворачивать на Яхимовщину, которая, на беду, оказалась под рукой, при дороге. И Петрок ужаснулся при мысли: что же он затеял с тем самогоном? Разве можно напоить этих собак изо всей округи? Разве у него хватит на это времени, хлеба, двух его старых натруженных рук?

— Колонденок тут месяц не показывался, — смело соврала Степанида, и полицаи недоуменно переглянулись.

— Как это не показывался?

— А так. Не было его здесь. Может, где в другом месте взял.

— Неправду говоришь, — заулыбался полицай с повязкой. — Колонденок не обманывает.

— А ну обыскать! — вдруг закричал носатый. — Все обыскать! Берите лучину и всюду — в сенях, в коровнике...

— Так хутор сожжете, разве так можно с огнем, или вы сбесились! — запричитала Степанида.

Но двое, что сидели на лавке, живо вскочили и, похватав с загнетки лучины, начали поджигать их в грубке. В дымно мерцающем смраде осветились их небритые

отекшие лица, видно, оба были на хорошем подпитии, и ждать от них какой-либо осторожности не приходилось. С лучинами они подались в сени, слышно было, полезли в истопку, из дверей потянуло стужей, и Петроковы плечи в одной жилетке передернулись дрожью. Двое, что остались в хате, свободнее расступились перед хозяином.

— А ну иди сюда! — жестко приказал носатый. Петрок молча ступил на середину хаты и остановился, готовый ко всему: — Водку дашь?

— Так нету, — сказал он почти уже безразличным тоном, понимая, что доказывать, божиться тут бесполезно. Они были в таком состоянии пьяного ослепления, что его слова вряд ли могли для них что-нибудь значить. Им нужна была водка.

— А если найдем?

— Найдете, так ваша, — смиренно сказал Петрок, почувствовав, однако, что сказал неудачно: еще подумают, мол, он где-то прячет. Но там, где прячет, они не найдут, даже если перевернут всю усадьбу и еще весь овраг вдобавок.

— Найдем, получишь пулю. За гнусный обман, — пообещал полицай.

— А не найдем, тоже пристрелим как собаку, — злобно уточнил носатый. — Так что подумай хорошенько.

— Что ж, воля ваша, — пожал плечами Петрок, поняв, что выхода для него не будет. — Только нету горелки.

Настала небольшая заминка, полицаи, видать, ожидали, что скажут те, кто отправился шарить в истопке. Степанида поменяла лучину на загнетке, чтобы стало светлее в хате, где теперь густо пластался дым и очень воняло горелым. Петрок боялся, как бы не подожгли что в истопке или в сенях, потому какой же осторожности можно было ожидать от пьяных? Из этих двоих, что остались в хате, полицай с повязкой казался ему менее пьяным или менее хищным, и Петрок сказал, обращаясь к нему:

— Да не ищите, ей-богу, нет. Что мне, жалко, ейбогу...

— Бандитам приберегаешь? — рявкнул носатый. — А нам фигу? За нашу службу народу?

— Да что ты ему мораль читаешь, — по-прежнему очень сердечно сказал полицай. — Время теряешь. Поставь его к стенке. Жить захочет — найдет!

И он по-хорошему засмеялся, сверкнув широким рядом белых зубов.

«Вот тебе и добряк!» — разочарованно подумал Петрок. А он вознамерился его просить, чтобы не издевались, поверили, что ничего нет. Как-то вдруг Петрок перестал бояться за свою усадьбу, опасаться поджога. Теперь он хотел только одного — самому как-нибудь выпутаться из этой беды — и думал, что видно, не удастся, не выпутаешься.

Из темных сеней, попалив лучины, ввалились те двое, в черных шапках, с винтовками.

— Что, нет?

— Да нет ни черта, темно, как будто ничего такого не видать. Мелет, там мука в жернах.

— Ах, мелет! — вызверился носатый. — Для кого-то на самогоночку мелет! А для нас нет! А ну к стенке! Живо!

У Петрока потемнело в глазах, кажется, он пошатнулся от слабости или страха, почувствовав, что сейчас все, видно, и решится. Кто-то сильно толкнул его в спину, потом в бок, он бессознательно ступил шаг вперед и оказался в простенке между двумя окнами. Носатый устроился напротив, поудобнее расставил ноги, неторопливо поднял руку с вонючим наганом.

— Что вы делаете, ироды! За что вы его? — закричала от печи Степанида, и носатый опустил руку.

— А, жалко стало! Может, не убивать? Тогда неси пару фляжек! Ну, быстро!

Степанида запричитала громче:

— Где я вам возьму ее, нету у нас никакой водки, чтоб вы своих жен так видели, как мы ту водку...

— Заткнись! — рявкнул носатый, и полицаи схватили Степаниду за руки, размашисто толкнули в сени. Там она негромко вскрикнула и затихла. «Убили!» — ужаснулся Петрок, сам уже прощавшийся с жизнью.

— Так, считаем до трех! — объявил носатый, снова направляя на него наган. — Даешь, нет?.. Раз... Имей в виду, я бью точно, без промаха. Два... Ну, даешь? Нет?

«Неужели застрелят, собаки? — думал Петрок, в оцепенении глядя на тускло отсвечивающее дуло нагана, которое заметно покачивалось в трех шагах от него. — Неужели хватит решимости? Или, может, пугают? Но только бы скорее. Стрелять, так стреляй, черт с тобой, все равно, видно, не суждено пережить эту войну, увидеть детей», — растерянно думал Петрок, по его давно уже

не бритым щекам медленно сползли к подбородку слезы.

— Три! — рявкнул носатый.

Колючее красное пламя ударило Петроку в лицо, забило тугой пробкой уши, и он не сразу понял, что еще жив и стоит, как стоял, спиной к простенку. Только спустя полминуты сквозь густой звон в ушах, словно издалека, донеслись голоса споривших полицаев.

— Да что с ними цацкаться, патроны переводить! Бей в лоб, и пошли!

— Не спеши! Я его разделаю, как бог черепаху! Ну, так где водка? Долго молчать будешь?

Петрок уже не отвечал — он почти оглох и остолбенел в безвольном безразличии к усадьбе, жене и самому себе, потому что каких-либо сил защищаться уже пе находил. Они чего-то еще возились напротив: один светил лучинами, сжигая их пучками, дым густо клубился в хате и через раскрытые двери облаком сплывал в сени; тени от этих гостей крючковатыми чудовищами метались по стенам и потолку; то вспыхивало, то едва мерцало пламя лучин, слепя его слезящиеся глаза и высвечивая коренастую фигуру палача с наганом.

— Где водка? Будешь говорить? Ах, молчишь?..

Новый выстрел ударил, кажется, громче прежнего, что-то сильно треснуло в ухе, и Петрок, не устояв, рухнул на конец скамьи. Он здорово ударился боком, руками угодил во что-то мокрое на полу; очень болело в ухе. Однако полицай не дал ему долго копошиться, пнул сапогом в грудь и за шиворот, словно щенка, снова поставил к стене. Чтобы не упасть, Петрок в полном бессилии прислонился спиной к продранной газетной оклейке как раз в том месте, где уже чернели три дырки от пуль.

«Боже, за что?»

— Ах ты хуторская сволочь! Кулацкая вша! Зажимаешь? Ну, получай!..

«Только бы сразу. Не мучиться чтобы... Сразу...» — вертелось в его голове. Петрок сглотнул соленую слюну и снова почувствовал унылое безразличие к себе и к жизни вообще. Не успел он, однако, собраться и внутренне напрячься перед последним вздохом, как снова грохнуло, вонюче-огненно полыхнуло в лицо — раз, второй, третий, — ослепило, забило глухотой уши. Колени его подогнулись, и он, обрывая спиной газеты, медленно сполз на пол.

Кажется, на какое-то время он потерял сознание, так

было плохо в груди, невозможно было вздохнуть, глаза его почти ничего не различали в дымном вонючем мраке, и только каким-то краешком сознания он отметил, что еще жив. Почему-то жив... Откуда-то, словно из далекого далека, до его слуха донеслись голоса его мучителей:

— Что с ним цацкаться! Кончай, и потопали!

— Сам пусть доходит!

— Дай я...

— Погоди! Еще пригодится, — оттолкнул полицая носатый и, шагнув к Петроку, слегка наклонился над ним. — Ты понял, слизняк? Нам водка нужна. Водка, понимаешь? Не сегодня, так завтра. Чтоб был хороший запас. Понял? Иначе придем — распрощаешься с жизнью.

«Неужели не убьют?» — почти с испугом подумал Петрок, вяло, как после потери сознания, поднимаясь на ноги. Оперся о стену, стал на одно колено, сквозь дым осмотрел хату. Лучины уже все сгорели, чуть светилось из грубки, где также прогорали дрова и последние головешки бросали багровый отсвет на затоптанные доски пола. Все четверо полицаев один за другим скрылись в настежь раскрытой двери, откуда низом по хате ползла волглая стужа, и Петрок содрогнулся. С усилием он поднялся на второе колено, весь дрожа от пережитого страха, стужи и невысказанной обиды — за что?

— Бабу отлить?

— Черт ее возьмет. Сама очухается...

Это были последние слова, сказанные полицаями уже в сенях, они протопали под окнами, их шаги становились тише, и вот все на хуторе замерло.

21

Петрок кое-как поднялся на ноги и, держась за ободранные стены, побрел в сени — там где-то была Степанида, живая или, возможно, уже мертвая. Переступив порог, он разглядел в полумраке стопы ее босых ног — Степанида лежала на раскатанной по земле куче картошки. К его удивлению, она сама поднялась на ноги и, пошатываясь, будто пьяная, добрела до запечья. На его обращения она не отвечала, лишь изредка тихо постанывала, и он все топал по хате — то носил ей воды, то укрывал кожушком, то причитал горько и искренне, а больше проклинал полицаев, немцев, войну. Он уже не

закрывал дверь в сенях, черт с ней, пусть идут, бьют, жгут — все равно с ними не жить. Видно, вообще жизнь кончилась, зачем так мучиться, сил больше нет, да, если подумать, и большой необходимости в этом тоже нет. Все равно они не дадут помереть по-человечески, своею смертью, они доконают насильно. Сначала, конечно, надругаются как захотят, доймут, что готов будешь сам повеситься, потому как что же остается человеку, для которого жизнь — мука?

В ту ночь он не ложился вовсе, ненадолго приткнулся на уголке стола, вроде задремал, положив голову на руки, и на рассвете очнулся почти от испуга: начинается новый день, что он принесет с собой? Впрочем, было ясно, принесет новые мучения, может, смерть даже, потому как сколько же они будут играть в убийство, верно же, в конце концов осуществят свою угрозу. Черт ее бери, ту смерть, он уже перестал бояться ее, пусть убивают, только бы скорее. Жить так невозможно. Это не жизнь.

Кажется, Степанида в запечье немного утихла, перестала стонать, может, задремала даже, и Петрок вышел в истопку, отыскал свой кожушок на кадках у жерновов. Так он и не смолол ржи — ни на хлеб, ни на водку — и молоть больше не будет, не будет заквашивать, пусть мелют и гонят сами. С него уже хватит. Если нет иного спасения, то и самогон — не спасение. Пусть уж лучше прикончат просто так, без причины, хотя бы за то, что он человек.

Петрок вышел из сеней во двор и не закрыл за собой дверь. Зачем? Дверь теперь не нужна, те все равно откроют и зайдут куда угодно. Для кого теперь двери?

Поздний осенний рассвет с трудом пробивался сквозь застоявшийся мрак долгой ночи; затянутое серою мглой поле с голым кустарником на краю оврага казалось унылым и неприютным; порывистый ветер нес промозглую сырость и стужу. Остатки пожухлых листьев отчаянно трепетали в черных скрюченных сучьях лип, мокрая листва за ночь густо устлала дорогу, пересыпала зеленую мураву двора, налипла на бревна колодезного сруба, на скамью под тыном.

Эта ночь что-то сдвинула в сознании Петрока, безнадежно сломила, сбила ход его мыслей с привычного круга забот, он теперь не знал, что делать и куда идти. Хотелось скрыться куда-нибудь подальше от хутора, потому что чувствовал он, тут его снова настигнет все та

же беда, опять появятся те, с винтовками, и ему снова достанется.

На дорогу он боялся показываться, оттуда теперь шла главная опасность; как всегда, хотелось зайти за угол и спрятаться от чужого хищного глаза. Он пошел на дровокольню, уныло поглядел в раскрытые ворота хлева, где уже не было их Бобовки, в беспорядке разбросанные по земле, валялись березовые полешки, лежала на боку сваленная с ее многолетнего места колода. С дровокольни он глянул на знакомую стежку, которая через истоптанный огород вела к оврагу, и неожиданно для себя пошел по ней, он уже знал куда. На шатких, ослабевших ногах спустился в зарослях ольшаника вниз, к ручью; не отстраняя цеплявшихся за шапку и плечи мокрых ветвей, долго шел низом оврага, миновал барсучью нору на склоне, по камням перебежал на другую сторону ручья и наконец взобрался в устье другого овражка, помельче, в непролазную чащобу молодого ельника.

На знакомой прогалине было сыро и пусто, мокрый пепел на вчерашнем костре осел маленькой серой кучкой между трех закопченных камней. Под широким кустом шиповника с редкими сморщенными плодами на ветках он приметил свой черный казан, слегка закиданный сопревшей листвой, и подумал: черт с ним, пусть ржавеет! Он больше его не коснется, с самогоном все кончено. Оглянувшись, присел возле куста и под обломанной вчера веткой разгреб листву, за грязную шейку вытащил испачканную землей бутылку, отер ее шерстистой полой кожушка. Они там пили и веселились, а он не попробовал даже. Он берег, старался, чтобы получше выгнать. Кому? О ком заботился, дурень? О себе, конечно, но разве в эту войну о себе так заботиться надо? Ох, дурак старый!

Петрок выдрал бумажную затычку из бутылки и осторожно глотнул раз и другой. Хороший, однако, первачок, правильно, что не отдал его, пусть пьют ту бурду, ту мутную жижу. Наверное, им все равно. А первачком он угостится сам, потому как кто же еще его угостит? И чем он еще утешит себя, если не цигаркой да вот этой с нужды выгнанной горькой. Правда, без чарки, словно заправский пьянчуга, из горлышка бутылки. Но такое распроклятое время — подходящее для смерти и совсем не подходящее для сносной человеческой жизни.

Он еще выпил немного, перевел дыхание и подумал

что все же пакость — пить без закуски, хотел швырнуть бутылку подальше в овраг, да раздумал, стало жалко недопитого. В мыслях уже наступила расслабляющая легкость, его беда переставала быть безнадежно горькой, какой до того казалась, появилась приятная самоуверенность, даже прибавилось силы в теле. Сволочи они, конечно, подумал Петрок про полицаев, но и он не дурак, не какой-нибудь охламон, недотепа, он тоже кое-что соображает в жизни и даже в войне, хотя он ее, считай, и не видел. Но он понимает. Он не позволит им оседлать себя и ездить как им захочется, он еще постоит за себя. Вот хотя бы и с водкой: черта с два он отдал им эту лучшую свою бутылочку, выстоял перед расстрелом, насмотрелся смерти в глаза, а вот же стерпел, уперся, и поехали несолоно хлебавши. Кол им в глотку!

Не оглянувшись на свою прогалину, он подлез под низкие ветви колючего ельника, выбрался на стежку, по которой неторопливо потащился в овражной тишине назад. Бутылку с недопитым перваком не бросил, держал в руке и думал, что еще немного глотнет и потом уж бросит в ручей. На повороте ручья, где круто заворачивала и стежка, остановился, столкнувшись с Рудькой. Собачонка, верно, удивилась этой нежданной встрече, но тут же обрадованно завиляла хвостом.

— Ну что? Что, Рудька? — вполголоса заговорил Петрок.

Теперь, пожалуй, кстати было поговорить с кем-либо, но с кем тут поговоришь? Рудька с пристальным вниманием всматривался в его лицо своим мучительно непонимающим взглядом и тихонько скулил, будто прося о чем-то.

— Голодный? Голодный, конечно. Ну, пошли. Здесь, видишь, нема ни крошки. Во, видишь? — пробовал вывернуть пустой карман Петрок. — Нема! В хате что-нибудь будет. Пошли, дома тебя покормлю.

Он пошел дальше по стежке, решив, что в этот раз надо обязательно что-нибудь бросить Рудьке, который, видно, со вчерашнего дня ждет его здесь, в овраге. Но вчера не позволил Колонденок, прогнал собаку с усадьбы, хорошо, не застрелил на дровокольне. Да и сам он, Петрок, едва уберегся от смерти. Что пережил, страшно вспоминать даже.

— Вот, брат, жизнь настала! — оглянувшись пожаловался Петрок Рудьке, который снова внимательно смотрел на него, старательно наморщив маленькие кустистые

бровки. — Жизнь! Собак бьют, как людей, и людей стреляют, как собак. Род человеческий уподобили скотине, вот так, брат.

Хотя им что, думал Петрок, им лишь бы насладиться жестокостью, пустить кровь. Без крови их глотки пересохнут. И водкой не размочишь. Нет, не размочишь. Им после крови водку давай, а после водки снова на кровь тянет. Вот по этому кругу и ходят. Ах, звери, звери...

Он уже уверенно шел по стежке с твердым намерением чем-нибудь накормить Рудьку, потому что совсем осиротел песик, видно, побаивается людей, вот и нашел пристанище в этом овраге, где позапрошлой ночью потерял своего Янку. Но Янки уже не будет. Янка теперь далеко, наверно, на небе. Безгрешная мальчишечья душа, уж она-то верно попадет в рай. А вот куда попадут наши грешные души?

Первак Петрок не допил, трезво подумав, что ему, по-видимому, уже хватит, остальным надо подлечить Степаниду. После пережитого ночью бабе в самый раз будет глотнуть чарочку хлебной, может, прибудет силы, да и бодрости тоже. Рюмочка первака — это лекарство, и неплохое лекарство, от него и сами доктора не откажутся. А доктора знают толк в этом. Доктора все знают: и что пить, и чем закусывать. Ему также не мешало бы закусить, очень хотелось есть, особенно теперь, после выпитого.

— Там поедим, — оглянувшись, пообещал Петрок собачонке, которая, не отставая, бежала следом. — Уж мы теперь поедим...

Вспотев, он с усилием вскарабкался по крутой стежке вверх на обрыв и выбрался из оврага. Собачонка, поняв наконец, куда направляется Петрок, немного обогнала его и побежала вперед, далеко, однако, не отрываясь от человека. Петрок думал, что дома первым делом надо поджарить картошки с салом, если оно еще осталось в кадке. Придет, начистит и поджарит, покормит Степаниду и поищет что-либо для этого бесприютного Рудьки. Потому что кто же еще его покормит? Видно, где-то в овраге убили Янку, вот он и вертится поблизости. Считай, теперь здешняя собака. С их горемычного хутора.

Вдруг Рудька почему-то остановился на стежке, вытянул шею, и его хвостик настороженно замер. Петрок, пошатнувшись, не сразу сдержал свой шаг, поднял голову. Уже видна стала его усадьба за огородом, и там,

во дворе, что-то мелькнуло рыжее. Словно какая постилка на тыне трепыхнулась от ветра, но это не постилка, видать? Петрок пальцами протер глаза и всмотрелся пристальнее. Так оно и было, как он сразу подумал, не желая, однако, признаться себе. Его опередили. Во дворе возле тына уже стояли, помахивая головами, рыжая и вороная лошади, и, хотя возле них никого не было, Петрок понял, что они уже приехали.

Петрок едва не заплакал от обиды, горя и страха, который вдруг охватил его, переступил по стежке, оглянулся. Он не имел сил идти туда, на усадьбу, потому что очень хорошо знал, что там ждало его. Но куда было идти? Во чисто поле? В Бараний Лог? В болото? Обратно в овраг?.. Да и в хате оставалась больная, избитая жена, там была картошка, все его пожитки. Полицаи жестоко отомстят ему. Разве от них спасешься?

И все же ноги его повернули обратно, и он даже пригнулся немного, вобрал голову в плечи и шатко потрусил по стежке к оврагу.

Только он не добежал даже до ближнего кустарника, как сзади раздался первый угрожающе звучный окрик:

— Петрок, стой! Стой, так твою... Назад!

И тотчас винтовочный выстрел туго щелкнул, казалось, над самой его головой. Пуля пронеслась мимо, в кустарнике на краю оврага тихо упала в траву ссеченная ею ветка. И он, вдруг отрезвев, окончательно понял, что убегать нельзя. От них не скроешься.

Действительно, они уже бежали через огород напрямик от усадьбы, и он сначала остановился, а потом повернул назад. Те также остановились за изгородью возле оборудованного им офицерского клозета, винтовки держали наготове, чтобы сразу, как только он побежит, всадить ему пулю в спину. Но он не бежал, он обреченно тащился по стежке навстречу погибели, все в нем напряглось и поднималось, разбухало в безмолвной обиде: за что? Совсем некстати он ощутил в руке горлышко бутылки, которую нес Степаниде, там еще немного плескалось, но Степаниде этого уже не видать. Не размахиваясь, он бросил бутылку в сторону, с краткой радостью осознав, что и тем тоже ничего не достанется, пусть выльется в траву. Охваченный отчаянием, он все решительнее шел к полицаям, которые за изгородью также двигались наперехват ему к стежке — Гуж в своей кожанке впереди, а Колонденок с поднятой винтовкой сзади.

Почти физически почувствовав враждебность их намерений, Петрок остановился.

— Ну что? Что? Что вам от меня надо? — слабо крикнул он, уставясь на них сквозь застившие взгляд слезы. Что-то давящее подкатывало к горлу, и он продолжал стоять на стежке в пяти шагах от изгороди.

— А ну иди ближе! — спокойно, с едва заметной угрозой сказал Гуж. Длинное, на этот раз, похоже, трезвое лицо полицая словно одеревенело, и Петрок почувствовал, что его игра кончена, на этот раз не обойдется.

— Чего вам? Чего вы ко мне цепляетесь? Какого рожна вам надо? Гады вы, немецкие прихвостни...

— А ну спокойно! — зарычал Гуж, вскидывая винтовку. — А то мы...

— Что, что вы? Застрелите? Стреляйте, черт вас бери! — с неожиданной решимостью, от которой сделалось страшно, закричал Петрок и потряс в воздухе сжатыми в кулаки руками. — Стреляйте!!

— Это мы успеем, — спокойнее объявил Гуж. — Иди сюда!

— А вот не пойду! Не пойду к вам и слушать не стану. Сволочи вы!

Гуж спокойно забросил за плечо винтовку, кивнул Колонденку.

— А ну дай ему!

Тонкий длинноногий Колонденок легко сиганул через верхнюю жердь изгороди, по растоптанным бороздам картофельного поля подошел к нему и размахнулся. У Петрока зазвенело в ухе, хутор качнулся в глазах, и он неожиданно оказался на жестких холодных стеблях картошки.

— Встать!

— Сейчас! Сейчас! Встану... Еще встану. Но за что бьете? Что я, не человек?

Не успел он, однако, подняться на ноги, как следующий удар в правое ухо свалил его на другой бок в грязную, растоптанную борозду.

— Где водка?

— А вот хрена вам, а не водки! — сказал Петрок, сплевывая наземь кровь, кажется, ему выбили последние зубы. — Вот, нате! — ткнул он Гужу фигу. — Бейте! Я вас не боюсь! И Гитлера вашего не боюсь! Вот и ему тоже! Кол в глотку всем вам!

Колонденок снова подскочил к нему и размахнулся, но Гуж из-за изгороди крикнул:

— Стоп! Пока хватит! Мы его это... Показательно.

— Репрессию, что ли? — тонким голосом спросил Колонденок.

— Репрессию. На веревке, — сказал Гуж и тоже полез через изгородь. — А ну поднимайся!

— Не поднимусь. Стреляйте!

— Поднимешься, старый пень! Самогоночку разбазарил? Роздал кому не следовало? А своим фигу теперь! Нет уж, я тебя взгрею. За обман. И за оскорбление фюрера. За фюрера знаешь что полагается?

— А хоть что! Я и фюреру плюну в его немецкую морду! И тебе тоже, предатель!

— Цыц!

Гуж коротко ткнул его сапогом в грудь, Петрок вскрикнул и скорчился на боку в борозде. Несколько минут он не мог ни вздохнуть, ни сказать что-либо, дыхание перехватило, в глазах все пошло кругом. Конец? Скорее бы, чтобы не мучиться, пронеслось в мыслях, которые только еще и были способны как-то реагировать на его незавидную участь, может, в последние минуты жизни.

— Встать!

Но встать он не мог, как уже не мог и что-нибудь крикнуть, он только отчаянно хватал ртом воздух, как рыба, выброшенная из воды на берег. Гуж, подойдя ближе, сильно тряхнул его за плечо.

— Встать!

С усилием, но он все же глотнул воздуха раз и другой. Гуж снова грубо тряхнул его, вдвоем с Колонденком они поставили Петрока на ноги и, ухватив под мышки, поволокли через огород к дровокольне. Он едва переставлял ослабевшие ноги, шапка его осталась на земле, очень мерзла на ветру голова с реденьким белым пухом — остатком волос. Но, кажется, ему уже не понадобится ни шапка, ни хлипкое его здоровье, ни даже сама голова, и он не жалел себя. Он думал только: что еще сказать этим сволочам? Но как назло нужные, главные его слова не шли в голову, и он тупо бубнил:

— Погодите... Подождите... Еще будет вам!..

— Это тебе будет! Это ты чуток подожди, — со скрытой угрозой пообещал Гуж.

Больше, однако, они не били его, привели во двор к привязанным возле тына двум лошадям. Колонденок все держал его под руку, а Гуж зачем-то побежал в хату. «Не возьмут ли они и Степаниду?» — подумал Пет-

рок. Он думал, что сейчас увидит ее и они пойдут вместе на последнюю свою Голгофу, где и примут смерть. Но вскоре Гуж выскочил из сеней один.

— Так, садись! — крикнул он Колонденку. — Времени мало.

Прежде чем сесть на своего понурого коника, Колонденок подвел Петрока к воротцам под липами и взвизгнул:

— Марш! Туда! — и махнул в сторону большака.

Петрок постоял, стужа и свежий промозглый ветер позволили ему немного отдышаться, прийти в себя; впервые после запальчивого возбуждения пришла испугавшая его мысль: куда? Куда его поведут? Те двое повскакивали на лошадей, чтобы выехать со двора, а он стоял в воротцах и не мог ступить ни шагу. Да и зачем он добровольно пойдет с ними на муку, пусть убивают здесь, на пороге его жилища, зачем напоследок угождать им своим послушанием?

— Ну, марш!

— Не пойду. Убивайте...

— Как это — не пойду? — искренне удивился Гуж, объезжая его на лошади. — Я тебе задам такого «не пойду», что побежишь как подсмаленный.

И он злобно хлестнул Петрока прутом по голове, будто кипятком ошпарило лысину, Петрок пошатнулся, но устоял на ногах.

— Не пойду, сволочи! Что хотите, а не пойду!!

В нем снова поднялась и подхватила его гневная волна обиды и отчаяния, она придала силы, и он решил не сдаваться. Отсюда он никуда не пойдет, если намерены убивать, пусть убивают здесь.

Гуж покрутился с конем по двору, видно, не зная, что делать с этим привередливым дедом, но больше не бил, крикнул Колонденку:

— Вернись, глянь какую веревку!

«Свяжут? Повесят? Пускай! Лишь бы не идти никуда. Пускай погибать, но дома», — горько подумал Петрок, совсем уже готовый к смерти. Степаниду он так и не увидел, может, они убили ее.

— Не хотел по-хорошему, висеть будешь! — пригрозил Гуж. Длинные ноги его в испачканных грязью сапогах низко болтались под брюхом у лошади. — За оскорбление полиции. И фюрера.

«Пусть! Пусть! Если такая жизнь, пусть», — думал Петрок, не отвечая ему. Он уже не оглядывался на свою

усадьбу и на двор, он думал, что милости у них не попросит, как бы ни довелось ему худо. Только бы выдержать. Лишь бы не долго терпеть.

— Руки! Руки! — взвизгнул над ухом Колонденок и, не дожидаясь, когда он послушается, сам ухватил одну руку, другую, сложил их на животе и начал скручивать концом длинной веревки. Петрок слышал, как он сопит, напрягается, склонившись перед ним, и не сопротивлялся, только взглянул на веревку и подумал: вот для чего пригодилась... Это были его вожжи. Когда-то, в коллективизацию, старые отдал в колхоз, а новые припрятал в истопке, иногда привязывал ими корову, что-нибудь закреплял на возу, а больше они висели на толстом гвозде в сенях. Теперь ими связывают его руки. Пригодились.

Наконец Колонденок завязал на руках тугой узел, другой конец свободно раскинул на истоптанной копытами, развороченной автомобильными колесами грязи, и Петрок удивился: зачем? Но тут же все стало понятно — с другим концом в руках полицай взобрался на лошадь.

— Пошел! Живо! — скомандовал Гуж, однако далеко не отъезжая. Тронулся один Колонденок, вожжа на грязи распрямилась, зависнув в воздухе, натянулась и сильно дернула его за руки. — Живо, сказал!

Гуж снова огрел его прутом по голове, острая боль пронизала ее насквозь. Чтобы не упасть от натяжения веревки, Петрок вынужден был побежать за Колонденком, который ногами пинал в бока лошадь, а Гуж, размахивая прутом, погонял его сзади.

— Быстро! Быстро! Ах ты, большевистский пень!

Петрок не успевал, спотыкался, едва не падал, бросался из стороны в сторону, опорки его вязли в грязи, но упасть теперь на дороге было бы, верно, хуже погибели. И он бежал с прискоками, дергаясь на веревке, которая, сдирая с рук кожу, тянула, волокла его к большаку. Лицо его снова стало мокрым от слез, и порывисто дувший навстречу ветер уже не успевал их осушать.

— Сволочи! Душегубы! — захлебываясь ветром, глухо кричал Петрок. — Погодите! Мой Федька придет! Он вам покажет!.. Не надейтесь... Мой сын придет...

22

Петрок пропал, исчез с этого света, как и для него пропали хутор, жена Степанида, Голгофа, пропал целый мир. И остались только воспоминания о нем, если есть

еще кому вспомнить его человеческие страдания, мелкие и большие невзгоды. Всю жизнь он хотел только одного — покоя. Чувствуя себя слабым и от многого зависимым человеком, жаждал как-нибудь удержаться в стороне от захлестывающих мир событий, переждать, отсидеться. Мудрено, конечно, и наивно было на это рассчитывать. Жизнь распоряжалась по-своему, в соответствии с жесткими законами жестокого века, и вот однажды воля случая едва не вовлекла Петрока Богатьку в самый эпицентр человеческой драмы.

А что же Петрок?

Хорошо это или плохо, но он был человеком определенных качеств, наверно, малоприспособленным для новой эпохи, и поступал сообразно своему характеру. Хотя, может, оттого и вдоволь настрадался в жизни.

...С рождества в тот год валил густой снег, а за три дня до крещения началась такая вьюга, какой тут не знали, может, от сотворения мира. Снега намело полон двор, несколько дней невозможно было выбраться из хаты. Но надо было принести воды, нарубить дров, досмотреть скотину, и Петрок, прежде чем открыть двери в хлев, каждый раз вынужден был откапывать их, чтобы протиснуться внутрь. Спустя полчаса, однако, от его работы не оставалось и следа — сплошь во дворе громоздилась толща тугого, спрессованного ветром снега.

В тот день, правда, сверху не сыпалось, больше мело низом, надуло на дворе длинный сугроб от хлева до дровокольни, немного поменьше возле колодца, под тыном. Верх колодезного сруба оказался вровень с сугробом, Петрок едва добрался до него с ведром, но набрать воды было невозможно — в срубе чернела лишь узенькая, будто нора, дырка-отдушина. Петрок про себя выругался. Настроение его и без того было скверным — только что поругался с женой. Ссора вышла из-за хлеба, который чрезмерно берегла Степанида, домешивая в него картошку, отруби, и его уже нельзя было взять в рот, такой он был жесткий, невкусный. Конечно, у Степаниды была на то причина: ржи в засеке осталось чуть больше мешка, а до весны и первой травы было не меньше четырех месяцев. Как тут не беречь! Но через эту ее бережливость можно было вытянуть ноги, не дожив до весны, а Петрок хотел еще маленько пожить и сказал сегодня о том Степаниде.

Притоптав снег у колодца, он пристегнул к цепи ведро, которое сразу застряло в снежной норе, не доставая

воды. Чтобы протолкнуть его, нужна была палка, Петрок оглянулся, да так и застыл над заметенным колодцем. По снежной целине от большака пробирались три темные фигуры, ступая след в след, люди медленно шли под ветром, который бешено курил от их ног снегом, нес его через все поле к сосняку, где чернели на большаке две легковушки. Возле них тоже кто-то копошился. Ну, ясно, замело, там всегда заметало зимой, особенно на въезде в сосняк, вряд ли там сейчас пройдут легковушки, подумал Петрок, снял рукавицу, высморкался. Теперь уже не было сомнения, что приезжие с большака направлялись к хутору. Надо было встречать гостей.

Вытянув из колодца легкое, со снегом ведро, Петрок отвернулся от ветра и подождал немного, пока люди подойдут к воротцам. Первый был уже близко, свободно шагал сильным размашистым шагом, на его плечах чернела блестящая на морозном солнце кожанка, под мышкой он держал такой же черный портфель. Возле воротец Петрок разглядел второго, это был среднего роста мужчина в черном бобриковом пальто и присыпанной снегом каракулевой шапке; на его покрасневшем от ветра лице выделялись небольшие подстриженные усики, тоже белые от снежной пыли. Третий был в длинной красноармейской шинели и шлеме с опущенными ушами, подпоясанный ремнем с наганом, который в такт шагам тихо подрагивал на правом боку.

— Можно к вам, хозяин? Немножко обогреться? — спросил первый, подходя к воротцам.

— Почему же нет! Такая завея, оно конечно, — сказал Петрок, догадываясь, что, по всей видимости, это начальство, и, верно, не малое — из округа, а то и выше.

Он взялся за верх сколоченных из жердей воротец, но раскрыть их не мог, они только немного отклонились в глубоком снегу, и гости друг за другом протиснулись во двор. Затем Петрок привел их в сени, где все дружно затопали сапогами, сбивая намерзший снег. Когда раскрыли дверь в хату, из-за занавески с какой-то тряпкой в руках выскочила Степанида и ойкнула от неожиданности, увидев на пороге столько незнакомых мужчин. Тут же она бросилась назад, в запечье. Там второй день лежала больная Феня, простудилась, кашляла, и они не пустили ее в школу: шутка ли — по такой метели плестись за три километра в местечко. Федя был здоров и в школу пошел, а Феня лежала, надеялись, может, поправится. Пока Петрок возился по хозяйству, Степанида растопила

грубку, но в хате было еще прохладно и пахло дымом, дрова разгорались плохо. Конечно, сырая ольха больше тлела и дымила, скупо отдавая тепло.

Петрок закрыл дверь. Гости понемногу осваивались в хате. Старший, с усиками, отряхнул возле печи заснеженную шапку, обнажив лысую или чисто побритую голову, и тихонько сел на скамейке, положив локоть на угол стола. Рядом скромно присел военный с наганом, этот шлема не снял. А третий, который был в кожанке, заметив квелый огонь в грубке, сразу склонился к ней и присел на низкую скамеечку.

— Э, плохо горит! Растопки мало, а, хозяйка?

Из-за печи вышла Степанида без платка, в стеганой фуфайке, сдержанно оглядела гостей.

— Где же ее взять, растопку? Сырыми вот топим.

— Сырыми — это не дело, — сказал незнакомец и пырнул кочергой мокрые комли в грубке. — Сырые надо не так накладывать. Не клетью, шатром надо. Я эту науку когда-то в Сибири прошел. Разгорится, никуда не денется.

Поворошив ольховые комли, он прикрыл дверцу — не совсем, а так, чтобы оставалась щелка, оглянулся на Петрока, который скромно стоял у порога.

— Хозяин, в колхозе состоишь? Или единоличник?

— В колхозе, а как же! — привычно отозвалась за хозяина Степанида. — С первого дня мы.

— Ну и как? Зажиточный колхоз?

— А, какой там зажиточный! Бедноватый колхоз.

— Вдвоем живете?

— Вдвоем. И деток двое. Сынок в школу пошел, а дочушка вот прихворала, кашляет.

Феня и впрямь закашляла в запечье, в хате все смолкли, прислушались. Тот, что сидел у стола, за все время не шевельнулся даже, только на Фенечкин кашель повел черною бровью и взглянул на занавеску-дерюжку возле печи.

— Погодка такая, что простудиться недолго, — сказал его товарищ от грубки. Он снова раскрыл дверцу и тонкой ольховой палкой стал шевелить в грубке, перекладывая дрова по-своему.

— Правда ж, — легко подхватила Степанида. — Обувка, знаете, разбитая, валеночек нет, в порванных гамашиках бегает, застудила ноги, теперь вот второй день жар, кашляет.

— Нелегко дается наука крестьянским детям, — со

вздохом заметил от грубки гость и повернул бритое, с крепким подбородком лицо к столу. — А вот же учатся. Что значит тяга к знаниям, к свету.

Петрок подумал, что, наверно, теперь и этот старший по возрасту, а может, и по должности что-то скажет, но тот не сказал ничего, все молча сидел за столом, поглядывая на грубку. На его лице лежал отпечаток усталой задумчивости, какой-то глубокой озабоченности. Казалось, мысли и внимание его витали далеко отсюда.

— Ничего, тетка, — бодрее сказал тот, от грубки. — Выполним пятилетку — будет обувь и многое другое. Веселее будет. А пока надо работать.

— Так мы же работаем. Стараемся. Не покладая рук. За панами так не работали.

— Ну, тогда на панов, а теперь на себя. На свое государство рабочих и крестьян.

— Правда ж. И государство не обижает, вон МТС сколько работы переворачивает, считай, половину пахоты делает, и другое что. Если б вот только порядка побольше.

— А это уж от вас зависит, — твердо сказал гость. — От всех вместе и от каждого в отдельности.

— Что ж мы, не понимаем? Да вот только одеться не во что. Раньше так лен был, но теперь весь лен сдаем, а себе ничего. Чтобы хоть ситца какого детям на сорочки, — начала жаловаться Степанида, наверно, уже поняв, что перед ней начальство. Петроку это не понравилось: ну зачем она? Только в хату чужие, начальство или нет, а она уже со своими заботами. Не даст людям обогреться. Он почтительно стоял у порога, думая, что пришедшие сами что-то объяснят, лезть к ним с вопросами, наверно, сейчас не годится.

Но Степанида, по-видимому, совсем осмелела, разговорилась и уже жаловалась, что до сих пор не уплачено людям за сданную по заготовкам шерсть. Уже третий раз Смык обещает, назначает сроки, а денег все нет. Петрок снова поморщился от неловкости — люди посторонние, может, из Полоцка или даже из Витебска, откуда им знать здешние порядки, какого-то там Смыка, уполномоченного по заготовкам. Лысый возле стола сидел неподвижно, дремотно прикрыв глаза, видно, отогреваясь в хате. Но, оказалось, слушал и слышал все, что говорила Степанида, а когда та сказала про деньги, открыл глаза и тихо сказал тому, что сидел у грубки:

— Запишите.

Мужчина расстегнул портфель и в синей небольшой тетрадке написал несколько слов.

— И это.. Под лен дают самую неудобицу, суглинок, говорят, вырастает, а какой там рост, как засушит, обеими руками не выдернешь, и низенький, реденький, на третий номер, не больше...

«Ну, уже погнала! — почти со злостью подумал Петрок. — Уж завелась...»

Гости, однако, слушали, и вроде со вниманием даже, не перебивая. Лысый, открыв глаза, поглядывал на нее будто бы и без усталости, в упор, хотя и молчал. А тот, в кожанке, только один раз перебил, спросив, как называется колхоз, и уже сам, без напоминания что-то пометил в тетрадке. Наверно, почувствовав их расположение, Степанида наговорила многое из своих обид на порядки в колхозе, в районе и наконец вспомнила о завтраке.

— Может, сварить картошечки, если не ели, со шкваркой?

Лысый возле стола, стряхнув с себя неподвижность, решительно сказал «нет» и повернул голову к военному в шинели.

— Поглядите там...

Тот быстренько выскочил в сени, а сидевший у грубки раскрыл дверцу, из которой пахнуло умеренным теплом — дрова все-таки разгорались.

— Ну видишь? По-сибирски веселее пошло! — бодро заметил гость.

В это время в запечье снова закашляла Феня, Степанида подалась за дерюжку, а лысый возле стола озабоченно, тяжело вздохнул. Когда она вскоре вышла оттуда, успокоив дочку, тот, что был в кожанке, встал со скамейки и, казалось, отгородил полхаты своей широкой спиной.

— Надо лечить ребенка. Доктора привозили?

— Да где по такой метели! Может, сама как поправится. Вот молока нет, корова запустилась, а дочка больше не ест ничего, — пожаловалась Степанида.

— Это плохо. Меду надо купить.

— Гм, кабы было на что. А то вон по страховке недоимки еще не выплатили...

Сильно притопнув в сенях, вошел военный и что-то сказал. Тот, что сидел возле стола, сразу поднялся, начал застегивать на крючок воротник пальто, но тут же остановился, расстегнул пуговицы. Петроку не было видно, что он достает из кармана, другой, в кожанке, как раз за-

слонил его, но вскоре он догадался. Степанида неуверенно проговорила:

— Нет-нет! Что вы, не надо, — но тут же дрогнувшим голосом начала благодарить: — Спасибочко вам, если так...

— Дочке на молоко и лекарство, — тихо сказал старший.

На его лысой голове уже сидела высокая каракулевая шапка, он запахнул пальто и направился к двери. Петрок отступил в сторону, в самый кочережник и готов был провалиться сквозь землю от стыда. Зачем она взяла? Как нищенка — от незнакомых да еще начальства, хотя бы и на лекарство ребенку, но разве это красиво?

— Спасибо вам. А как же отдать? Хотя знать бы кому? — растерянно проговорила Степанида, идя следом.

— Отдавать необязательно, — твердо сказал мужчина в шапке.

— Так ведь долг.

— Небольшой долг.

— Знать бы, откуда вы.

Тот, в пальто, уже выходил в сени, за ним вплотную держался другой, что был в кожанке. Военный, пропустив обоих вперед, украдкой оглянулся и тихо шепнул Степаниде:

— Из Минска. Товарищ Червяков.

На несколько секунд Степанида будто остолбенела с зажатым в кулаке червонцем, а Петрок ощутил внезапную слабость в теле: ну и упорола жена! У кого напросилась на милостыню! Это же сам руководитель республики. А она про лен, про деньги... Но гости выходили из сеней, и, хоть было страшно неловко, он должен был их проводить.

Во дворе все мело, но на свежем снегу было видно далеко. На большаке под сосняком стояло две легковушки, и возле них чернели несколько фигур, наверно, дорогу там все же откопали, можно было ехать.

У ворот, отвернувшись от ветра, Червяков остановился.

— Спасибо за обогрев, хозяин. Здоровья твоей дочке, — тихо пожелал он.

Петрок растерянно стоял на снегу, не зная, кланяться, благодарить или как? У него вроде отнялся язык, и он ничего не мог вымолвить, не находил нужных слов. Тогда Червяков спросил о чем-то своего помощника, и тот уточнил:

— Фамилия как твоя?

— Богатька, — сказал Петрок и смутился, впервые устыдившись собственной фамилии, так несуразно прозвучала она на этом убогом, заваленном снегом дворе.

— Так богатой вам жизни, товарищ Богатька, — пожелал на прощание председатель ЦИКа, и они все, пригнув от ветра головы, начали пробираться по своим прежним следам к большаку.

Петрок смешался и опять не ответил, глядя на этих людей и взволнованно повторяя в мыслях: «Где там богатой, где там богатой...» Прежние неизбывные хлопоты охватили его с новой силой — ржи в истопке оставалось пуда четыре, впрочем, с хлебом, может, и дотянули бы до крапивы и щавеля, если бы побольше было картошки. Картошка, однако, кончалась, неурожайное на нее выдалось лето — вымокла от дождей, сгнила под стеблем. Неизвестно, как теперь дожить до новой?

23

Как-то, однако, дожили до весны, не сытно, скорее голодно, но дождались теплых солнечных дней и зеленой травы. Степанида из первой крапивы наловчилась готовить какое-то варево, которое, если его побольше заправить салом, так можно было есть. Хуже получилось с хлебом — хлеба не было. Но председатель колхоза Богатька Левон ухитрился дополнительно распределить на трудодни три бурта прошлогодней картошки, и Петрок привез к Первомаю телегу вялых проросших клубней. Ничего, ели, мешали с ячменной мукой, пекли лепешки, хотя остатки ячменя также берегли на крупу для супа.

Наконец в самую силу вступило лето, в мае прошли обильные дожди с грозами, и озимые даже на суглинках дружно пустились в рост. Озимое поле было как раз по эту сторону большака, возле оврага, хутора и дальше по всей Голгофе. Иногда при случае или в свободную минуту Петрок бегло окидывал оком поле и радовался: хорошая обещала быть в этом году рожь. Если не засушит летом, не зальет на Илью, достоит погода до спаса. А сенокосы были уже готовы, и Левон собирал мужиков на «пробу косы» в Бараньем Логу возле речки. С непривычки или от недоедания Петрок задохнулся на третьем прокосе, закололо в груди, перехватило дыхание, но он знал: это сначала, потом все пройдет, как только втянется в общий ритм, неужто он хуже других? Вот и Левон, хотя и с тремя пальцами на руке, а как защемит меж них ко-

совище, так машет как одержимый. На косьбе никто не хочет оказаться слабее, каждый тянется за другими из последней возможности. В тот субботний вечер разбили делянки, определили, какие и где развернутся бригады, договорились назавтра, в воскресенье начать на зорьке и косить, пока не припечет солнце. Левон распорядился вечером наклепать хорошо косы и наказал, чтобы никто не опаздывал. В конце дня намеревались подвести итоги и бригаду, которая выкосит больше, занести на красную половину доски, а которая меньше — на черную. Второй бригаде выпал участок полегче, от ельника, на берегу поймы, трава там была густая, хотя и не очень высокая, были определенные шансы обогнать третью бригаду грязевцев и попасть на красную сторону доски.

На том и разошлись поздно вечером с псаломщикова двора, где года три как обосновалась колхозная контора. Петрок торопился в свою Яхимовщину, надо было поспеть наклепать косу, брусок же у него был плохой — короткий обломок, зажатый в деревянное держало, — таким пока наострищь косу, другие обойдут тебя далеко. Но Левон пообещал, что утром заскочит в местечко и привезет полсотни брусков на всех, в сельпо уже уплачены деньги, будет все без обмана. Верхом на лошади это займет час времени, и делу конец.

Понадеявшись на новый брусок, Петрок не взял свой старый «обмылок» и, начав косить, скоро почувствовал, что коса начинает тупиться, а Левона с брусками еще не было. Мужики прошли по два прокоса, уже над ельником поднялось солнце, роса, правда, еще держалась в густой траве, которая хорошо ложилась в плотный изогнутый ряд. Петрок все чаще поглядывал на край ельника, из которого на пойму выбегала дорожка, не покажется ли председатель с брусками. Да все напрасно. Уже к завтраку, когда с косарей стекло немало потов, из ельника выбежал и остановился, будто чего-то испугавшись, меньший Левонов сын Матейка. Петрок подумал сначала, не послал ли его председатель с брусками, но в руках у мальца ничего не было. Когда он подошел ближе и кто-то из косцов грубовато спросил об отце, мальчик повалился в траву, закрыл лицо руками и затрясся в беззвучном плаче.

— Что такое? Что с тобой?

— Отца ночью... забрали...

Косцы замерли, ближние молча воткнули косовища в землю, дальние еще докашивали ряды и по одному схо-

дились к ельнику, уже поняв, что случилось. Как же так? Левона Богатьку?.. За что?

Как-то успокоили мальчишку, недружно, вполсилы докосили до завтрака, хотя больше сидели, курили, высказывая различные догадки и предположения. Большинство твердило: ошибка, Левона не должны взять, потому что он не враг и не вредитель, никогда не шел против своих, в войну пострадал за Советскую власть. Ясно, что тут недосмотр, ошибка, кому надо разберутся и через день-другой выпустят.

Когда Петрок приволокся с косой на хутор, Степаниды на усадьбе не было, не пришла она и к полудню, и он не знал, куда она исчезла, по какой надобности. Случай с Левоном привел всех в замешательство, людей словно оглушило, и они не знали, что думать и что предпринять. С полудня Петрок на косьбу не пошел, у него опустились руки, охватила тревога за Степаниду, думал: хотя бы не взяли и ее.

Степанида прибежала к вечеру, расстроенная, без платка на взлохмаченной голове, в пропотевшей ситцевой кофте, оказалось, она уже слетала в местечко, в райком, в милицию, дознавалась: за что Левона? Однако напрасно. Никто ей ничего не сказал, все угрюмо молчали, она поругалась с председателем исполкома Капустой, которого просила заступиться, а тот знай свое: нет! Во дворе обессиленно упала на завалинку, скупо отвечала на взволнованные вопросы мужа и после раздумья, немного успокоясь, решила:

— Надо собирать подписи.

— Какие подписи? — удивился Петрок.

— За Левона. Что он свой, большевик, не вредитель.

Петрок помолчал, подумал.

— А потом что?

— А потом подать в НКВД. Пусть посмотрят.

В тот же вечер в Фенькиной тетради что-то писала страницах на трех и, прихватив химический карандаш, побежала в Выселки. Скоро должна была прийти с поля корова, надо было доить, а хозяйка исчезла неведомо куда. Степанида обегала все дворы в Выселках, вернулась ночью уставшая и взволнованная и, сделав кое-что по хозяйству, повалилась спать. Петрок также лег поздно, хотя назавтра планировали начать новую луговину за ельником, идти туда неблизко, вставать надо было еще раньше. Поднялся на рассвете, только еще засинелось на востоке небо, а Степаниды уже не было в хате,

уже побежала. Корову должна была выгнать Феня, но Феня так сладко спала, что Петрок, помедлив, выгнал корову сам. Все же чувствовал, что это непорядок, это разорение для хозяйства, когда от него отреклась хозяйка.

И правда, отреклась. Три дня после того Петрок почти не видел ее на хуторе, только мелькнет где утром или вечером, а так все в отлучке. Обегала три деревни и в самом деле насобирала немало подписей, колхозники Левона жалели: был он человек открытый, простой, незлобивый. Трудно было поверить, что он враг или какой вредитель. Люди не могли взять себе в толк, за что его арестовали в такое горячее время, оставив колхоз без руководства. Правда, руководить хозяйством взялся бригадир третьей бригады Автух из Загрязья, и, странно, человек, который всегда неплохо ладил с Левоном, вроде никогда с ним не ссорился, теперь подписаться под ходатайством за него отказался («А откуда я знаю, вредитель он или нет? Раз органы взяли, так что-то знают»). Степанида недолго уговаривала, рассердилась, обозвала его «волкодавом», как иногда называли Автуха в деревне, и побежала через лес в район.

Оттуда она вернулась не скоро, уже гнали с поля коров, и Петрок только приволокся с косьбы; казалось, сам без рук и без ног, усталый и злой — на жизнь, жену, работу. Молча отрезал ломоть сала из кадки, отломал кусок черствого, с мякиной хлеба — очень хотелось есть, с усталости подгибались ноги. И тут увидел во дворе жену. Степанида медленно ковыляла от воротец, припадая на одну ногу, и он вспомнил, как два дня назад она жаловалась на боль в пятке, верно, занозила где-то, конечно, с пасхи босая бегает по лесу, полям, покосам, а теперь еще и по деревням. Едва доковыляв до завалинки, Степанида упала, немного погодя Петрок подошел к ней и, жуя беззубым ртом твердую корку, спросил:

— Ну что? Что сказали?

— А ничего. Вернули, — она бросила под ноги сложенную вчетверо бумагу.

— Ай-яй! Что ж делать?

— А я знаю?

Степанида попыталась встать, но тут же снова опустилась на завалинку — пятка болезненно нарывала, без палки Степанида уже не могла перейти в хату. В тот вечер корову кое-как подоил Петрок с дочкой, потом он сорвал под тыном большой лист лопуха и обвязал им рас-

пухшую, горячую на ощупь стопу. Степанида стала непривычно раздражительной, все было не по ней, она коротко, зло фыркала на него и даже на Феню, но Петрок понимал ее и не обижался, знал, беда лучше не делает. Он сам позагонял кур, накормил поросенка, принес воды из колодца и только прилег на лавке в сенях, где спал эти ночи, как Степанида окликнула его из запечья:

— Петрок, иди сюда!

Превозмогая усталость, он неохотно поднялся и через раскрытую дверь приволокся к ней в нижнем белье.

— Петрок, надо съездить в Минск, — тихо, но твердо сказала она.

— В Минск?

— Ага. К товарищу Червякову.

Петрок уже догадался, в чем дело, и молчал как оглушенный — не шуточка, в Минск. И ехать ему, человеку, который в Полоцк ездил три раза в жизни, и то два из них, когда был молодой, при царе. Но ведь и она не может, сам видел, куда ей с такой ногой, а Левона в самом деле жаль было и ему. Как не помочь человеку? Но и помочь неизвестно как.

— Завтра и поедешь. Два червонца я одолжила у Корнилы. Сама хотела, да вот...

— Но где я там найду Червякова? Наверно, непросто — город!

— А там Дом правительства. Писали же газеты, что построили Дом правительства. Значит, и Червяков там.

— Гм... Но куда идти? Что я... Ведь не был ни разу!

— Вот и побываешь. А что! Спросишь, люди покажут. А то что ж, пропадать человеку?

Петрок молчал. Плохо, конечно, когда пропадает хороший человек, жаль его. Но и себя тоже жалко, потому как черт его знает, где тот Минск, где Дом правительства, как туда попасть? Слышал когда-то от мужиков: надо ехать на Оршу, там пересадка, надо покупать билет. Знать бы хоть, сколько это будет стоить. Наверно, немало. Петрок просто был ошеломлен тем, что на него обрушила в этот вечер жена. Но он знал, что если уж она надумала, то не отступит. Придется ехать.

— И не говори никому. Если что, бригадиру скажу: пошел к доктору. Потому что больной.

— Но...

— Ну что «но»? Он же нам будто знакомый, Червяков. Может, заступится. Увидишь, напомни, как зимой

на крещение греться заходил. И червонец одолжил. Вот и отдашь.

— Оно так. Но все же...

Очень не хотелось Петроку отправляться в ту незнакомую дорогу, на край света, в Минск, к председателю ЦИКа. Просто брал ужас, как пытался представить себе, что с этим связано.

24

Через день утром, однако, Петрок спускался по крутым ступенькам вагона на людный перрон в Минске.

Одной рукой он крепко держался за скользкие железные поручни, а другой не менее крепко сжимал старательно завязанную холщовую сумку с кое-каким харчем: обкрошенным куском хлеба, ломтем сала, луковицей, двумя вкрутую сваренными яйцами. Еще там было чуточку соли в бумажке, внизу лежал старый почерневший ножик с обломанным кончиком лезвия. Одет был Петрок во все лучшее по такому случаю: не новые, но чистые суконные брюки, выстиранная Степанидой сатиновая рубашка, немного, правда, залатанная возле воротника сзади. Но заплатки не было видно, потому что сверху надет был порыжелый, домотканого сукна пиджак, во внутреннем, застегнутом на булавку кармане которого лежало Степанидино ходатайство с двадцатью семью подписями. Там же был и червонец. Другой червонец он разменял в Лепеле, когда покупал билет; остаток его надо было сберечь на дорогу обратно.

Так он медленно шел по людному перрону среди непривычной для него людской разноголосицы и суеты, каждый раз вздрагивая от гулких паровозных гудков и неожиданного фырканья пара из-под промазученных колес вагонов. Голова его была словно у пьяного, все в ней гудело и кружилось то ли от бессонной ночи в переполненном людьми вагоне, то ли от этой городской сутолоки. Он не имел понятия, куда податься с вокзала, и хорошо, что в вагоне попался свой человек из Холопенич, который рассказал, куда ему приблизительно следовать. И Петрок направился от вокзала узеньким тротуаром боковой улочки, держась поближе к стенам домов, временами натыкаясь на концы длинных жестяных труб, торчащих по углам. Он боялся оказаться на краю, потому что по мостовой один за другим с грохотом и звоном проносились трамваи — не дай бог, наедет такой, и погибнешь! И он

жался к домам с бесконечным чередованием дверей и окон; в некоторых окнах были выставлены какие-то товары, но он не смотрел на них. Однажды из раскрытых дверей вкусно пахнуло чем-то съедобным, и он остановился, поглядел, кажется, это была столовая: за небольшими столиками сидели по четыре человека, что-то ели из белых тарелок. Потом навстречу стали попадаться люди со свежими буханками хлеба в руках, некоторые отламывали от них по кусочку и украдкой на ходу жевали. Вдоль низкого обшарпанного строения вытянулась голосистая длинная очередь, начало которой терялось в раскрытой двери с огромными буквами «ХЛЕБ» на вывеске. Петрок удивился такому количеству народа в очереди и торопливо обошел ее по мостовой. Минуту спустя, не доходя до трамвайного перекрестка, где холопенический человек наказывал повернуть направо, он понял, что допустил ошибку, надев ссохшиеся за весну сапоги, которые теперь нещадно жали в носках, невозможно было идти. Знал бы, лучше поехал босой. Но босых тут не было видно, все шли обутые, не то что в деревне. Да и Степанида насела: обуй сапоги, негоже босиком в городе. И вот обул себе на мучение.

Вскоре, однако, о сапогах он забыл, может, притерпевшись, а может, от восхищенного удивления, которое охватило его на углу двух улиц, откуда он увидел огромное серое здание, не понять даже, на сколько этажей: величественно громоздящийся фасад со множеством окон, большой площадью-двором посередине и длинным широким, со скатерть полотнищем флага вверху на крыше. Там же, чуть ниже на стене, был и каменный герб Белоруссии. Петроку стало ясно, что он вышел к цели своего приезда — главному дому Минска, где заседало правительство.

Здесь он придержал шаг — надо было собраться с духом. Это тебе не сельсовет и даже не райисполком, где сделал три шага с улицы, и ты уже в дверях, на пороге. А здесь? Попробуй угадай, к которым из множества дверей во дворе следует подойти, а ведь там еще охрана, пустят ли его без документа? Надо будет проситься. Чувствуя все большую озабоченность и теряя и без того не ахти какую решимость, Петрок помалу шел вдоль дома-дворца, все приглядываясь к дверям — к которым же из них направиться? Он думал, может, кто повернет туда с улицы, тогда бы и он пошел следом, но с улицы никто не сворачивал, все шли по тротуару. Неизвестно, сколь-

ко минуло времени, уже взошло где-то солнце, только разве его здесь увидишь, среди заслонивших полнеба домов. На земле повсюду лежала густая и прохладная, как утром в ельнике, тень.

Так, ничего не решив и ни на что не отважившись, Петрок миновал широкий двор-площадь, с трех сторон зажатый домом, прошел еще немного и увидел сбоку очень красивый, из красного кирпича костел. В другой раз он бы, наверно, полюбовался им, но не теперь. Начиная уже волноваться, он нащупал под булавкой Степанидины бумаги, хотел было достать кисет, закурить, но передумал, повернулся и снова пошел к Дому правительства.

На этот раз он не стал рассматривать его фасад и выбирать двери, сразу из-за угла повернул к тем, что были поближе, за широким рядом каменных ступеней. На ступеньках и возле дверей никого вроде не было, но, присмотревшись, Петрок заметил за стеклом что-то белое, что сначала коротко шевельнулось, а потом настороженно замерло. Это был милиционер, Петрок узнал его по белой рубашке, наискось перетянутой черным ремнем от кобуры, и белой, со звездой фуражке на голове. Стало видать, что милиционер из-за стекла также принялся рассматривать Петрока, который уже вышел на середину двора, однако все больше замедлял шаг. Усилием воли он принуждал себя идти, хотя ноги плохо подчинялись ему, упрямо норовили повернуть в сторону, туда, где было много людей и куда не достигал взгляд милиционера. И так случилось, что ноги одержали верх над его намерением — свернули от прямого направления, и Петрок с радостным облегчением повернул прочь со двора к улице, на тротуар.

Тут он сбросил с себя напряжение, вздохнув, почувствовал, что весь мокрый от пота, словно на том прокосе в Бараньем Логу, и какое-то время шел, сам не зная куда. Он корил себя за нерешительность, за то, что влез в это дело, журил за дурной характер и уговаривал не волноваться, не бояться очень. Ну что ему милиционер? Разве он шел сюда с плохим намерением? Только спросить, как попасть к товарищу Червякову или хотя бы передать бумаги. Разве он по своей воле или это личный его интерес? Он же для общего дела, считай, по поручению колхозников. Сам он здесь ни при чем, сам почти посторонний. Передаст и пойдет обратно, чего волноваться? И тем не менее Петрок не в состоянии был унять в

себе нелепого волнения и мог забрести неизвестно куда в незнакомом городе и потерять Дом правительства. Поняв это, Петрок остановился, немного расслабил правую ногу, которую, верно, уже стер окончательно, рукавом пиджака смахнул пот с лица. Нет, все же он подойдет к милиционеру, чтобы только спросить, и ничего больше. Чего тут бояться?

Петрок опять повернул по улице, стараясь не слишком обращать внимания на сапоги. Как на беду, появилась и все больше стала напоминать о себе естественная человеческая надобность, но теперь было не до нее, и Петрок терпел. На углу этого огромного здания он замедлил шаг, чтобы хоть чуток присмотреться и не сразу очутиться перед дверьми. Ничего, однако, не видя, прошел цветник и, сам не свой от волнения, повернул к ступенькам, боясь даже глянуть туда. А как глянул, снова едва не споткнулся — возле тех же высоких рей на крыльце стояли уже два милиционера в белом, молча уставясь на него, будто только его и ждали. Петрок, словно заяц в поле, описал по асфальту крутую петлю и чуть ли не бегом вернулся на улицу. Пока проходил мимо Дома правительства, все старался придать себе вид озабоченного человека, которого здесь решительно ничего не интересует.

На этот раз он отошел далеко за красный костел и уже не останавливался. Остановиться сейчас означало для него повернуть обратно, снова к этому пугающему дому, а поворачивать у него уже не оставалось сил. Опять же его нужда требовала определенного места, которое неизвестно где здесь найти. Он только позволил себе достать кисет и свернуть цигарку. Первые несколько затяжек немного успокоили его, и Петрок не впервые, но очень прочувствованно подумал: и зачем он поехал сюда? Зажила бы нога, пусть бы тогда Степанида и ехала. Она бойкая, она бы не растерялась перед милиционером. Она же брала червонец, который неизвестно как отдать, она насобирала подписей, с которыми теперь неизвестно что делать.

Дав себе недолгую передышку, он покурил, отошел от недавней боязливой неловкости и медленно побрел людной улицей, поглядывая по сторонам. Вокруг громоздились разноэтажные здания с бесчисленным количеством окон, балконов, вывесок, в оба конца грохотали набитые людьми трамваи. Как-то вверху над одним из них густо посыпались с проводов искры, и Петрок испугал-

ся, что загорится. Но ничего не загорелось и никто на улице вроде не обратил на то никакого внимания, все куда-то спешили по своим надобностям. Тем временем утро незаметно перешло в день, над жестяными крышами домов поднялось жаркое солнце, тени на тротуарах сузились, и так припекло, что хоть плачь. Петрок старался терпеть изо всех сил, хотя было чертовски душно в суконной одежке, но он не снимал пиджак — опасался за бумаги и деньги. Прихрамывая, он долго тащился по тротуару рядом с трамвайными рельсами, прошел, наверно, далеко, все надеясь: должны же быть где-нибудь какие-то кустики, овражек или пустырь, которые бы очень ему пригодились. Но улица нигде не кончалась, бесконечными рядами тянулись дома — большие и поменьше, иногда одноэтажные, как в местечке, но зажатые между большими кирпичными зданиями. И повсюду окна и двери, окна и двери. В некоторые из дверей можно было зайти с тротуара, там продавалось что-то, но Петрок только бросал туда озабоченный взгляд и шел дальше. Нога болела все больше, стопу он теперь ставил боком и ругал себя за то, что не смазал дома сапоги, от дегтя они стали бы мягче и, может, не терли. Не торопился в Лепель, чтобы успеть на поезд, вот теперь и мучайся. Он все больше стал волноваться, чувствуя, как идет время, а он еще ничего не сделал. И того, что искал, тоже не было видно. Один раз заглянул в вонючую подворотню с ободранными стенами, во дворе были дети и женщины, одна развешивала на веревке белье и, обернувшись, внимательно посмотрела на него. От неловкости он молча повернул обратно и быстренько вышел на улицу. Хорошо, что ни о чем не спросила, что бы он ей ответил?

Впереди по ту сторону улицы зазеленели верхушки высоких деревьев, и Петрок, обрадовавшись, приспешил шаг, но скоро опять пошел тихо: там тоже было полно людей — одни спокойно сидели на скамейках, некоторые читали, рядом играли дети, иные просто прогуливались по тенистым дорожкам. Навстречу по улице шла молодая женщина с лохматой собачкой на поводке, держа в руке раскрытый над головой зонтик, и Петрок удивился: зачем? Было солнечно, ни одного облачка в небе. Он постоял немного, пооглядывался и со страдальческой гримасой на лице побрел вперед, туда, где улица переламывалась на пригорке. За красиво раскрашенным домом с изогнутыми арками окон показалось громадное серое зда-

ние, очень похожее на Дом правительства. По эту сторону улицы тянулся высокий дощатый забор, за которым был тихий дворик с каштанами в самом конце под горкой. Ворота во двор были широко раскрыты, хотя там никого не было видно, только слышалось, как где-то лилась-стекала вода, Петрок несмело заглянул в ворота. В густой тени каштанов приткнулась металлическая тумба-колонка, и возле нее возилась голоногая девочка в коротеньком пестром сарафанчике. Дальше виднелись какие-то сараюшки, темнели заросли сирени и бузины, бурьяна внизу. Похоже, там могло находиться то, что ему теперь было надо.

Когда он вошел, девочка испуганно отпрянула от медного таза, в котором что-то стирала для кукол, живые ее глазенки выжидательно уставились на него, и Петрок сказал первое, что пришло в голову:

— А можно напиться у вас?

— Можно, — охотно ответила девочка и, поводя худенькими загорелыми плечиками, метнулась на другую сторону колонки.

Петрок думал, что она побежит в дом за кружкой, но кружка уже оказалась у нее в руках, девочка с усилием нажала на рычаг колонки, и прозрачная струя воды быстро наполнила кружку. Петрок торопливо пил, лихорадочным взглядом шаря по зарослям возле сарая. Кажется, он не ошибся: действительно в углу двора приткнулась дощатая уборная.

Девочка спросила о чем-то, но у него уже не хватило терпения ответить. Стараясь спокойнее, но едва не бегом он подался по заросшей тропинке в дальний угол двора.

Когда он возвращался, девочки во дворе уже не было, возле колонки стоял ее медный таз, по поросшим травой камням стекала вода. Петрок обрадовался ее отсутствию — все-таки было неловко перед этой городской малышкой, и он почувствовал себя почти счастливым, когда наконец оказался на улице. Но тут его снова охватила забота: что делать дальше? Все же очень беспокоило дело, ради которого приехал, неужто он так ни с чем и уедет? Что скажет тогда Степаниде? Что скажет Степанида ему, он хорошо представлял.

С обновленной решимостью Петрок пошел обратно к Дому правительства. На этот раз вознамерился твердо: пусть хоть что будет, а он подойдет к милиционеру и спросит. Не арестуют же его за то, может, и не обруга-

ют даже, хоть и было бы за что обругать. Но он вежливо спросит, как повидать товарища Червякова, если не сейчас, так, может, потом, он подождет. А если совсем нельзя увидеть, так не передаст ли товарищ милиционер председателю ЦИКа крестьянское ходатайство за своего председателя колхоза. Хороший ведь был председатель — и партийный, и хозяйственный, — за что же его арестовали? Это все свои, местные начальники, разве они понимают? Но товарищ Червяков должен разобраться, он человек душевный и имеет большую власть. Наверно, он их накажет. Опять же тяготил долг, который надо было вернуть. Петрок не такой человек, чтобы зажилить чужие деньги, такого за ним еще не было. Да и Степанида тоже. В чем другом, случается, бывает разная, а что касается копейки, тут уж она аккуратная. Из кожи вылезет, а отдаст что одалживала.

По-прежнему сильно хромая, вконец вспотевший под толстым суконным пиджаком, с холщовой сумкой в руках Петрок прошел возле костела и приближался к углу уже хорошо знакомого ему здания. С широкого двора наперерез выкатили две легковушки, он едва успел отскочить в сторону, скользнув по ним взглядом. Нет, Червякова там не было. В передней сидел важного вида мужчина в очках, а в задней несколько военных в фуражках, гимнастерках, с ремнями-портупеями через плечо, куда-то быстро покатили по улице, объезжая трамваи. На широком просторе двора по-прежнему было пусто, ни возле дверей, ни за стеклом не видно было ни души, и Петрок даже смешался: как теперь быть, не придется ли идти внутрь здания? Конечно, надо было спросить утром, тогда хоть было у кого. А теперь? Стоять, стучаться или самому открывать двери?

Нерешительно ступая, словно ощупывая подошвами каждую ступеньку, он поднялся на широкое каменное крыльцо и подошел к ближним дверям. Случайно глянул в стекло и содрогнулся от испуга — какой-то загнанный человек смотрел на него из-за двери: обросшее седой щетиной лицо, страдальчески искривленные губы, мокрый от пота лоб и мутная капля, висевшая на кончике разопревшего от жары носа. Петрок отерся, помедлив, несмело тронул широкую ручку двери, подергал сильнее, но дверь ничуть не подалась. Тогда он толкнул ее от себя, но тоже напрасно. В это время за стеклом что-то мелькнуло, и он услышал глуховато-невнятный голос — ну конечно, это был милиционер в знакомой белой ру-

бахе и белой фуражке со звездой над козырьком. Он что-то говорил, но Петрок не слышал и все пробовал открыть дверь. Тогда милиционер сделал шаг в сторону, и невдалеке от Петрока легко распахнулась соседняя дверь.

— Вам что, гражданин?

Наверно, это был другой милиционер, не утрешний, молодой, с приятным чернобровым лицом, тонко перетянутый широким, с наганом ремнем. На левой половине его груди тихонько позвякивал какой-то значок, а рука тем временем придерживала открытой тяжелую дверь, приглашая зайти внутрь. Но Петрок уже не хотел заходить, положив возле ног сумку, он дрожащими пальцами торопливо расстегнул пропитанный потом карман, из которого осторожно извлек мятые листки ходатайства.

— Мне чтоб к товарищу Червякову. Вот тут написано...

С некоторой заинтересованностью на лице милиционер вышел из дверей и, взяв бумажки, легко пробежал взглядом по не очень ровным Степанидиным строчкам.

— Поздно ты пришел, дядька.

— А может, подождать?

— Долго ждать придется.

— Вот как, — уныло сказал Петрок, все еще мало что понимая. Казалось, милиционер шутит над ним. Но если не шутит, так что же тогда ему делать? — И это... Еще долг у меня. Знаете, червонец должен, отдать чтобы...

— Какой червонец? Кому?

— Ну, товарищу Червякову. Одалживал ведь.

Красивое лицо милиционера стало страдальчески напряженным, будто у человека заболел живот, наверно, он также хотел и не мог чего-то понять.

— Гм! Одалживал... Теперь уж не отдать. Вчера похоронили.

— Что, умер? Вот как...

Милиционера позвали в здание, а Петрок остался стоять перед дверью. Кажется, дела его действительно кончились, надо было ехать обратно. Он старательно запихал в карман злополучные Степанидины бумажки, взял с крыльца сумку. На дворе стояла такая жара, что ему сделалось дурно и он вдруг забыл, куда повернуть, чтобы выйти к вокзалу. Знойный туман заполнил его голову, он не рассеивался всю дорогу до станции и потом, когда Петрок стоял в очереди за билетом и когда сидел под стеной на лавке в ожидании поезда на Оршу. Все, что происходило вокруг, казалось ему чужим, постылым, и

очень хотелось домой. К своей горемычной усадьбе на краю Голгофы, к оврагу, своим болотам и кочкам, своему маленькому уголку на этой неласковой огромной земле...

25

Степанида почти не спала ту ночь, только иногда забывалась на время, голова ее тяжелела от мыслей, а больше от гнева и обиды: что сделали, сволочи! А она почему-то их не боялась. Чужаков немцев боялась, а эти же были свои, знакомые ей с малых лет, и, хотя она понимала, на что они способны, все равно не могла заставить себя бояться. Даже Гужа. Ей казалось, что тот больше кричит, пугает, грозится, но плохого все же не сделает. Да и эти, что едва не прикончили ее, хотя и незнакомые, забредшие откуда-то, но все же недавно еще свои, местные и говорят по-нашему или по-русски. Оно понятно, война, но почему так изменились люди?

Она слышала, как они мордовали на дворе Петрока, как расходился там Гуж, пыталась встать, но в голове у нее все закружилось, и, чтобы не упасть, она снова легла в запечье. Сухими глазами она смотрела в закопченный потолок запечья, слышала крики на дворе и думала: нет, этого им простить невозможно. Никогда такое им не простится. Такого нельзя простить никому.

Ей было плохо, сильно болело в правой стороне головы, даже к волосам без боли нельзя было прикоснуться, все там, верно, распухло. «Уж не проломили ли они череп?» — обеспокоенно думала Степанида, но тут же мысли ее перескакивали на Петрока. Куда его повели? Если не убьют, так, может, посадят в подвал под церковью, теперь они сгоняют туда арестованных. Должно быть, там и Петрок. И что он им сделал, чтобы сажать его под замок? Разве не угодил самогонкой? А может, его взяли за нее, Степаниду? Когда стал заступаться? За нее, конечно, могли взять обоих. Но прежде-то взяли бы, наверное, ее.

Кажется, она вынесла отпущенное ей сполна, пережила свою судьбу. Хотя вроде бы еще и не жила на этом трудном, богом созданном свете. Все собиралась, откладывала на потом, потому что долгие годы были словно подступом, подготовкой к лучшему будущему. Ликвидировали единоличие, проводили коллективизацию, было не до радости и удовольствий, думалось: ничего, после, ког-

да все наладим, вот тогда и заживем. Но потом выполняли пятилетки, боролись с классовым врагом — все в нехватках, тревогах, беспокойстве. Было много заботы о том, что съесть, как экономнее растянуть кусок хлеба, дожить до свежей картошки. Не во что было одеть ребятишек, негде достать обувь. Жить было трудно, и думалось: только бы поставить на ноги детей. Но вот выросли дети, да тут война.

Сколько она продлится, эта война, как пережить ее, как дождаться детей? И то и другое, наверно, уже не под силу. Не по возможностям. Но что тогда ей под силу? Что по ее возможностям?

На счастье или на беду, она знала, в чем ее хватит с избытком, от чего она не отречется хотя бы на краю погибели. За свою трудную жизнь она все-таки познала правду и по крохам обрела свое человеческое достоинство. А тот, кто однажды почувствовал себя человеком, уже не станет скотом. Многое в жизни, особенно беды и горе, убедило ее в том, что с людьми надобно жить подоброму, если хочешь, чтобы и к тебе относились полюдски. Наверное, человек так устроен, что отвечает добром на добро и вряд ли может ответить добром на зло. Зло не может породить ничего, кроме зла, на другое оно неспособно. Но беда в том, что человеческая доброта перед злом бессильна, зло считается лишь с силой и страшится лишь наказания. Только неотвратимость расплаты может усмирить его хищный нрав, заставить задуматься. Не будь этого, на земле воцарится хаос вроде того, о котором говорится в Библии.

Иногда она слышала о немцах: культурная нация. Может, в чем-либо и культурная, но разве культурный человек может позволить себе так открыто разбойничать, как это делают немцы? Она не читала их книжек, не разбиралась в их высокой политике. Она привыкла судить о большом по малому, о мире — по своей деревне. И она не ошибалась. Она знала, что хорошие люди не поступают подло ни по своей воле, ни по принуждению. Подлость — оружие подлецов. Уже одно то, что немцы пришли на ее землю с оружием, значило, что правда не на их стороне. У кого правда, тому не надобно оружия. Опять же достаточно посмотреть, кто с ними заодно, чтобы понять, кто они сами. До последней своей минуты она не покорится им, потому что она человек, а они звери.

Степанида немного забылась от боли и, может, даже уснула, но вскоре встрепенулась от близкого собачьего

лая и поняла, что это разошелся Рудька. Лаял он во дворе, казалось, с дровокольни. Но на кого лаял, кто теперь мог ходить возле хаты? Несколько встревожась, она подняла голову и выглянула из запечья. В хате было совсем темно, едва светилось окно напротив, и как раз в этом окне раздался тихий настойчивый стук.

Сердце у нее заколотилось, она попыталась встать, обеими руками держась за грубку, вышла из запечья, все вглядываясь в окно. Но там ничего не было видно. Тихий стук в нижнюю шибку, однако, повторился снова с прежней настойчивостью.

— Кто там? — дрогнувшим голосом спросила она и замерла.

— Открой, мамаша. Свои.

— Что вам надо?

— Ну открой!

— Не открою. Я одна в хате, больная, не открою.

Наверно, услышав голос хозяйки, смелее залаял Рудька, подскочил ближе к порогу. Она хотела сказать еще, что Петрока нет и самогона нет и не будет, что не годится ночью стучать в дверь к больной старой бабе, но подумала, что словами их не остановишь. Возможно, сейчас выбьют дверь или окна, и снова начнется то же, что в прошлую ночь. Но, к ее удивлению, они не стали больше стучать, тихо переговорили между собой и, наверно, пошли, потому что Рудька забрехал дальше — возле тына или в воротцах под липами. Она постояла немного, вслушалась и подумала, что, пожалуй, это была не полиция. Но кто? Наверно, и не здешние, потому что говорили по-русски. Кто бы это мог быть? А вдруг это пришлые красноармейцы? Или партизаны, может? Она уже услышала неделю назад, что в Заберединских лесах собирается большая партизанская сила. Однажды тихой ночью там полыхнуло что-то в полнеба, грохнуло и прокатилось эхом над всей лесной стороной. Значит, не спят, что-то готовят им партизаны, красноармейцы которые, ну, и партийные. Нет, партия немцам спуску не даст. Может, там среди них и Федор и они бы сообщили что-либо о нем? Ой, что же она, дура, наделала! Надо же было пустить их в хату.

Это небольшое ночное происшествие совершенно растревожило Степаниду, она подошла к окну и сквозь запотевшее стекло всмотрелась в осеннюю ночную темень, прислушалась. Нет, нигде никого больше не было. Рудька успокоился, должно быть, те ушли далеко.

Степанида больше не спала и даже не пыталась уснуть. Остаток ночи она просидела у окна, слушая невнятную, сторожкую тишину снаружи. Голова все болела, но она вроде притерпелась к боли; когда в окнах начало немного сереть к рассвету, Степанида встала. Она уже почувствовала, что не может больше сидеть на хуторе, мучиться в неизвестности. Хватит с нее той неизвестности, что поглотила Федьку, Феню, так теперь еще и Петрока. Нет, надо было куда-то идти, что-то делать.

Рудька молчал во дворе или, может, сбежал куда с хутора, а на рассвете беспокойно заворошился в застоpонке поросенок. Она услышала его через стену и вспомнила — второй день не кормленный. Забота о поросенке придала ей силы, она выбралась из хаты в сенцы, на ощупь нашла у порога старый чугунок, насыпала в него отрубей из жерновов. С боязливой нерешительностью отворила дверь, которая оказалась незапертой со вчерашнего, и снова припомнила ночной стук в окно. Они не попытались даже открыть двери. Нет, это не полицаи, это кто-то из чужих, захожих. Сожаление снова встревожило ее: почему же она их не впустила? Может, это был единственный случай узнать что-либо о Федьке.

Она поставила есть поросенку, нашла в столе кусок лепешки для Рудьки, присела на скамью и задумалась: что делать дальше? Прежде всего следовало разузнать про Петрока, если он еще жив. Но узнать можно было только в местечке, здесь кто тебе о нем скажет? Значит, надо идти в местечко.

Немного посидев на скамье, она поднялась, прошла в истопку. В кадке на самом дне в соли еще было два куска сала, она достала один; под разбитым кувшином за печкой-каменкой оставался пяток яиц. Все это уложила в небольшую легонькую корзинку, с которой до войны ходила в местечко, и вышла из сеней.

На дворе, как и все эти дни, было студено и ветрено, но дождь не шел, верно, перестал на рассвете. Двор и дорога были сплошь в грязи. В голове у нее еще болело, трудно было нагибаться, она закутала голову теплым платком, на все пуговицы застегнула ватник. Обуть на ноги ей было нечего, и она до заморозков ходила босая, а потом обувала опорки или ссохшиеся за лето бурки, которые где-то валялись за печкой. Теперь, в такую грязь бурки надеть было невозможно, и она так и пошла босиком к большаку. Хату не закрывала, куда-то запропастился замок, только воткнула щепку в пробой, и все.

Красть там уже нечего, а полицаев никакие замки не удержат.

Она шла краем дороги, где по грязи, а где по мокрой траве, обошла желтую лужу на съезде и взобралась на невысокую насыпь большака. Она не была на нем с того дня, когда немой Янка увидел за сосняком немцев, и теперь заметила, что здесь многое изменилось. Прежде всего, как и до войны, гудели вверху натянутые на столбах провода, порванные при отступлении. Значит, уже наладили телефон, по которому переговаривается новая, немецкая власть. Большак был сплошь в свежих следах от колес повозок и автомобилей, конских и человеческих ног. Значит, наладили мост. Недалеко впереди въезжала в сосняк телега, белая лошадь резво бежала в оглоблях, а сидевший в повозке мужик все помахивал над ней кнутом, гнал лошадь быстрее. Она подумала, что немного опоздала дойти до большака, а то бы, может, подъехала с ним, и оглянулась, не едет ли кто еще.

Сзади больше никто не ехал, зато впереди, из-за поворота в сосняк выскочила машина, за ней еще одна и еще. Машины были несколько меньше той, что стояла у нее на усадьбе, но тоже тяжелы и громоздки, доверху чем-то нагруженные. Степанида сошла в канаву, чтобы быть от них подальше, и взглядом впилась в стекло передней, пытаясь рассмотреть там лица. Лица, однако, не очень были видны за блестевшим стеклом, но она поняла, что сидели там немцы: темные воротники с петлицами, светлые уголки погон на плечах, задранный верх фуражки у того, что сидел возле шофера. Обдав ее бензиновым чадом, первая машина проскочила мимо, затем пронеслась вторая, а на третьей в открытом кузове она увидела трех молодых немцев, оттуда же доносилась приятная музыка — один тихо играл на маленькой гармошке, которую держал подле рта. Когда машина поравнялась с ней, крайний молодой немчик с веселым, раскрасневшимся от ветра лицом крикнул:

— Матка, гип яйка!

— Матка, шпэк! — подхватил другой и швырнул в нее белым огрызком, который, не долетев, шлепнулся в грязь на дороге.

Она не сказала им ни слова в ответ, только смотрела, как они, веселые и озорные, с форсом пронеслись возле нее, старой измученной бабы, чужой матери, едва не убитой две ночи назад, и ни одна жилка не дрогнула на ее лице. Как ни странно, но теперь она их не боялась и

не сказала бы им ни одного слова, если бы они обратились к ней. В ее сознании они так и не стали людьми, а остались чудовищами, разговаривать с которыми для нее было нелепостью. Она даже пожалела, что в ту ночь не бросила и еще что-либо в колодец, не подожгла хату — пускай бы сгорели вместе со своим офицером. Тогда она чересчур осторожничала с ними, слишком боялась. А зачем? Разве теперь страх — поводырь? Вон Петрок на что уж боялся, даже угождал им, лишь бы избежать худшего. Но чего он этим добился? Забрали безо всякой причины. И еще убьют или повесят.

Сколько она за жизнь намыкала горя с этим Петроком, да и перессорились сколько, а вот жаль человека так, что хочется плакать. Ну что он им сделал? Кому, в чем помешал? Если и не помог никому, так потому, что не мог, значит, такой характер. Но на плохое он неспособен. Был даже чересчур добрым по нынешнему времени, да и по прежнему тоже. Уж такая натура: скорее отдаст, чем возьмет. Легче уступит, чем своего добьется. Не любил ссориться, ему все чтоб тихо. А потиху разве в жизни чего добьешься? Да он ничего и не добивался.

Она вспомнила, как когда-то гоняла его в Минск к Червякову, и в который раз почувствовала укол совести: разве по Петроку это было? Но и сама не могла — полторы недели проковыляла на одной ноге по двору.

Долго она подозревала Петрока: может, не отдал? Не нашел, не успел, побоялся?! Сколько донимала расспросами, однако Петрок стоял на своем: отдал милиционеру. Словом, все в порядке, и надо только одно — ждать.

Правда, ждать было не в ее характере, и, как только стала подживать нога, Степанида с клюкой побежала в местечко, вконец переругалась с районным начальством, ей самой даже пригрозили, что отправится вслед за Левоном, но она не испугалась. Степанида заступилась еще и за учителя, того самого, что потом стал директором школы, — недавно его повесили немцы. А тогда учитель месяц спустя пришел в местечко из Полоцка. Выпустили. Может, потому, что был ни при чем, а может, и ее заступничество помогло. Хотя бы и чуть-чуть. Когда человек тонет, ему и соломинка может помочь.

Левон правда, так и не вернулся, видно, пропал Левон. Теперь не до Левона.

Немцы не принимали их за людей, смотрели и обходились как со скотиной, наверно, так же следовало от-

носиться и к немцам. С полным презрением, с ненавистью, с непокорностью всюду, где только можно. Тем более что другое отношение к ним тоже не сулило ничего хорошего. Случай с Петроком убедил ее в этом.

Большаком она перешла соснячок, взглянула на глубоко развороченную яму в песке на повороте и наконец увидела вдали крайние местечковые избы, крышу пожарной вышки, голые тополя над улицей. Над некоторыми трубами ветер рвал сизые клочья дыма, было утро, в местечке топились печи. После того как перебили евреев, многие избы там пустовали, другие занял всякий случайный сброд, полиция. Внешне там мало что изменилось, в этом местечке, где, наверно, и теперь шла обычная, как и до войны, жизнь. Зато что-то изменилось на большаке — свежая дорожная насыпь, над рекой желтел новым настилом мост, которого не было тут с половины лета, да и сама насыпь была тогда разворочена бомбами, словно ее перерыли свиньи. А теперь, гляди ты, построили. Построили, чтобы ездить, гнать машины на восток, к фронту, возить для их армии все, что ей надо. Видно, много ей надо, если понадобился и такой вот неказистый большачок с недлинным, в двадцать шагов мостком через болотистую речушку. Значит, без него не обошлись.

Медленным шагом она подошла к мосту и с каким-то душевным смятением ступила на новые белые доски настила, потрогала рукой оструганное дерево перил. Все было деревянное, грубо и крепко сбитое, скрепленное толстыми болтами с гайками, наверно, рассчитанное надолго. Значит, так и будут теперь разъезжать немцы, полицаи будут хватать людей и возить по этому мосту в местечко, кого вешать на телеграфных столбах, а кого сажать в церковный подвал или закапывать в карьере на той стороне местечка. Очень нужный мост, ничего не скажешь. Жизни из-за него не будет.

А как хорошо было в те несколько месяцев, когда тут торчали голые сваи, зияла воронками насыпь и не каждый прохожий отваживался по двум шатким жердям перебраться на другую сторону речки. Тогда, хоть и недолго, пожили в покое, никто по ночам не ломился в двери, немцы не показывались не только на хуторе, но даже и в Выселках. Новая власть сюда не дотягивалась.

Степанида перешла мост и вдруг остановилась при мысли: а если его поджечь?! Все-таки деревянный, может, загорелся бы, сгорел, и настала бы тогда та воль-

ная жизнь, которая была без него. В самом деле, если вылить на доски керосин, что достал в местечке Петрок...

Степанида снова вернулась на мост и босой ногой ощупала в разных местах доски настила — нет, холера на него, видно, такое не подожжешь. Если бы летом, а теперь тут все мокрое, сырое да еще из свежего дерева, нет, такое не загорится... Вот если бы сюда бомбу!.. Неожиданная эта мысль так поразила Степаниду, что она вдруг перестала ощущать себя на этой дороге и забыла даже, куда и зачем шла. Она вспомнила недавние слова Петрока и в каком-то озарении сообразила, что ведь так оно и есть! Степанида слишком хорошо знала выселковского Корнилу, чтобы сразу увериться, что с бомбой без него не обошлось. Но ведь Корнила... А может, теперь послушается ее? Она его упросит!

И Степанида повернула по большаку обратно, от речки к сосняку, за которым напротив Яхимовщины был поворот в другую сторону — на пригорок к Выселкам.

На большаке никого она не встретила, только далеко сзади кто-то не спеша тащился, верно, из местечка. А на выселковской дороге сразу увидела Александрину, свою ровесницу, с которой они в одно время выходили замуж, помнится, обе венчались в церкви зимой, на крещенье. Еще, помнится, в тот день вороной жеребец Александрининого отца сломал ногу на том самом мосту, провалившись в дырявом настиле, такой никудышный был мост. Александрина медленно шла, повязанная углами платка под мышки, и вела за руку болезненного, тоненького, очень тепло одетого мальчика. Они поздоровались.

— Давно не виделись, Степанида, куда же ты, как живешь?

— Да так, знаешь... Теперь все так, — немного смешалась Степанида, застигнутая врасплох этим вопросом. Она просто не знала, как ей ответить, и скоренько спросила: — А ты как?

— Ай, Степанида, горюшко навалилось, веду вот сыночка к доктору, съел что-то плохое, так спасу нет, пятый день мучается, — словоохотливо заговорила Александрина, сразу позабыв о своем вопросе. — Это же надо, на меня такое нынче насыпалось, — она опасливо оглянулась на дорогу и тише сказала: — Знаешь, Витя пришел мой, сынок, едва высвободился...

— Виктор! И что он, с войны? — удивилась Степанида.

— Ай, какая война! Контузило его сильно, голова

болит, руки трясутся. Ой, какое горечко было там, на фронте, рассказывает...

— Трудно?

— Ой, не говори! Танками, сказывает, давят, а у наших одни винтовочки и те... Поразбегались по лесам, которые в плен, а которые вот домой, кому недалеко...

— Вот как!

Степанида слушала, но что-то в ней невольно насторожилось в отношении к этой женщине, прежней ее подруге, что-то не понравилось ей, и она подумала: Виктор пришел, а где же мой Федька? Федька домой не побежит, в плен тоже не сдастся, и если нет от него вестей, то... Наверное, в сырой земельке уже Федька.

Обидно было за сына, и почувствовала она зависть к Александрине: хотя и контуженый, но вот вернулся. Да у той и без старшего дома пятеро, полная хата ребят. А у нее пусто. Было двое, и тех... Никого не осталось!

С такими невеселыми мыслями она добралась до Выселок, но улицей не пошла — в начале огородов свернула на стежку и подалась к недалекой пуне под кленом, откуда уже рукой подать было до хаты Корнилы. Она не была у него, может, лет десять, от самой коллективизации, и увидела, что за это время Корнилова усадьба не обветшала нисколько, а то и обновилась даже. За аккуратным высоким забором звякнула цепь и злобно забрехала собака. Степанида остановилась, боясь открыть плотную, сбитую из новых досок калитку. Думала, кто-то должен же выйти. Ей не хотелось, чтобы вышла Ванзя, высокая сухопарая жена Корнилы, с которой у нее так и не сложились отношения с самого дня их женитьбы. Хотя не ссорились, но ни разу и не поговорили, а встречаясь где на дороге или в местечке, молча расходились, будто незнакомые.

Минуту она смотрела через калитку на хату с красивым крыльцом-верандой, застекленным маленькими квадратиками, под новой соломенной крышей, вокруг было множество надворных пристроек, разных хлевков, чуланов. Совсем кулацкая усадьба, подумала Степанида. Неплохо обжился Корнила, хотя работал не бог знает где — на пожарной в местечке, но, главное, верно, имел время. Усердия же у него всегда было в избытке.

Корнила высунулся откуда-то сбоку, из-за угла пристройки-повети, всмотрелся издали, и она едва узнала его, чернобородого плечистого мужика, который, медлен-

но, с недоверчивым раздумьем подошел к калитке и отбросил два или три тяжелых железных запора.

— Ты... как в крепости, — пошутила она, однако, с серьезным выражением лица. Наверно, он почувствовал натянутость шутки, и не ответив, пропустил ее во двор. Потом так же старательно запер калитку. — У меня дело к тебе, — сказала она. — Но чтобы никого...

— Ну, идем в поветь. Как раз там я...

Он неторопливо провел ее возле черной, злобно урчащей собаки, зашел за угол сеней, оттуда они прошли во двор с кучей навоза под стеной хлева, еще завернули за какую-то загородку и оказались наконец у приоткрытых дверей боковушки, заставленной бесчисленным множеством деревянного и металлического лома, колес, досок, каких-то дубовых заготовок, чурбанов и колодок, с развешанными на стенах инструментами и железяками, со столярным верстаком у дверей. Возле верстака на низкой колоде лежал старый усиженный ватник, и рядом стояло колесо от телеги, над которым, видно, трудился Корнила. Как только они вошли, хозяин сразу сел на колоду и взялся за инструмент и свое колесо. Он ни о чем не спрашивал, и она стояла в дверях, не зная, с чего начать.

— Мастеришь?

— Мастерю. Что же делать...

— Дома все хорошо?

— Да все будто.

— А моего Петрока забрали. Вчера.

— Плохо, если забрали, — сказал он с прежним холодком в голосе, даже не подняв голову от колеса, только, может, сильнее ударил по ободу тяжелым молотком. — Значит, было за что.

— А вот ни за что.

— За ни за что не возьмут.

Она не особенно хотела с ним препираться, давно знала его трудный, малообщительный нрав, но все же подумала: если не посочувствует, так, может, хоть удивится? Но он и не удивился, казалось, ушел в себя или сосредоточился на своей работе. Или стал таким твердокожим?

— У меня к тебе просьба, — просто сказала она, подумав, что так еще и лучше — без лишних слов, сразу о деле.

— Это какая? — все так же холодно, сухо выдавил он, большими крепкими пальцами натягивая шину на

обод, и шея его от усилия покраснела над воротом суконной куртки.

— Отдай бомбу.

Может, впервые он взглянул на нее исподлобья, сверкнув тревогой из-под черных косматых бровей, и неопределенно хмыкнул в бороду.

— Знаю, ты прибрал бомбу. Ту, возле моста что лежала. Отдай мне.

— Много ты знаешь, — только и сказал Корнила.

— Отдай. Ну зачем она тебе? В такое время одно беспокойство.

— А тебе зачем?

— Мне надо.

— А кто сказал, что я имею?

— А никто. Сама догадалась. Я же очень хорошо знаю тебя, Корнилка.

Она замолчала и, казалось, перестав дышать, следила за ним, за движениями его грубых широких рук, сжимавших новый, из белого дерева обод, на который не хотела налезать шина. Корнила оттянул ее долотом и несколькими точными ударами молотка насадил на обод. Потом трудно вздохнул.

— Так чего же ты хочешь: товар за так?

— За так? — удивилась она. Действительно, ей и в голову не приходил этот вопрос: чем она уплатит Корниле? Да и чем можно было платить в такое время за такой необычный товар?

— За так теперь и блоху не убьешь, — проворчал Корнила. — Теперь время такое. Война!..

— Так, знаешь ли, деньги...

— Э-э! Какие деньги! Что теперь с тех денег...

— Ну вот у меня фунта два сала. Полдесятка яиц...

— Сказала — яиц! Яиц и у меня найдется. На яичницу.

«Вот же скряга!» — начала злиться про себя Степанида. Она узнавала прежнего Корнилу, у которого, говорили, зимой снега не выпросишь. Но хорошо еще, не стал отпираться, что имеет бомбу. Тут она угадала точно и тихо порадовалась этому. Остальное уж как-нибудь. Но как?

— Я же думаю, ты не за немцев? Наверное же, человеком остался?

— А я всегда был человеком. Ни за тех, ни за других. Я за себя.

— Ну а вот же бомбу прибрал. Видно, знал, пригодится?

— Знал, а как же! Вот и пригодилась. Кому-то.

— Мне, Корнила.

— А мне все равно. Пусть тебе.

Они помолчали, Корнила все крутил в руках колесо, хотя делать с ним, пожалуй, уже было нечего.

— Так что ж я тебе?.. Денег не имею, коровку немцы съели. Курочек постреляли, пяток всего осталось. Мужика Гуж забрал, в местечко повел. Что же я еще имею?.. — смешалась Степанида.

— А свиненка? — вдруг спросил Корнила и второй раз зыркнул на нее коротким колючим взглядом. — Или тоже не имеешь?

— Поросенок остался, ага. Весенний, — растерялась Степанида и смолкла: уж не захочет ли он поросенка?

— Хорошо, что свиненок остался, — как-то вроде равнодушно сказал Корнила, встал и подался в угол, что-то перебрал там в железяках и наконец вытащил кривую длинную проволоку, которую взялся рубить на гвозди.

— Остался, ага. Но... Ладно, бери поросенка. Отдам.

— С полпуда будет?

— Будет с полпуда. Упитанный, хороший поросенок, — упавшим голосом похвалила Степанида и удивилась при мысли: неужели она его отдаст? С чем же тогда останется?

— Ну, разве за свиненка, — оживился немного Корнила. — Ну, и это... По теперешнему времени товар! Для чего тебе только?

— А это уж мое дело. Надо!

— Ну известно. Если, может, в лес кому? Товар ходовой, хороший.

Корнила немного подумал, потом выглянул из дверей, прикрикнул на собаку и молча рукой махнул Степаниде, чтобы шла следом. Во дворе они перелезли через низкие воротца на зады усадьбы, заросшие кустами смородины, крыжовника, молодым вишняком. Под тыном среди лопухов и крапивы Корнила поднял пласт слежалых гороховых стеблей, из-под которых выглянул конец чего-то длинного и круглого, будто ступа, с приваренной на хвосте жестянкой. Это была бомба.

— Во! — со сдержанной гордостью сказал он и быстренько опять накрыл ее. — Полцентнера будет. Силы!

Степанида слегка заволновалась, может, впервые почувствовав, какую навлекает на себя опасность. Но отступать было поздно — пускай берет поросенка.

— Запрягу коня... Только ночью чтоб. Как стемнеет, так и привезу.

— Ну, конечно же, как стемнеет, — тихо согласилась она.

26

Еще до того как начало смеркаться, Степанида обеспокоенно вышла во двор, выглянула в воротца, постояла за тыном, все всматриваясь в дорогу, в сторону Выселок. Она понимала, что еще рановато, что Корнила не выедет, пока совсем не стемнеет, сам же сказал об этом, а человек он основательный, как сказал, так и сделает. Но она не могла ждать в хате, она даже ничего не ела сегодня и не топила грубку, так ей не терпелось дождаться приезда Корнилы, потому что — не дай бог! — налетит полиция! Что тогда будет обоим?

С полицией она уже встречалась сегодня в местечке, куда пошла сразу от Корнилы из Выселок, добралась-таки до тюрьмы в церковном склепе. За то время, пока она не была в местечке, полицаи здесь хорошо и прочно обосновались — к полуразрушенному каменному остову церкви сделали пристройку из теса, навесили тяжелые двери, при которых теперь стоял часовой с винтовкой. Она даже обрадовалась, когда узнала в этом часовом Недосеку Антося, и подумала, что, верно, ей повезло. Обойдя широкую дождевую лужу, сразу повернула с площади к этим воротам, намереваясь как можно ласковее спросить про Петрока, а может, и передать корзинку. Но Недосека еще издали остановил ее злым окриком:

— Назад! Нельзя!

— Это я, Богатька из Яхимовщины, — сказала Степанида, останавливаясь и подумав, что он ее не узнал. Но и после ее слов черное, цыгановатое лицо Недосеки осталось прежним — недоступным и строгим.

— Сказал, назад! Запрещено.

— Я только спросить, здесь ли Петрок?

— Говорю, запрещено! Назад!!

«Ах, чтоб ты очумел! — зло подумала Степанида и в недоумении перехватила корзинку с одной руки на другую. — Что теперь делать?»

— Скажите только, куда посадили? — также начиная

злиться, попросила она. Но Недосека выглядел таким неприступным, каким она никогда не видела его. Будто его подменили кем-то. Недолго постояв, она попыталась незаметно подойти к нему ближе.

— Не подходи! Применю оружие! — вызверился полицай, хватая с плеч знакомую винтовку с расколотым и склепанным железкой прикладом.

Она молча постояла немного, повернулась и пошла назад, на другую сторону грязной немощеной площади, где в аккуратно побеленном каменном доме с балконом расположилась теперь полицейская управа. Она думала, может, там встретит кого из знакомых, спросит, но издали еще увидела на ступеньках какое-то мурло в шинели с винтовкой, также, верно, часового. Нерешительно перейдя площадь, она остановилась возле телеграфного столба с подпоркой, поставила на сухое место в траве корзину и ждала появления Гужа или Колонденка, чтобы спросить. Но, как назло, из управы никто не выходил — или они были заняты чем, или никого там не было. А она все стояла на ветру, который сеял мелким промозглым дождем, ее платок пропитался влагой, стыли мокрые руки, но она терпеливо ждала, не сводя взгляда с закрытых дверей полиции. Она не сразу услышала чьи-то шаги по грязи и, резко оглянувшись, увидела учителя Свентковского, который торопливыми шажками направлялся в полицию. Правда, он сделал вид, что не узнает ее или не замечает, и даже пригнул голову в шляпе, наверно, чтобы не здороваться. Но она с последней надеждой подалась к нему, вспомнив, что человек он незлой, может, скажет два слова.

— Добрый день вам...

— Добрый день, — сухо ответил Свентковский, однако, не останавливаясь. Тогда она подхватила из-за столба корзину и по грязи побежала следом.

— Может бы, вы это передали Богатьке Петроку. Наверно же, тут он?

— Здесь, да, — сказал Свентковский, опасливо взглянув на близкое здание управы и почти не замедлив шаг; она испугалась, что не задержит его, что он сейчас отойдет, тогда не догонишь.

— Может бы, вы передали... Яйца тут, сало...

Свентковский молча взял из ее рук корзинку, его узкие глазки на испитом остроносом личике тревожно метнулись по площади.

— И сейчас же идите отсюда! Сейчас же, быстро!! — бросил он тихим настойчивым шепотом.

Обрадованная было Степанида немного смешалась, почувствовав какое-то затаенное беспокойство в словах бывшего учителя, и с минуту глядела сзади на его сутулую спину в черном суконном пальто, которое лет десять носил Свентковский. Тот подошел к крыльцу, остановившись, немного поскреб о железку выпачканные грязью сапоги и, коротко оглянувшись на нее из-под шляпы, исчез за дверью. Тогда только до нее дошел угрожающий смысл его слов, и она поняла, что это он не со злости, скорее от сочувствия к ней. Наверно, там что-то случилось, о чем они дознались, и над ней также нависла беда.

Но беды себе она не хотела, у нее был большой отчаянный план, она не могла теперь по-глупому рисковать в местечке, под носом у полицаев, и сначала не спеша, а потом все быстрее и быстрее пошла местечковой улицей к большаку. Наверно, надо было торопиться, вряд ли у нее оставалось много времени, а дел и забот было пропасть. Когда уже бежала домой, думала о том, что бы могло случиться и где. Дома или, может, у Корнилы? Или о чем-то проговорился Петрок? Но что знал Петрок? Она давно уже отказалась от скверной бабской привычки обо всем болтать с мужиком, может, потому, что Петрок не очень разделял ее мысли и с явным недоверием относился к ее намерениям. Многое она делала на свой страх и риск, как сама считала нужным. Петрок вначале ворчал, но с годами привык к ее независимости, а то и первенству, и обоим, кажется, было неплохо. Не дай бог, если бы он узнал о винтовке, он бы умер со страху. И хорошо, что Степанида все от него утаила. Она давно уже убедилась, что только то будет в секрете, что знаешь сам, один и никто больше на свете. И то не всегда. Такой теперь свет и такие люди.

Степанида замедлила шаг только на своем дворе, где с облегчением вздохнула, увидев, что все здесь по-прежнему, никого нет и в пробое косо торчит воткнутая ею щепка. И она подумала, что, может, Свентковский сказал просто так, чтобы припугнуть ее или прогнать от полиции. Но его приглушенный голос был очень похож на заговорщический и таил предупреждение ей. Наверно, все же здесь что-то не так. Пожалуй, еще что-то будет.

Зайдя на минутку в хату, Степанида вышла во двор и стала поджидать Корнилу. Она неотрывно вглядыва-

лась в серые сумерки, сгустившиеся над широким простором поля, за которым быстро таяли в надвигавшейся темени выселковские хаты, дорога по пригорку, большак с рядом телеграфных столбов. Лучше был виден ближний конец дороги на хутор, но и тот постепенно расплывался, тонул в темноте, пока вовсе не исчез из виду.

Рядом по двору туда-сюда бегал осиротевший приблудный Рудька. Когда она останавливалась, вглядываясь вдаль, он также замирал у ее ног, вглядывался и вслушивался во что-то свое, собачье. И она вдруг удивилась, словно увидев себя со стороны: что она затеяла? Это тебе не винтовка, которую бросила в колодец — и все концы в воду. Наверно, бомбу этак не спрячешь, с бомбой как бы не влипнуть всерьез. Главное, чтобы теперь не попасться на глаза этим злыдням, а там, может бы, как и удалось. Немного потом, погодя. Если надо, она повременит, потерпит, дождется своего верного часа. Только бы удалось с мостом, а там будь что будет. Она не боится.

И все-таки она боялась и даже вздрогнула, когда Рудька вдруг тявкнул в темноту, заурчал и напрягся весь во внимании. Степанида тихо шикнула на него, топнув ногой, Рудька затих, и она уже точно знала, кто там, и подалась к воротцам. Еще издали она услышала тихий стук колеса на выбоине, усталое дыхание лошади, вскоре на светловатом фоне неба появилось расплывчатое очертание лошадиной головы под дугой, рядом вразвалку шагал коренастый Корнила с вожжами в руках.

— А я уже жду, — тихо сказала Степанида, встречая подводу.

— Чего же ждать? Как смерклось, вот запряг и приехал. Дорога же не дальняя.

— Не дальняя, но...

Она хотела сказать, что теперь и на близкой можно налезть на беду — встретиться с немцами или полицией, которая повсюду шарит за своей поживой, да и злой человек также мог выследить, донести, долго ли теперь до несчастья. Но она промолчала, чтобы лишний раз не бередить душу себе и Корниле. Обошлось, и ладно. А там будет видно.

— Куда тебе ее? — проворчал Корнила, заехав под липы и натянув вожжи.

— Куда?

Действительно, куда ее можно спрятать? Наверно, хата для того не годится, в хате сразу найдут, значит, надо

в другое подходящее место вблизи усадьбы, чтобы иметь всегда под присмотром. И Степанида вспомнила промоину за хлевом, обильно заросшую малинником, там же были и ямы со сваленным в них хворостом, как раз будет чем закидать, спрятать до времени.

— Давай за хлев. В ровок.

— Можно и в ровок. Мне что? Мне все равно.

Корнила подвернул передок телеги и помалу повел лошадь вдоль тына к оврагу. Степанида в потемках, идя впереди, показывала, как лучше проехать.

— Здесь вот дальше от забора. Здесь пень. Вот теперь прямо за мной.

Она легко и уверенно ступала во тьме, так как знала здесь каждую былинку или рогатину, а Корнила медленно тащился следом, позвякивая уздечкой и тихо понукая лошадь. Так в сплошной темноте они добрались до кустарника, что темной стеной высился на краю оврага.

— Вот тут ямины где-то, — пригнувшись, Степанида пошарила в траве руками. — Сейчас подниму хворост.

— Сперва давай снимем, — сказал Корнила. — Я возьму, а ты пособи. Все же груз...

Они подступили к телеге, Корнила обеими руками потянул из-под сена бомбу, Степанида подхватила под мышку ее холодный железный хвост.

— Тяжелая, холера!

— А ты думала! Зато силу имеет. Не какой-нибудь там снарядик. Мощь!

Очень осторожно они опустили длинное, скользкое от дождя тело бомбы на мокрую траву возле ног, Корнила, сойдя ниже в яму, потянул бомбу на себя.

— Она, знаешь, немного того... С брачком, — натужно сообщил он, выпрямляясь и тяжело дыша.

— Неужто с брачком? — насторожилась Степанида.

— Брачок небольшой, правда. Если кто из военных так скоро исправит. Небольшой брак, — поторопился заверить ее Корнила.

— Что же давеча не сказал?

— А тебе что? Не все равно? Верно же, не сама будешь. А специалист, он исправит. Который военный.

— Так где же теперь военный...

Больше она ни о чем говорить не стала, подумала, что еще проговоришься перед этим Корнилой. О ее планах не должен был знать никто из посторонних. Хотя Корнила не посторонний, конечно. И еще понимала она, что од-

ной ей вряд ли справиться, нужны будут помощники. Но помощники найдутся. Не может быть, чтобы не нашлись помощники. Не теперь, так потом. Была бы бомба.

— А то, что мокрая, ничего? Не отсыреет? — спросила Степанида.

— А ничего. Заряд же в железе, — уверенно сказал Корнила, и она подумала, что, наверно, он знает: служил в армии и даже был на польской войне, говорили, едва не дошел до Варшавы.

Они навалили на бомбу сухого хвороста, который лежал возле ямы — прошлым летом Петрок расчищал тут на краю оврага, чтобы не разрастался кустарник, не затемнял огород. Теперь ей показались смешными эти его хлопоты, пришло время позаботиться о другом. Но хворост сгодился.

— Ну пусть лежит, — устало сказал Корнила, выбираясь из ямы. — Так где же подсвинок?

— Да в засторонке. Надо кругом объехать. Следы чтобы...

— Ну, конечно, следы...

Он снова взял коня за уздечку, Степанида пошла впереди и почти на ощупь в моросящей дождем темноте привела его к стежке через огород, сбросила жердку с изгороди, чтобы он мог проехать к истопке. Порожняя телега тихо, без стука переваливалась по бороздам, конь мягко ступал по мягкой земле. Возле дровокольни они остановились.

— Вот тут. Я сейчас!

В мокрых зарослях лопухов и крапивы она нащупала низкую дверь засторонка, откинула подпорку, и ей под ноги выкатился из темноты светлый подвижный круглячок, радостно захрюкав, начал тыкаться жестким пятачком в ее мокрые ступни. Ей стало жаль поросенка, столько она нагоревалась с ним и вот должна отдавать чужому. Но усилием воли она подавила в себе эту жалость. Теперь, когда все шло прахом, было не до жалости к этому глупому созданию, надо было заботиться о более важном.

— Иди, иди сюда...

Поросенок доверчиво отдался в ее руки, приподняв, она прижала к себе его тяжеловатое теплое тело, понесла к телеге.

— Вот, куда его?

— А в мешок. Мешок есть...

Ну конечно, у него был мешок, иначе как же везти по-

росенка в телеге? Только бы его туда посадить, подумала Степанида. Неловко впотьмах она сунула его головой в подставленный мешок, но поросенок, наверно, догадался, что ожидает его, растопырил ноги, задергался, забился всем телом, и она едва удержала его в руках.

— Ну, что ты? Ну тише, дурень!

Корнила, однако, ловко укутав его мешком, бросил в задок телеги, прикрыл сеном. Поросенок пронзительно завизжал в темноте.

— Тихо, ты! Холера, малый, а писку...

— Не такой уж и малый! — готова была обидеться Степанида. — Весенний хороший подсвиночек.

— Я думал... А то...

Похоже было, что Корнила обиделся, видно, ему показалось, что поросенок слишком мал. И правда, не кабанок еще, но ведь и бомба, как сам-то признался, не очень чтобы — с браком. Еще надо как-то исправлять, подумала Степанида с досадой, а кто ее тут исправит?

— Упитанный, спокойный, очень славный подсвиночек. Чтоб не это вот, век бы не отдала.

— Ладно, — сказал Корнила, обрывая на том разговор.

Колеса его телеги немного скрипнули на развороте, Степанида показала, как выехать со двора. Корнила направил коня к воротцам и остановился.

— Так ты это, молчи. Если что, я тебя не видел, ничего не знаю.

— Что я, малая? — отозвалась Степанида, неприязненно подумав: небось не глупее тебя.

Корнила тихо поехал темной дорогой, сначала слышно было, как бился, пытаясь подать голос, поросенок под сеном, но постепенно все стихло. Рудька, который до того прятался за углом, подбежал к хозяйке и неуверенно тявкнул во тьму.

— Ну вот! — сказала она, обращаясь к собаке. — Что теперь будет?

Только тут Степанида почувствовала, как сильно озябла на промозглой стуже и вымокла, особенно юбка, но ею уже овладело смутное волнение, и она ни минуты не могла оставаться в покое. Ее тянуло куда-то идти, пока тихо, что-то сделать, чтобы приблизить тот час, когда на большаке грохнет. Когда разлетится на щепки этот проклятый мост. Пусть тогда ремонтируют. Пусть присылают свою команду, сгоняют людей. Верно, пока соберутся, пройдет какое-то время, настанет зима, а там на-

ши дадут им под зад. Она не однажды слышала от мужиков, что наши всегда выжидают зиму, как это было на финской или еще раньше, в войне с французами. Зима всегда нашим поможет. Она также стремилась помочь чем могла, чтобы не сидеть в бездействии. Главное, теперь у нее было чем, не голыми руками. В промоине лежала грозная сила, способная разнести мост в щепки. Как только ее подложить?

Помнится, в прежнем мосту были откосы под настилом, куда порой залезали подростки и волчьим храпом пугали лошадей на дороге. Туда удобно было пристроить бомбу. А теперь как? По дороге в местечко она лишь однажды остановилась на мосту и как следует ничего не разглядела там. А вдруг под мостом все засыпали, заровняли, где тогда заложить бомбу? Не положишь же ее сверху на доски, где ходят и ездят люди?

Она весьма обеспокоилась этим и, зайдя ненадолго в хату, опять выбежала во двор и пустилась вниз к большаку. Было совсем темно, то сыпал, то утихал мелкий дождик, ветер же дул не переставая. Не добежав до поворота, Степанида свернула в поле и где бегом, а где шагом устремилась напрямик, чтобы побыстрее. Сначала под ногами ее была жесткая стерня нивы, потом пошла мокрая трава за сосняком, который она обошла стороной, краем поля. Перешла неширокое болотце, заросшую осокой канаву и невдалеке от моста взобралась на песчаную насыпь дороги.

Тут она прислушалась, даже сдвинула на затылок мокрый платок; было тепло от ходьбы, очень тревожно на душе, но, кажется, на большаке было по-ночному пусто и тихо. Она немного опасалась, чтобы ее тут не встретил кто, особенно если знакомый, как бы она тогда оправдалась? Но все вроде обошлось. Внизу возле насыпи тускло отсвечивала вода в речке, Степанида сошла к ней по свеженасыпанному склону и остановилась, вглядываясь в непроницаемый мрак под мостом, где едва белел ряд новых свай, а сверху широко нависала черная плаха настила. Она не столько увидела, сколько догадалась по характеру насыпи, что между ней и мостом осталось пространство, в которое можно было поместить многое. Влезет туда и бомба, она не такая уж большая.

Удовлетворенная, Степанида взобралась на большак и пошла к сосняку. Пока все складывалось удачно, и это придавало ей смелости, но ночная вылазка измотала ее, она вся вспотела под ватником, вымокла и тихим шагом

брела по краю большака. За сосняком повернула на свое поле, мысленно повторяя: хотя бы не сорвалось, хотя бы успеть. Очень хотелось осуществить задуманное, от которого у нее уже не было сил отказаться. Знала, что еще хлопот хватит, нужно искать помощников, и прежде всего специалиста, военного, чтобы исправить бомбу.

Надо завтра же сбегать в Выселки, подумала она, к Александрине, Виктор же командир, должен уметь. Если что, так в хлевке еще осталось пять куриц, уплатит. Он больной, контуженый, ему нужна будет курятина, бульон. Она его упросит...

27

Как только стало светать, Степанида вышла из-за печи, поправила платок, запахнула ватник. Наконец кончилась ночь с ее ночными видениями, мыслями и одиночеством, начинался день, в котором ее ждало много дел и необычных, если подумать, страшных забот... Она была целиком во власти этих забот и даже ночью во сне видела и переживала что-то, связанное с бомбой. Снилось ей, будто она взбирается на крутую гору и несет на себе тяжелый груз, который влечет ее вниз, а ноги скользят как по грязной дороге, не за что зацепиться рукам, но она все равно лезет и лезет в гору. И уже близка вершина, край какого-то обрыва, ей нужно собраться хотя бы на несколько усилий, хотя бы еще на два шага. Тут, однако, что-то затуманивается в ее сознании и видение меняется...

Степанида раскрыла глаза и поняла, что начинается утро.

Она не слишком вникала в запутанный смысл сна, явь ее ненамного уступала видениям ночи. Забота подгоняла, и она вышла в сени, взяла из сундука старую, немного прорванную в углу кошелку, в истопке насыпала в карман две горсти зерна из ночовок, которое так и недомолол Петрок, распахнула дверь. На дворе стыло мокрое осеннее утро, над липами ветер гнал косматые тучи, но дождя не было, и лесная даль за Голгофой отчетливо синела на горизонте, как всегда перед холодами, в канун зимы — на мороз. Степанида зашла за дровокольню, дернула неплотно прикрытые двери хлевка, куры рядком сидели на жердочке: три головами к дверям, а три к стене. В углу на соломе возле желтого старого поклада лежало два свежих яйца, и хозяйка с умилением подумала:

бедные дурехи, они еще и несутся! Уже давно хозяйка их не кормила, жили тем, что сами находили во дворе, на огороде, и теперь, ощутив свою вину перед ними, Степанида сыпанула им из кармана. Захлопав крыльями и кудахча, куры дружно слетели с шестка к порогу.

Она еще им посыпала и, пока они, толкая друг дружку, наперегонки клевали, думала: которую взять? Она знала каждую из них от цыплячьей поры, каждую отличала от других по ее осанке и убранству, знала, какие и когда каждая из них несет яйца. Самые лучшие несла пеструшка с черной головкой, которую, конечно, она брать не будет. Хуже других неслась короткохвостая молодая курочка с косматыми ножками, самая худенькая и боязливая, ее и теперь клевали с обеих сторон, и она подбирала зерна позади за всеми. Но какая из нее будет еда, из такой тощенькой? И Степанида выбрала желтую спокойную курочку, не самую худшую, но и не из лучших. Она спокойно обхватила ее сверху за крылья, и курица, не сопротивляясь, доверчиво отдала себя в знакомые руки хозяйки. Степанида связала тряпочкой ее ноги и положила в кошелку. Потом вернулась в сени, сняла с вешалки над сундуком поношенный ситцевый платок и обвязала им кошелку сверху.

Перед тем как выйти, оглядела убогие стены сеней, углы, зеленый, расписанный красными цветами сундук. Но больше ничего пригодного для гостинца она не могла отыскать в этом разграбленном войной жилище. Если Виктор не согласится на одну, она не пожалеет всех, пусть ест, только бы удалось то единственное, что теперь занимало ее сознание, отнимало последние силы, а может, заберет и всю ее жизнь. В ее руках оказалась такая возможность, которая выпадает не каждому. Это стало ее главной целью, и она постарается ее осуществить. Жаль только, что она не может все сделать сама, но люди помогут. Должны помочь. Надо только найти подходящих людей — не сволочей и не трусов, и тогда Петрок еще услышит, что произошло на большаке. Только бы удалось.

Конечно, чувствовала она, с людьми будет трудно. Лучше всего, если бы она имела на примете кого-то из мужчин, если бы дома был Федька или хотя бы Петрок. Она снова посетовала в мыслях, вспомнив, как не пустила в хату непонятных ночных прохожих, может, как раз они и помогли бы? Но кто предвидит то, чего еще нет и только, возможно, будет? Разве она знала, кто они? Да

она и теперь лишь догадывается и предполагает. Но предполагать можно разное, а на деле мало что подтверждается.

Настывшая за холодную ночь грязь на дороге студила ее босые ноги, и она выбирала места, где посуше и чтоб без травы. Трава сплошь была мокрой, в утренней промозглой росе, и в ней больше, чем в грязи, зябли ее ноги. Было пасмурное позднее утро, небо понемногу прояснялось, начинался ветреный студеный день. Но она не замечала ни утра, ни стужи, она думала, как лучше подойти к Виктору, уговорить, чтобы согласился. Когда-то это был славный, покладистый парень, все прибегал в детстве на хутор, водил дружбу с Федькой. Однажды она отчитала обоих за игру со спичками: коробков восемь они обкрошили для самопала, и она испугалась, ведь могут выжечь глаза, покалечиться. Правда, повзрослев, они разошлись: Виктор годом раньше пошел на военную службу и перед войной стал командиром с тремя треугольниками в петлицах. Верно, он бы управился с бомбой. Корнила говорил, что неисправность там пустяковая, специалист быстро исправит.

Степанида перебежала пустой поутру большак, пошла краем такой же грязной дороги на Выселки. Концевые выселковские хаты были уже близко, в крайнем за огородом дворе Амельяновы парни запрягали в телегу коня, и ветер донес до нее матерный мужской окрик. На пригорке дорога стала немного посуше, но в яме плескалась на ветру широкая лужа стоячей воды, которую она обошла стороной, а когда вышла опять на дорогу и взглянула вперед, на секунду обмерла. С выселковской улицы ей навстречу шли три мужика, двоих она узнала сразу, это были полицаи Гуж и Колонденок, а третий... Третий шел между ними, опустив голову и заложив за спину руки; одного взгляда на него было достаточно, чтобы понять, что арестованный. Сердце у нее недобро встрепенулось в груди, когда ей показалось... Но даже в мыслях она боялась теперь произнести его имя, пока еще оставалась неуверенность, Степанида хотела ошибиться и думала: пусть бы это был знакомый, сосед, какая родня, но только не он. Чужим замедленным шагом она шла навстречу мужчинам, и перед ее глазами все четче определялся знакомый облик: коренастая фигура в серой поддевке, широкий разворот плеч, тяжелый, размеренный шаг. И он и полицаи неторопливо шагали по грязи — впереди Гуж, позади Колонденок, — и ей, как избавле-

ния, хотелось провалиться сквозь землю, лишь бы не встретиться с ними. Но они уже заметили женщину и еще издали с подчеркнутым вниманием вглядывались в нее. Подойдя ближе, поднял на нее глаза и арестованный. Это был Корнила.

Тем не менее она шла с таким видом, словно никого не узнавала из них, и только ноги ее все больше млели, и она усилием воли едва переставляла их по дороге. Степанида так и разминулась бы с ними, не сказав ни слова и даже не поздоровавшись, если бы не взгляд Корнилы. Его внешне спокойное бородатое лицо, однако, выражало теперь такую печаль и таило такую тревогу, что Степанида невольно остановилась. Тут же остановился и Гуж.

— Куда идешь, активистка?

— В деревню, не видишь? — сказала она, глянув на него исподлобья и подумав: ну, пропала! Заберет обоих. Но Гуж прежде кивнул на кошелку.

— Там что?

— Курица.

— А ну! — Старший полицай требовательно протянул руку, и она подала ему кошелку. Точно как и десять лет назад, все повторилось, только в еще более страшном виде.

— Так, Потап, на! Придем, свернешь голову. Сгодится, — сказал он, однако, почти спокойно и отдал кошелку Колонденку. Потом повернулся к ней, в упор пронзил затаенным угрожающим взглядом. — Все шляешься?

— Шляюсь. А что, нельзя? — спросила она, из последних сил выдерживая на себе этот его наглый взгляд. Думала, что сейчас он поставит ее рядом с Корнилой и поведет в местечко. Это было бы ужасно. И, было заметно, он несколько секунд колебался, решая, как поступить.

— Ну-ну, шляйся!—как-то загадочно-въедливо сказал он и повернулся к Корниле. Но Корнила уже не глядел на нее, печально уставился куда-то в пасмурную даль мокрого поля. — Шагом арш!

Они пошли себе к большаку, а она неуверенным, ослабевшим шагом побрела к Выселкам. То, что забрали Корнилу, больно ударило по ней, поставив под угрозу срыва ее планы, и она думала: неужели все рухнет, таким трудом давшаяся ей затея не сбудется? Но почему не забрали ее? Оставили на потом? А может, про бомбу им не

известно? Или как раз они искали бомбу и взяли Корнилу? А где бомба, он им не сказал. И не скажет. А вдруг скажет? Начнут пытать, вытягивать жилы, разве стерпишь? Что же ей делать?

Не сразу она поняла, что идти к Александрине не имеет смысла, что вообще идти в Выселки ей теперь незачем. Что ей надо самой спасаться. Только где и как?

Дойдя до первых выселковских хат, она несмело оглянулась. Полицаи с Корнилой на большаке уже приближались к сосняку. Тогда она остановилась, помедлила немного и быстро побежала той же дорогой назад. Теперь ей надо было домой, к своим стенам, будто там еще была какая-то уверенность, какое-то успокоение.

Полицаи с Корнилой тем временем скрылись в сосняке за поворотом, она перебежала большак, запыхавшись, бегом и скорым шагом достигла двора и, минуя хату с истопкой, через дровокольню и захлевье выбежала на край оврага. Откуда-то к ней выскочил Рудька, радостно заскулил, голодный, но теперь ей было не до Рудьки — надо было перепрятать бомбу. Еще на огороде она забеспокоилась, когда увидела, что след от телеги прорезал заметные борозды в грядках и четкой извилиной вел к вырубке на краю оврага. И она едва не упала от страха, когда заглянула в яму — из-под сваленной туда кучи хвороста сбоку торчал желтый железный хвост бомбы. Это же надо было так неудачно спрятать — первый, кто тут окажется, сразу увидит, что под ветвями. Хотя, конечно, прятали впотьмах, ночью, а ночью разве толком что сделаешь?

Степанида быстренько побежала в хату, на дровокольне взяла старую лопату, подумав, что теперь лучше всего закопать бомбу в землю. Только где? На огороде? За хлевом? На краю оврага? Наверно, на краю оврага в кустарнике, там мягкая, без травы земля и можно будет забросать все мусором, опавшей листвой. Вряд ли там будут искать. Пускай лежит. Там уж действительно, кроме нее, никто никогда не найдет. Там будет надежно.

Невдалеке от прежней ямы в ольшанике она начала копать новую яму шага в три длиной, узенькую, словно детская могилка. Сначала копать было нетрудно, перегной легко поддавался ее лопате, она сняла его первый слой и выпрямилась. Глубже начали мешать корни, которые жесткими плетями по всем направлениям пронизали почву. Она их рубила лопатой, выдирала руками, не-

которые пробовала ломать, но они лишь гнулись, выставляя белые узловатые изгибы, брызжа землей в лицо, на голову, плечи. Вся мокрая от пота, она час или два ковырялась в яме, пока выкопала ее до колена, наспех расчистила от белых огрызков корней, землю далеко не отбрасывала, знала, земля ей понадобится. Когда яма была готова, Степанида немного передохнула на краю и отложила лопату. Надо было идти за бомбой.

До прежней ямы было шагов двадцать, забравшись туда, она повыбрасывала из нее сваленный хворост и взялась за длинный и тяжелый железный кругляк бомбы. Рядом под самые руки подкатился Рудька, понюхал желтую оболочку и чихнул. Степанида напряглась, чтобы выкатить бомбу из ямы, и испугалась — та лишь чуточку стронулась с места и тотчас скатилась обратно. Это было ужасно — у нее не хватало силы!

Степанида поднялась, рукавом вытерла со лба пот. Хорошо было катить ее в эту западню, а как теперь выкатить? Да еще одной. Заволновавшись и не дав себе отдохнуть, она ухватила бомбу за хвост, огромным усилием передвинула его выше. Потом зашла с другого конца и приподняла нос. Но не успела она переложить его выше, как хвост упрямо соскользнул на прежнее место в яме. Степанида едва не заревела с досады — что же делать?

Немного поразмыслив и успокоившись, она вышла из ямы и поискала на краю огорода камни. Камней было много, но все мелкие, Степанида прошла дальше, нашла наконец два более подходящих камня, принесла их к яме. Теперь, поочередно подкладывая их под нос и под хвост бомбы, надо было выкатить ее на ровное место. Долго она надрывалась там — и катила и толкала, работая руками, упираясь коленями в мокрую землю. Вконец испачкала в грязной траве юбку и ватник, вся взмокнув от пота, она все же высвободила бомбу из ямы и сама обессиленно упала рядом. Проклятая бомба! Степанида уже думала, что надорвется, пока управится с нею, но вот както сдюжила. Теперь надо было перетащить ее к новой яме. Все время она боялась, чтобы кто не набрел на нее в кустарнике, не увидел. Сквозь резкий ольшаник ее можно было заметить и с дороги, и со двора, хотя бы успеть спрятать, пока никого поблизости не было.

По ровному краю оврага бомба легко перекатилась, вминая траву желтыми, испачканными землей боками. Но дальше в ольшанике катить ее было нельзя, и Степанида ухватилась за круглую железяку хвоста. Так, слегка

приподняв, тащить можно было, но это отнимало время и стоило огромных усилий, а сил у Степаниды уже было мало. Она проволокла бомбу шагов, может, пять и выпустила из рук, сама тоже повалилась назад в траву. Несколько минут, задыхаясь, хватала ртом воздух. Немного отдышавшись, снова вцепилась пальцами в мокрый хвост бомбы. На этот раз она проволокла ее еще меньше и снова упала. В следующие разы уже только дергала и рывками, по одному шагу, не больше, продвигала ее к краю оврага; поясница ее переламывалась от боли, мокрые руки, пальцы и колени были до крови ободраны о сучья и корни. И она торопилась. То и дело оглядывалась вокруг сквозь почти голый кустарник, посматривала в сторону усадьбы — боялась, не дай бог, кто придет и увидит. Тогда она пропала, пропала бомба. И это после таких усилий!

Когда она наконец приволокла бомбу к яме, силы ее, похоже, совсем покинули, она уже не смогла перекатить бомбу через накопанный горбик земли и упала на него грудью. Все время она твердила себе: ну, хватит, вставай; и обещала: встану, сейчас встану. И не вставала. Потом попыталась подняться, но в глазах у нее вдруг все потемнело, а сердце, казалось, вырывается из груди.

Она пролежала так долго, обняв грязное тело бомбы, да и сама с ног до головы перепачканная грязью. Когда дыхание немного выровнялось, уже не вставая, она уперлась стопами в узловатые корни ольхи, в последний раз напряглась и подвинула сначала хвост, а затем и голову бомбы. Обрушивая рыхлую землю, бомба наконец свалилась в яму. Степанида еще полежала на грязной земле, потом встала и взялась за лопату.

Закапывать было легче, она забросала яму землей, потопталась сверху. Остаток земли собрала лопатой и рассыпала незаметно вокруг. Потом обмела землю с комлей, олешин, отрясла с кустарника и с нижних веток деревьев, чтобы и следа не осталось от того, что здесь кто-то копал. Немного поодаль в ольшанике собрала охапку почерневших листьев, присыпала ими раскопанное место, край оврага, разбросала вокруг, чтобы нигде не было видно свежей земли. Потом из прежней ямы приволокла хвороста, набросала сверху, будто здесь никогда и не ступала нога человека.

Опираясь на лопату, она едва доплелась до двора, где ее вопрошающе-внимательным взглядом встретил изголодавшийся Рудька. Но теперь она не могла даже ска-

зать ему доброе слово, только, когда тот попытался вскочить за ней в сени, остановить его — все же собака должна быть во дворе. Она закрыла на крюк дверь в сенях, дотащилась к полатям за печью и повалилась как была, в платке и ватнике.

Она лежала так в выстуженной хате, отупевшая от усталости, прислушиваясь к невнятным далеким и близким звукам, и думала, что главное сделано, осталось меньше. Хотя бы еще несколько дней свободы, чтобы повидаться с Виктором, сходить в местечко, кое с кем посоветоваться. Если какая беда, всегда идешь к людям, потому что кто же еще поможет тебе? Люди губят, но помогают ведь тоже люди. Даже в такое проклятое время, когда идет война.

Пролежав какое-то время, она немного отдышалась, руки и ноги продолжали болеть, но пришло успокоение, правда, тут же стал донимать холод. Уже несколько дней она не топила печь, хата вконец выстудилась. Наверно, надо было все же протопить на ночь грубку, а то к утру застучишь зубами. Да и сварить бы картошки. Есть тоже очень хотелось, а у нее не было даже корки хлеба.

Степанида опустила ноги и медленно слезла с полатей. На дворе уже вечерело, но еще было светло, за стеной гудел свежий ветер, и сучья лип тревожно метались, сгибаясь под его непрерывным напором. В грубке лежали наложенные туда дрова, оставалось только поджечь их. Степанида взяла с загнетки лучинку и сунула руку между печью и стеной — там она прятала от Петрока спички. Только она достала оттуда коробок, как во дворе сильно забрехал Рудька. В недобром предчувствии у нее сжалось сердце, и с коробком в руках она подскочила к окну. Рудька метался по двору и, захлебываясь, бешено лаял, а по дороге от большака к хутору скоро шагали четверо мужчин с винтовками. Уже издали она узнала почти каждого из них и сказала себе: «Ну, все!»

Как ни странно это было для нее самой, она не очень испугалась и никуда не побежала, будто ждала и понимала неизбежность именно такого конца. Напряжением встревоженной памяти она только прикинула теперь, что же надо сделать напоследок, и не вспомнила ничего. А может, уже все сделала? Она сунулась к окну, в запечье, потом выбежала в сени, наверно, чтобы быть подальше от окон. Рудька все захлебывался в воротцах, и тогда еще издали бабахнул первый выстрел. Рудька прон-

зительно взвизгнул и смолк — уже не навсегда ли? Она поняла, теперь ее очередь.

Что-то сообразив, однако, она бросилась из сеней в истопку и накинула крюк на пробой. Нет, так просто они ее не возьмут. Она все же не Рудька. И не Петрок. И даже не Корнила. Еще она с ними поборется. Пускай убьют! Убьют, тогда что ж... Тогда их победа. Но еще не убили, и по своей воле она им не дастся.

Три сильных удара каблуком в дверь гулко отдались в сенях.

— Открой!

Она сидела на корточках в истопке за толстым косяком из дуба и молчала.

— Степанида, открой! Взломаем!

«Ломайте!» — зло подумала она. Но не так легко, наверно, взломать стародавнюю дверь, на которой в три пальца доски, кованый железный крюк, пробитый через косяк и загнутый концами внутрь пробой. Ломайте!

Они там переговаривались за дверью, прислушавшись, она узнала рыкающий голос Гужа, тонкие подголоски Колонденка и Недосеки.

— Эй, активистка! — рявкнул Гуж. — По-хорошему открой! А то хуже будет! Ты меня знаешь!

— Кол тебе в глотку! — крикнула она, не сдержавшись, и тотчас пожалела: зачем было отзываться? Пусть бы не знали, где она, стучали бы в дверь, бились бы головой о стены.

Она думала, что они будут взламывать дверь, а они ударили по окну, в хате зазвенело, посыпалось стекло, потом с треском разлетелась рама. Это было уже хуже, так они скоро будут в сенях. Хорошо, что в истопке маленькое оконце, в такое не влезешь. Но что-то они придумают...

— Богатька, выходите сами, не бойтесь — послышался рассудительный, почти спокойный голос Свентковского. «И этот тут! — со злостью подумала Степанида. — Добренький, называется...» — Покажите только, где бомба. Слышите? Вас мы не тронем.

«Ишь чего захотели!» — подумала Степанида и отползла от дверей к жерновам. Они там, похоже, все уже топтались в сенях, наверно, кто-то один влез в окно и открыл остальным двери. Но дверь в истопку они не откроют.

Только она подумала так, как дверь из сеней сильно

дернулась, что-то грохнуло и посыпалась труха со стены, и еще загрохотало с треском, видно, они били по двери топором. Конечно, это было похуже, это меняло дело, все сужая тот непрочный круг безопасности, в котором она оказалась и где все меньше оставалось места для какой-либо надежды. Но она ни на что и не надеялась, она четко представляла свою судьбу, только до последней возможности оттягивала свой самый последний час. Так, как она хотела, к большому сожалению, не получилось, ее планы рушились. Но тогда непременно надо, чтобы и поихнему тоже не вышло.

Наверно, они могли бы застрелить ее и из-за двери — укрыться от пули здесь было негде, но они не стреляли. Скорее всего она нужна была им живая. Чтобы сказать, где бомба, что ли? Значит, от Корнилы главного они не узнали. Но от нее не узнают и подавно.

Кажется, они уже все вчетвером ломились в дверь, которая ходила ходуном в проеме, лишь крепкий кованый крюк и железные петли не давали ей развалиться на части. Но ведь разобьют все равно. Рано или поздно. Степанида уже знала, что надо сделать, и теперь лишь испугалась при мысли, что может не успеть, опоздать. На коленях она сунулась под жернова и дрожащими руками выкатила оттуда тяжелую бутыль с керосином. Они все били, дверь сотрясалась, трещала. Степанида вытащила из узкой горловины деревянную затычку и плеснула на дверь, потом по обе стороны от нее — на стены, и в угол. Она и сама ненароком облилась, руки, ноги, юбка — все воняло керосином, но теперь это не имело значения. Бросив на пол посудину, она из маленького кармана ватника достала спички, которыми так и не успела растопить грубку, и, стоя на коленях, чиркнула спичкой по коробку.

Но с первой спички ее постигла неудача, дверь не загорелась, спичка потухла. Тогда она стянула с головы платок и остатками керосина полила на него из бутыли, зажгла вторую спичку, платок сразу же вспыхнул багровым пламенем, и она, обжигая руки, бросила его на порог.

Степанида упала ничком на твердый земляной пол, утоптанный за годы ногами панов, шляхтичей, батраков, ногами Петрока, ее мужа, и ее детей, и, задыхаясь от дымного смрада, смотрела на огонь. Пламя от платка сразу перескочило на дверь, взвилось под потолок и косо поползло по бревнам стены; загорелось какое-то тря-

пье на гвозде в углу; кучеряво-красные языки огня закрутились, свились в сизом и черном дыму, устремляясь на потолок, к смолистым балкам истопки. Она уже задыхалась от дыма и плотнее прижалась к прохладному земляному полу.

В сенях кто-то угрожающе крикнул, но она не поняла, что именно, однако дверь ломать перестали. Зато гулко бабахнул выстрел и что-то коротко ударило сзади по кадке. Пуля! Но теперь пусть стреляют, теперь ее ничто не пугало. И еще бабахнуло с другой стороны, со двора, вторая пуля щелкнула по жерновам и отскочила в угол, который уже занимался косматым гудящим пламенем. Истопку заволакивало мрачными пластами дыма, сквозь которые едва пробивались сверху суетливые языки огня, дышать становилось труднее, и она, скорчась и подобрав ноги, неподвижно лежала на полу. Она чувствовала, что скоро сгорит, когда обрушится потолок, или даже раньше задохнется от дыма, если до этого ее не застрелят сквозь стену. Но теперь ей это было безразлично. Все свое она сделала, каких-либо надежд на спасение у нее не осталось.

Они там что-то тревожно орали, еще несколько раз выстрелили в стену, но ей в истопке почти ничего не было слышно. Огонь все больше набирал пожирающую силу, по углам и на стенах трещало, свистело, гудело, вовсю пылали уже потолок, стены, кадки, разная хозяйственная рухлядь — все деревянное, ветхое и сухое. На нее нестерпимо веяло жаром и сыпались искры, очень припекало голову и ноги, кажется, уже загорались волосы на затылке, она уткнулась лицом в рукав ватника и медленно, мучительно задыхалась. Правда, она так и не знала, что с ней случится раньше — сгорит или задохнется в дыму, — и не могла понять, что теперь лучше. На некоторое время сознание ее затмилось, кажется, она забылась, потом вдруг очнулась и почувствовала, что на спине тлеет вата — горит телогрейка. Это уже был конец, и она не в лад со своим чувством подумала: почему же ее там, в яме, кто-нибудь не увидел с бомбой? Хотя бы кто-либо из местных — пастушок, мужик, женщина, — чтобы запомнить то место, оставить знак в памяти.

Между тем дышать становилось невозможно, она окончательно задыхалась, тлели волосы на голове, и удушливой вонью дымился ватник. Кажется, загорелись и рукава на локтях, которыми она в отчаянии закрывала лицо. И снова она неожиданно для себя подумала: а мо-

жет, и лучше, если ее никто не увидел — ни хороший, ни злой человек — и никто ничего не узнает. Хорошему, может, и ни к чему, а эти пусть бесятся. Пусть думают, рыщут, ломают голову — где? И не спят ни ночью, ни днем, боятся до последнего своего издыхания.

Эта неожиданная мысль принесла успокоение и была последним проблеском истерзанного сознания перед окончательным забытьем, из которого она не вернулась.

Она уже не слышала, как, донятые огнем, выскочили из сеней полицаи, не видела, как занялась пламенем вся крыша хаты с истопкой и ветер мощно раздувал его, направляя в сторону хлева и пуньки, и как скоро огромное море огня с воем, треском и гулом забушевало по всей усадьбе, последовательно пожирая постройки, дрова, ближние к стенам деревья, изгородь, устилая двор пеплом и искрами.

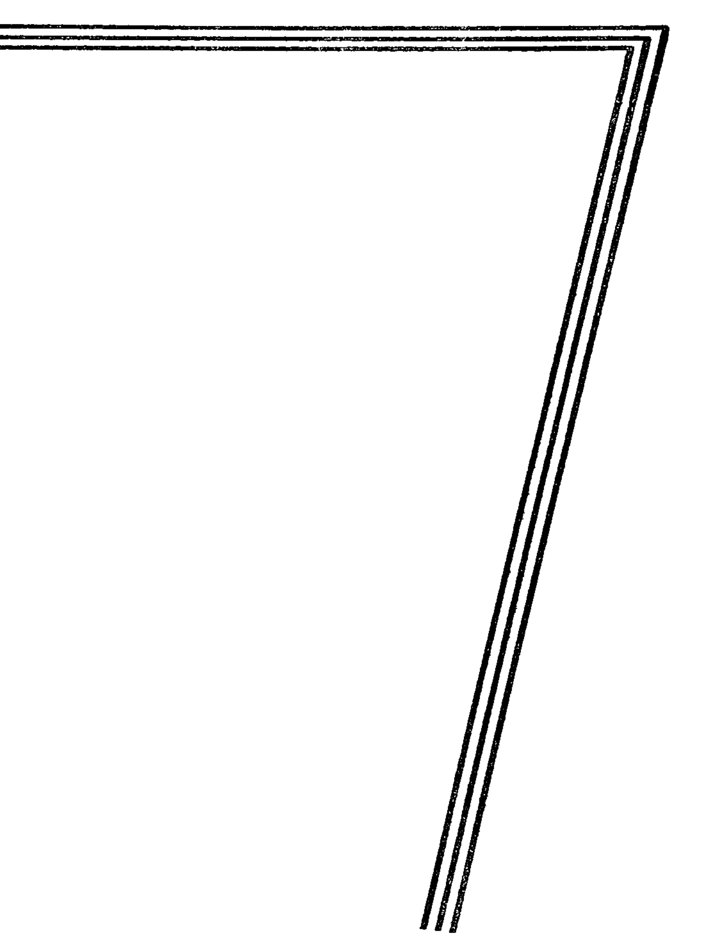
Густые россыпи искр и горящие клочья соломы неслись в ночном дымном небе через овраг, к сосняку и дороге с ненавистным для нее мостом через болотистую речку Деревянку.

Пожар никто не тушил, и хутор горел беспрепятственно и долго, всю ночь, догорал на протяжении следующего дня, и полицаи никого не допускали к пожару, сами также держась в отдалении — опасались мощного взрыва бомбы.

Но бомба дожидалась своего часа.

1983 г.

Рассказы



УТРО ВЕЧЕРА МУДРЕНЕЕ

1

Он лежит на скамье в простенке между двумя окнами с безжизненным восковым лицом, на котором уже ни движения, ни мысли, лишь подобие какой-то неопределенной тупой гримасы, делающей его лицо незнакомым и странным. Омертвевшие в своей неподвижности, его руки сложены кистями на животе поверх неподпоясанной суконной гимнастерки с двумя эмалевыми шпалами в полевых петлицах. Ордена с гимнастерки уже свинчены, и над карманами остались лишь две небольшие дырочки, тронутые по краям ржавчиной, которая издали кажется следами крови. Слегка раздвинутые ноги в аккуратно натянутых шерстяных носках выглядят не по-мужски маленькими и худыми.

— Ну, посмотрел? — поворачивается ко мне старшина комендантского взвода, тем давая понять, что нам пора уходить.

Насунув на голову шапку, я осторожно, чтобы не нарушить тишины этой хаты, открываю дверь. Закрыть ее с моей раненой, подвешенной на груди рукой не очень удобно, и старшина закрывает дверь сам.

На дворе морозно и солнечно. Над леском за деревней валит в небо сизый дым от пожара, где-то погрохатывают разрывы мин; забравшись высоко в небо, нудно гудит немецкий разведчик-рама. Но это все там, в стороне передовой за лесом, здесь же, в полуразрушенной фронтовой деревушке свои дела и свои заботы. На улице с какой-то укрытой брезентом поклажей стоят несколько повозок, и обозники в поисках пристанища, переговари-

ваясь, бегают по дворам. В этот двор они только заглядывают через ограду и, ничего не спросив, бегут прочь. Здесь делать им нечего. Впрочем, меня тут тоже ничего уже не держит, но я еще не решил, куда идти дальше и, остановившись, отчужденно наблюдаю, как два бойца из комендантского взвода на снегу у сарая сколачивают гроб. Бойцы молодые и, видно, впервые взялись за такое не очень привычное даже на войне дело, которое у них явно не ладится.

— Да держи ты! Безрукий, что ли! — один солдат нервно пинает короткий обрезок доски, в который он намеревается забить гвоздь.

— Держу! Не ори, крикун!

Гвозди, конечно, из проволоки, они гнутся под молотком и не лезут в твердое сучковатое дерево. «Крикун», стоя на коленях, кое-как приколачивает доску и, отложив молоток, озабоченно осматривает свою работу.

— Ну вот! А ширины такой хватит?

— Примерить бы надо, — говорит напарник, белобрысый и синеглазый, в шапке с растопыренными наушниками, с которых свисают жеваные тесемки завязок. Однако идти в избу, где лежит убитый, никому из них, видно, не хочется, и «крикун» машет рукой. Поднявшись на ноги и скинув с себя телогрейку, он неловко вытягивается в недоделанном, без одной стенки гробу.

— Ну-ка гляди. Хорошо?

— Хорош. Будто широковат даже.

— А ты померь. Зачем лишнее?

Светлоглазый деловито отмечает на торце место для боковых досок, а я уже не могу тут оставаться. Мне все время хочется куда-то идти. Конечно, надо добираться в санбат, но машины будут еще не скоро: только что отправили тяжелых, а легкораненым, видно, придется ждать до обеда.

Не находя, чем занять себя и чтобы как-нибудь скоротать время, я медленно бреду по деревенской улице к школе, где роют могилу. Мне одиноко и горестно, очень болит рука. После бессонной ночи временами познабливает, и в глазах неотвязно мельтешат обрывки вчерашних событий, звучат голоса людей, которых уже нет и никогда больше не будет.

Да, вчера все было иначе...

2

На исходе дня взвод автоматчиков занял хутор.

Занял легко, с ходу, почти без боя; несколько немцев, кажется, ни разу не выстрелив, убежали по санной дороге в село, и мы, постреляв им вдогонку, разошлись в цепь и легли на снегу за изгородью — в пятидесяти шагах от хаты с сараями.

Мы не стали наступать дальше, так как и без того, похоже, оторвались от боевых порядков полка, бой — слышно было — шел справа и сзади, где на высотках дрались наши батальоны. Тяжелые мины, с визгом проносясь над головами, перепахивали там снежное поле, иногда слышалось ослабленное расстоянием, разрозненное, какое-то неуверенное «ура», пулеметно-ружейная трескотня заглушала его, и крики совсем пропадали. Не надо было обладать большим опытом, чтобы понять, какой ценой доставались полку высоты. Нам же тут, под носом у немцев, как это ни странно, было спокойно.

Я лежал на снегу с внутренней стороны изгороди за перевернутым кузовом пароконной немецкой повозки и, возбужденный еще не остывшей радостью от сравнительно легкого успеха, чувствовал себя почти счастливым. Время от времени, выглядывая из-за засыпанного снегом ящика и вслушиваясь в грохот недалекого боя, я старался заметить в нем хоть какой-нибудь признак того, что немцы отходят, но ничего заметить не мог. Тогда появилось предположение, что, может, так еще и лучше: держаться тут на этом мыску, в общем, было нетрудно, и в то же время это был мысок, глубоко вдавшийся в оборону противника, что уже само по себе свидетельствовало об исключительности нашей позиции. Шло время, у нас было спокойно, и честолюбивые представления все настойчивее стали завладевать моим сознанием. Я уже видел, как на КП всегда злой, раздраженный боем командир полка, имея в виду хутор, говорит сейчас начальнику штаба: «Молодец этот автоматчик, вишь, вклинился куда!» Или, может, даже покрикивает в трубку на нашего соседа комбата-три: «Что там топчешься! Вон автоматчики хутор взяли. На них равняйся!» Впрочем, я был бы доволен, если бы он даже не сказал, а хотя бы подумал про меня что-нибудь вроде: «Молодец младшой! Не из трусливого десятка!»

Храбрый я или трус — о том мне, впрочем, еще самому было неведомо. За довольно скромный срок моей

фронтовой службы мне не представлялось еще случая как следует проверить себя на это. Еще два дня назад каждый визг мины над головой заставлял меня сжиматься, вдавливаться всем телом в снег. Прошел не один час, прежде чем я понял, что мины все-таки идут мимо, и как-то незаметно для себя стал привыкать. К тому же я стеснялся моего помкомвзвода сержанта Хозяинова, широколицего человека с неторопливыми манерами, который был вдвое старше меня, и всякий раз, когда я, тщетно подавляя испуг, все-таки вздрагивал, он будто невзначай бросал:

— Ничего, мимо...

Я и сам знал, что мимо, и, чтобы загладить неловкость, запоздало, без надобности высовывался из придорожной канавы, в которой мы лежали тогда в ожидании атаки. Но что я мог сделать, если мое тело само, независимо от воли именно так бесстыже-предательски реагировало на каждый вполне ожидаемый и всегда совершенно внезапный разрыв. И это, даже не глядя в мою сторону, замечал всевидящий сержант Хозяинов.

— Ничего, лишь бы до ночи...

Он и тут, кажется, угадывал мои мысли и, посасывая из рукава махорочную самокрутку, тоже прислушивался к громыханию боя сзади. На сержанте был новый еще, комсоставский полушубок с вырванным клоком на левой лопатке, валенки на ногах; рукавиц он, сдается, не носил вовсе, согревая руки цигаркой. Похоже, ему было тепло. Я же в своей «на рыбьем меху» шинельке уже начал стыть на снегу и, обернувшись, пригляделся к постройкам — вросшей в снег хате и покосившимся сараюшкам со снежными шапками на стрехах. Жителей там вроде не было, хутор выглядел давно покинутым, но все же там, казалось, теплее, чем здесь, на ветряном прибое под его стенами. Хозяинов сразу среагировал на мое невольное беспокойство, выглянул из-за кузова и, завидя бойца, что был ближе других в цепи, негромко окликнул:

— Маханьков! Слышь — посмотри-ка там...

Как ни странно, Маханьков сразу понял намек, с готовностью исправного солдата быстро развернулся и, усердно разгребая локтями снег, пополз через двор к крыльцу.

— Ночью обогреемся. Не может быть, — будто желая утешить меня да, наверное, и себя тоже, сказал Хозяинов, смачно затягиваясь цигаркой.

Да, ночь нам была нужна, я чувствовал это, ночью мы

могли тут просидеть, а утром... Впрочем, мои помыслы не шли дальше ночи, утро было необыкновенно далеким и совершенно неопределенным — мало ли что могло быть утром.

Тем временем постепенно темнело, меркло низкое, серое, как вата из телогрейки, небо. За снежным полем вдали едва проступали из сумерек темные крыши домов в селе, дым от пожара в той стороне совсем слился с мраком и не различался в небе. Только ровненький ряд столбов у дороги на фоне снежной серости еще просматривался почти до села. Мины над хутором, кажется, стали визжать чуть пореже. Судя по притихающей стрельбе сзади, можно было заключить, что бой к ночи кончался, так и не принеся нужного успеха полку. Пожалуй, действительно нам предстояло тут коротать ночь в полуокружении.

Ну что же, мне от того почему-то не было особенно тревожно. Хотя мы и оказались в полукольце, но зато ушли с глаз начальства, которое за три дня наступления прямо-таки загоняло взвод автоматчиков. Даже Хозяинов стал роптать. В общем пока получалось по пословице: нет худа без добра, а будет ли добро без худа, нам еще предстояло увидеть.

Мы еще полежали несколько времени. К ночи стало холоднее, мороз усиливался. Бойцы, не дожидаясь команды, начали орудовать лопатками — рыли в снегу ячейки — для защиты от огня, а больше — чтобы согреться, потому что нет ничего хуже неопределенного праздного ожидания, этого верного пособника холода. Думая о разном, я все ждал Маханькова, который должен приползти и сообщить о результатах своей разведки. Но из хаты долетел его голос:

— Товарищ сержант! Товарищ сержант Хозяинов!

Голос был не совсем обычный — вроде встревоженный и радостный одновременно, мы враз обернулись и увидели высунувшееся из-за косяка в дверях оживленно-улыбающееся лицо бойца:

— Идите сюда.

— Что там еще такое?..

Хозяинов помедлил, бросил угрюмый, все замечающий взгляд в поле. Но Маханьков многозначительно ждал, и сержант, подхватив свой автомат, быстренько побежал пригнувшись. Сначала он протрусил под изгородью, а потом вдоль стены дома и наконец перевалился через порог. Маханьков прикрыл дверь.

Опять потянулось время.

Впрочем, на этот раз они там безмолвствовали недолго, и в темном проеме дверей опять показалось загадочно-оживленное лицо Маханькова.

— Товарищ младший лейтенант, помкомвзвода завуть.

Секунду я боролся с сознанием того, что не надо бы уползать отсюда, хотя и было тихо, но все-таки на поле боя негоже было оставлять взвод без присмотра. Но опять же, если звал Хозяинов, значит, причина этого вызова, видно, была вполне уважительной.

Извозившись в снегу, я дополз до порога и вскочил в сени, настежь раскрытая дверь из которых вела в горницу. От прежних жителей тут мало что и осталось, пол был застлан слежалой соломой, у порога в беспорядке валялось несколько ящиков из-под боеприпасов. Ни стола, ни кроватей здесь не было — видно, на хуторе хорошо похозяйничали немцы. Посередине избы на коленях стоял Хозяинов, наклоняя к окну термос, он старался что-то в нем разглядеть.

— Лейтенант, вот трофей обнаружили, — взглянув на меня, сообщил помкомвзвода.

— Термос?

— Не термос. В термосе.

Без особого любопытства я тоже заглянул в луженое нутро термоса, где до половины налитая колебалась, отражая окно, какая-то жидкость.

— Шнапс?

— Водка. Наша, родимая. Русско-горькая.

Признаться, я слегка разочаровался. Не то чтобы я не пил вовсе, но никогда не чувствовал к выпивке особенного пристрастия. Гораздо с большей радостью я отнесся бы к находке чего-нибудь из съестного. А то — водка! Пить ее у меня не было ни малейшего желания — я хотел есть.

— Давай погреемся, лейтенант, — сказал Хозяинов. — Пока суд да дело. Маханьков, у тебя была кружка.

Маханьков стащил со спины свой тощий вещевой мешок и вынул из него алюминиевую кружку с двойной ручкой на плоском боку.

— Та-ак! Сейчас мы того... Только я первый. Мало ли что...

По правде, все это мало мне нравилось, но какая-то уважительная нерешительность перед старшим, более опытным на войне человеком не позволяла настоять на

своем. Хозяинов же явно радовался находке, крупные черты его обветренного, нечасто бритого и давно немолодого лица разгладились, глаза оживились и подобрели. Вытерев ладонью дно кружки, он бережно зачерпнул ею из термоса, при скупом свете из выбитых окон еще раз вгляделся в жидкость и сделал один глоток.

— Наша, наркомовская.

— Напрасно вы, — неуверенно начал я, но тотчас примолк под твердым взглядом моего помкомвзвода.

— Как напрасно? Вы что? Не хотите? Маханьков, давай флягу. Мы ее сейчас...

Маханьков торопливо отвязал от ремня стеклянную, в матерчатом чехле флягу, при виде которой Хозяинов недовольно хмыкнул:

— Лучшей не мог достать? Вояка...

Фляга действительно была не бог весть какой прочности, и помкомвзвода, прежде чем наполнить ее, повертел посудину в руках, заглянул вовнутрь, даже понюхал. Затем зачерпнул кружкой из термоса и стал бережно, тоненькой струйкой переливать водку.

— Слетай-ка к хлопцам. Еще фляг пяток надо.

Маханьков вскочил на ноги, но только переступил порог, как где-то в сумерках зимнего вечера над хатой раздался короткий оглушительный треск. От неожиданности мне показалось даже, что это Маханьков нечаянно запустил из автомата. Но в следующее мгновение треск повторился, из окна со звоном вылетело единственное там стекло, где-то вблизи грохнул взрыв, и тотчас мелкой и частой россыпью затрещали окрест автоматные очереди.

Сначала мы все попадали на солому, потом Хозяинов, выругавшись, метнулся к окну, я бросился к другому, но запнулся о термос и снова упал, выронив автомат. Только я успел ухватить оружие, как Хозяинов у окна неестественно выпрямился и с какой-то странной медлительностью стал поворачиваться в мою сторону. Лицо помкомвзвода странно изменилось: нижняя челюсть мелко задергалась, глаза расширились, зрачки ушли вниз. Так, медленно распрямившись и не сказав ни слова, он вдруг всем телом рухнул к моим ногам на солому.

В совершенной растерянности я не мог понять, что происходит.

Где-то в подсознании даже мелькнула мысль, что помкомвзвода шутит, но, кажется, было не до шуток. Упав рядом, я схватил его за плечи и повернул на спину. Бе-

лый воротник его полушубка был залит кровью. Кровь и пузыристая розовая пена били из двух пулевых ран на шее, как раз по обе стороны глотки. Я вырвал из кармана брюк перевязочный пакет и трясущимися руками начал обматывать бинтом его шею. Снаружи вовсю гремел бой, было отчетливо слышно, как пули с глухими шлепками вонзались в стены, кто-то пробежал рядом, кто-то кричал. В сумеречном пространстве за окном то и дело сверкали близкие трассы. Мне надо было быть там, я всем существом чувствовал, что случилась беда, и, едва завязав концы бинта, бросился к двери.

В это время кто-то вскочил на крыльцо.

Это был немец в каске и неподпоясанной длиннополой шинели, с полуоторванным погоном на плече; в полумраке сеней он, наверно, не сразу увидел меня. Мои руки сами вскинули автомат и выпустили в упор длинную — слишком длинную — очередь. Немец подломился и осел на крыльцо, но за ним сразу же появились еще трое. Не зная, как спасаться, я вдоль стены отскочил назад, в горницу, и тотчас из двери сверкающим блеском ударило синеватое пламя, длинная очередь прошлась по соломе, по Хозяинову, осыпала пулями стены. Не целясь, наугад, я такой же очередью запустил из-за косяка навстречу, в сенях кто-то сдавленно вскрикнул и умолк. Я понимал, что остались последние мои секунды, и в короткую паузу между очередями боком подскочил к окну. Тут меня легко можно было расстрелять из двери, но они не стреляли — они метнули гранату. Ударившись о голую стену, прежде чем разорваться, она отлетела к порогу, а я вскочил на ящик под окном и ударом сапога высадил раму.

Выпрыгнул за секунду до взрыва. Обсыпанный соломенной трухой, поднялся с колен у завалинки и что было сил пустился в поле, где врассыпную по снегу бежал мой взвод. Многие были уже далеко, иные только еще выскакивали из-за сараев, а вслед нам стегали зеленые молнии трасс. На бегу я оглянулся — возле крайнего от леса сарая, изрыгая огонь, стояли два черных бронетранспортера, пехота из которых уже занимала хутор.

3

Мы собрались в реденькой молодой посадке у дороги, откуда несколько часов назад атаковали и где оставались в снегу наши вырытые утром окопчики. Немцы

нас не преследовали, видно, целью их контратаки был хутор, который теперь, в наступившей ночи, полыхал за полем неистовым на ветру пламенем. Где-то там же остались и бронетранспортеры. Их крупнокалиберные пулеметы время от времени сыпали в нашу сторону огненные светляки трассирующих очередей.

Автоматчики затаились в своих окопчиках, многие из которых теперь оставались пустыми. Я послал Маханькова сосчитать, сколько уцелело из взвода, и тогда оказалось, что мы потеряли в этом злополучном бою восемь человек — ровно одну треть. Четверо погибли на хуторе, двое остались в поле, двое легкораненых ушли по дороге в тыл. Самая тяжкая для меня потеря, разумеется, был мой помощник сержант Хозяинов.

Ошеломленный случившимся, не в состоянии унять нервной внутренней дрожи, я прислонился плечом к тонкому деревцу над окопчиком и сидел так, поглядывая в поле. После всего, что произошло, лезть в укрытие, прятаться было противно. Очереди с хутора теперь не пугали меня, кажется, я уже окончательно излечился от страха. Я все чего-то не мог понять, в чем-то не мог разобраться, я не знал, как все это случилось и кто виноват. Я только чувствовал: надо немедленно что-то делать, чтобы исправить положение. Но в то же время было совершенно понятно, что против двух бронетранспортеров с их крупнокалиберными пулеметами мы бессильны. В этот момент я не думал о собственной безопасности. Та схватка на хуторе почему-то не казалась мне чересчур страшной, я просто плохо помнил ее, все происходившее было словно в тумане и вспоминалось будто спросонок. Я проклинал коварство врага, водку, сгубившую Хозяинова, свою столь непростительную беспечность. Маханьков, судя по его убитому виду, не меньше меня переживал наше несчастье, молча сидел рядом. Каким-то чудом ему посчастливилось выскользнуть из этой переделки, и теперь он, словно чувствуя какую-то свою вину, старался держаться ко мне поближе.

— Вот полыхает!

Да, хутор полыхал, словно цистерна с бензином, и мы, будто завороженные, уныло глядели на огонь, в котором теперь догорал наш Хозяинов. Но что мы могли сделать?

— И откуда они прорвались? Из-за бугра, что ли? Их из села ждали, а они из-за бугра, — притишенным голосом, все еще удивляясь, говорил Маханьков.

Я рассеянно слушал его, терзаясь от собственных мыслей, когда в дальнем конце канавы послышался голос. Вскоре он повторился ближе, — похоже, звали меня.

— Что такое?

— Товарищ лейтенант, там зовут.

— Кто зовет?

Боец в соседней ячейке, передавший мне это, однако, смолк, повернув голову к дороге. В ночных сумерках угадывалось движение нескольких теней, кажется, они направлялись сюда.

— Где командир взвода?

Молча я вскочил на ноги и взбежал на дорогу, во все глаза вглядываясь в серый полумрак ночи. Конечно, я уже знал, кто это, и сердце мое сжалось в предчувствии и еще худшего.

Командир полка Воронин, завидя меня, остановился в некотором отдалении, и я, подбежав, молча замер напротив. Нетрудно было догадаться, какое дело привело майора во взвод автоматчиков, но слов для оправдания у меня не было и я не старался найти их.

— Почему сдали хутор?

Судорожно сжимая ремень автомата на плече, я молчал. Что я мог сказать ему? Разве он сам не видел с НП, что происходило на этом хуторе?

— Я спрашиваю, почему сдан хутор?

— Бронетранспортеры, товарищ майор...

— Плевать мне на бронетранспортеры! Почему сдан хутор?

Конечно, мои объяснения ему ни к чему — ему нужен был хутор, а не мои оправдания. И я замолчал, готовясь принять любое наказание, которого теперь заслуживал. Но майор угрюмо молчал. Над полем с хутора взвилась ракета, в вышине она распалась на три, звездное небо вспыхнуло синевато-дымчатым отсветом. Нас могли обнаружить тут, но майор даже не пошевелился, снедая меня злым, нахмуренным взглядом. Потом он вскинул руку и, тыча ею в поле, ледяным голосом объявил:

— Чтоб вы мне к утру его взяли!!

Я молчал. Я смотрел на его сутулую, затянутую поверх полушубка ремнями фигуру, и в этот момент для меня уже не существовало в мире ничего, кроме его гневной власти.

— Вы поняли? — не услышав полагающегося ответа, повысил голос командир полка.

— Понял, товарищ майор.

— Не возьмете к восьми ноль-ноль, я вас расстреляю вот тут же, из этого вот пистолета.

Он выдернул из расстегнутой кобуры свой черный ТТ и легко помахал им у меня перед носом.

— Есть! — сказал я. Голос мой при этом дрогнул в совершенной растерянности.

— Вот так! В восемь ноль-ноль. Запомните.

Да, я запомнил. Я еще плохо понимал все последствия этого предупреждения, но названный срок я запомнил. Весьма безрадостный смысл этих слов медленно доходил до моего сознания, и когда командир полка с двумя автоматчиками далековато уже отошел по дороге, я все еще стоял на месте, изо всех сил стараясь сообразить, что делать.

Над полем опять взвилась ракета, затем, когда она догорела, засветилась вторая — в дрожащем ее свете под звездами ярко обозначился изогнутый, расползающийся на ветру след первой. Тотчас стремительные нити трасс засверкали от хутора, вонзаясь в насыпь дороги и рикошетами пырхая из-под снега в стороны — в тут же сомкнувшийся мрак ночи.

— Товарищ лейтенант!..

Меня звали, за меня тревожились, и я словно в полусне спустился в свой узкий окопчик под деревцем. Возле, не занимая его, лежал на боку Маханьков. Вскоре откуда-то из цепи подбежал и упал рядом Гринюк, единственный уцелевший во взводе командир отделения. Оба молчали, наверное ожидая, что скажу я. Но я тоже молчал. К тому красноречивому разговору с командиром полка, который они все слышали, добавить мне было нечего.

Тем временем ночь прояснела, тучи в небе поредились, и в их рваных просветах появилась луна. Немцы еще выпустили длинную очередь трассирующих, на этот раз гораздо правее взвода, в направлении высоты, куда отправился командир полка.

— Колготится фриц, — сказал Гринюк. — Дрейфит, видно.

Маханьков промолчал, я тоже. Некоторое время все мы сидели молча, но я знал, что оба они сочувствовали мне и, наверное, хотели утешить. Однако утешение сейчас не имело смысла, и бойцы, пожалуй, сами отлично понимали это.

— Пока суд да дело давайте перекусим, — сказал

Гринюк. Достав из кармана, он протянул мне горсть чего-то съедобного.

— Что это? А-а-а...

— Галеты, товарищ лейтенант. Маханьков, дай-ка флягу.

Маханьков с готовностью подал флягу, и я, почти недоумевая (какая фляга, зачем фляга?), словно пробуждаясь от скверного сна, взял ее. Это была знакомая, недоброй памяти стеклянная фляжка, и в ней весомо, словно живое существо, с тихим плеском шевелилось поллитра водки.

— Выпейте, лейтенант, — как-то просто, по-домашнему сказал Гринюк. — Для сугреву не помешает.

Я подержал флягу в руке, подумал и выдернул резиновую пробку. Водка была дьявольски холодная и горчила во рту, более чем на три глотка у меня не хватило дыхания. Потом, пока я с внезапно пробудившимся аппетитом жевал скрипучую галету, глотнули понемногу Гринюк с Маханьковым.

— Вот хорошо! Сугревнее стало. А то ночка не мамочка.

Действительно, стало будто немного теплее, а главное, как-то бодрее, тягостная пелена медленно сползла с души, и моя большая беда стала понемногу убывать.

— Гринюк, как у вас с патронами?

— С патронами? А ничего. Есть патроны.

— Маханьков, передай по цепи флягу. Каждому — один глоток.

Маханьков поднял голову, будто чего-то не понимая, и я настоял.

— Передай, передай! И — подготовиться к атаке!

— Сейчас? — удивился Гринюк.

— Да, сейчас.

Гринюк помолчал, дожевывая галету, посмотрел в поле. Хутор догорал, пятно освещенного пространства возле него сузилось, пламя заметно поникло, и все пожарище распалось на несколько тусклых, беспрерывно искрящих на ветру очагов.

— Не спешите, лейтенант. Не надо спешить. Зачем?

— Как зачем?

Гринюк завозился на снегу, высморкался, утерся рукавицей и с явным неодобрением шумно вздохнул. Меня же то ли от водки или оттого, что я только сейчас начал осознавать свою незавидную перспективу, начала распирать неуемная жажда действия. Хотелось немедленно

куда-то бежать, что-то делать, кажется, я начинал чувствовать в себе решимость и нашел силу противостоять беде. Гринюк же, судя по всему, относился к этому иначе.

— Подождем. До утра целая ночь.

— Ну и что? За ночь хутор ближе не станет. Маханьков, беги, узнай время.

Маханьков, пригнувшись, шмыгнул в канаву и побежал к бойцу Бабкину, у которого были часы. Гринюк, задрав подбородок, поглядел в небо, где время от времени выскальзывал из-под клочьев облаков почти правильный диск луны.

— Хотя б это бельмо скрылось. А так...

— Наплевать!.. Сколько, Маханьков?

— Двадцать минут первого, товарищ лейтенант, — подходя, ответил Маханьков и опустился на одно колено.

Я поднялся из окопа.

— Так. Приготовиться к атаке! Дозарядить магазины! Приготовить гранаты!

4

Я с трудом набрался терпения, чтобы не поднять взвод немедленно, кое-как выждал около получаса и тогда с застучавшим сердцем вышел из окопчика. Рядом сразу же вскочил Маханьков, потом поднялись остальные, и едва различимая в сумерках цепь двинулась по снежному насту к хутору.

Хутор уже почти догорел, и только несколько огоньков слабо мерцало в сумраке на самом краю поля. Я пристально вглядывался в этот край, ибо от того, заметят нас или нет, прежде чем мы сблизимся на короткий бросок, зависело для меня все. Мне казалось, что, прежде чем немцы спохватятся, взвод успеет одолеть хотя бы половину поля, остальное, разумеется, придется преодолевать под огнем. Конечно, это было не самое лучшее, но другого способа вернуть хутор я не находил. Впрочем, в одном нам как будто бы повезло, — луна опять скрылась за густой наволочью облаков, и ночь заметно стемнела.

Под сапогами и валенками тихо поскрипывал снежный морозный наст, холодный несильный ветер обжигал лица. Я очень спешил и то широким шагом, то бегом все дальше уводил взвод от дороги. Было темно и тихо. Конечно, в конце концов немцы должны были повесить ракету, я ждал ее, чтобы, не медля ни секунды, залечь,

пока она еще будет на взлете. Но их почему-то взлетело сразу три. Предчувствуя недоброе, я тут же распластался на снегу, рядом попадали бойцы, и только на правом фланге кто-то непростительно замешкался — длинная тройная тень его предательски заметалась по нещадно освещенному полю.

Ракеты не успели догореть, как из-за хутора стремительно взвились еще три, и тут же призрачное в их свете пространство над головами пронзили первые трассы. Очереди вылетели из одного места, немного левее хутора, потом в воздухе к ним присоединились другие, послышался треск пулеметов, и в глухой тиши ночи поднялся такой тарарам, какого, казалось, не было днем, когда наступал полк.

Я вслух выругался, вжался в снег, почти физически ощущая, как мое возбуждение и моя решимость оборачиваются мстительной злой безысходностью. Было ясно, что замысел мой разлетался вдребезги, наступать под таким огнем было сумасбродством.

Уткнув подбородок в снег, я мучительно соображал, что делать. В глубине души недолго пожила и пропала робкая надежда на то, что это так, что немцы подняли такую стрельбу для острастки, что нас они не заметили. Думалось, а вдруг все стихнет. Но нет. Сотни огненных стрел, обгоняя друг друга, скрещиваясь и расходясь, стремительно неслись в нашу сторону, ударялись о снег, изломав траекторию, взлетали снова. В небо под облаками беспрерывно взмывали ракеты, и было видно, как ветер медленно раскручивает на небосклоне затейливую вязь их дымных хвостов.

От такого уничтожающего огня нас спасало лишь расстояние. Все-таки взвод находился не менее чем в километре от хутора и потому рассеивание их очередей было огромное. По сути, немцы сыпали ими по всему полю.

Повернув голову, я осмотрел свой взвод. Неровная его цепь, замерев, лежала под сверкающей пляской огня, казалось, ни одним движением не выдавая себя в этом поле. Но теперь эта его неподвижность уже не была преимуществом — нас наверняка обнаружили. Видимо, надо было подавать команду на отход.

Однако я медлил. Я ждал, все еще надеясь на что-то неожиданное как чудо. Вдоль цепи, грудью разрывая снег, полз Гринюк. Я видел его, но сержант, прежде чем заговорить, тронул меня за сапог и сквозь грохот и треск прокричал:

— Лейтенант! Почему лежим? Командуйте по-пластунски вперед!

«Спасибо, Гринюк», — подумал я. А то мне показалось, что он приполз не за тем. Доведись воевать, взял бы его на место Хозяинова. А так...! Впрочем, куда тут вперед?

— Раненых много?

— Да вроде не-ет! Давайте вперед! Замерзаем!

— Видишь, что делается?

— А! Была не была. Все одно заметили.

Да, конечно, заметили, теперь спуску не будет. Теперь уж можно сближаться в открытую. Только что мы сделаем, сблизившись? Уложить пятнадцать человек при таком огне с близкого расстояния — дело пяти минут. Загублю взвод и сам лягу. Нет, так не годится.

Но тогда как же быть?

Ракеты над полем светили без перерыва. Только начинала угасать одна — немедленно в задымленное небо взмывала следующая. Ночь полнилась стоголосым грохотом выстрелов и сумасшедшей огненной пляской в воздухе, утихомирить которые у нас не было средств. Взвод был обречен. Единственное спасение было там, сзади, в реденькой молодой посадке, где осталась наша канава. Она, конечно, укроет, она спасет взвод, кроме меня. Мне места там нет — там моя гибель.

Но что ж, видать, такова судьба!

Сглотнув застрявший в горле комок, я скомандовал по цепи отход.

5

И вот мы снова в наших растоптанных снежных окопчиках и ждем теперь уже недалекого утра.

Немцы молчат. Ночь утихла, все вокруг замерло. С вызвездевшего неба ярко светит луна, окончательно хороня мои последние надежды как-нибудь выбраться из этой беды.

До рассвета остался час. Маханьков только что сбегал к Бабкину и, сообщив эту безрадостную весть, уныло опустился на край моего окопчика.

С неизбывной тоской в душе я глядел в серебристое от лунного света поле, и мысли мои были далеки от этого злосчастного хутора, который слабо поблескивал вдали двумя затухающими огоньками, от канавы с пятнадцатью автоматчиками и дороги, на которой мне так ско-

ро предстояло закончить жизнь. Думал я как раз об этой своей такой неудавшейся жизни.

Дурак, пентюх и обормот! А еще столько мечтал о подвигах! Зубрил в училище уставы, тянулся по службе, получил отличные характеристики. Экзамены сдал на пятерки. Выпустили по первому разряду с правом досрочного присвоения очередного воинского звания. К чему теперь эти права и это мое первое, оно же ставшее последним звание? Расстреляют, как собаку, за невыполнение боевого приказа, как нарушителя дисциплины и военной присяги. И поделом.

— Вот так, Маханьков!..

У меня это вырвалось вслух, и Маханьков зябко поежился под своею измятой, не шибко теплой шинелькой, трудно, продолжительно вздохнул.

Да, через час меня расстреляют, я это знал определенно, но совершенно не мог представить себя убитым. Чего-то во мне недоставало для этого — воображения, что ли? Или, может, достаточной уверенности в грозной решимости командира полка. Как будто застрелить человека на войне бог весть какое сложное дело. И тем не менее именно эта неспособность ощутить смерть, как ни странно, наполняла меня неосознанным, почти инстинктивым чувством бессмертия. Казалось, командир полка грозился не мне. И хутор сдавал не я. Расстрелян тоже будет кто-то другой, потому что просто немыслимо убить меня. Ведь я же — вот он, живой!

Но нет, думал я, все это ерунда, конечно. Чуда ждать не приходится, время не остановишь. Да и Маханьков, наверно, отлично сознавал мою незавидную участь, своим скорбным видом свидетельствуя свое сочувствие, от которого, впрочем, мне не становилось легче.

А вот Гринюка, кажется, это мало заботило. Видно, тяготясь одиночеством на своем не таком уж далеком фланге, он пришел к нам по протоптанной над канавой тропе и остановился за спиной Маханькова.

— Какой-то крик там. Слышали?

Я поднял голову, Маханьков тоже насторожился. Минуту мы смотрели на Гринюка, чуть вслушиваясь, но нигде никаких криков не было.

— Там вон, возле пригорочка. Или мне померещилось?

— Будто ничего нет, — сказал Маханьков.

— Ну, померещилось, значит. — Гринюк зябко постучал каблуком о каблук. — Фляжечку бы для сугреву, а? Маханьков, у тебя там не осталось?

Маханьков удивленно посмотрел на него, не ответив, и тот, видно понял, что́ заботило нас.

— Бросьте вы унывать, лейтенант.

— Как бросишь! Вон час остался.

— Го! Целый час еще! Целый час — это ого!

Я смолчал. Он меня злил, этот непрошеный оптимист. который, пританцовывая от мороза, нес совершеннейшую, на мой взгляд, чепуху:

— Час — его пережить надо.

— Вы-то переживете.

— Может, да, а может, и нет. На войне оно всяко бывает.

Гринюк потопал еще и опустился на колени у края окопчика. Затем, потирая руки, довольно бодро, с какой-то наигранной легкостью подался к Маханькову.

— Закурим, что ли, парнишка? Чтоб дома не журились?

Я отвернулся. Было почти противно смотреть на это его беспричинное бодрячество, которое коробило меня, издрожавшегося от холода и истерзанного муками этой роковой для меня ночи. А тут еще жутко мерзли ноги, но вставать и греть их нехитрым солдатским способом у меня недоставало сил. Сцепив озябшие руки в рукавах, я тоскливо смотрел в ночные сумерки, куда уходила дорога и где был наш полковой НП. И наверное, поэтому я сразу услышал в той стороне одиночный винтовочный выстрел, звучно грохнувший в сторожкой предутренней тишине. Правда, мое внимание нисколько не задержалось на нем: мало ли ночью стреляют на передовой да и в тылу тоже. Но тотчас же торопливо бабахнуло еще и еще. И через секунду затрещало, зашипело, заохало; трассирующие, видно с рикошета, веером разлетелись над пологим бугром.

Маханьков и Гринюк с недовернутыми цигарками недоуменно застыли возле окопа.

— Что такое?

— Обалдели они там, что ли?

— Часовой, может? С перепугу, — сказал кто-то в цепи.

Нет, пожалуй, это не с перепугу. На случайный переполох это было мало похоже — уж больно остервенело палили автоматы. Грохнул, должно быть, гранатный разрыв, и опять — автоматы и редкое важное гроханье винтовок.

— Что за холера?

Гринюк сунул неприкуренную цигарку за отворот шапки и вскочил на ноги.

— Кажись, нелады. Надо б послать кого.

— Давай! Бери отделение — и бегом!

Младший сержант бросился вдоль канавы, а Маханьков, тоже увлекаемый всем случившимся, перескочил окопчик.

— И я?

На секунду он задержался, ожидая моего согласия, но я недолго помедлил — что-то во мне вдруг воспротивилось его уходу. Наверно, события этой ночи чем-то сблизили нас, и теперь во мне заговорило естественное нежелание остаться здесь без него. Но я вспомнил о неуклонно убывавших минутах моего часа и махнул рукой. Семь человек Гринюка уже выбегали на дорогу, и Маханьков, закинув за плечо автомат, быстро догнал их.

Стрельба тем временем все разгоралась, похоже, действительно в нашем тылу шел бой. Где-то за хутором заухали немецкие минометы, тяжелые мины, сотрясая землю, начали рваться в расположении батальонов. Темное небо завыло, зашуршало, задвигалось. Но я все не мог согласиться с мыслью, что сквозь боевые порядки полка прорвались немцы — ведь тогда мы оказывались в полном окружении, а это было похуже всех наших предыдущих бед. В канаве все насторожились, повернулись в окопчиках и, поглядывая по сторонам, вслушивались в загадочное громыхание боя.

И тогда на дороге появился боец. В неподпоясанной гимнастерке, с автоматом в руках он был не наш, я сразу понял это и, что-то смекнув, выбежал ему навстречу. Боец, вдруг увидев цепь, закричал, почти завопил, как это возможно, только попав в беду:

— Автоматчики?.. Автоматчики — всем бегом туда! Слышите? Немцы!..

— Где немцы? Откуда немцы? — предчувствуя уже недоброе, сдавленным голосом спрашивал я.

— Командир, да? Начштаба приказал бегом...

Боец вдруг замолчал, будто проглотил слова, и пошатнулся, схватившись рукой за бок. Мы все молчали, а он стал клониться все ниже и ниже; чтобы не упасть, шатко переступил на дороге, проговорив тихо:

— Ребята, бинта...

Кто-то бросился к нему из канавы, а меня в этот миг будто встряхнуло что-то. Сознание враз озарила догадка-надежда, и я даже содрогнулся от мысли, что могу опоз-

дать. Вскочив на полотно дороги, я крикнул взводу: «За мной, бегом!» — и ошалело побежал навстречу визгу, треску и тивканию огня. Он теперь не пугал меня, самое страшное — хутор и дорога — оставались сзади, а смерть там, на НП, мне казалась наградой.

6

Но вот я не погиб, а только ранен и довольно легко — в руку. То, что происходило затем на склоне пригорка с НП, заняло каких-нибудь десять минут и видится теперь мне до мелочей четко и явственно. Оказывается, немцы обходили мой взвод, чтобы ударить нам с тыла, да напоролись в ночи на полковой НП. К счастью, мы были рядом и прибежали на выручку вовремя. Автоматчики ворвались в траншею, когда в ней уже были немцы, в ход пошли гранаты, лопаты, ножи. Восемнадцать немецких трупов осталось на этом бугре. Но перепало и нам.

Когда все было кончено, в траншее на меня наскочил начштаба, он пожал мою здоровую руку и сразу же записал имя-отчество — для наградного листа. Сначала мне показалось, что он шутит, но капитан спросил еще и фамилию того младшего сержанта, отделение которого подбежало к пригорку первым и тем на минуту отвлекло немцев.

— Гринюк была его фамилия, — сказал я.

— Что — тоже?

— Тоже.

Капитан нахмурился, и его химический карандаш твердо хрустнул на полевой сумке. Начштаба выругался.

Теперь я сам не понимаю себя — что-то во мне произошло противоречивое и загадочное. Где-то в глубине души я рад, почти счастлив и в то же время от нестерпимой обиды мне хочется плакать. Я едва сдерживаю свое нетерпение и не нахожу места в этом селе. Я ушел со двора комендантского взвода, где на окровавленной соломе лежат под брезентом Гринюк, Дудченко, Усольцев и Бабкин. Стараюсь не подходить близко к хате с раскиданной взрывом крышей, где застыл на скамье такой отчужденный теперь от всего майор Воронин. Не хочется мне идти и в санитарную роту. Сейчас там завозно, накурено, раненые ждут завтрака, машин из медсанбата, а через сени напротив умирает с разорванным животом

Маханьков. Говорят, везти его в медсанбат уже нет смысла.

Будь оно все проклято!

К майору у меня, несмотря ни на что, только тихая жалость. К его гибели я непричастен, мы честно старались выручить его на НП, но я все думаю: лучше бы он жил. Авось не расстрелял бы, как ночью грозился. И тут самое скверное в том, что уж никогда и не узнаешь, действительно ли он намеревался исполнить свою угрозу или только хотел попугать. Это уже навсегда останется для меня загадкой.

Машины, судя по всему, будут не скоро. В небе над селом висит невысокое солнце, за лесом, наверное, все на тех же высотах гремит бой. Неизвестно, как сегодня повезет батальонам...

Я медленно бреду по улице и подхожу к школе. На небольшой площадке под окнами четверо моих уцелевших автоматчиков роют могилу. Одну, общую. Сначала командира полка хотели хоронить отдельно, но комиссар сказал: не стоит копать. Да и некому. Всего здоровых у меня осталось семеро — троих отдали на пополнение роты связи, четверо закопают убитых и пойдут в стрелковый батальон капитана Паршина.

По рыхлой осыпающейся земле я взбираюсь на верх глинистой горки и молча гляжу вниз. Ребята, застегнув через плечо поясные ремни, работают в одних гимнастерках. Все молчат, слышно только, как стучат, скрежещут лопаты да устало, рывками дышат бойцы. Из ямы, то и дело осыпая мои сапоги, вылетают сырые комья земли. И я не сторонюсь их — я чувствую к этой могиле какую-то неизъяснимую свою причастность. Наверное, потому, что среди тех, кто скоро ляжет сюда, очень даже возможно, мог бы лежать и я. Судьбе или случаю угодно было распорядиться иначе, и все же какая-то частица моего *я* будет вечно пребывать тут — с Гринюком, Дудченко, Усольцевым, Бабкиным. И с майором Ворониным тоже.

1967 г.

СВОЯКИ

— Нет! — сказала она, стукнув об пол ухватом. — Нет! И не думайте! Вы что, с ума сошли?

Сидя подле стола, они переглянулись. Старший, вы-

сокий, худой, по-юношески нескладный Алесь, сразу нахмурился, уходя в себя, на совсем еще мальчишеском, пухловатом лице пятнадцатилетнего Семки мелькнуло что-то упрямое и злое.

— Все равно уйдем!

— Попробуйте! Попробуйте, ироды! Ишь что надумали! Сопляки несчастные! Я вам покажу партизанов!

Это была угроза, но в ней чувствовалась не столько сила и уверенность, сколько ее материнская беспомощность, от которой она всхлипнула и с ухватом подскочила к парням. Они бы должны разбежаться, как делали это не раз прежде, но теперь даже не сдвинулись с места, и это вовсе озлило ее. Семка лишь вскинул нехотя руку, чтоб защититься, она ударила его несколько раз, не разбирая куда, потом один раз — Алеся. Старший принял ее удар с каменным безразличием на угрюмом худом лице, даже не вздрогнул, только плотнее сжал губы, и она поняла, что все это напрасно. Напрасен весь ее гнев, ее брань, ее запальчивая попытка вернуть уходящую власть над сынами. Отчаяние враз сломило ее, и, бросив ухват, она вышла в сени.

Несколько мучительных минут она корчилась на сундуке от бессильно-исступленной обиды, не в состоянии постичь непостижимое: почему они такие упрямые в этом гибельном своем безрассудстве? Она понимала, когда на это решались взрослые — окруженцы и свои мужики, но что там могло привлечь их, почти что детей, едва оперившихся в жизни подростков? Что они сделают там, в лесу? Разве только погибнут по-глупому, как погиб тот, что неделю назад все утро лежал на выгоне, такой молоденький, пригожий хлопчик в окровавленной военной рубашке. Так и они будут лежать где-то, и на них будут боязливо глядеть незнакомые люди, и пьяные полицаи будут пинать их подкованными сапогами, а по босым ногам их будут осатанело бегать жадные весенние мухи...

Нет, так не будет, хватит того, что без поры, без времени сложил голову отец, а у них еще, слава богу, есть мать, она не допустит этого, она ни перед чем не остановится. Она знает, кто подбил их на это гибельное дело, она найдет его и не оставит ни одного волоска в его фасонистом белом чубе.

С внезапно возникшей решимостью она подхватилась с сундука, выбежала во двор, но вернулась, метнулась по сеням в поисках подпорки и, не найдя ничего более подходящего, сорвала с крюка коромысло. Охваченная мсти-

тельным злорадством, она туго подперл коромыслом дверь в избу и бросилась на улицу, поправляя на ходу косынку и не утирая слез, которые все еще лились по ее щекам.

Она бежала по улице, распугивая кур у плетней, взбивая босыми ногами пыль, и голову ее распирало от множества гневных слов, преисполненных ее, материнской обиды. Она скажет этому Яхиму, что он душегуб, бессердечный ирод, она спросит, зачем ему эти зеленые мальчуганы. Если надумал, пусть себе и идет сам куда ему хочется — хоть в партизаны или в полицию, но только без них. Пусть он сейчас же объявит им, что никого с собой не возьмет, иначе она обломает об его голову все ухваты, оскандалит его на всю округу.

В сердцах она сильно толкнула дверь старенькой, покосившейся избушки, не закрывая ее, рванула за клямку вторую — на нее сразу пахнуло прохладой земляного пола и тишиной. Тогда она дернула занавеску на печи, с вороха грязного тряпья приподнялась белая голова старого, больного Лукаша, его подслеповатые, выцветшие глаза болезненно заморгали в недоумении.

— Где Яхим ваш?

— Якимка-то? А кто ж его знает. Разве теперича дети спрашиваются у родителей?..

— А ночью он спал дома?

— Не знаю я. Будто не слыхать было.

Конечно, что он мог знать, этот полуослепший, забытый богом старик, наверно, Яхима не так просто поймать. Она почувствовала, что весь запал ее гнева вот-вот иссякнет впустую, и опять не сдержалась. Правда, слез уже не было, были только удушливые спазмы в груди, и, пока она, прислонясь к печи, боролась с ними, Лукаш устало глядел на нее и постанывал, донимаемый своими болями.

Но нет, все равно она их не отдаст, они — ее дети, она для них мать и не согласится на их гибель, скорее сама ляжет трупом на этом их сумасбродном пути, но не пустит их к смерти.

Она почти все время бежала — через деревню, мимо с детства знакомых избенок, потом по выгону с молодой весенней травой, усеянной желтыми цветами одуванчиков, вдоль свежо и весело зазеленевшего нежными листиками овражка. Как за последнюю свою возможность, она ухватилась теперь за мысль обратиться к Дрозду, что жил в недалеком, через поле, местечке. Правда, с зи-

мы он ходил в полицаях, был начальственно важен и строг, но она знала его мать и его с самого детства, все же он был ей двоюродный племянник — не чужой. Она расскажет ему о своем горе, и он должен чем-либо пособить, ведь мужчина неглупый и, главное, по нынешнему времени власть. Пусть он их постращает, посадит на какую недельку в подвал, пусть даже недолго подержит в тюрьме, но чтоб только не ушли в лес и не иссиротили ее.

Она лишь боялась, как бы Дрозд не уехал куда, не был занят, не отказал и тем не лишил ее последней возможности удержать их. Но солнце было уже низко, медленно садилось вдали за широкую багровую тучу над лесом, — в такое время, знала она, служащие в местечке расходились из учреждений и занимались своим хозяйством. Правда, она пожалела, что ничего не захватила с собой, надо бы прийти хоть с каким-либо гостинцем да с бутылкой, конечно. Но за ней не пропадет, пусть только поможет.

Да, он был дома, она сразу поняла это, как только свернула с улицы в узенький, обсаженный вишняком проулок к его добротной пятистенной избе. Из двух настежь раскрытых окон неслась громкая музыка, и за цветочными горшками на подоконнике двигалось чье-то мужское с погоном плечо.

Она еще раз поправила на голове платок, корявыми, жесткими от непроходящих мозолей руками вытерла глаза и как можно тише взошла на крыльцо. Дверь в избу была раскрыта. Он, сидя на табурете, сразу повернул к ней крупное бритое лицо, на котором мелькнуло удивление.

— Что тебе, тетка?

То, что он назвал ее привычно, по-деревенски теткой, придало ей смелости, под его уже строгим, будто даже сердитым взглядом она ступила на рогожку у порога и промолвила:

— Пришла к тебе, Петрович, по делу.

Патефон на конце стола смолк, кто-то повернул в нем блестящий рычаг, и несколько мужских лиц с настороженным неудовольствием уставились на нее. Она смешалась под этими взглядами и не знала, как тут объяснить свою такую, казалось, простую и понятную надобность. В сознании ее даже мелькнуло сожаление, что пришла сюда, но какого-либо иного выхода в запасе у нее не было.

— Да я чтоб посоветоваться. Сыны у меня...

— Что сыны? Говори конкретно.

Она мучительно искала слова, чтобы поскорее и попонятнее объяснить им, что́ ее привело сюда.

— Ну говори, говори. Не бойся, тут все свои.

— Сыны у меня... Нехорошее удумали.

— Что, с бандитами снюхались?

Они все враз будто встрепенулись за столом, а Дрозд двинул в сторону табурет и как был — в нижней голубой майке — тяжело шагнул к ней.

— Ну, говори.

Она, отчетливо сознавая, что должна решиться на самое главное, ради чего готова была на все, взмолилась:

— Петрович, родненький, только прошу, не сделай же им плохого. Ну, может, попугай их, не наказывай только. Молодые же еще, старшему семнадцать на пасху исполнилось. Разве ж они понимают...

— Ага! Так-так. Ну, ясно. Где они теперь?

— Дома. Я ж их заперла.

— Заперла? Молодец, тетка. Идем!

Он решительно натянул на себя свой полицейский мундир, сорвал со стены винтовку. Другие тоже вылезли из-за стола, и в избе сразу стало тесно. Она отступила, внутри у нее что-то дрогнуло и опало, и, пока Дрозд подпоясывался толстым военным ремнем, она, сцепив на груди руки, просила:

— Петрович, сынок, только ж вы по-хорошему...

— Мы по-хорошему. Культурно! Барсук, захвати конец.

Они вышли во двор и, сокращая свой путь к деревне, быстро пустились по меже полем. Солнце уже скрылось за тучей, голые, по-весеннему серые поля потускнели, но было светло и тихо. Здесь, на воле, она лучше рассмотрела их. Кроме Дрозда, еще двое были в немецких мундирах и пилотках, а один, задний, в своем — пиджаке и серых брюках навыпуск. Этот, в гражданском, ей показался знакомым, она, забегая немного вперед, спросила:

— Гляжу это и узнаю будто. Не с Залесья будете?

— С Залесья, матка, — просто ответил он басом, но разговора не поддержал. Она пригляделась к остальным двоим, к их крутым, стриженым затылкам, но эти, очевидно, были чужие.

Они перешли пригорок, край лужка, миновали лозовые заросли у ручья. Возле болотца-выгорища ковырялся с плугом хромой Лущик, из их же деревни. Остановив ло-

щадь, он долго смотрел издали на четырех полицейских и женщину. Она ничего не сказала ему, прошла мимо, но почему-то ей стало не по себе от этой настороженности знакомого человека. Правда, она тут же подавила в себе это неприятное, пугающее чувство. Пусть, пусть постращают, не убьют же, ведь немцам они ничего плохого еще не сделали, за что же наказывать их?

Она все время бежала сзади, в поле и на выгоне, и только когда зашли во двор, у колодца, Дрозд пропустил ее вперед и даже слегка подтолкнул: давай, мол, мы следом. Она проворно и привычно, как всегда, приступив на широкий камень у двери, шагнула через порог и тотчас поняла, что зря понадеялась на подпору: коромысло валялось на полу, и дверь в избу была раскрыта. Однако тут же она увидела Семку, и ее поразила гримаса испуга, почти боли, на его полудетском лице. Нагнувшись и держа в руках большой кухонный нож, сын стоял над дежей, в которой они хранили мясное. У ног парня лежала торбинка с завязками. Увидя эту торбу, она все поняла и коротко, зло про себя усмехнулась. Но в тот же миг Семка вскрикнул, выронил на пол кусок сала и, пригнув голову, бросился в дверь, на бегу сильно толкнув ее в бок. Сзади закричали — Дрозд или другой кто-то, — и тотчас сильно грохнул один, второй, третий выстрелы. В ней все обмякло, она пошатнулась, но сдержала себя и, чувствуя, что происходит нечто нелепое и ненужно страшное, выбежала из сеней.

— Сыночек! Сыночек! Постой!

Она бросилась к полицаю в серой немецкой пилотке, который стоял с карабином у плетня, но он ужé не стрелял — опустил карабин прикладом к ноге, выругался, грубо отстранил ее и полез через перекладину в лазу на огород. Она не понимала его, как не понимала ничего, что здесь происходило. Семки нигде не было, и только когда полицай широко зашагал наискось по вспаханному огороду, она увидела запрокинутую голову сына, плечи и разбросанные в стороны руки: он недвижимо лежал на пахоте в трех шагах от буйно белевшего первым цветом вишенника.

Тогда она закричала и рухнула на пахнущий навозом двор, сознание огромной несправедливости сразило ее: как же могло случиться такое? Она билась головой о твердую, как бетон, утоптанную землю двора, колотила ее своими не по-женски большими кулаками, царапала, зайдясь, вся в безумном исступлении от такой непопра-

вимой, дикой нелепости. Из этого состояния ее вырвал голос — знакомый и в то же время совершенно изменившийся голос ее старшего сына:

— Холуи продажные!

Все еще не поднимаясь с земли, она вскинула голову и сквозь слезы увидела, как Дрозд и двое других полицаев вытолкали его из сеней и начали грубо крутить за спину руки, связывая их веревкой — концом, прихваченным у Дрозда.

— Бобики! Будет и на вас веревка!

— Молчать, щенок!

Полицай, что в брюках навыпуск, коротко и сильно двинул его коленом в живот. Алесь пошатнулся, но устоял, и она, совершенно уже теряя над собой власть, вскричала:

— Сыночек!

Но он даже не взглянул в ее сторону, лицо его было исполнено гнева и твердости, он вскинул ногу в ботинке и ударил ею полицая.

— Смерть Гитлеру!

— Ах так, щенок!

Дрозд сильно толкнул его прикладом, и он неуклюже, со связанными руками, упал спиной на камень у порога. Она бросилась к Дрозду и, хватая его за ноги в пыльных, вонючих сапогах, пыталась остановить, не дать бить сына. Но эти ноги ударили и отбросили ее саму, она перевернулась, захлебываясь от боли в груди.

— Ах так, щенок! — сказал Дрозд. — К стенке его!

Те двое сильно рванули сына за связанные руки, размашисто отбросили к истрескавшимся бревнам стены, и Дрозд вскинул свой карабин. Она снова подхватилась с места и на этот раз метнулась к сыну, но над головой ее грохнуло, оглушило. Алесь неестественно напрягся, губа его с едва заметным светлым пушком раза два дернулась, и голова беспомощно упала на грудь. Он сполз спиной по стене и в неестественной, скрюченной позе застыл над завалинкой. Тогда она поняла, как непростительно глупо казнила их и себя тоже, схватила у порога первое, что ей попало на глаза, — хворостину, которой выгоняла по утрам корову, и с небывалым ожесточением набросилась на Дрозда.

— Что ты наделал! Ирод! Выродок!

Она метила ею по голове и лицу полицая, но тот вобрал голову в плечи, заслонился локтем, и она била по ненавистному, с полосатой повязкой локтю, по пилотке,

пока Дрозд окованным тяжелым прикладом не отбросил ее к тыну.

— Прочь, гадовка!

Оглушенная, она зашлась от боли и смолкла. Полицай приволок с огорода распластанное тело Семки, бросил его на дворе, задыхаясь, откашлялся и полез в карман за махоркой.

— А здорово ты его — под дых! — одобрительно сказал Дрозд.

Полицейский зло матерно выругался.

— А что ж, туды т его враз! Не знал, от кого! У меня не утикеть.

Возбужденно ругаясь, они начали закуривать. Она корчилась под тыном, оглушенная, все видела, но почти уже ничего не замечала и ни на что не реагировала. Потом, когда несколько унялся болезненный гул в голове, поднялась сначала на колени, затем на свои босые, затекшие ноги, окинула полубезумным взглядом двор с недвижимыми телами ее сыновей. У нее уже очень немного осталось сил, она держалась за тын и, перебирая руками, обессиленно пошла к улице. Ее не останавливали и не кричали, да она и не прислушивалась уже ни к чему в этом свете, страх ее иссяк весь без остатка. Добредя до колодца, она бессильно упала животом на край ослизлого сруба и, увидев в его глубине далекий просвет, как за несбывшейся справедливостью, торопливо ринулась в темный, зыбкий проем.

1967 г.

ОДНА НОЧЬ

1

«Юнкерсы» налетели внезапно.

Их тонкохвостые стремительные тени вынырнули из-за островерхих, разбитых минами крыш и обрушили на город неистовый громовой рев. Оглушенный им, автоматчик Волока замедлил бег, присев, втянул голову в плечи и на несколько секунд сжался под все нарастающим визгом бомб. Вскоре, однако, сообразив, где спасение, боец метнулся на забросанный мусором тротуар и очутился под чугунной решеткой, тянувшейся вдоль улицы. Несколько долгих мучительных секунд, прильнув к раскаленному асфальту, ждал...

Бомбы разорвались за оградой.

Земля со вздохом, тяжело содрогнулась, тугая горячая волна ударила Волоку в спину, что-то коротко и звонко звякнуло рядом, и сразу же улица, дома и вязы в сквере окутались клубами серой пыли.

«Полутонные, не меньше», — подумал Волока, сплевывая песок. Вокруг по тротуару, в сквере и на мостовой брякали обломки камней, шлепались слитки асфальта, взметнув высоко в воздух, не спеша просеивалась туча земли, и в ней, медленно оседая, густо мельтешила листва акаций. Где-то вверху простучал пулемет, тотчас от серого исцарапанного осколками здания брызнула штукатурка, и большая, с бобовый струк, желтая пуля, цокнув по камням, бешено завертелась на тротуаре. На очередном заходе снова ревели пикировщики.

Надо было бежать дальше.

В сквере среди еще не осевшей пыли уже замелькали полусогнутые пропотевшие спины бойцов, кто-то перескочил через решетку ограды и бросился на противоположную сторону улицы. По темной латке на плече Волока узнал сержанта, командира отделения из их взвода. Обрадованный, что впереди есть свой человек, боец вскочил и, пригнувшись, пустился следом.

Сержант в несколько прыжков перебежал улицу и под новый рев пикировщиков нырнул в подворотню. Волока же немного отстал. Позади грохнул взрыв, и когда он, запыхавшись, влетел под спасительные своды подъезда, то от неожиданности едва не вскрикнул: со двора прямо на него выскочили два немца. Волока споткнулся, шарахнулся было назад, но и немцы тут, видно, не ждали его. Передний что-то бормотал заднему, на мгновенье в его расширенных глазах блеснули испуг и удивление. В то же мгновение Волока, не целясь, нажал на спуск — автомат содрогнулся от беспорядочной очереди, — немец выпустил из рук карабин и упал лицом на мостовую. Его новенькая, меченная альпийской эмблемой каска, громко звякая, криво покатилась по тротуару.

Куда исчез задний, Волока не увидел.

Вокруг грохотали взрывы, где-то со стоном рушилось здание, в подворотню хлынули клубы рыжей кирпичной пыли. Волока пригнулся, перескочил через откинутую руку немца, на которой еще дергались костистые с перстнями пальцы, и сунулся в настежь раскрытую дверь. Внутрь и вниз тут сбегали ступеньки, в спешке Волока промах-

нулся ногой и торчком полетел в темноту. Опережая его, в полумраке загремел его автомат.

Так боец очутился в подвале.

Тут было тихо и темно. Прохлада бетонного пола сразу охладила разгоряченное тело. Потирая ушибленные колени, Волока прислушался, медленно встал, ступил раз, второй, наклонился, отыскивая на полу оброненное оружие, и от неожиданности вздрогнул: пальцы его наткнулись на что-то пыльное, теплое и, несомненно, живое. Волока как-то не сразу сообразил, что это сапоги, которые тут же рванулись из-под его рук, и тут что-то тупое и тяжелое ударило бойца в спину. Волока ахнул от боли, но не упал, а взмахнув обеими руками, сгреб в темноте чьи-то ноги. Сознание пронзила догадка: немец!

Немец не удержался, свалился наземь, но руками успел охватить Волоку за голову. Иван напрягся, пытаясь вырваться, но напрасно. Враг все ниже пригибал его голову и, шаркая по полу подкованными сапогами, старался одолеть его. Но Иван, уже придя в себя от испуга, уцепился за одежду немца и, нащупав подошвами опору, всем телом толкнул врага.

— Ы-ых!..

Они оба тяжело рухнули на пол. Иван, задыхаясь от боли в подвернутой шее, почувствовал, как что-то под ним хрустнуло. Он теперь оказался наверху и, перебирая в темноте ногами, искал надежной опоры. Через минуту, а может и меньше, он с трудом высвободил голову и, сделав сильный рывок, распластал немца на полу. Еще не совсем уверенно, Иван почувствовал, что сильнее врага, только, видно, тот был проворнее или, может, моложе, ибо не успел боец поймать в темноте его цепкие руки, как те снова ухватили Волоку за горло.

Иван только крякнул от боли, в глазах блеснул желтый огонь. На минуту он обмяк, отчаянно захрипел, а немец, извернувшись, перекинул в сторону ноги и очутился наверху.

— А-а-а! Сволочь! Ы-ых!.. — хрипел Иван.

Он инстинктивно вцепился в руки, сжимавшие его шею, пытаясь во что бы то ни стало разомкнуть их, не дать цепким пальцам сдавить горло. После долгих судорожных усилий ему удалось оторвать одну руку, но вторая тотчас сползла ниже и ухватила за воротник его застегнутой гимнастерки.

Боец задыхался. Грудь распирало удушье; казалось,

вот-вот хрустнут горловые хрящи, помутилось сознание, и Волоку охватил испуг оттого, что вот так нелепо дает умертвить себя. В нечеловеческом отчаянии он уперся в пол коленями, напрягся и обеими руками резко вывернул в сторону одну, более мешавшую руку немца. Воротник гимнастерки затрещал, что-то глухо брякнулось о пол, немец засопел; бешено зашаркали по бетону его подкованные сапоги.

Волоке стало полегче. Он высвободил шею и, кажется, начал одолевать немца. На смену отчаянию в сознание ворвалась злоба, мелькнуло намерение убить — это придало силы. Барахтаясь и сопя, он нащупал ногами стену, уперся в нее и всем телом надавил на немца. Тот снова оказался снизу — Волока, мыча от злорадства и ярости, наконец добрался до его жилистой шеи.

— И-и-и-э-э! — мычал немец, и Волока чувствовал, что побеждает.

Его противник заметно сбавил напор и только оборонялся, хватаясь за ожесточившиеся Ивановы руки. Волоке, однако, очень мешала сумка с дисками, которая попала под немца и ремнем, как на привязи, держала бойца. Волока снова утратил опору, куда-то пропала стена, ноги скребли по скользкому полу. Но он изо всех сил держался наверху и не выпускал из рук немца, который вдруг захрипел, рванул Ивановы руки, раз и второй, напрягся, стукнулся о бетон головой и неистово забился всем телом. Однако Иван приналег плечом, удерживая пятерней горло, и сдавил.

В этот момент наверху что-то стряслось.

Оглушительный взрыв туго ударил в уши, в бездну рухнуло черное подземелье, сотни громов и грохотов обрушились на людей. Удушливым смрадом забило грудь, болью пронизало голову, спину, ноги, что-то навалилось и придушило... Волока инстинктивно отпрянул от немца, вскинул над головой руки, беспомощно съежился, подставив обвалу потную, побитую спину, и от боли сжал зубы.

Грохот, однако, скоро утих, но тело Волоки было сковано такой тяжестью, что нельзя было шевельнуться, и только в сознании билась короткая удивленная мысль: «Жив!» Но не было воздуха, и он задыхался от сернистого тротилового смрада, песка и пыли. Почувствовав, что задыхается, Иван рванулся из уготованной ему могилы, невероятным усилием что-то сдвинул с себя, хватил глоток воздуха и раскрыл запорошенные песком глаза.

2

Удивительно, как он уцелел.

Вокруг уже не было прежней темноты, вместе с нею исчезла прохлада, было душно, и повсюду громоздились кирпичные и бетонные груды. Сначала Волоке показалось, что взрывом его отбросило куда-то в сторону от того места, где он дрался с немцем, но, вглядевшись в сумерки, боец узнал засыпанные щебенкой ступени, с которых он совсем недавно скатился сюда. Их было только шесть снизу, повыше, упершись ребром в лестницу, застряла рухнувшая с потолка бетонная глыба, наглухо загородившая выход. С другой стороны, наискось врезавшись концом в заваленный кирпичом пол, лежала причудливо изогнутая взрывом ржавая двутавровая балка. Упади она всего на каких-нибудь полметра ближе, вряд ли довелось бы теперь Волоке видеть ее.

Повернувшись, Иван высвободил из щебенки руки, приподнялся, однако ноги были еще крепко чем-то прижаты. Он повернулся на бок и попробовал встать. Ноги, кажется, были целы, руки тоже, только одна сильно болела в локте. Стряхивая с себя песок и мусор, он вытащил из завала одну ногу, потом другую и сел. И тогда из груди его прорвался удушливый, неудержимый кашель. Иван захлебывался в его приступе, грудь разрывалась, пыль и песок забили, видно, все легкие. Вздрагивая всем телом, он несколько минут кашлял и отплевывался и, только когда немного отлегло, снова осмотрелся вокруг.

Да, его крепко завалило тут. И лестницу, и угол, уцелел только закуток за ступеньками да каких-нибудь метра два стены возле выхода. Другая сторона подвала, напротив двери, была вся завалена кирпичным ломом, бетонными глыбами, потолок покосился, потрескался; местами из его черных щелей торчала арматура.

Из одной такой щели в полутьму подвала, наверное с улицы, цедился тоненький солнечный лучик. В нем густо роились пылинки, и лучик едва пробивался до пола, бросая на кирпичный хлам тусклое пятно света.

Помотав головой, Волока вытряхнул из ушей песок и услышал, как глухими вздохами из-под земли донеслись сюда звуки войны: взрывы, далекий гул пикировщиков и приглушенные пулеметные очереди. Ивана это насторожило и озаботило, подумалось: надо быстрее вылезать, рота, наверное, уже ушла с этого места. Боец поднялся и, спотыкаясь в обломках, побрел к ступенькам. Там он ос-

мотрелся, отыскал и вытащил из-под щебенки свой автомат, рукавом смахнул с него пыль. То, что нашлось оружие, несколько успокоило его; Иван отдышался и только теперь почувствовал, как сильно болит плечо. Впервые он вспомнил о немце. «Конечно, тому уже каюк, придавило где-нибудь в углу, слава богу, не пришлось душить гадину», — подумал Волока. К мертвому у Ивана злости уже не было.

Наверху снова приглушенно застрочили очереди, стреляли из «дегтяря» — Иван узнал бы его где угодно. Это подбодрило бойца, он встал, пригнул голову, ощупал нависшую над ступеньками глыбу, поднатужился, толкнул, однако та даже не шевельнулась — видно, сверху была крепко привалена чем-то. Но как же выбраться отсюда? Морщась от боли в руке, Иван сошел со ступенек, всмотрелся в темноту покореженного перекрытия. Нигде ни пролома, ни щели, чтобы можно было пролезть. Обрушивая щебенку, боец вскарабкался на груду обломков и начал ощупывать покосившийся потолок. Один кусок бетона там вроде шатался, но, видно скрепленный арматурой, держался прочно. Боец заглянул в щель, но там, кроме хорошо освещенных на изломе толстых краев, ничего не было видно.

Постепенно у Ивана стала зарождаться тревога — как выбраться отсюда? Может, крикнуть, позвать на помощь? А вдруг там немцы? Кто знает, удалось ли нашим удержать сквер? Такая бомбежка, наверное, немало пособила немцам. Он слез с завала, заглянул в темный угол лестницы — повсюду высилось пыльное нагромождение битого кирпича и бетона. Сколько ж надо перекопать его, чтобы добраться до какого-нибудь пролома?

Стоя, Иван встревоженно размышлял об этом, как вдруг в куче завала шевельнулся и скатился вниз кусок кирпича. Тотчас же еще несколько кусков скатилось с кучи. Иван насторожился и пригнулся, всматриваясь. «Вот тебе и на!» — уже без страха, охваченный одним только удивлением, произнес он про себя. Внизу, присыпанное щебенкой, серело плечо мундира, край черного, окаймленного галуном погона и до сих пор не замеченное в полумраке припорошенное пылью лицо немца. Его светлые с влажным блеском глаза напряженно, со страхом глядели на Ивана.

Волока весь внутренне сжался («Ах ты, проклятый, уцелел!») и левой рукой подхватил за ствол автомат. Но прежнего страха уже не было, теперь Иван не очень бо-

ялся этого недобитого врага. Немец некоторое время неподвижно смотрел на бойца, а потом заворочался в завале. Лицо его при этом скривилось от боли; сдерживая стон, он обессиленно закрыл глаза.

«Убить!» — мелькнула мысль, и Иван привычно изготовил оружие. Это было так легко сейчас и так просто. Но, должно быть, эта легкость и сдержала решимость Ивана. Немец снова заворошился, стараясь высвободиться из-под обломков. «Ну, лезь, попробуй! Подойди! — говорил себе Иван, зорко наблюдая за каждым его движением. — Вылезешь, тут тебе и конец!»

Это был четвертый немец, попавшийся ему под руку. Первого он подстрелил в сорок третьем под Прохоровкой из окопа во время атаки. Тот упал на траву, повернулся, как-то удивленно посмотрел на Ивана и утих. Со вторым пришлось немного повозиться. Иван догонял его в окопе, немец стрелял из парабеллума, ранил его друга Макивчука. Это был офицер с кокардой, и Иван, загнав его в тупик, приколол штыком. Третьего застрелил сегодня в подъезде. Теперь вот этот.

Но стрелять в лежачего и беспомощного было все же неловко, и Иван ждал, что последует дальше.

Только вылезть немцу было нелегко. Он вытянул из-под завала руку, покривился от боли. Затем застонал, остановил на Волоке долгий умоляющий взгляд и снова замер в бессилии.

«Ага, доняло, собака!» — проворчал Иван. Немец старался высвободить ноги, приваленные бетонной глыбой, и Иван, стоя напротив, наблюдал за его тщетными усилиями. Немец застонал, опустил голову, кусая губы. Его так явственно ощутимая боль почти физически передалась Ивану. «Наверное, переломаны ноги», — подумал Волока. Видя, что немцу не выбраться без посторонней помощи, Иван инстинктивно подступил ближе и, упершись каблуком, отвалил в сторону огромный плоский кусок стены.

Потом он удивился этому своему поступку, так как немец стал шевелиться свободнее, оперся о пол руками и постепенно вытягивал из-под завала ноги. Ага! Цел... Он уже оказался на свободе, но не спешил воспользоваться ею (видно, его крепко пришибло во время обвала), и Иван, скрывая в душе противоречивое, перемешанное с сочувствием злорадство, сдержанно наблюдал за врагом.

Опираясь руками о захламленный пол, немец некоторое время сидел, не в силах, видно, совладать со слабо-

стью и болью. Собрав над переносьем запорошенные пылью брови, Иван ждал с автоматом наготове. Немец тем временем ощупал свою ногу в колене, шевельнул сапогом. Затем, чему-то удивившись, взглянул на Волоку и прислушался. С улицы глухо доносилась стрельба, прогремело несколько взрывов, сквозь щели в потолке просыпался песок. Посмотрев вверх и будто вспомнив о чем-то, немец торопливо встал и, прихрамывая, пошел к лестнице.

Иван не видел у него никакого оружия, знал, что никуда ему не вырваться отсюда, и потому спокойно сел на обломок стены, с превосходством поглядывая на противника. Автомат он держал меж колен. «Ага, попробуй», — язвительно подумал боец, глядя, как немец толкает плиту над ступеньками. Тот старался, видимо, изо всех сил, но сдвинуть плиту не смог. Тогда немец обернулся, на его удивленном лице отразился вопрос, однако безучастно спокойный вид Волоки, наверное, дал ему понять, что выхода отсюда нет.

Немец вяло сошел со ступенек и сел, обхватив руками ногу. Иван с затаенным любопытством осмотрел его помятую, засыпанную пылью фигуру с ефрейторским шевроном на разорванном до локтя рукаве. Тогда же он впервые увидел у него на боку кобуру. Это заинтересовало и насторожило Ивана, появилась новая забота: что делать, когда враг ожил, да еще вдобавок ко всему с оружием?

Тем временем немец правой ногой снял с левой сапог, подвернул штанину и носовым платком стал перевязывать колено. Колено было разбито, кровь сочилась из небольшой, но сильно кровоточащей раны, и вскоре платок стал вконец мокрый. При виде раны и крови Иван вспомнил о своем потертом перевязочном пакете, который он уже месяц на всякий случай носил в кармане. Можно было и не давать, не так уж ему жалко было этого недобитого гитлеровца, однако какое-то человеческое великодушие толкнуло его помочь солдату.

Немец не ожидал помощи и заметно вздрогнул, когда в мусор возле его сапог шлепнулся небольшой пакет. Сперва он растерялся, но потом, видимо, понял, и глаза его сразу прояснились. Пробормотав «данке» и улыбнувшись, он поднял пакет. Лицо у него было уже немолодое, загорелый лоб густо изрезан морщинами, и над висками блестели залысины. На обветренных небритых щеках топорщилась светлая щетина.

Иван пристально смотрел на врага, не зная, как поступить дальше, и лишь инстинктивно чувствуя, что надо быть начеку. Немец закатал штанину повыше и стал осторожно забинтовывать колено. При этом он мерно покачивался, то и дело подставляя под пучок света щеку с широким косым рубцом возле уха — давнишним следом осколка. Иван, увидев этот след, про себя улыбнулся: такой же рубец носил и он на левом боку — память о боях под Курском. Немец, в свою очередь, несколько озадаченно с заметным беспокойством поглядывал на Ивана.

Но долго рассматривать друг друга им не пришлось. Землю снова сотрясли взрывы: очевидно, пальнула «катюша» или шестиствольный немецкий миномет. Иван вскинул голову и напряженно прислушался. Немец застыл с натянутым у ноги бинтом и тоже ждал, уставив взгляд в потолок. Но взрывы постепенно утихли, ссыпались последние струйки песка из щелей, и снова стало спокойно и глухо. Один только лучик косой дымчатой ленточкой скупо цедился в подземелье.

Эти звуки, однако, обеспокоили Ивана. Надо было что-то делать, как-то выбираться отсюда. И занесло же сюда этого немца! Но немец был беззащитен, подавлен и, кажется, изрядно пострадал при обвале. Иван держал в руках автомат, чувствовал себя уверенно и полагался на свою силу. К тому же он видел рядом не какого-нибудь самоуверенного гитлеровца первых дней войны, а пожилого, усталого и, очевидно, немало перестрадавшего человека. Хотя тот и молчал, нетрудно было предположить, что он чувствовал теперь, и только его солдатская форма не позволяла Волоке забывать, что перед ним враг. Поглядывая исподлобья, боец закинул за плечо автомат и полез по завалу к полуразрушенному, потрескавшемуся потолку.

Надо было искать выход.

3

Щели в некоторых местах были довольно широкие, в них кое-как можно просунуть пальцы, но ухватиться там было не за что. Запрокинув голову, Иван долго разглядывал потолок, потом сильно надавил снизу обломок, возле которого цедился луч света. Из щелей сразу посыпались песок, щебенка. Морщась, Иван отвернул в сторону лицо и еще больше напрягся, чтобы как-нибудь расшатать плиту.

Ни на минуту не забывая о немце и искоса поглядывая вниз, он следил за каждым его движением. Немец сначала с любопытством смотрел на Ивана, затем несколько неуверенно встал. Иван сразу оставил плиту и взялся за автомат. Но тот добродушно улыбнулся и хлопнул по кобуре. «Найн, найн», — успокаивающе произнес он, махнув при этом рукой. Кажется, кобура у него действительно была пуста. Иван, однако, с недоверием, медленно опустил автомат и выругался про себя — у него снова зашевелилась неподвластная ему настороженность к этому человеку-врагу. А немец тем временем, взмахивая руками и сильно прихрамывая, взобрался на щебенку, задрал голову, осмотрел щели и в одном месте просунул в излом пальцы.

Две пары рук уперлись в один кусок бетона.

Очень странно было все это.

Если бы кто-нибудь рассказал Ивану такое — не поверил бы, но теперь все получалось как-то само собой, и он, пожалуй, ни в чем не мог упрекнуть себя. Всего несколько минут назад, не видя и никогда не зная один другого, они насмерть дрались в этом подвале, полные злобы и ненависти, а сейчас, будто ничего между ними и не произошло, дружно расшатывали кусок бетона, чтобы выбраться из общей беды.

Плита едва шевелилась — немного вверх, немного вниз, мусор из щелей продолжал сыпаться, и Ивану казалось, что ее удастся расшатать и выворотить. Время от времени украдкой он поглядывал на немца, который, вытянув руки, старался соразмерить свои движения с усилиями Ивана. Загорелое щетинистое лицо немца с сильно развитой нижней челюстью кривилось от напряжения и слабости: на переносье густо высыпали капельки пота. Изредка он вытирал лицо рукавом. Его волосы, пропотевший воротник и плечо с оторванным погоном были густо усеяны пылью. Иван ощущал неровное дыхание немца, хруст щебня под его сапогами, и то ли от этой близости, то ли от слаженности общих усилий то враждебное, что все время жило в нем по отношению к этому человеку, начало помалу ослабевать. Неясно ощущая эту перемену в себе, Волока терялся, все еще чего-то не понимая.

Они дергали плиту минут десять, но та так и не поддалась им. Немец устало дышал, да и Иван уморился и наконец опустил руки. Тонкий, запорошенный пылью лучик упруго уперся в засыпанный пылью сапог немца.

— Зараза! — сказал Иван, озабоченно посмотрев в потолок. — Силенки маловато.

— Я, я, — тихо отозвался немец. Он также с сожалением оглядел потолок и неожиданно для Ивана произнес: — Малё силы.

Иван повел запыленными бровями, удивленно посмотрел на немца — понимает, черт!

— Что, форштей по-русски?

— Малё, малё, — сказал немец и улыбнулся. — Русска фрау... гражданка малё-малё училь.

— Гляди ты! Вот так фокус!

Иван спустился с кирпичной кучи, устало присел на конец согнутой балки и полез в карман — захотелось курить, «прояснить мозги». Автомат он все же держал меж колен. Немец, словно ожидал этой передышки, также с готовностью сел, где стоял, под самым лучом вверху. Раненую ногу осторожно вытянул перед собой.

— Фокус, фокус... Не знай, что есть такой, — говорил он, кривясь от боли.

— Эге! — впервые улыбнулся Волока. — Это, брат, не сразу и поймешь...

Заскорузлыми пальцами боец развязал расшитый петушками кисет, достал сложенную гармошкой бумагу, оторвал на цигарку, насыпал и разровнял махорку. Потом крутнул раза два тесемкой-завязкой, но остановился, исподлобья взглянул на немца и бросил ему кисет:

— Лови!

Немец, видно, не понял смысла слова, но все же возле самых сапог подхватил кисет.

— О, рус махорка! — сказал он и поочередно одной и второй ноздрей понюхал это незамысловатое солдатское курево. Потом неумело разобрал тесемки и как-то неуклюже свернул цигарку.

Прикуривали каждый в отдельности — Иван от спички, которая нашлась в его помятой, расплющенной коробке, немец — от зажигалки, искусно сделанной наподобие маленького блестящего пистолетика. Насладившись первой затяжкой, Иван внимательно посмотрел на немца.

— Так что же делать будем? Как выбираться?

— Я, я, — согласился немец. — Иди. Надо иди. Туда, навэрх, — показал он пальцем в надломленный, но еще прочный потолок.

— Чудак! — удивился Волока. — Конечно, наверх. Не вниз же. Но как вылезешь?

Неизвестно, что немец понял из этой фразы, но с какой-то особой заботой обвел взглядом стены, темный закуток за ступеньками, осмотрел потолок.

— Арбайт надо, — кивнул он головой в самый мрачный угол, заваленный кирпичным хламом. — Арбайт... Мнёга арбайт.

— Арбайт, конечно... А ты кто? Рабочий или это... бауэр? — спросил Волока.

— Я, я, — поняв вопрос, радостно откликнулся немец. — Арбайт! Как ето русски?.. Тышлер.

Не припомнив нужного русского слова, он обеими руками сделал такое движение, будто строгал доску, и Волока удивился.

— Столяр?

— Я, я, — подтвердил немец.

— Вот так фокус! И я тоже столяр! Я — столяр! — тыча себе пальцем в грудь, крикнул Иван, будто громко сказанные слова можно было лучше понять.

И все же немец, видно, понял, коротко улыбнулся сквозь дым и экономно дососал цигарку.

— Их хауз дом арбайт. Мнёго, мнёго хауз, — говорил он, делая какие-то движения в воздухе.

— И я это, хаузы строил, — сказал Иван и, показывая, положил ладонь на ладонь. — Срубы ставил. Русский угол. И немецкий рубили. Знаю...

— Гут, гут, — довольно закивал головой немец.

— Все знаю, да. Это еще ригель, рейсмус, наверно, ваши названия?

— Я, я. Ригель, рейсмус, — как эхо повторил немец знакомые слова. Потом он задумался и, выждав, пока Иван докурит цигарку, встал. — Надо иди! — подняв вверх палец, сказал он.

Иван тоже поднялся, взял в руки автомат, недоумевающе посмотрел на него, не зная, куда пристроить оружие, и, подумав, закинул его за спину.

Немец взобрался на самый верх завала, съежился там в темноте и начал бросать вниз обломки. Во всем его облике Иван не видел теперь ни тени былой враждебности, немец был прост, деятелен, по каким-то неуловимым признакам в нем чувствовался открытый, незлой человек, и это успокаивало. Иван тоже влез на завал и, подавляя в себе остатки недоверия, спросил:

— Тебя как зовут?

Немец, не прерывая работу, повернул к нему запыленное лицо — он не понял вопроса.

— Зовут как? — громче повторил Иван. — Меня, например, Иван. А тебя? Ганс? Фриц?

— Фриц! Я, я, Фриц Хагеман, обер-ефрайтор, — обрадовавшись своей догадке, охотно объяснил немец и заулыбался. — Их Фриц, ду — Иван. Гут! — И он снова засмеялся, собрав в мелкие морщинки немолодое лицо.

— Гут-то гут, — не поддаваясь его веселому настроению, сказал Иван. — Только не очень. Вот вылезем, а тогда что?

На немца эти слова Ивана, однако, не произвели впечатления. Он по-прежнему старательно выдирал из груды куски потрескавшейся, разломанной стены и бросал их вниз. Иван пристроился рядом и, неловко согнувшись в темноте, принялся за то же самое.

4

Неизвестно, сколько времени прошло за этим их занятием. Они перебросали немало кирпичных обломков, под потолком можно было уже выпрямиться — там оказалась проломина, идущая куда-то вверх и в сторону, только ее сильно завалило кирпичным ломом. Яркий солнечный лучик из щели исчез, теперь оттуда робко проникало только маленькое пятнышко уличного света, и в подземелье царил полумрак. Постепенно привыкшие к темноте две пары глаз кое-что различали вблизи, и люди работали. Немец то и дело чихал, а Иван тяжело, удушливо кашлял. То, что они все же нащупали выход, немного обнадеживало Ивана, и он уже не думал, что погибнет так глупо. Однако в этой успокоенности появилась новая забота, которая все сильнее начала донимать его.

«Какая нечистая сила свела меня с этим?» — думал Иван. Правда, пока они находились тут и вместе выкарабкивались, Иван кое-как мог согласиться на какое-то товарищество, но как ему поступить, когда они выберутся наверх? И кто там сейчас — свои или немцы? Если свои, то еще полбеды: немца можно будет передать в плен. А если фашисты? Опять драться? Так не лучше ли застрелить его тут?

Но, думая так, Иван неясно ощущал в душе, что застрелить теперь этого человека уже вряд ли сможет. Как стрелять в него, если между ними рушилось главное для этого — взаимная ненависть, если вдруг во вражеском мундире предстал перед ним самый обыкновенный человек, который и к Ивану относился уже не как враг, а как

сообщник и друг? Кажется, это был совсем неплохой немец, и Иван даже ощутил душевную неловкость оттого, что недавно едва не задушил его. Все это было странно, непривычно. Порою Иван даже забывал, что они враги, и ему хотелось подробнее расспросить Фрица о столярном деле, хотелось сесть, покурить, мирно, по-хорошему поговорить.

Но тут же Волока опять начинал сомневаться. С виду-то немец вроде и неплохой человек, трудолюбивый, но кто знает, что у него на душе? Видно, все они хороши в плену или убитые, но кто же тогда принес столько горя людям, кто столько поубивал, пожег, разграбил, кто залил кровью весь мир? Да и что скажут хлопцы и начальство, если узнают, как он тут раскуривает моршанскую махорочку с этим фрицем? А если узнает капитан Воронов, полковой контрразведчик — молчаливый загадочный человек со скрытыми под бровями глазами? Как он отнесется к такому братанию, Волока мог предположить определенно, кое-что он уже слышал за полгода службы в полку.

Снова, порядком устав, они сели на кирпичную глыбу в углу и начали отплевываться. Волока достал кисет, насыпал в бумажку махорки и, придерживая ее пальцем, передал кисет немцу. Тот охотно взял. Когда Волока послюнявил цигарку, немец услужливо щелкнул зажигалкой, дал прикурить ему, затем прикурил сам. Дрожащий, маленький, как искорка, огонек зажигалки постепенно рассеял мрак, осветил покореженный потолок, щели в кирпичной стене и два запыленных, усталых лица. При свете стало веселее, и Фриц не стал гасить зажигалку, а попытался приспособить ее в изломе стены. Зажигалка плохо держалась в щели, и Волока поднял с полу кусок кирпича.

— На вот, прищеми.

Немец взял обломок, но вдруг светлые брови на его лице дрогнули, и он со страхом в глазах прислушался. Иван тоже поднял голову — там, наверху над ними послышались шаги: «топ... топ... топ...» Сквозь бетон донесся близкий, но глухой, невыразительный голос, что-то над ступеньками стукнуло и затихло: человек, видно, остановился или, возможно, отошел дальше. Иван вскочил — первым его желанием было крикнуть, отозваться, но в тот же миг он поймал на себе напряженно умоляющий взгляд немца и сдержался.

«Кто?» — такой вопрос промелькнул в сознании обо-

их и, конечно, каждый из них в эту минуту хотел своего. Эта минутная разобщенность желаний снова прежней враждебностью захлестнула Ивана. Однако усилием воли он подавил ее. Сразу, как только заглохли шаги, угасло и желание откликнуться — рассудок подсказывал, что надо молчать и выбираться из подземелья самим.

Они еще немного повслушивались в тишину, мертвея от чрезмерного внимания, затем немец вздохнул, как-то обмяк и начал не торопясь закреплять в стене зажигалку. Иван закашлялся, закрыв рот ладонями, — шагов больше не было слышно.

— Вот влипли так влипли, — не столько немцу, сколько самому себе сказал Иван, выдыхая в темноту табачный дым. Немец сидел, свесив с колен натруженные руки. Его недавнее оживление исчезло — видно, от работы или, может, от этой тревожной озабоченности.

— Война никс гут! — вдруг приглушенно, но с наболевшей уверенностью отозвался он, и Иван даже удивился: откуда такая перемена в настроении врага? — Война — шайза!

Немец сказал это с каким-то напряженным отчаянием в глазах, которые при низком косом свете зажигалки таинственно и угрожающе блеснули. Иван удивленно полураскрыл рот, со скрытой иронией посмотрел на соседа.

— Вот как: не гут! А где же вы раньше были? В сорок первом? Почему не турнули под задницу вашего фюрера? Вот и был бы гут.

— Фюрер — шайза! — строго объявил немец, видно только одно слово и поняв из длинной фразы Ивана. — Фюрер сволям! Фюрер эйнфахерменш никс надо, — сказал он и стукнул себя кулаком в грудь. — Фриц Хагеман никс надо война. Хагеман надо фриден, надо киндер ауфциген, арбайт надо, хауз надо! Шайза — война.

Иван понял не все, но догадался, что возмущало этого немца, только сочувствия к нему он не испытывал. Немец же, излив свой гнев, с минуту молчал. Иван тем временем докурил цигарку, бросил в угол окурок и наконец решился сказать о том, что все время его беспокоило.

— Слушай, Фриц. Вылезем туда, — он показал пальцем вверх, — давай плен. Рус плен. А?

Немец внимательно выслушал, что-то понял, но с убежденной твердостью покачал головой.

— Никс плен. Плёхо плен. Рус — энкеведэ, дойч — Сибирь. Пуф-пуф дойч.

— Никто тебя не будет пуф-пуф. Чего ты боишься? — загорячился Иван. — Ты знаешь, сколько у нас ваших камарадов? Много-много камарадов плен.

Фриц снова вздохнул, невесело уставясь на огонек зажигалки, пристроенной в разломе стены. Появившись сначала в глазах, все его лицо омрачила печаль человека, который, сколько ни прикидывается, как ни обнадеживает себя, все же не может избавиться от точащей его заботы. Задумавшись о чем-то, он помолчал, затем расстегнул карман кителя и вынул оттуда бумажки. Перебрав их, нашел надорванный конверт с потертыми краями и достал из него фотографию.

— Майн фрау унд киндер. Дрезден, — сказал он, передавая карточку Ивану. Тот бережно поднес ее к бледному свету из щели.

С карточки улыбчиво глядели на него женщина и трое малышей. Старший из них — босоногий парень в коротких штанишках, — стоял возле стула, девочка сидела на коленях у матери, средний, мальчик лет десяти с высоко подстриженным затылком, стоял возле старшего, зажав под мышкой тугой волейбольный мяч. На заднем плане был виден угол небольшого, но аккуратного домика с верандой под черепичной крышей, пышно одетого в густую листву виноградника. На минуту Иван впился взглядом в этот семейный снимок, вспомнил свое жилище в деревне, под соломенной стрехой, с прохудившимися стенами.

— Ничего, ладная постройка, — вздохнув, заключил Волока, вспомнив своих дома — жену и двух дочерей, работавших теперь в колхозе. Писали недавно, младшая приболела, простудившись на пахоте в поле, как она там теперь?.. С горечью в душе он вернул карточку немцу.

— Драй киндер, — сказал Фриц, пряча в китель бумаги. — Плёхо плен. Фрау, киндер — концлагер. Плёхо плен...

Иван все понял. Конечно, немцы не очень нянчатся со своими, не угодившими власти, за плен по головке не гладят. Но что же тогда им делать? Поудобнее усевшись на кирпиче и помогая себе руками, немец начал что-то объяснять.

— Фриц никс буржуй, Фриц арбайт. Марки малё, киндер мнёго. Пролетар. Иван пролетар, Фриц пролетар. Цвай бедно человек.

— Ну почему бедный? Я не бедный, — обиделся Волока. — Что я, безработный какой? Я колхозник,

— Я, я, — согласился немец. — Плёхо кольхоз. Кольхоз бедно.

«Что он тут меня агитирует? — начал мысленно злиться Иван. — Куда гнет?» Ему захотелось сказать что-то такое, что бы разом поставило этого немца на место, он не хотел поддаваться ему в споре, как не поддался недавно в схватке на полу этого подвала. Слово «бедно» теперь почти оскорбляло его, и он возразил с решимостью:

— Не знаю, где как, а наш колхоз был богатый. Миллионер был. Дома́ у нас еще лучше ваших! Что ваша черепица! Мы свои шифером крыли вот. И хлеба было завались.

Фриц внимательно выслушал Ивана и то ли не понял, то ли не поверил и упрямо твердил свое:

— Плёхо рус кольхоз. Бедно...

Иван промолчал. Конечно, не просто было переубедить этого немца, наверное прошедшего пол-России и навидавшегося всякого. Но и согласиться с ним Иван не хотел.

— Есть и плохие, — признал он. — Это там, где вы побывали да поразграбили.

Немец загасил в глазах недоверие и почесал затылок.

— Все было. До войны. Радио было. Лисапед. — Иван повертел в воздухе подобранными ногами.

— Рад, — догадался немец.

— Этот самый. Что ездят...

— Их имель крафтрад, мотоцикль, — объявил Фриц.

— Мотоцикл что, мотоцикл ерунда. Жена вот машину имела, «Зингер» называется.

— «Зингер»...

Немец вроде задумался, с новым смыслом поглядывая на Ивана, и тот с надеждой подумал: «Наверно, поверил. Пусть...»

— Фашизм никс гут, плёхо фашизм, кольхоз малёмалё гут, — по-своему рассудил Фриц.

Недолго посидев молча, они снова принялись разбирать завал, вытаскивать крупные обломки, чтобы подобраться к пролому. Конца этой работе, однако, не было видно. За проломом оказалась другая стена, похоже, фундамент соседнего дома и перед ней до самого потолка все было забито бетонными обломками. Оба вконец изнемогли от усталости, наглотались пыли, и Волока зло выругался.

— Не там копаем. Надо еще где попробовать.

— Я, я, — согласился Фриц.

Передохнув внизу, Волока пошел ощупывать дальние закоулки этого подземелья. Зажигалка светила слабо, вокруг громоздились тени, и он ощупью наткнулся на какой-то обломок, косо торчавший с потолка. Это было чуть в стороне от того места, где днем пробивался лучик. Наверно, стоило попробовать здесь. Иван окликнул немца, и тот перенес поближе свой крохотный светильник. Блеклый свет его тускло блуждал по неровному излому, Иван поднажал снизу, напрягся, — обломок тяжело подался. Светя одной рукой, Фриц другой тоже вперся в край обломка.

— Ахтунг, ахтунг! — вдруг предостерег он, и Иван ощутил его горячее дыхание возле уха. Там, сзади за спиной, висел его автомат, немец мог ухватить его, однако Иван уже не думал о том, все его мысли теперь занимали поиски выхода.

— Что там «ахтунг!». А ну двигай сильнее! Раз, два — взяли...

Тяжелый обломок сделал несколько ходов вверх и вниз, руки их начали его расшатывать больше, казалось им, на этот раз выход из подвала найден. Вдруг немец испуганно вскрикнул что-то, и серая глыба с шумом рухнула вниз. Зажигалка сразу погасла, и Волока, не сообразив, что случилось, свалился наземь, оглушенный ударом, разом погасившим все его чувства...

5

Нет, он не погиб — он жил, но окружающий мир доходил до его сознания через мучительный кошмар видений. Сначала казалось, будто он зажат в какой-то зубастой пасти, и оттого острая боль пронизывает его тело. Болела голова. Где-то там, в самой середине мозга, дергало, кололо, резало; шевельнуться не было силы, и было очень обидно. Что-то жгло в спину, Ивану казалось, что он голый по пояс лежит на колючем жнивье, и осот со свежей стерней впиваются в его тело. Он хочет крикнуть, позвать соседа Трофима, который на лобогрейке жнет рядом, но крикнуть не может, у него отнялся голос. Через минуту, однако, оказывается, что это и не сосед вовсе, а немец Фриц Хагеман и у него в руках автомат. Он ездит вокруг Ивана, круги лобогрейки сужаются, и Волока знает, как только все будет скошено, немец пристрелит Ивана. Предчувствие скорой погибели наполняет его сознание смертной тоской. Но он беспомощен, хочет

пить, внутри у него все пересохло, и губы его пытаются шептать: «Пить...» Но его тут никто не слышит, с неба печет знойное солнце, которое затем начинает снижаться, приближаться к нему, и вот оно почему-то делается маленьким, не больше огонька зажигалки, этот огонек плывет куда-то в темноте, ничего не освещая, удаляется, временами исчезая вовсе. Ивана охватывает беспокойство, он не хочет терять огонек, который тем временем превращается в светлое пятнышко вдали. И вот в том месте грохает одиночный выстрел, его красный отблеск ослепляет Ивана, тот находит в себе силы вскрикнуть — очень обидно ему умереть в такой темноте, в одиночестве. Спустя несколько минут его слух, однако, начинает различать посторонние звуки, чье-то присутствие неподалеку и размеренный перестук водяных капель — словно в мартовскую капель под крышей. Иван уже видит в темноте тусклый отсвет воды, это обнадеживает, и он выдавливает из себя тихий стон.

Следующим его ощущением становится тихое касание чего-то прохладного к губам и к шее, вроде что-то живое скатывается за воротник, но губы вдруг оживают, во рту становится приятно, и он делает первый глоток. Иван поднимает веки, в глаза ударяет колючее сияние искр, мерцающих у самого лица.

— Тринкен, Иван, тринкен...

Ну конечно, это Хагеман, он поил его невесть откуда добытой водой, которая сразу вернула ему сознание. Иван перевел взгляд вверх и увидел в мерцающем свете зажигалки несколько странное, освещенное снизу лицо с волосатыми ноздрями, бровастым лбом, под которым мигали выпуклые желтоватые белки глаз. Взгляд их, однако, таил в себе добродушное сочувствие, и это успокоило Ивана.

— Тринкен, Иван, тринкен...

Вода прибавила бойцу силы, несносная жара внутри спала, только по-прежнему болела голова — словно раздувалась от тупой, идущей откуда-то из глубины боли. Иван снова закрыл глаза, отдаваясь этой непроходящей боли, как вдруг спохватился: где автомат? Обеспокоенно рванулся с пола, но руки немца тут же придержали его, настойчиво уложили обратно, и Волока подумал: наверно, теперь ни к чему беспокоиться, он в полной власти этого немца, который уже имел столько возможностей его убить. Но ведь не убил. Значит, ему можно довериться. Иван рукой дотянулся до колена немца и слабо по-

жал его. Фриц живо откликнулся, деликатно подобрал его руку и осторожно переложил на прежнее место.

Вскоре, однако, Иван заснул или, может, впал в забытье. Похоже, такое его состояние продолжалось долго, кошмарные видения терзали его с прежней силой, но боль в голове вроде бы унялась, или, может, он притерпелся к ней. Ему долго досаждали грачи, целая стая которых беспокойно вилась вокруг в поле над ним, беспомощно лежавшим с каким-то недугом, и он не мог отогнать их. Рядом, аккуратно сложенные, лежали его солдатские пожитки: котелок, вещмешок, шинельная скатка, и на этой скатке сидел самый большой черный грач, осмысленным, почти человеческим взглядом уставясь в него. Он ждал, и Иван понимал, чего он дожидается. Содрогнувшись от его намерения, Иван, однако, собрался с силами и очнулся.

В подвале стало светлее. Вдоль стены, где они выдирали плиту, громоздилась новая куча кирпича и щебня (видно, та, что обрушилась на Ивана), и над ней ярким светом блестела дыра. Волоку сразу охватило радостное желание, с помощью рук он поднялся, медленно повел головой, повязанной какой-то мокрой тряпкой, конец которой свисал возле уха. Вспомнив, что с ним произошло, он с благодарностью подумал о немце и оглянулся.

Фриц Хагеман сидел рядом, спиной прислонясь к обломку стены, и спал. Голова его сонно склонилась на запыленное плечо, редкие волосы были взъерошены и тоже пересыпаны пылью, нижняя губа сонно отвисла.

Подле на бетонном полу стояла каска с остатком воды. Иван сразу потянулся к ней, но, взяв в руки, страдальчески опустил на землю. От каски сильно воняло потом, и его едва не стошнило. Это была немецкая солдатская каска, сотни которых валялись на поле боя, и бойцы их пинали ногами — окровавленные, простреленные — всякие. В углу за ступеньками темнело влажное пятно, и слышно было, как каплет там вода. Из трубы, что ли? — подумал Волока.

Иван сидел на полу и растерянно думал, как ему быть дальше. Конечно, надо вылезать, кажется, он смог бы теперь сам как-нибудь выкарабкаться через эту дыру, что ему немец. Пусть себе спит. Только... Только кто там, наверху? Стрельба вроде усиливалась, слышна была в одной стороне, потом в другой, где-то громыхали разрывы мин. Но кто там? Наши? А если немцы? Если немцы, ему будет плохо с пробитой головой. Если же наши, без

него перепадет немцу — нарвется на какого-нибудь молодого автоматчика и не успеет поднять и рук. Хлопцы теперь беспощадны к немцам, у многих свежие раны в сердцах, все может случиться.

Нет, придется, видно, выбираться вместе, сдать Фрица в плен, а там уж не его забота.

Рассуждая так, Иван сидел возле немца и оглядывал его, сонного, без особой враждебности, хотя уже и без прежней симпатии. Прошла ночь, из подвала появился выход, и все стало другим. Там было только его уставшее, немолодое лицо, подсвеченное тусклым огоньком из зажигалки, — теперь же перед ним сидел немецкий солдат в пропыленном, с оторванным погоном кителе, в характерных солдатских сапогах. Рядом валялась его каска с орлом у козырька, не хватало только немецкого автомата. ППШ Волоки лежал чуть дальше, и Иван по солдатской привычке потянулся к нему, подцепил за ремень и подвинул к себе. Магазин заскрежетал по бетонному полу, и немец вдруг, прервав спокойное дыхание, проснулся.

Сначала он будто испугался, заморгал глазами, а затем, узнав Ивана, несколько удивленно сказал:

— О, Иван лебенд? Гут, гут.

Заметив, что боец подтянул поближе свой автомат, озабоченно повел бровями. В глазах его отразилось минутное беспокойство, но он подавил его и снова бодро, выразительно произнося каждое слово, сказал:

— Можно иди. Туда иди. Дверь туда их махен...

— Дверь?

Иван хотел улыбнуться, но в голове сразу кольнуло, и лицо его перекосилось.

— Больно?

— Ладно, — поморщился Иван. — Живы будем — не помрем.

Он не хотел показывать немцу свою слабость и, помогая себе руками, встал на ноги. Перед глазами расплылись багровые круги. Осторожно, с большим усилием он выпрямился, но не застонал, сдержался. Немного постояв так, шатко полез по щебенке к дыре в дальнем углу. Фриц хотел поддержать бойца, но Иван упрямо отвел его руку.

Хромая, немец подался туда же, первым пролез к дыре и заглянул вверх; за ним взобрался на щебенку и Волока. В это время где-то поблизости протрещала очередь, вторая, послышались голоса — кто-то крикнул, потом

там, наверху, заговорили не тихо и не громко, но так, что слов разобрать было нельзя. Волока сжал челюсти, немец, приоткрыв рот, с обостренным беспокойством в серых глазах посмотрел на Ивана. Они ничего не сказали друг другу и на время замерли под пробоиной. Снова леденящий, как дыхание смерти, вопрос — кто? — пронесся в их головах.

Но разговор наверху прекратился — люди отбежали или замолчали, а еще через минуту донеслись длинные пулеметные очереди. Видно, с наступлением дня вчерашний бой продолжался, и Волоку охватило беспокойство.

«Туда, наверх», — показал он немцу. Фриц понял, коротко подтвердил: «Я-я» — и засуетился в поисках какой-нибудь подставки, чтобы удобнее подобраться к дыре. Он сложил один на другой несколько кусков бетона, примерился — было низко. Потом проковылял вниз, принес каску и положил ее сверху: теперь можно было ухватиться за край пролома руками.

Он подтянулся на руках, выглянул наружу, но в нерешительности тут же опустился. Снова на мгновенье встретились их сосредоточенные, напряженные взгляды, и опять оба вслушались, стараясь определить, кто наверху. Однако определить было невозможно.

Тогда немец нахмурился, решительно наступил на каску, подтянулся и, упершись здоровым коленом в выступ, вскарабкался на перекрытие.

Несколько секунд он стоял там, оглядываясь, а снизу на него напряженно смотрел Волока. Иван с трудом держался на ногах, в глазах все кружилось, но теперь — он чувствовал! — решалось самое важное, и он с первой же секунды не хотел упустить этот момент. В душе Ивана нарастало ощущение тревоги, подумалось, что немец убежит и он останется один в этой яме. Волока уже почувствовал в себе невольную привязанность к этому человеку — теперь он был ему нужен, как бывает нужен в беде товарищ.

Немец, однако, никуда не бежал. Он переступил с ноги на ногу, осмотрелся, из-под его каблуков посыпался в подвал песок, и вот из дыры просунулась его рука.

— Иван, шнель! Бистро...

Волока наступил на каску, протянул навстречу руку, но немец недовольно взмахнул рукой — сперва он хотел перенять автомат. Иван снял с плеча ППШ, сунул его немцу и вдруг испугался. Однако немец не собирался в него стрелять — с солдатской бережностью к

оружию он положил ППШ возле ног и просунул в дыру обе руки.

Напрягшись, Волока подал свои, немец крепко обхватил их, Иван уперся сапогом в стену, сжал зубы, чтобы не застонать, и боком перевалился через край пролома.

Так они оказались наверху, среди развалин большого кирпичного дома. На уцелевшей стене второго или третьего этажа висела, покосившись, картина в позолоченной раме, рядом держался иссеченный осколками гобеленчик с лосями, выше, зацепившись за обломок перекрытия, торчала опрокинутая кровать с металлической сеткой В разбитой раме раскачивалась на ветру форточка. Улицы отсюда, однако, не было видно — ее загораживала стена, рухнувшая внутрь дома. Огромной плахой она кособочилась из-под их ног, и над нею в просветлевшем утреннем небе тихо качались вершины вязов, под которыми вчера наступали автоматчики.

Оба они немного отдышались, вслушиваясь в доносившуюся с улицы стрельбу. Послышались и крики, только Волока не разобрал слов, а немец, вдруг встрепенувшись и размахивая руками, бросился по развалинам вверх. Он быстро оторвался от Ивана, который, с трудом переставляя ноги по кирпичному лому, брел вслед за ним. Фриц первым добрался до того места, откуда можно было спрыгнуть на улицу, на секунду его поджарая фигура четко вырисовывалась на фоне неба. И тут Волока отчетливо услышал чужие голоса:

— Хагеман! Хагеман! Ком! Ком! Хагеман!

Волока был готов к худшему, и все же в эту минуту его бросило в озноб. Он сжался, присел, а Фриц, обернувшись, с радостью на неожиданно просиявшем лице крикнул:

— Иван! Иван! Ком!

И намерился спрыгнуть, чтобы бежать туда, куда звали его товарищи.

— Стой! — негромко, но с затаенной решимостью произнес Волока. — Стой!!!

На лице немца мелькнула растерянность, даже боль, а может, испуг, но он тут же взмахнул в воздухе руками и исчез по ту сторону развалин.

Иван сначала опешил от такой неожиданности, а затем, с усилием превозмогая слабость, заковылял по завалам туда, где исчез Фриц.

Хагеман отбежал недалеко. Вся улица была загромождена развалинами, и он перелезал через кирпичную

глыбу совсем недалеко от того места, где появился Волока. Напротив, вдоль чугунной ограды сквера, отстреливаясь и пригибаясь, бежали немцы.

— Стой! — крикнул Волока, увидев Хагемана. — Фриц! Стой!

Немец вскинул вверх голову — лицо его, как показалось Волоке, сморщилось, будто от боли. И он на миг остановился, взглянул на Ивана, потом оглянулся на сквер, где, удивленные этой перекличкой с русским, замедляя бег, оборачивались к ним немцы. Но это длилось очень недолго. Сразу же там заклацали затворы, и зычный командирский голос огласил развалины:

— Хагеман, ком! Шиссен!

Фриц перевалился через глыбу, преграждавшую ему путь к своим, а Волока, почувствовав, что сейчас все кончится, и уже не думая о себе, а только не желая отдать врагам этого человека, дал в него очередь. Пули с перелетом и недолетом взбили в обломках пыль и разлетелись в стороны.

Немец тотчас обернулся, в глазах его мелькнула звериная ярость человека, у которого не было выхода. Иван упал на груды кирпича, не сводя взгляда с немца, и увидел, как тот лихорадочным движением выхватил что-то из кармана и, размахнувшись, швырнул в него. Иван не сразу сообразил, что это граната, и только когда та упала поблизости, понял, что спасаться поздно. Он лишь рванул к плечу автомат и нажал на спуск.

Очереди своей он не услышал, но в последнее мгновенье заметил, как, прежде чем рухнуть наземь, крутнулся на ногах Фриц Хагеман. Почти одновременно с этим оглушительно грохнула рядом граната. Обжигающий удар стеганул Ивана по плечу, и все медленно потонуло в пыли, которая плотным, удушливым облаком накрыла развалины.

Пыль его и спасла.

Волока слышал, как немцы ударили из автоматов, несколько пуль раскрошило кирпичи рядом, но он, пригнувшись, с неожиданной прытью рванулся назад, упал, снова вскочил, перекатился через большой обломок, обогнул дыру в глубокой воронке, из которой они выбрались минуту назад, и наконец спрыгнул во двор. По дорожке, вымощенной бетонными плитами, добежал до колючей изгороди, прорвался через ее цепкое густое сплетение и очутился в узком переулке.

Его сразу чуть не сбили с ног наши автоматчики. Гул-

ко стуча подошвами, они выскочили из-за угла, видно, наперерез немцам, отступавшим вдоль сквера. Задний испуганно взглянул на его окровавленную голову, но промолчал, и Волока почувствовал, как жгучей болью налилось его плечо.

Автоматчики скрылись за поворотом, и заваленный обломками переулок совсем опустел. Волока посмотрел в один конец его, в другой, отпустил автомат и, оберегая рассеченное осколком плечо, шатаясь, побрел туда, откуда бежали бойцы.

Вверху, в ясном весеннем небе, ухало, шипело, громыхало гулкое эхо боя. «Как же это? Что это?» — роились в голове Волоки смятенные мысли, и ему хотелось ругаться от боли и тупой несправедливости того, что случилось. Переполненный душевной сумятицей, он брел по середине разбитого бомбами переулка и твердил в отчаянии:

— От же гады! От гады!..

1963 г.

ЭСТАФЕТА

Он упал на заборонованную мякоть огородной земли, не добежав всего каких-нибудь десяти шагов до иссеченного осколками белого домика с разрушенной черепичной крышей — вчерашнего «ориентира три».

Перед тем он, разорвав гимнастерку, пробрался сквозь чащу живой изгороди, в которой с самого начала этого погожего апрельского утра гудели, летали пчелы, и, окинув быстрым взглядом редкую цепочку людей, бежавших к окраинным домикам, замахал руками и сквозь выстрелы крикнул:

— Принять влево, на кирку!!!

Потом пригнулся, боднул воздух головой и, выронив пистолет, уткнулся лицом в теплую мякоть земли.

Сержант Лемешенко в это время, размахивая автоматом, устало трусил вдоль колючей, аккуратно постриженной зеленой стены ограды и едва не наскочил на своего распростертого взводного. Сперва он удивился, что тот так некстати споткнулся, потом ему все стало ясно. Лейтенант навсегда застыл, прильнув русоволосой головой к рыхлой земле, поджав под себя левую ногу, вытянув правую, и несколько потревоженных пчел суетились над его неподвижной пропотевшей спиной.

Лемешенко не остановился, только нервно подернул губами и, подхватив команду, закричал:

— Взвод, принять левее! На кирку! Эй, на кирку!!!

Взвода, однако, он не видел, два десятка автоматчиков уже достигли изгороди, садов, строений и пропали в грохоте нараставшего боя. Справа от сержанта, на соседнем подворье, мелькнуло за штакетником посеревшее от усталости лицо пулеметчика Натужного, где-то за ним показался и исчез молодой белокурый Тарасов. Остальных бойцов его отделения не было видно, но по тому, как время от времени потрескивали их автоматы, Лемешенко чувствовал, что они где-то рядом.

Держа наготове свой ППШ, сержант обежал домик, запыленными сапогами хрустя по битому стеклу и сброшенной с крыши черепице. В нем тлела скорбь об убитом командире, чью очередную заботу, словно эстафету, подхватил он — повернуть взвод фронтом к церкви. Лемешенко не очень понимал, почему именно к церкви, но последний приказ командира приобрел уже силу и вел его в новом направлении.

От домика по узкой дорожке, выложенной бетонной плиткой, он добежал до калитки. За оградой тянулся узкий переулок. Сержант взглянул в одну сторону, в другую. Из дворов выбегали бойцы и тоже оглядывались. Вон его Ахметов — выскочил возле трансформаторной будки, оглянулся и, увидев командира отделения посреди улицы, направился к нему. Где-то среди садов, серых коттеджей и домиков с лютым ревом разорвалась мина, рядом на крутой крыше, сбитая осколками, сдвинулась и посыпалась вниз черепица.

— Влево давай! На кирку!!! — крикнул сержант и сам побежал вдоль проволочной ограды, отыскивая проход. Впереди из-за кудрявой зелени недалеких деревьев синим шпилем вонзилась в небо кирка — новый ориентир их наступления.

Тем временем в переулке один за одним появились автоматчики — выбежал низенький, неуклюжий, с кривыми, в обмотках, ногами пулеметчик Натужный; за ним — новичок Тарасов, который с самого утра не отставал от опытного, пожилого бойца; с какого-то двора лез через изгородь увалень Бабич в подвернутой задом наперед зимней шапке. «Не мог найти другого прохода, тюфяк», — мысленно выругался сержант, увидев, как тот сначала перебросил через забор свой автомат, а потом неуклюже перевалил нескладное, медвежье тело.

— Сюда, сюда давай! — махнул он, злясь, потому, что Бабич, подняв автомат, начал отряхивать запачканные колени. — Быстрей!

Автоматчики наконец поняли команду и, находя проходы, исчезли в калитках домов, за строениями. Лемешенко вбежал в довольно широкий заасфальтированный двор, на котором разместилось какое-то низкое строение, видно, гараж. Вслед за сержантом вбежали сюда его подчиненные — Ахметов, Натужный, Тарасов, последним трусил Бабич.

— Лейтенанта убило! — крикнул им сержант, высматривая проход. — Возле белого дома.

В это время откуда-то сверху и близко прогрохотала очередь, и пули оставили на асфальте россыпь свежих следов. Лемешенко бросился в укрытие под глухую бетонную стену, что огораживала двор, за ним остальные, только Ахметов споткнулся и схватился за флягу на поясе, из которой в две струи лилась вода.

— Собаки! Куда угодили, гитлерчуки проклятые...

— Из кирки, — сказал Натужный, всматриваясь сквозь ветви деревьев в сторону шпиля. Его невеселое, попорченное оспой лицо стало озабоченным.

За гаражом нашлась калитка с завязанной проволокой щеколдой. Сержант вынул финку и двумя взмахами перерезал проволоку. Они толкнули дверь и оказались под развесистыми вязами старого парка, но тут же попадали. Лемешенко резанул из автомата, за ним ударили очередями Ахметов и Тарасов — меж черных жилистых стволов бежали врассыпную зеленые поджарые фигуры врагов. Неподалеку за деревьями и сетчатой оградой виднелась площадь, а за ней высилась уже ничем не прикрытая кирка, там бегали и стреляли немцы.

Вскоре, однако, они заметили бойцов, и от первой пулеметной очереди брызнула щебенка с бетонной стены, засыпав потрескавшуюся кору старых вязов. Надо было бежать дальше, к площади и к кирке, преследуя врага, не слезать с него, не давать ему опомниться, но их было мало. Сержант посмотрел в сторону, — больше пока никто не пробрался к этому парку: чертовы подворья и изгороди своими лабиринтами сдерживали людей.

Пулеметы били по стене, по шиферной крыше гаража, бойцы распластались под деревьями на травке и отвечали короткими очередями. Натужный выпустил с полдиска и утих — стрелять было некуда, немцы спрятались возле церкви, и их огонь с каждой минутой усиливался.

Ахметов, лежа рядом, только сопел, зло раздувая тонкие ноздри и поглядывая на сержанта. «Ну а что дальше?» — спрашивал этот взгляд, и Лемешенко знал, что и другие тоже поглядывали на него, ждали команды, но скомандовать что-либо было не так-то просто.

— А Бабич где?

Их было четверо с сержантом: слева Натужный, справа Ахметов с Тарасовым, а Бабич так и не выбежал со двора. Сержант хотел было приказать кому-нибудь посмотреть, что случилось с этим увальнем, но в это время слева замелькали фигуры автоматчиков их взвода — они высыпали откуда-то довольно густо и дружно ударили из автоматов по площади. Лемешенко не подумал даже, а скорее почувствовал, что время двигаться дальше, в сторону церкви, и, махнув рукой, чтобы обратить внимание на тех, кто был слева, рванулся вперед. Через несколько шагов он упал под вязом, дал две короткие очереди, кто-то глухо шмякнулся рядом, сержант не увидел кто, но почувствовал, что это Натужный. Затем он вскочил и пробежал еще несколько метров. Слева не утихали очереди — это продвигались в глубь парка его автоматчики.

«Быстрее, быстрее», — в такт сердцу стучала в голове мысль. Не дать опомниться, нажать, иначе, если немцы успеют осмотреться и увидят, что автоматчиков мало, тогда будет плохо, тогда они здесь завязнут...

Пробежав еще несколько шагов, он упал на старательно подметенную, пропахшую сыростью землю; вязы уже остались сзади, рядом скромно желтели первые весенние цветы. Парк окончился, дальше, за зеленой проволочной сеткой, раскинулась блестящая от солнца площадь, вымощенная мелкими квадратами, сизой брусчатки. В конце площади, возле церкви, суетились несколько немцев в касках.

«Где же Бабич?» — почему-то назойливо сверлила мысль, хотя теперь его охватило еще большее беспокойство: надо было как-то атаковать церковь, пробежав через площадь, а это дело казалось ему нелегким.

Автоматчики, не очень слаженно стреляя, выбегали из-за деревьев и залегали под оградой. Дальше бежать было невозможно, и сержанта очень беспокоило, как выбраться из этого, опутанного проволокой парка. Наконец его будто осенило, он выхватил из кармана гранату и повернулся, чтобы крикнуть остальным. Но что кричать в этом грохоте! Единственно возможной командой тут

был собственный пример, надежный командирский приказ: делай как я. Лемешенко вырвал из запала чеку и бросил гранату под сетку ограды.

Дыра получилась небольшая и неровная. Разорвав на плече гимнастерку, сержант протиснулся сквозь сетку, оглянулся — следом, пригнувшись, бежал Ахметов, вскакивал с пулеметом Натужный, рядом прогремели еще разрывы гранат.

Тогда он, уже не останавливаясь, изо всех сил рванулся вперед, отчаянно стуча резиновыми подошвами по скользкой брусчатке площади.

И вдруг случилось что-то непонятное. Площадь покачнулась, одним краем вздыбилась куда-то вверх и больно ударила его в бок и лицо. Он почувствовал, как коротко и звонко брякнули о твердые камни его медали, близко, возле самого лица брызнули и застыли в пыли капли чьей-то крови. Потом он повернулся на бок, всем телом чувствуя неподатливую жесткость камней, откуда-то из синего неба взглянули в его лицо испуганные глаза Ахметова, но сразу же исчезли. Еще какое-то время сквозь гул стрельбы он чувствовал рядом сдавленное дыхание, гулкий топот ног, а потом все это поплыло дальше, к церкви, где, не утихая, гремели выстрелы.

«Где Бабич?» — снова вспыхнула забытая мысль, и беспокойство за судьбу взвода заставило его напрячься, пошевелиться. «Что же это такое?» — сверлил его немой вопрос. «Убит, убит», — говорил кто-то в нем, и неизвестно было — то ли это о Бабиче, то ли о нем самом. Он понимал, что с ним случилось что-то плохое, но боли не чувствовал, только усталость сковала тело да туман застлал глаза, не давая видеть — удалась ли атака, вырвался ли из парка взвод...

После короткого провала в сознании он снова пришел в себя и увидел небо, которое почему-то лежало внизу, словно отражалось в огромном озере, а сверху на его спину навалилась площадь с редкими телами прилипших к ней бойцов.

Он повернулся, пытаясь увидеть кого-нибудь живого, — площадь и небо качались, а когда остановились, он узнал церковь, недавно атакованную без него. Теперь там уже не было слышно выстрелов, но из ворот почему-то выбегали автоматчики и бежали за угол. Закинув голову, сержант всматривался, стараясь увидеть Натужного или Ахметова, но их не было, зато он увидел бежавшего впереди всех новичка Тарасова. Пригнувшись, этот молодой

боец ловко перебегал улицу, затем остановился, решительно замахал кому-то: «Сюда, сюда!» — и исчез, маленький и тщедушный рядом с высоченным зданием кирки.

За ним побежали бойцы, и площадь опустела. Сержант в последний раз вздохнул и как-то сразу и навсегда затих.

К победе пошли другие.

1959 г.

КРУТОЙ БЕРЕГ РЕКИ

Обычно он появлялся тут на закате солнца, когда спадала дневная жара и от реки по ее овражистым, поросшим мелколесьем берегам начинало густо тянуть прохладой. К вечеру почти совсем стихал ветер, исчезала крупная рябь на воде, наступало самое время ночной рыбалки. Приехавшие на автобусе городские рыбаки торопливо растыкали на каменистых отмелях коротенькие удилища своих донок и, тут же расстелив какую-нибудь одежонку, непритязательно устраивались на недолгую июльскую ночь.

Петрович выходил к реке из травянистого лесного овражка со стороны недалекой приречной деревушки и одиноко усаживался на краю каменистого, подступавшего к самой воде обрыва. Его тут многие знали, некоторые развязно здоровались громкими голосами, задавали необязательные для ответа вопросы, с которыми обычно обращаются к детям. Он большей частью молчал, погруженный в себя, и не очень охотно шел к людям, предпочитая одиночество на своем излюбленном, неудобном для рыбалки, заваленном крупными камнями обрыве. Отсюда открывался широкий вид на весь этот помрачневший без солнца берег, широкую излучину реки с порожистым перекатом посередине и высокой аркой железнодорожного моста вдали, на пологий склон противоположного берега, густо затемневшего к ночи молодым сосняком. Чуть выше на реке фыркала-громыхала ржавая громадина землечерпалки, весь долгий день беспрерывно вываливавшей на плоскую палубу баржи мокрые, растекавшиеся кучи грунта; но баржа, видать, ему не мешала.

Некоторое время спустя из-за бетонных опор моста, плавно обходя перекат, выскакивала резвая голубая «ка-

занка». Растягивая на всю ширь притихшей реки длиннющий шлейф кормовой волны, она за перекатом приметно сбавляла ход и по обмелевшему каменистому руслу начинала сворачивать к берегу. В «казанке» сидели двое — Юра Бартош, парень из соседней деревни, работавший в городе и наезжавший в знакомые места на рыбалку, и его городской друг Коломиец, с которым они приобрели в складчину эту голубую «казанку», оснащенную мощным современным двигателем.

Как и обычно, в тот вечер за рулем на корме сидел Коломиец, плотный крутоплечий человек с большими руками и тяжеловатым уверенным взглядом из-под длинного целлулоидного козырька надвинутой на лоб спортивной фуражки. Плавно сбавляя обороты «Вихря», он уверенно приближался к берегу, на котором уже заметил одинокую фигуру Петровича.

— А ну, подхвати! — заглушив мотор, крикнул он старику.

В наступившей над рекой тишине его басовитый голос прозвучал добродушной командой.

— Ну зачем? — привстал за ветровым стеклом Юра. — Я сам.

Он проворно перебросил через стекло свое загорелое, длинное, очень худое тело, легко спрыгнул на отмель, и они вместе с Петровичем между камней втащили на берег дюралевый нос лодки. Затем, пока Коломиец опрокидывал и зачехлял мотор, Юра в подкатанном до колен синем трико выгружал из лодки рюкзаки, донки, плащи, а старик, как незнакомый, безучастно стоял в стороне и пристально глядел через реку на тот ее берег, словно рассматривал там что-то необычайно важное. Он сосредоточенно, почти отчужденно молчал, и они, занятые своим делом, не обращали на него внимания. Они уже знали, что теперь он до сумерек будет стоять так, уставясь взглядом в то место на берегу, где, выбежав из молодого соснячка, обрывалась, словно уходя под воду, песчаная лента дороги и где теперь раскачивались на поднятых «казанкой» волнах две примкнутые к бревну плоскодонки. Там был лесной перевоз, но людей почти никогда не было видно, лодками, кроме лесников, видать, редко кто пользовался.

Когда нехитрое рыбачье снаряжение было выгружено на берег, Коломиец сразу же, пока еще не стемнело, занялся донками, а Юра, поеживаясь от речной свежести, торопливо натянул на себя синий свитер.

— Как с сушнячком сегодня, Петрович?

Старик не сразу оторвал от противоположного берега свои блеклые, слезящиеся глаза и скрюченными ревматическими пальцами больших работящих рук задумчиво прошелся по ровному ряду пуговиц, соединявших лоснившиеся борта заношенного военного кителя.

— Мало хвороста. Подобрали... Вот вязаночку маленькую принес...

Обтягивая свитер, Юра по камням взбежал на обрыв, оценивающим взглядом окинул тощую, перехваченную старой веревкой, вязанку хвороста.

— Да, маловато.

— Я так думаю, с вечера жечь не надо, — медленно, с усилием взбираясь за ним на обрыв, тихо заговорил старик. — Под утро лучше. С вечера люди всюду, помогут... А как под утро поснут, кто поможет?

Тяжело переваливаясь с ноги на ногу, он отошел на три шага от обрыва и сел, расставив колени и свесив с них растопыренные, будто старые корневища, руки. Страдальческий взгляд его, обойдя реку, привычно остановился на том ее берегу с лодками.

— Оно можно и под утро, — согласился Юра. — Но в ночь бы надежнее. Может, я тоже подскочу, пошарю чего в овраге?

— В ночь бы, конечно, лучше... А то как признают? Раньше вон хутор был. А теперь нет. И этот мост новый... Незнакомый.

— Вот именно.

— Маленькое хотя бы огнище. Абы тлело — будет видать.

— Должно быть. Так я сбегаю, пока не стемнело! — крикнул Юра с обрыва, и Коломиец внизу, цеплявший на крючки наживку, недовольно повернул голову.

— Да брось ты с этими костерками! Пока не стемнело, давай лучше забросим. А то костер — надобность такая! Вон кухвайка есть!

— Ладно, я счас... — бросил Юра и торопливо полез по камням вверх к зарослям ольшаника в широком овраге.

Оставшись один на обрыве, старик молчаливо притих, и его обросшее сизой щетиной лицо обрело выражение давней привычной задумчивости. Он долго напряженно молчал, машинально перебирая руками засаленные борта кителя с красным кантом по краю, и слезящиеся его глаза сквозь густеющие сумерки немигающе глядели

в заречье. Коломиец внизу, размахав в руке концом удочки, сноровисто забросил ее в маслянистую гладь темневшей воды. Сверкнув капроновой леской, грузило с тихим плеском стремительно ушло под воду, увлекая за собой и наживку.

— Ты вот что, дед! — резким голосом сказал он под обрывом. — Брось юродствовать! Комедию играть! Никто к тебе оттуда не придет. Понял?

Петрович на обрыве легонько вздрогнул, будто от холода, пальцы его замерли на груди, и вся его худая, костлявая фигура под кителем съежилась, сжалась. Но взгляд его по-прежнему был устремлен к заречному берегу, на этом, казалось, он не замечал ничего и вроде бы даже и не слышал неласковых слов Коломийца. Коломиец тем временем с привычной сноровкой забросил в воду еще две или три донки, укрепил в камнях короткие, с малюсенькими звоночками удильца.

— Они все тебя, дурня, за нос водят, поддакивают. А ты и веришь. Придут! Кто придет, когда уже война вон когда кончилась! Подумай своей башкой.

На реке заметно темнело, тусклый силуэт Коломийца неясно шевелился у самой воды. Больше он ничего не сказал старику и все возился с насадкой и удочками, а Петрович, некоторое время посидев молча, заговорил раздумчиво и тихо:

— Так это младший, Толик... На глаза заболел. Как стемнеет, ничего не видит. Старший, тот видел хорошо. А если со старшим что?..

— Что со старшим, то же и с младшим, — грубо оборвал его Коломиец. — Война, она ни с кем не считалась. Тем более в блокаду.

— Ну! — просто согласился старик. — Аккурат блокада была. Толик с глазами неделю только дома и пробыл, аж прибегает Алесь, говорит: обложили со всех сторон, а сил мало. Ну и пошли. Младшему шестнадцать лет было. Остаться просил — ни в какую. Как немцы уйдут, сказали костерок разложить...

— От голова! — удивился Коломиец и даже привстал от своих донок. — Сказали — разложить!.. Когда это было?!

— Да на Петровку. Аккурат на Петровку, да...

— На Петровку! А сколько тому лет прошло, ты соображаешь?

— Лет?

Старик, похоже, крайне удивился и, кажется, впер-

вые за вечер оторвал свой страдальческий взгляд от едва брезжившей в сутеми лесной линии берега.

— Да, лет? Ведь двадцать пять лет прошло, голова еловая!

Гримаса глубокой внутренней боли исказила старческое лицо Петровича. Губы его совсем по-младенчески обиженно задрожали, глаза быстро-быстро заморгали, и взгляд разом потух. Видно, только теперь до его помраченного сознания стал медленно доходить весь страшный смысл его многолетнего заблуждения.

— Так это... Так это как же?..

Внутренне весь напрягшись в каком-то усилии, он, наверно, хотел и не мог выразить какую-то оправдательную для себя мысль, и от этого непосильного напряжения взгляд его сделался неподвижным, обессмыслел и сошел с того берега. Старик на глазах сник, помрачнел еще больше, ушел весь в себя. Наверно, внутри у него было что-то такое, что надолго сковало его неподвижностью и немотой.

— Я тебе говорю, брось эти забавки, — возясь со снастями, раздраженно убеждал внизу Коломиец. — Ребят не дождешься. Амба обоим. Уже где-нибудь и косточки сгнили. Вот так!

Старик молчал. Занятый своим делом, замолчал и Коломиец. Сумерки наступающей ночи быстро поглощали берег, кустарник, из приречных оврагов поползли сизые космы тумана, легкие дымчатые струи его потянулись по тихому плесу. Быстро тускнея, река теряла свой дневной блеск, темный противоположный берег широко опрокинулся в ее глубину, залив речную поверхность гладкой непроницаемой чернотой. Землечерпалка перестала громыхать, стало совсем глухо и тихо, и в этой тишине тоненько и нежно, как из неведомого далека, тиликнул маленький звоночек донки. Захлябав по камням подошвами резиновых сапог, Коломиец бросился к крайней на берегу удочке и, сноровисто перебирая руками, принялся выматывать из воды леску. Он не видел, как Петрович на обрыве трудно поднялся, пошатнулся и, сгорбившись, молча побрел куда-то прочь от этого берега.

Наверно, в темноте старик где-то разошелся с Юрой, который вскоре появился на обрыве и, крякнув, бросил к ногам трескучую охапку валежника — большую охапку рядом с маленькой вязанкой Петровича.

— А где дед?

— Гляди, какого взял! — заслышав друга, бодро за-

говорил под обрывом Коломиец. — Келбик что надо! Полкило потянет...

— А Петрович где? — почуяв недоброе, повторил вопрос Юра.

— Петрович? А кто его... Пошел, наверно. Я сказал ему...

— Как? — остолбенел на обрыве Юра. — Что ты сказал?

— Все сказал. А то водят полоумного за нос. Поддакивают...

— Что ты наделал? Ты же его убил!

— Так уж и убил! Жив будет!

— Ой же и калун! Ой же и тумак! Я же тебе говорил! Его же тут берегли все! Щадили! А ты?..

— Что там щадить. Пусть правду знает.

— Такая правда его доконает. Ведь они погибли оба в блокаду. А перед тем он их сам вон туда на лодке отвозил. И ждет.

— Чего уж ждать?

— Что ж, лучше ничего не ждать? Здоровому и то порою невмочь, а ему? Эх, ты!

— Ну ладно, ладно...

— Нет, не ладно! Пошел ты знаешь куда! Где мой рюкзак?

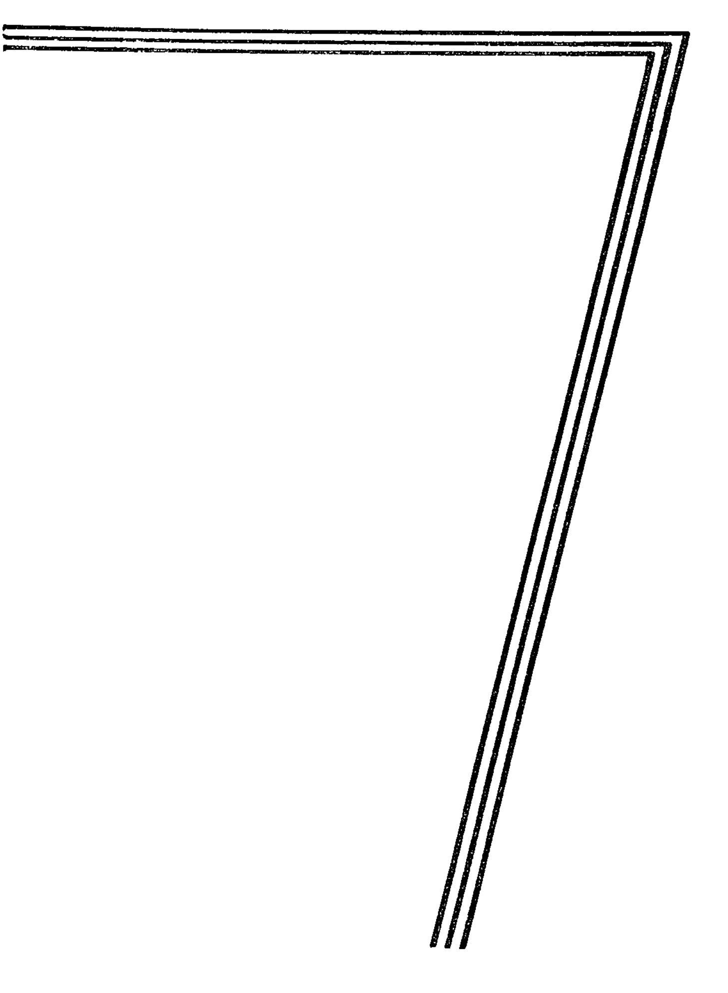
Под заволоченным темнотой обрывом послышался тихий стук осыпавшихся под ногами камней, резкий лязг цепи по гулкой обшивке лодки и несколько быстро удаляющихся в ночь шагов. Когда они затихли вдали, над рекой воцарилась плотная ночная тишина. Едва поблескивая аспидной поверхностью, тихо текла в вечность река, и постепенно в разных местах, на невидимых в темноте берегах, близко и далеко зажигались рыбачьи костры. Среди них в этот вечер не загорелся только один — на обрыве у лесного перевоза, где до утра было необычно пустынно и глухо.

Не загорелся он и в следующую ночь.

И, наверное, не загорится уже никогда...

1972 г.

Публицистика



КОЛОКОЛА ХАТЫНИ

Торжественно-траурный перезвон хатынских колоколов днем и ночью разносится по Белоруссии. Густой автомобильный поток с утра до вечера мчится по Логойскому тракту, устремляясь к лесной развилке с шестью огромными пепельно-серыми буквами — «Хатынь». Некогда глухая, ничем не примечательная деревенька стала народным памятником, образным воплощением скорби и героизма белорусов в их невиданной по напряжению борьбе с иноземными захватчиками.

Каждый народ гордится победами, одержанными в борьбе за свободу и независимость Родины, и свято чтит память утрат, понесенных во имя этих побед. У французов есть Орадур, у чехов — Лидице. Символ безмерных испытаний белорусов — Хатынь, представляющая 628 белорусских деревень, уничтоженных в годы войны вместе с их жителями.

...Кровавая трагедия этого лесного поселища в 26 дворов произошла 22 марта 1943 года, когда отряд немецких карателей внезапно окружил деревню. Фашисты согнали хатынцев в сарай и подожгли его, а тех, кто пытался спастись от огня, расстреляли из пулеметов. 149 человек, из них 76 детей, навечно остались в этой адской могиле.

Солнечный мартовский день сорок третьего года оказался последним днем Хатыни, но страшная участь ее, как и многих других деревень Белоруссии, была предначертана задолго до ее фактической гибели.

Скрупулезно разрабатывая многочисленные аспекты войны против Советского Союза, Гитлер вместе с судьбой всего белорусского народа учел и Хатынь. Согласно плану «Ост», принятому фашистской верхушкой

в 1941 году, три четверти белорусов предусматривалось выселить с занимаемых ими территорий, а остальных онемечить, превратив в безмолвных рабов немецких колонистов. Но, к удивлению гитлеровских заправил, этот народ, один из «тишайших» и миролюбивых народов Европы, проявил такую несокрушимую стойкость, что еще в начале войны поставил в немалое затруднение руководство фашистской Германии. Имперский министр по делам оккупированных восточных областей небезызвестный А. Розенберг в одном из своих выступлений жаловался: «В результате 23-летнего господства большевиков население Белоруссии в такой мере заражено большевистским мировоззрением, что для местного самоуправления не имеется ни организационных, ни персональных условий» и что «...позитивных элементов, на которые можно было бы опереться, в Белоруссии не обнаружено».

Да, действительно, трудно было обнаружить «позитивные элементы» на земле, что горела под ногами захватчиков. Уже весной 1942 года один из подчиненных того же Розенберга доносил своему шефу: «Сегодня партизанская война охватывает всю Белоруссию, почти все леса заполнены партизанами, некоторые части районов находятся в их власти. Нападению подвергаются целые города. Нападают на немецкие военные отряды и на гражданские управления, проводят митинги среди гражданского населения. Партизанская война грозит превратиться в тыловой фронт немецкой армии».

Надо отдать ему должное, немецкий прислужник трезво смотрел на вещи и видел далеко. В глубоком немецком тылу действительно бушевал второй фронт партизанской войны, которая неотвратимо перерастала во всенародную войну против фашизма.

Отечественная война для Белоруссии поистине явилась войной всенародной с ее первого дня и до самой победы. Три года белорусский народ провел ее на переднем крае в буквальном смысле этого слова, ни дня не зная хотя бы относительной безопасности. Фронт борьбы с гитлеровцами проходил по каждой околице, по каждому подворью, по сердцам и душам людей. Всенародная война означала, что каждый был воином со всеми вытекающими из этого слова обязанностями и последствиями. Независимо от возраста, пола, невзирая на то, имел он оружие и стрелял в оккупантов или только сажал картошку и растил детей, — каждый был воином. Потому что и оружие, и картошка, и подросшие дети, да и само

существование каждого белоруса в итоге были направлены против оккупантов.

Белорусский народ под руководством партии коммунистов в кратчайшие сроки сформировал почти полумиллионную партизанскую армию, вооружил ее, снабдил продовольствием, одеждой, фуражом и тяглом. На территории целых районов в течение всей войны функционировали органы Советской власти, боевые бригады партизанских зон месяцами противостояли блокирующим немецким войскам, снятым с фронта. Немцы очень скоро поняли, что этот небольшой и миролюбивый народ выселить с его территории не удастся ни при каких обстоятельствах, как не удастся и онемечить, и оккупанты взяли чудовищный курс на его ликвидацию.

Сознавая ежеминутную опасность, грозившую фашистам из лесов и деревень лесной стороны, они в своем страхе дошли до исступления и готовы были убивать каждого. И если они не убили всех, то лишь потому, что не в состоянии были сделать это физически. Ведь чтобы убить всех, прежде всего надо было их победить. А это оказалось сверх возможностей гитлеровцев, и они убивали, мстя за свои неудачи на фронте и в боях с партизанами, убивали тех, кто помогал или только мог помочь партизанам. Три года непрерывно погибали люди, и это была тяжкая плата народа за свою независимость, которая обошлась Белоруссии в два миллиона двести тридцать тысяч человеческих жизней. Погиб каждый четвертый.

Оккупанты не прочь были сжечь каждую белорусскую деревню, превратить в развалины каждое местечко, каждый поселок. Известные «основания» для этого у них имелись, так как не было на белорусской земле самой малой деревеньки, которая бы не послала в лес хотя бы несколько своих партизан, чтобы затем содержать их, давать им прибежище в холодное время, помогать разведкой. Воевали даже дети (Марат Казей) и глубокие старики (братья Цуба). Вместе с партизанами они разрушали железные дороги, уничтожали телефонную и телеграфную связь, сжигали мосты, устраивали лесные завалы, днем и ночью вели разведку...

Да, гитлеровцы не прочь были уничтожить в Белоруссии всех и все, чтобы на десятилетия ликвидировать всякие условия для существования белорусов, хотя у них и недостало для этого силы и возможностей. И все же за три года войны они сумели стереть с лица белорусской

земли 209 городов и городских поселков, 9200 деревень.

Необычайный разгар всенародной войны против гитлеровцев, разумеется, не является следствием жестокости последних, как иногда считают на Западе. Так же неверно было бы связывать массовое уничтожение населения Белоруссии и ее материальных ценностей с развертыванием партизанской борьбы, хотя оба эти фактора довольно тесно переплетаются между собой. Точно так же, как наш народ органически не мог вынести чужестранного господства на своей земле, немецкий фашизм не мог согласиться с малейшим неподчинением оккупированных народов. Итогом была смертельная схватка двух политических и социальных систем, двух идеологий.

Правое дело одержало победу.

При всей колоссальной громадности собственных усилий и понесенных потерь белорусы отдают себе отчет в том, что им одним, без повседневной помощи и поддержки со стороны других народов страны, никогда бы не выстоять в этой жестокой борьбе. Лишь великое братство советских народов обеспечило им необходимую помощь и дало силы выстоять в самый их трудный час. Сотни тонн грузов оружия и боеприпасов доставлялись на партизанские аэродромы с Большой земли, в советский тыл эвакуировались тяжелораненые. Действиями партизанских сил на протяжении всей войны заботливо руководил единый центр — Штаб партизанского движения в Москве. Все это удесятеряло силы народа в борьбе и укрепляло его волю к победе.

На белорусской земле в огне партизанской войны закалялась великая дружба братских советских народов. В одном партизанском строю плечом к плечу сражались с врагом белорусы и русские, украинцы и евреи, азербайджанцы и грузины, литовцы и таджики. Нередко случалось, что, оказавшись свидетелями невиданной самоотверженности народа, на его сторону переходили люди из стана врага, представители народов Европы, обманом втянутых в войну. Так, именно в Белоруссии приняли свое прекрасное и роковое для себя решение двадцать итальянских солдат, отказавшихся стрелять в мирных жителей и за это расстрелянных фашистами. На нашей земле совершали свои подвиги легендарной храбрости чех Ян Нелепка и немецкий антифашист Фриц Шменкель. Сотни словаков, венгров, румын, пригнанных фашистами на нашу землю с оружием в руках, обратили это оружие против своих угнетателей.

Белорусы будут вечно признательны героической Советской Армии, сотни тысяч солдат которой отдали свою жизнь за честь и независимость нашей Родины. У подножий многочисленных обелисков над их могилами никогда не увядают живые цветы — знак вечной памяти благодарного им народа.

...Печально и вместе с тем величественно днем и ночью, в ветер и непогоду разносится над Белой Русью звон колоколов Хатыни. Бесконечен людской поток. Молча стоят люди у венка памяти, положенного на месте захоронения пепла хатынцев, молча читают они обращение мертвых к живым — черные слова на мраморе: «Люди добрые, помните: мы любили и жизнь, и Родину, и вас, дорогие. Мы сгорели живыми в огне. Наша просьба ко всем: пусть боль и печаль станут силой и мужеством, чтоб смогли вы мир и покой на земле увековечить, чтобы нигде и никогда в вихре пожаров жизнь не умирала».

И каждый молча подписывается под черными буквами на белом мраморе, под словами клятвы живых:

«Родные наши! В печали великой, склонив низко головы, стоим мы перед вами. Вы не покорились лютым убийцам в черные дни фашистского нашествия. Вы приняли смерть, но пламя сердец вашей любви к Советской Родине навек неугасимо. Память о вас у нас навсегда, как бессмертна наша земля и как вечно яркое солнце над нею».

Хатынь одна, но смысл этого слова огромен. Прежде всего это светлая память о тех, кто заслужил наибольшее право жить, но кого нет с нами. Хатынь — это миллионы жертв прошлой войны. Это все и, что не менее важно, это еще и каждый.

Первого сентября в школах Белоруссии на уроках мужества — такие уроки проводятся в каждой школе — учителя рассказывают ребятам об истории Хатыни. Чуткие ребячьи сердца охотно раскрываются навстречу давнему подвигу, который становится для них первым и главным уроком года.

Со дня открытия мемориала тысячи людей побывали в Хатыни, но людской поток к этому священному месту не прекращается никогда. Сюда идут те, кто был осужден немецким фашизмом на смерть, но с оружием в руках отстоял свое право жить, кто был обречен не родиться, но вопреки всему родился и живет свободным. Сюда приезжают многие люди с Запада и Востока, желающие

честно понять, почему мы не только устояли, но и победили в прошлой войне.

Хатынь живет не только в народной памяти, но и в повседневных делах народа. О ней пишут в газетах, снимаются фильмы, слагаются стихи и поэмы. Хатынь преподает человечеству простой, как истина, и вечно мудрый урок бдительности. Человечество должно помнить о смертельной угрозе, которой оно избежало в недалеком прошлом, и ежедневно заботиться о будущем. На земле, увы, никогда не было недостатка во властолюбивых авантюристах, всегда зрели на ней темные силы агрессии, охочие поживиться за счет миролюбия других. В наше жестокое время недостаточно любить мир — надо уметь его защищать.

Гитлеровский фашизм разгромлен в открытом бою, человечество победило самого заклятого своего врага. Но ядовитые семена реванша еще не уничтожены. Затаившись на Западе, спокойно благоденствуют постаревшие палачи Хатыни и сотен других белорусских, русских и украинских сел. В тиши респектабельных кабинетов они осмысливают свои промахи в прошлой войне и планируют новые «блицы» на новой технической основе. В сокрушительном разгроме сорок пятого уцелели и некоторые из немецких пособников, тщащиеся нравственным и правовым камуфляжем прикрыть свои уголовные преступления в годы войны. Но не будет оправдания их злодеяниям, как и не будет прощения. То, что сотворено ими на белорусской земле, невозможно простить.

...Отлично архитектурно исполненный Мемориал Хатыни хранит для человечества название каждой сожженной белорусской деревни, каждый мертвый хатынский двор, каждое имя хатынца. В скорбном бетонном мартирологе проходят имена взрослых, подростков, детей — Яскевич Антон Антонович, Яскевич Елена Сидоровна, Яскевич Виктор, Яскевич Ванда, Яскевич Вера, Яскевич Надя (9 лет), Яскевич Владик (7 лет), Яскевич Толик (7 недель), и так все 149 погибших.

Все, кроме одного — Иосифа Иосифовича Каминского, случайно спасшегося из горящего, набитого людьми сарая и в бронзе вставшего теперь с мертвым сыном на вытянутых руках. В этих его руках все — и скорбь, и трагизм, и беспредельная воля к жизни, давшая белорусам возможность выстоять и победить...

1972 г.

СВИДЕТЕЛЬСТВО ЭПОХИ

Не так давно Анатолий Бочаров высказал предположение о наступившем периоде усталости нашей военной прозы. Не стану по примеру некоторых специалистов этого рода литературы опровергать видного критика и теоретика советской литературы, немало сделавшего и для осмысления военной прозы: вполне возможно — он прав. Как и всякое живое дело, военная проза в своем развитии не может избежать определенных спадов, особенно после пережитых ее блистательных лет расцвета в конце 50-х — начале 60-х годов, когда появились произведения, на многие годы определившие пути ее развития. И хотя в последующие годы литература о войне несколько потеснилась в сознании читающего народа, уступив место, может быть, не менее блистательным произведениям «деревенской» прозы, вряд ли когда-либо померкнут в ее сокровищнице замечательные по мастерству и правдивости произведения того времени, принадлежащие перу Юрия Бондарева, Григория Бакланова, Константина Симонова, Владимира Богомолова, Константина Воробьева, Юрия Гончарова, Евгения Носова, Сергея Крутилина и других. Написанные, казалось бы, об одном и том же, о человеке на войне, эти произведения несут в себе неиссякаемое разнообразие — жанровое, тематическое, стилевое, различие личностно-авторского отношения к войне и ее непростым проблемам. Но, разумеется, самое ценное в них — правда пережитого, достоверность подробностей и психологии, неизменность гуманистического отношения к человеку самой трудной судьбы — солдату на самой большой и самой кровавой войне.

О войне написано много во всех жанрах литературы, на 77 языках народов нашей страны, разумеется, с различной степенью мастерства, умельства, талантливости. Что до меня как читателя (да, я думаю, и до большинства читателей, воевавших и невоевавших), то, может быть, для нас дороже всего в этих книгах не так мастерство изложения, не красочность слога, но — правда. За тысячелетия земной истории о войне на всех языках мира написано много неправды, красивых сказок и прямой лжи. Это и понятно, потому что война, как известно, всегда была продолжением политики военными средствами и служила интересам власть предержащих. Наша же большая война, на полях которой решались судьбы планеты, имела другой характер и другие, отлич-

ные от предыдущих, цели. Говорить неправду о ней не только безнравственно, но и преступно как по отношению к миллионам ее жертв, так и по отношению к будущему. Люди земли должны знать, от какой опасности они избавились и какой ценой досталось им это избавление. Что касается читателя, то ему интересно знать все: от переживаний солдата в передовом окопе до работы крупных штабов и ставки по руководству войсками. Литература многое сделала для раскрытия психологии рядового бойца и младшего офицера переднего края, но по причине отсутствия прежде всего личного опыта у ее авторов она оказалась некомпетентной до всего, что касается крупных штабов, объединений, ставки. Этот пробел в значительной мере восполняют военные мемуары, принадлежащие перу генералов, крупных военачальников, среди которых немало честных и хороших книг. Но немало также и таких, где фактическая сторона изложения воспринимается с большим сомнением, где, как писал недавно Виктор Астафьев, «проступает явное вранье». В самом деле, часто трудно добраться до сути через аккуратный штакетник округлых стереотипных фраз или задним числом сочиненных подробностей, заимствованных из фронтовой печати тривиальных примеров и бесконечных страниц разговоров. Иные мемуары по своей форме смахивают на пьесы, так много и подробно (вплоть до междометий) переданы в них разговоры, речи, выступления, беседы. Беллетризация воспоминаний, стремление написать художественно, непременно как у настоящих писателей, обычно выдает чужую, не авторскую руку и значительно снижает достоинство такого рода литературы. Ибо как можно поверить в достоверность происходившего спустя 20, 30 и 40 лет, переданного через разговоры в лицах, пусть даже и достопамятных и поразивших воображение. Ведь на войне было нечто поважнее пусть даже самых содержательных разговоров — было дело.

Да, люди по праву хотят знать о войне полнее, больше, особенно о том, что лежит за пределами их жизненного или военного опыта. Но когда я читаю длинные главы, описывающие в подробностях жесты, выражения, все те же разговоры генералов, маршалов, исторических лиц, сокровенные раздумья о собственных военных просчетах бывшего наркома обороны или ставшие столь популярными в литературе сцены в кабинете Сталина, я с недоумением обращаюсь к имени автора на обложке

и спрашиваю себя: откуда все это? Из каких документов, по чьим свидетельствам? Ах, это авторский домысел, стало быть, сочиненность, выдумка, но тогда, извините, тогда мне это неинтересно. И мне становится жаль многих тысяч читателей, питающих понятный, почти трепетный интерес маленьких людей к жизни великих и воспринимающих все это за подлинность, за правду. Можно, разумеется, возразить мне, сославшись на творческую практику Толстого, Маннов, Фейхтвангера, но тут несопоставимо разные вещи. Даже ошибочный опыт великих остается великим в истории и литературе, а их ошибки для нас не менее важны, чем их несомненные удачи. Но нам-то, наверное, еще далековато и до Толстого и до Маннов, чтобы позволить себе необузданный полет фантазии по отношению к тому, что до сих пор остается сокрытым от человечества бетонной стеной молчания. Кровь, муки и пот народа в минувшей войне накладывают на нас первейшее из обязательств — безусловную верность правде.

Последнее условие императивно также по отношению к документальной литературе, которая в некоторой — я бы сказал, значительной — своей части обрела ныне чересчур поэтическую раскованность, чтобы с должным основанием считаться документальной. В некоторых произведениях этого жанра при всем старании невозможно обнаружить и следа документа, разве что имя героя реально, все же остальное состоит из домыслов, описаний, все тех же диалогов и внутренних монологов, заполняющих страницы и главы. Опять как в романах, как в художественной литературе. Но кому нужна эта художественность, ради которой попирается главное и, может, единственное достоинство этого рода литературы — правда.

Впрочем, это элементарно и давно известно. Тем более что у нас есть и примеры другого рода, замечательные примеры высокого документализма и самой высокой гражданственности; здесь уместно вспомнить творчество, да и всю жизнь незабвенного Сергея Сергеевича Смирнова. Его книги способны стать образцом, примером для подражания последующих поколений писателей-документалистов. Или же «Блокадная книга» Адамовича и Гранина, где всё — факт, жизнь, судьба, уже принадлежащие истории. Трагической странице нашей с вами истории.

Тот же Виктор Астафьев писал недавно: «Думаю, все

лучшее в литературе о войне создано теми, кто воевал на передовой». В общем, это справедливо, хотя я бы не стал утверждать столь категорично, соглашаясь, однако, с той частью его утверждения, что личный опыт войны здесь незаменим. Вся беда литературы второго сорта как раз и заключается в отсутствии определенного личного опыта у одних авторов и в попрании этого опыта теми, у кого он есть, в уходе за его пределы, я бы сказал, за пределы какого бы то ни было опыта в область сочинительства, приблизительности и — неправды. И потому такая литература, с каким бы изяществом она ни была создана, неприемлема по своей сути: она не прибавляет ничего к познанию и осмыслению духа войны, а уводит читателя в область мифов, ортодоксий и домыслов. Во всяком другом случае, может быть, об этом и не следовало бы говорить, но прошлая война для нас, как недавно писал Евтушенко, слишком сокровенная тема, прикасаться к которой надобно с ясным сознанием огромной ответственности: под ней море народной крови. И приходится только сожалеть, что те, кто имеет недюжинный опыт и мог бы сказать о ней сокровенное слово, предпочитают молчать. Мы знаем мемуары, где умолчено о действительно важном, опущено все существенное, взамен чего книжные страницы заняты малозначащими подробностями вроде забытой по рассеянности карты, едва не ставшей причиной самого драматического переживания за всю войну. А старый маршал по дороге на фронт, куда он едет координировать действия войск, думаете, о чем ведет разговор с подчиненными? О русском балете, знатоком и любителем которого он является. Впрочем, возможно, я ошибаюсь: возможно, это о многом говорящие подробности.

Виктор Астафьев прав: память человеческая избирательна и любит приятное. К старости все трудное видится в ином свете, нежели тот, что освещал муки, кровь и страдания в годы военной молодости. Задним числом кому не хочется видеть себя героем? Это понятно и извинительно для всякого стареющего человека, но не для литературы. Литература не имеет права на старость и должна все помнить в подробностях, в первозданности, не упускать ничего.

Не знаю, устала ли военная проза или просто у нее небольшой, десятиминутный привал на ее долгом пути. Как знать? Кто на войне спрашивал солдата об его усталости: солдат всегда готов был к подвигу и к смер-

ти. Так же и военная проза. Пути и возможности ее неисповедимы. Когда, казалось бы, тема партизанской борьбы с фашизмом была до основания отработана искусством, создана огромная галерея самоотверженных парней, дедов, теток, бравых партизанских комбригов, а также всех разновидностей фашистов и их прислужников, Дмитрий Гусаров создает свой роман «За чертой милосердия», заставивший наконец понять, что такое борьба в тылу у врага. Чье сердце не содрогнулось при чтении этой действительно немилосердной правдивости книги. Когда о пехоте и ее нечеловеческих муках и крови было написано столько, что, думалось, у читателя вот-вот пропадет интерес к атакам и контратакам, окопному и госпитальному быту, Вячеслав Кондратьев печатает «Сашку», и мы увидели, сколько еще там, в пехотной цепи, человеческих драм и литературных возможностей. После книги Гусарова трудно было что-либо добавить к теме оккупированных территорий и немецкого тыла, но вот появились «Каратели» Алеся Адамовича, это философско-психологическое исследование предательства и природы немецкого фашизма, глубинное проникновение в человеческую патологию, равное которому вряд ли сыщется в мировой антифашистской литературе. Григорий Бакланов напечатал отличную, в ключе своих прежних вещей повесть «Навеки — девятнадцатилетние», а Юрий Бондарев в новом романе «Выбор» дал пронзительной силы страницу войны с далеко проросшими корнями причинности и трагическим плодом, созревшим спустя три десятилетия после победы. Новые вещи о войне на подходе у Владимира Богомолова, Виктора Астафьева, и мы не сомневаемся в их успехе, обеспеченном силой их замечательного таланта и кровью освященного опыта.

А усталость? Не знаю, из будущего будет виднее. Действительно, может оказаться, что все это пишется не со свежими силами, во время привала на большой дороге. Но если даже в таком состоянии, в период, скажем так, «нерасцвета» наша литература способна создавать такие произведения, то Честь ей, Хвала и Слава.

Дорогие товарищи! Усилиями лучших талантов нашего многонационального советского народа создана огромная литература о войне, целый литературный континент. Книги о войне издает множество издательств на протяжении многих десятилетий. Кажется, однако, еще не было сколько-нибудь серьезной попытки их издательской систематизации. Ввиду этого я предлагаю с этой

трибуны в течение ближайших лет приступить к выпуску межиздательской библиотеки, серии из сотни книг под общим наименованием «Великая Отечественная». Эта серия еще больше закрепит в народном сознании беспримерный подвиг народа в годы Великой войны, явится нашим художественным свидетельством о ней и нашим завещанием грядущему.

1981 г.

НЕИССЯКАЕМАЯ ЩЕДРОСТЬ УМА

Лев Николаевич Толстой впервые вошел в мою жизнь много лет назад, когда, заболев однажды, я был на месяц оторван от школы и прочитал четыре тома его «Войны и мира». Не скажу, что детское чтение великой эпопеи оказалось для меня весьма плодотворным, но неповторимые образы ее героев, широкая панорама русской жизни, военные картины далекого прошлого не могли не пленить воображение. Это было добротворное чтение, хотя, разумеется, читать и перечитывать Толстого нелишне в любом возрасте. Как никто другой из великих художников, он обладает неиссякаемой щедростью ума, живостью наблюдений, способностью постоянно влиять на формирование и совершенствование человеческих душ.

И это прекрасно, когда общение с его духовной сокровищницей не заканчивается однажды, а продолжается в течение всей жизни. Предельная искренность, глубинное проникновение в тайну человеческой сущности, социальная значительность и непрекращающееся искательство нравственного идеала продолжают привлекать к нему многие поколения читателей. Созданные более века назад, «Севастопольские рассказы» наглядно свидетельствуют о том, как следует понимать сражающийся русский народ, как его изображать в литературе. Огромный талант и художническое мужество великого Толстого дали ему право написать бессмертные строки, являющиеся непреходящим императивом всякой реалистической литературы: «Герой же моей повести, которого я люблю всеми силами души, которого старался воспроизвести во всей красоте его и который всегда был, есть и будет прекрасен, — правда».

Казалось бы, все очень просто, иначе и не может быть: правда была и остается великим содержанием литературы. На деле же нет бóльших забот у пишущего,

чем его отношение с такой постоянно ускользающей, столь изменчивой и текучей категорией, какой является правда. Толстой же обладал удивительной, по-видимому врожденной, способностью различать в запутанных и многосложных проявлениях жизни глубинную сущность правды, а его грандиозный талант превращал ее в непременного героя его художественной прозы. Наверно, однако, и для Толстого это было непросто, иначе он не написал бы однажды, что, «как ни странно это сказать, а художество требует еще гораздо больше точности... чем наука». Несколько парадоксально звучат в наш век НТР и покорения космоса эти его слова, но вещий их смысл не может не разделить каждый сколько-нибудь серьезный писатель или думающий читатель.

Мы привыкли к непререкаемой справедливости известного ленинского высказывания о графе Толстом, до которого не было настоящего мужика в литературе, но из этого следует, что мы должны задуматься и о том, откуда у этого барина, в течение почти всей жизни ведшего замкнутый, «усадебный» образ жизни, откуда у него такое глубокое понимание народа, знание потаенной человеческой сущности? Дело, наверно, все-таки не в образе жизни, а во врожденном свойстве души — степени человеческой сопричастности к другим, себе подобным, способности к сопереживанию, к осознанию чужой боли как своей собственной, чем в огромнейшей мере был наделен Лев Толстой. Это нам теперь видна ограниченность некоторых его духовных исканий, и мы с уверенностью можем судить о его ошибках. Но большое видится на расстоянии, а для него был важен главнейший из исповедуемых им жизненных принципов: «Чтоб жить честно, надо рваться, путаться, биться, ошибаться, начинать и бросать, и опять начинать и опять бросать, и вечно бороться и лишаться. А спокойствие — душевная подлость».

Вся его жизнь — непрестанные поиски: сначала самого себя в этом мире, затем смысла и цели всей жизни. Несмотря на ряд поражений и утрат, он до конца своих дней оставался врагом душевной самоуспокоенности. Не в этом ли, помимо многих других, его великий урок для всех — его современников и живущих в другую эпоху, но все на той же прекрасной и грешной земле?

1978 г.

ЗОРКОСТЬ ИССЛЕДОВАТЕЛЯ, СТРАСТЬ ХУДОЖНИКА

Прежде чем стать писателем, Сергей Залыгин долгое время занимался наукой, работал в Сибири, имел дело с хозяйственными и научными проблемами, наложившими определенный отпечаток на его литературное творчество. Написанная им книга о литературе — «Литературные заботы» — плод серьезных раздумий о ней человека, не только искушенного жизнью, но и разносторонне образованного, настойчивая и довольно успешная попытка осмыслить громадные знания искусства с точки зрения художника, вооруженного эстетическими и техническими знаниями нашего века.

Литературоведческие размышления писателя сильнее всего впечатляют углубленной способностью автора проникать в область сугубо интеллектуальную, в область собственно искусства, человеко- и литературоведения. Сергей Залыгин показал себя здесь не только ученым-исследователем с ярко выраженным даром аналитика, но также и поэтом. Его взволнованное эссе о любимом им Чехове не меньше волнует также и читателя. Оно и понятно. Как уже не однажды встречалось в литературе, пересечение в одной точке взглядов настоящих художников, принадлежащих к различным эпохам, дает интересный сплав отношений, мыслей и чувств. Сколько бы мы ни знали о художнике прошлого, мы неизменно очаровываемся тем, что́ в нем с новой силой открывается через живущий в иную эпоху талант, особенно если этот талант — наш современник.

Исследовательские способности Сергея Залыгина в области литературы, эстетики теснейшим образом связаны с его не менее глубокой способностью художнического проникновения в жизнь. Как и в литературоведческих работах, в его прозе мы находим углубленное исследование человеческих характеров. Для нас остается неизменно захватывающим и интересным авторское отношение ко всему, им изображаемому, тем более что излюбленные темы для изображения Залыгин ищет, как правило, в самых кардинальных и переломных моментах нашей истории. Так, лучший из его романов — «Соленая Падь» — произведение о народе, совершающем революцию, и в то же время о человеке, поднятом революцией до уровня исторической личности, каким являет-

ся главный персонаж романа, партизанский главком Ефрем Мещеряков. Обладающий многими, подчас противоречивыми качествами, он больше всего поражает несокрушимой своей человечностью, которая нередко проявляется в обстоятельствах, казалось, менее всего для того подходящих. «Задохнулся Ефрем. Заплакал Ефрем. Дико взвыл и бросил свою мерлушковую папаху оземь, на ледовые искры инея, покрывшего рыжеватую стерню, а Гришка Лыткин поднял папаху и подал ее обратно, а он опять бросил, а Гришка опять поднял, и глядели на эту бессмысленность партизаны из окопов... И что бы там ни было, на какой бы позор ни толкали белые Ефрема — ему надо было идти, принимать на себя бесславие и любой мучительный суд хотя бы от самого себя, даже от своей собственной, а не чужой совести и чести... Надо было воевать против баб и ребятишек опять же бабами и ребятишками, то есть проклятой декой»...

Сделавшись распорядителем судеб тысяч людей, сибирский крестьянин Мещеряков, сам каждодневно рискуя жизнью, не утратил и малой толики своего простодушия, терпимости к чужим слабостям, способности к сопереживанию чужого горя. Может, еще и более того — в противоположность его земляку, начальнику главного штаба Брусенкову, чувство человечности у Мещерякова в новом для него положении обострилось еще и оттого, что нередко именно интересы высокой человечности вынуждали партизанского главкома на довольно рискованные в нравственном отношении, а то и заведомо предосудительные поступки. А ведь в трудной крестьянской и фронтовой жизни никто его особенно не учил нравственности, скорее наоборот. Науку повелевать полками на поле боя он познал сам, на собственном опыте, ценой риска и пролитой крови. Коварство белых, в решающий момент применивших «слезную стенку», вынудило Мещерякова на крайнее средство, против которого он в простодушном протесте и бросил оземь свою мерлушковую папаху...

Если Мещеряков, несущий на своих плечах главную тяжесть защиты Соленой Пади, даже в самые трудные моменты не теряет выдержки и присущей ему человечности, всегда оставаясь справедливым и великодушным, то Брусенков — убежденный сторонник самых решительных мер по отношению к любому — от священника, которого он расстреливает, до комфронта Крекотеня, также не избежавшего подобной участи.

В то время как для Мещерякова революционная борьба определяется главным образом формулой **за** (за власть Советов), то для Брусенкова она гораздо привлекательнее своей второй частью — **против** (против контрреволюции), тут он чувствует себя увереннее и проявляется полнее.

Да, Мещеряков прекрасен в своей отваге и в своей нерешительности, в атаке против арары и в ночной горнице возле спящих детишек — во всей невымышленной правде своего естества. Весь он как бы круто замешен на этой его глубинно народной правде, которая уже сама по себе, кроме того, что истина, есть еще и высокая поэзия. Мещеряков — то лучшее, что подняла из народных глубин революция, без которой он просто не мог бы состояться как личность, и он, несомненно, лучший образ романа.

Галерея революционных вожаков из народа, представленных в советской литературе прежде всего образами Кожуха, Чапаева, Левинсона, в лице Мещерякова пополнилась еще одним замечательным характером, талантливо созданным нашим современником Сергеем Залыгиным.

Литературный талант Залыгина неизменно подкупает своей емкостью и многогранностью, нередко поражая широтой писательского познания, глубиной его чувствования. Залыгин умеет услышать и передать на своих страницах и гневный гул революционной толпы, и тихий, исстрадавшийся голос женщины, обреченной изнывать в страхе за жизни малолетних детей...

Величайшая ломка в сельском хозяйстве, когда вековая крестьянская страна Россия обобщила свои измельченные малоземельные хозяйства и приступала к устройству неведомой, загадочной и пугающей своей неизвестностью коллективной жизни, — это стало темой повести «На Иртыше». Когда ликвидировалось кулачество, обновлялась деревня, где-то в далекой Сибири, «за болотом», затерялась судьба работящего, смышленого, смелого и умелого крестьянина Степана Чаузова. Стоило ли тридцать лет спустя воскрешать эту судьбу, разбираться в ее полузабытой драме, когда такими разительными и бесспорными для всех стали успехи некогда загадочной колхозной жизни?

В самом деле, чт́о судьба одного семейства, одной отлетевшей на лесосеке щепки, когда рубился вековой лес и вершилось небывалое в жизни народа! Но дело в том,

что все-таки это не щепка, а человек, и даже двое, кроме нескольких малых, которым, как бы там ни было, предстояло жить в будущем, ином и более справедливом обществе. К тому же Степан Чаузов и не кулак вовсе, а середняк, который одним из первых в селе поверил в бесспорные преимущества колхоза и сам, по своей воле вступил в него, чтобы строить новую жизнь.

Но — не получилось.

Кто в том виноват? Виноват, безусловно, и Степан, его упрямый мужицкий нрав, его самочинные действия по отношению к поджигателю колхозного зерна Ударцеву. Но более его виноваты другие, в общем сами по себе, может, и неплохие люди: молодой Митя — уполномоченный, городской житель Ю-рист, не сумевшие или не захотевшие защитить невиновного. Но более других виноват Корякин, возглавлявший тройку по «довыявлению» кулачества. Этот последний — родной брат Брусенкова, над которым в решающий момент не оказалось Мещерякова, некогда при первом своем появлении в Соленой Пади освободившего из-под расстрела Власихина... Коллективное дело в селе восторжествовало окончательно и бесповоротно, но в этой победе осталась одна маленькая занозинка, одна незадача — судьба Степана Чаузова. Именно она много лет спустя и заставила писателя-гуманиста поведать нам об этой позабытой драме, какой бы прискорбной или исключительной она ни была.

После опубликования «Троп Алтая», «На Иртыше» и особенно «Соленой Пади» за Сергеем Залыгиным прочно установилась репутация писателя остросоциальной тематики, чье внимание неизменно привлечено к злободневным и кардинальным вопросам дня сегодняшнего и не столь отдаленного прошлого, уроки которого небесполезны для настоящего. Стало привычным видеть на его страницах прекрасно изображаемую им крестьянскую массу, слышать много и умно говорящих на своих сельских сходках деревенских философов. Автор так овладел их языком, что язык персонажей его произведений стал почти неотличим от авторского — настолько органически он слился в одну добротную русскую речь.

Очевидно, в значительной степени по этой причине для иных залыгинских читателей оказалось неожиданностью появление его нового романа «Южноамериканский вариант» с совершенно иной проблематикой, иной средой изображения, отличным от предыдущего привычного, «залыгинского», «городским» языком и современным «тех-

ническим» и во многих отношениях изысканным стилем. Многие удивились: почему вдруг писатель, прекрасно владеющий мужской психологией, глубоко понимающий мужика-хлебопашца, вдруг главным персонажем романа избрал женщину, нашу современницу, научного работника?

Следует признать такое удивление небеспричинным. Действительно, в предыдущих произведениях С. Залыгина женские образы не пользовались особенным его вниманием, и мы можем вспомнить из них разве что симпатичную Клавдию Чаузову, Дору Мещерякову да Тасю Черненко. Не так и много. Но, видно, в том-то и дело, что тема женщины у Залыгина до поры до времени оставалась как бы «в запасе»: неизрасходованные жизненные наблюдения, размышления, выводы требовали их литературного воплощения. И вот писатель реализует их в новой, романной емкости, почти целиком заполнив ее образом Ирины Викторовны Мансуровой.

Если хотя бы в общих чертах проследить за эволюцией первых героинь Залыгина к его Ирине Мансуровой, то удастся понять ее важность и неизбежность в этом немногочисленном ряду залыгинских женских образов. Спору нет, со времен Таси Черненко, Доры Мещеряковой и Клавдии Чаузовой в женской судьбе изменилось многое — другой, непохожей на все предыдущие жизнью живут теперь их землячки — сибирские колхозницы. Но значит ли это, что проблема женской судьбы решена и ничто больше не стоит на пути к счастью?

Несмотря на многочисленные перемены к лучшему в социальной жизни народа, одно неизменно: современная женщина по-прежнему остается в своей, уготованной ей природой роли продолжательницы человеческого рода, воспитательницы его будущих поколений, что уже само по себе невозможно без атмосферы любви и человечности. Современная женщина ничуть не меньше, чем в свое время Анна Аркадьевна Каренина или Анна Сергеевна фон Дидериц, занята все тем же, огромным для нее вопросом любви, без которой счастье ее не может быть полным даже в самом гармоническом обществе. Более того, оказывается, что там, где ее нет, этой злосчастной любви, надобно ее выдумать и обратить к объекту реальному или вымышленному, ибо даже любовь не всамделишная, воображаемая придает миру женщины новое содержание, наполняет ее духовностью, без чего не очень уютно было бы на этой земле и той половине человечества, которая

по возможности целиком посвящает себя борьбе за научно-технический прогресс, — мужчинам.

Но, очевидно, со временем любовь будет «стоить» все более дорого. Как уже замечено в жизни, вековой объект женской любви — мужчина заметно утрачивает свойственный ему примат сильнейшего по сравнению с женщиной, а значит, и «лучшего», каким он являлся в прошлом, будучи воином-защитником (Мещеряков) или рачительным землепашцем-хозяином (Чаузов), и нередко становится таким же, как и она (Ирина Викторовна), служащим, «технарем», заведующим отделом, стоящим на служебной лестнице иногда чуть повыше ее, а иногда и пониже. Но каково-то женщине любить того, кто «пониже», и не только в служебном отношении, а в других тоже, каким является, например, Мансуров-Курильский?

Можно эту проблему рассматривать как угодно, и объяснять то ли историческим ростом социально-общественной роли женщины, то ли снижением роли мужчины, можно ее понимать как благо или наоборот, но суть проблемы от этого не изменится. Для реализации естественного человеческого дара любви нужен достойный этой любви объект, иначе любовь угрожает превратиться в нечто сугубо рациональное, лишенное и страсти и поэзии.

Мне думается, что последний роман С. Залыгина именно об этом.

Во всяком случае очевидно, что проблематика его уже сама по себе способна возбудить споры. И такие споры, как известно, возникли. Я допускаю, что к роману можно отнестись по-другому, «прочитать» его иначе. Но ведь произведение новаторское всегда спорно. И даже оспаривая социально-нравственную проблематику романа, подобает ли проходить мимо многих его прочих достоинств — мастерски выверенной формы, его изящного, даже виртуозного стиля, где почти каждая фраза — законченная художественная фигура, а весь роман — сплошная, почти не прерывающаяся психологическая цепь, составляющая внутренний мир героини, подробно исследованный и точно изложенный отличным языком автора.

Вряд ли кто решится оспаривать сейчас тот факт, что наша литература заметно обогатилась суровыми и прекрасными страницами, вышедшими из-под пера этого даровитого мастера — Сергея Залыгина. Талант потому и талант, что, приглядываясь к жизни, видит в ней даль-

ше и слышит больше, нежели многие другие, и потому поучительны даже его явные, а тем более кажущиеся недостатки.

Для Сергея Залыгина нынешний год — юбилейный. Ему исполняется шестьдесят, что можно считать возрастом творческой зрелости. Писатель постоянно в работе. Большая общественная и литературно-преподавательская деятельность не является помехой для его главного дела — литературы, которой он отдается без устали и самозабвенно. Он знает, что за него никто не сможет написать то, что дано написать только ему одному. Вслед за писателем мы можем повторить его же слова, сказанные им по другому поводу, но в равной степени относящиеся и к сказавшему их, — о том, что литература для него отнюдь не цель, а лишь средство выражения истины, гораздо более высокой и значительной, чем его искусство и он сам.

* * *

Около тридцати лет назад Сергей Павлович Залыгин вошел в большую литературу со страниц «Нового мира», который тогда редактировал незабвенный Александр Твардовский, любивший и умевший открывать таланты в самых отдаленных уголках России.

Это его появление в столь серьезном журнале было естественным и правомерным: располагая недюжинным жизненным опытом, Сергей Залыгин принес в литературу ряд важных жизненных проблем, отразив их с глубиной и блеском истинного таланта. Последующие публикации С. Залыгина сделали его имя широко известным в стране, некоторые из них вызвали серьезные споры в литературных кругах, но ни одно из произведений Сергея Залыгина не оставляло читателя равнодушным, так или иначе затрагивая самые болевые точки в сознании современного человека.

Обладая разносторонним литературным дарованием, которому по плечу художественное воплощение самых различных сторон человеческого бытия, Сергей Залыгин тем не менее снискал всеобщее признание, как знаток деревни, психологии широких крестьянских масс Сибири в годы революционного перелома и последующих социальных преобразований в России. Теперь, по прошествии ряда лет, особенно видно непреходящее значение для литературы самобытных залыгинских образов — Чаузова, Ме-

щерякова, Брусенкова, целой плеяды крестьянских характеров из его «Комиссии», колоритных и обаятельных женских образов, густо рассыпанных по страницам залыгинских произведений. Литературный талант Залыгина неизменно подкупает своей жизненной емкостью и многогранностью, нередко поражая широтой писательского познания, глубиной постижения характеров и эпохи. Залыгин умеет услышать и передать на своих страницах и гневный гул революционной толпы, и тихий, исстрадавшийся голос женщины, задавленной жизнью, обстоятельствами, страхом за ее малолетних детей. Не чужды ему и дела наших современников, людей эпохи НТР, их далеко не традиционные заботы, характеры научных работников с их специфическими проблемами, в чем, естественно, проявляется давнишний авторский интерес к науке — предмету увлечения его молодости.

Натура активно и честно мыслящая, Сергей Залыгин сочетает чисто писательскую работу с важным и естественным в таких случаях осмысливанием опыта современников, равно как и наших великих предшественников. Его «Литературные раздумья», а также очерк о творчестве А. Чехова явились плодом именно такого вдумчиво-аналитического подхода к литературным урокам прошлого, осознанию их значения в современном отечественном и мировом литературном процессе.

Наблюдая за общественной стороной жизни С. Залыгина последних лет, нельзя не подивиться его творческой и чисто гражданской активности, широте его интересов, живости и «подъемности», с которыми он отзывается на различные общественно-литературные мероприятия, будь то поездка в далекое Заполярье, осмысление насущных проблем братской латышской литературы или обсуждение состояния венгерской прозы. Он же на удивление по-молодому читающий писатель, отлично осведомленный о последних достижениях молодой прозы, опекающий многих из начинающих авторов. И к нему идут, потому что его знают и любят, на него по праву надеются.

Семь десятков лет — срок, пожалуй, немалый, в иных случаях целиком вбирающий жизнь и судьбу человека. Но, как это засвидетельствовано многими примерами, истинному таланту возраст не помеха для его выражения: обогащенный жизненной и художнической мудростью, он плодоносит с новой, не менее замечательной, чем прежде, энергией. Что касается Сергея Залыгина, то все последние годы писатель занят напряженной работой

над, может быть, главной книгой своей творческой жизни — романом «После бури», первая часть которого вышла в прошлом году. Есть все основания полагать, что это будет поистине значительное явление в нашей литературе, плод зрелого ума и пытливой мысли художника, которому подвластны все стороны человеческого существования.

Новых свершений Вам, дорогой Сергей Павлович!

1973, 1983 гг.

В ДЕНЬ ЮБИЛЕЯ

Непреложен и значителен тот несомненный факт, что духовная культура народа на путях своего исторического развития обогащается в значительной степени усилиями лучших его сыновей, его бескорыстных подвижников. Сам процесс этого обогащения никогда не прост и всегда чрезвычайно труден. Прошлое каждой культуры изобилует примерами драматических столкновений талантов с силами реакции, косности, консерватизма. В этом отношении дореволюционная судьба Коласа, равно как и судьба его друга и сподвижника Янки Купалы, не была исключением и потребовала от обоих еще большего, чем их так пронзительно и рано заявившие о себе поэтические таланты. Все было на их тернистом пути: и горячая поддержка одних, и упорное сопротивление других, признание обоих в качестве национальной надежды и гнуснейшее полицейское преследование, публичные овации и печатное глумление над их исторгнутыми из сердец строками. Многое пришлось пережить обоим, и прошли годы, прежде чем их имена стали тем, чем они являются ныне.

Купала и Колас встали в начале века у истоков новой белорусской литературы, возрожденной поэзии; Коласу, кроме того, уготовано было далеко подвинуть в своем развитии национальную прозу, вдохнуть в нее живую народную жизнь — нелегкую жизнь белорусского крестьянина, каким он был сам по рождению и, по существу, оставался на протяжении всей своей жизни. Но, помимо всего, судьбе было угодно, чтобы этот крестьянин стал еще и одним из первых белорусских интеллигентов, и вот в этом двуединстве исконной крестьянской сущности и нелегко обретенной духовности секрет непреходящего обаяния коласовского таланта, таланта необычайной земной силы, позволившей создать произведения, уве-

ренно завладевшие умами рабочих, крестьян, интеллигенции.

Да, Колас наш национальный гений, классик советской литературы, понимавший много и видевший далеко — с высоты своего человеческого опыта и своего замечательного таланта. И в то же время он оставался человеком простым, до невероятного скромным. Так, занимаясь большими проблемами века, много сил отдавал работе в Академии наук Белоруссии в качестве ее вице-президента, он отводил душу на скромной делянке ржи, которую выращивал на своем городском участке, писал мудрые книги и являлся инициатором такой сугубо земледельческой кампании, как борьба с засоренностью почвы камнями на полях республики.

Он ушел от нас, оставив обширное наследие своего беспокойного духа, многообразные художественные страницы народной жизни первой половины XX века. В них и он сам. Но и не только в них. Все-таки как бы там ни было, а творец выше своего творения, и самое гениальное произведение не может превзойти его автора. Человек есть бог над творением рук его, но не его раб. Мне думается, что по прошествии лет потомкам еще предстоит осознать всю непростую цельность многогранной коласовской личности, в полной мере постичь феномен его души. Его художественное творчество несет в себе огромный заряд добра и человечности, важность которых в наш термоядерный век переоценить невозможно. Вместе со столь ярко и полно выраженной партийностью и народностью они составляют глубинную сущность коласовского гения.

1982 г.

КАК БЫЛА НАПИСАНА ПОВЕСТЬ «СОТНИКОВ»

На читательских конференциях, в письмах и личных разговорах нередко приходится слышать, казалось бы, обескураживающий в моем положении вопрос: «Как вы, не обладая личным опытом партизанской войны, решились написать эту повесть?» Признаться, всякий раз, отвечая на него, хочется начать издалека, сослаться на природу творческого воображения, законы художественной литературы, пример великих. Но, поразмыслив, находишь другой ответ, который лежит значительно ближе и формулируется также в форме вопроса:

— А разве эта повесть о партизанской войне?
— Да не совсем. Но все-таки...
Действительно — все-таки...
Партизанский опыт войны у меня в самом деле отсутствует, и, разумеется, обладай я им в достаточной степени, возможно, повесть получилась бы более богатой деталями, обстоятельствами, с более конкретным и содержательным фоном. Но дело в том, что, принимаясь за нее, я все-таки располагал необходимыми знаниями, которые почерпнул из воспоминаний партизанских руководителей, из многочисленных устных рассказов рядовых участников борьбы, моих земляков. Вот, скажем, овца, которую герои повести хотят доставить в свой лагерь. Этот эпизод был заимствован мной из рассказа одного из друзей-гродненцев, досконально знающего все, что относится к своеобразию партизанского быта. Такого рода рассказов, воспоминаний в любом из уголков Белоруссии в избытке, и только ленивый или глухой может игнорировать их. В этом смысле главная моя трудность заключалась не в недостатке информации, а скорее в ее изобилии, затруднявшем отбор, в непричесанности огромного многообразия фактов, их нежелании подчиниться привычным сюжетным схемам.

Но, разумеется, взялся я за повесть не потому, что слишком много узнал о партизанской жизни, и не затем, чтобы прибавить к ее изображению нечто мною лично открытое. Прежде всего и главным образом меня интересовали два нравственных момента, которые упрощенно можно определить так: что такое человек перед сокрушающей силой бесчеловечных обстоятельств? На что он способен, когда возможности отстоять свою жизнь исчерпаны им до конца и предотвратить смерть невозможно?

Всякий знающий о войне не понаслышке легко поймет всю огромную важность этих вопросов, не один раз встававших перед теми, кто сражался с оружием в руках. Мне думается, как фронтовикам, так и партизанам одинаково памятны случаи из их собственного боевого опыта, когда эти и подобные вопросы приходилось решать не умозрительно, а практически, ценой крови, ставя на карту жизнь. Но ведь никому не хотелось лишаться своей единственной и такой дорогой ему жизни, и только необходимость до конца оставаться человеком, заставляла идти на смерть. В то же время находились люди, которые пытались совместить несовместимое — сохранить жизнь и не погрешить против человечности, что

в определенных, трагических обстоятельствах оказывалось невероятно трудным, если не совсем безнадежным.

Много лет в моей памяти жил один случай, нелепый своей парадоксальностью, настойчиво будораживший мое сознание.

Это произошло в августе 44-го, в самый разгар Ясско-Кишиневской операции, когда наши войска успешно прорвали оборону противника, окружили кишиневскую группировку гитлеровцев, взяли большое количество пленных. Как-то во время наступления за Прутом начальник артиллерии полка, в котором я служил командиром взвода, послал меня за несколько километров в тыл, чтобы встретить и завернуть на другую дорогу заплутавший где-то транспорт с боеприпасами. Вдвоем с разведчиком мы прискакали на лошадях в какое-то румынское село западнее станции Унгены. Здесь в большом, обнесенном изгородью дворе располагался сборный пункт для военнопленных, и в огромном загоне стояли, сидели и лежали на истоптанной траве сотни румын и немцев. Проезжая мимо, я рассеянным взглядом скользил по их постным лицам, на которых уже не было и тени воинственности, а было тупое выражение отвоевавшихся, усталых, разморенных жарой людей. И вдруг загорелое небритое лицо одного из тех, что безучастно сидели в канаве у самой изгороди, показалось мне знакомым. Пленный тоже задержал на мне свой отрешенный взгляд, и в следующее мгновение я узнал в нем когдатошнего моего сослуживца, который с осени 43-го считался погибшим. Более того, за стойкость, проявленную в тяжелом бою на Днепровском плацдарме, за умелое командование окруженным батальоном, в котором он был начальником штаба, этот человек «посмертно» был удостоен высокой награды. О нем рассказывали новому пополнению, о его подвиге проводили беседы, на его опыте учились воевать. А он вот сидел теперь передо мной в пропотевшем немецком кителе с трехцветным шевроном на рукаве, на котором красноречиво поблескивали три знакомые буквы «РОА».

Я придержал лошадь, слез на обочину возле нескольких ржавых нитей колючей проволоки и долго не мог сказать ни слова. Я смотрел на него, а он также молча смотрел на меня, но в отличие от меня не удивлялся. Он уже перестал удивляться, но, видно, поняв, что молчанием не обойтись, сказал после тяжелого вздоха:

— Вот так оно получается!

— Как же это случилось?

В его печальных глазах не было ни злобы, ни отчаяния, была только тихая покорность судьбе, на которую он не замедлил сослаться.

— Что делать! Такова судьба.

Потом мы поговорили немного. Он попросил закурить и кратко поведал печальную и одновременно страшную в своей уничтожающей простоте историю. Оказывается, в том памятном бою на плацдарме он не был убит, а был только ранен и попал в плен. В лагере, где он потом оказался, сотнями умирали от голода, а он хотел жить и, вознамерившись обмануть немцев, записался во власовскую армию с надеждой улучить момент и перебежать к своим. Но, как назло, удобного момента все не было, фронт находился в жесткой обороне, а за власовцами зорко следили гитлеровцы. С начала нашего наступления ему пришлось принять участие в боях против своих, хотя, разумеется, он стрелял вверх: разве он враг своим? — утешал он себя. В конце концов оказался в плену, конечно же, сдался сам, иначе бы тут не сидел...

Я слушал его и верил ему: он говорил правду. Безусловно, он не был из числа тех, которые жаждали служить врагу, его личная храбрость и воинское мастерство были засвидетельствованы высокой наградой. Просто, оказавшись в плену, он превыше всего поставил собственную жизнь и решил обхитрить фашистов. И вот плачевный результат этой хитрости...

Такой не очень сложный, хотя и не прямой путь привел меня к осознанию той нравственной идеи, которая послужила основой повести «Сотников». Для художественного воплощения ее понадобились соответствующие характеры и подходящие для них обстоятельства. Можно было бы остановиться на выше приведенной истории или на схожем материале из фронтовой действительности, но мне более привлекательным показалось партизанское прошлое с его меньшей регламентированностью, значительно большей долей случайного, стихийного, наконец, с известной пестротой, разнохарактерностью его человеческой массы. В качестве основных героев я взял двух партизан, почти товарищей, но не друзей, не хороших и не плохих — разных. Каждый из них исповедует свои моральные принципы, обусловленные воспитанием, нравственной и духовной сущностью. Сотников по натуре вовсе не герой без страха и упрека, и если он честно умирает, то потому прежде всего, что его нравственная основа в дан-

ных обстоятельствах не позволяла ему поступить иначе, искать другой конец. Рыбак тоже не подлец по натуре; сложись обстоятельства иначе, возможно, проявилась бы совершенно другая сторона его характера и он предстал бы перед людьми совсем в ином свете. Но неумолимая сила военных обстоятельств вынудила каждого сделать самый решающий в человеческой жизни выбор — умереть достойно или остаться жить подло. И каждый выбрал свое.

В подавляющем большинстве своих откликов читатели становятся на сторону Сотникова, хотя некоторым и не совсем по душе его человеческая жесткость, аскетический максимализм, которые несколько сушат образ, обедняют его житейски. Но нельзя упускать из виду, как много пришлось пережить этому еще молодому человеку (разгром полка, плен, побег, болезнь, ранение и новый плен), чтобы понять, как ожесточилась его душа. Некоторым больше импонирует прагматическая натура Рыбака, который почти до конца в общем-то сносно относится к Сотникову и в труднейших обстоятельствах плена не теряет надежды на спасение, хотя, может, и не совсем благовидным путем. Со своей стороны, я бы мог заметить только, что прагматизм терпим, когда он не переступает социально-нравственных основ нашего человеческого общежития. Да, разумеется, трудно требовать от человека высокой человечности в обстоятельствах бесчеловечных, но ведь существует же предел, за которым человечность рискует превратиться в свою противоположность!

Об этом повесть.

Фон, как я уже сказал, мог бы получиться более конкретным, хотя во всем, что касается обстоятельств, я старался быть максимально точным. Кажется, в целом это удалось, я избежал приблизительности, тем более неточности в деталях и обстоятельствах. После нескольких публикаций читатели не обнаружили сколько-нибудь серьезных погрешностей, разве кроме одной. Читатель-астроном из Москвы сообщил, что молодой месяц, который появляется в небе вечером, не может светить и ночью: к полуночи он должен зайти. Это верно, и я это исправил.

Повесть, как это ни странно, если иметь в виду вышесказанное, писалась относительно легко. Вся работа шла строго последовательно. Оттолкнувшись от первого, счастливо найденного, хотя, возможно, и не нового в литературе образа ночной зимней дороги и в общем-то зная

своих героев, ощущая их характеры и представляя их прошлое, я легко руководствовался логикой их поведения, их реакцией на события. Как всегда, главную трудность представляло начало. «Откуда начать?» — вот вопрос, который обыкновенно занимает прозаика больше других. Начать следует так, чтобы это было не слишком далеко, но и не слишком близко. В первом случае экспозиция грозит затянуться, появятся не всегда обязательные подробности, во втором — не успеет читатель присмотреться, привыкнуть к героям, как начинаются решающие события. Поскольку действие этой повести развивается непрерывно (или почти непрерывно) и продолжается каких-нибудь двое суток, пришлось концентрировать события, иногда форсировать сюжет, чтобы каждый час литературного бытия героев был максимально насыщен смыслом и действием.

Я не вел записных книжек, предварительно не запасался деталями, но замысел старался обдумать основательно и так разработать сюжет, чтобы к моменту начала работы над повестью мне все о ней было известно. Разумеется, в ходе работы стали неизбежными некоторые отступления от первоначального плана, появились какие-то новые, более выигрышные ходы, от каких-то, даже очень заманчивых, моментов, пришлось отказаться. Так, первоначально вся предыстория девочки Баси была подана автором отдельной главой, но потом пришлось этой главой пожертвовать — передать слово самой героине.

Как правило, работе над каждой вещью у меня предшествует, кроме максимально разработанного плана, еще и скрупулезно продуманный финал. Без ясного представления о том, чем должна закончиться повесть, я не приступаю к ее началу. В тех нескольких случаях, когда пришлось приниматься за работу, отодвинув разработку финала «на потом», вещи решительно не удались именно по причине неудовлетворительного финала. (Разумеется, это только мое личное правило, вполне вероятно, что другие работают иначе и метод их работы более для них успешен, но для меня успешнее мой, в этом я достаточно убедился.) Вообще же, поскольку проза, как известно, требует мыслей, каждый сюжетный поворот, каждый образ в ней следует осмысливать максимально, до мельчайших подробностей, не полагаясь на все вывозящую силу пусть и верно угаданных характеров. Наше осмысление логики характеров и обстоятельств и есть наш диктат над литературной моделью, в которой все или почти все оп-

ределяет автор сообразно со своей целью, идеей, художническим вкусом. Известную пушкинскую фразу о своеволии Татьяны, на мой взгляд, не следует понимать буквально — она не более чем шутка, к которой нередко бывают склонны писатели.

В «Сотникове» я с самого начала знал, чего хочу в конце, и последовательно вел моих героев к сцене казни, где один помогает вешать другого. Не желая того, переживая. Но уж такова логика фашизма, который, ухватив свою жертву за мизинец, не остановится до тех пор, пока не проглотит ее целиком.

Написанная по-белорусски, повесть эта сначала появилась в переводе на русский язык и только спустя полгода была опубликована в белорусском журнале «Полымя». Тому было несколько причин, и одной из них явилась всегда остро стоящая перед нашими братскими литературами проблема художественного перевода. Я навсегда благодарен переводчикам, немало сделавшим для популяризации моих произведений среди многомиллионного всесоюзного читателя, но мой личный опыт достаточно убедил меня в том, что переводить на русский язык должен по возможности сам автор. И дело тут не в степени литературного мастерства автора или переводчика — как правило, последний владеет русским языком совершеннее, — но в недостаточно еще исследованных особенностях перевода на русский язык с родственных ему языков. Кажущаяся легкость перевода, значительная тождественность лексики белорусского и русского языков властно держат переводчика в плену приблизительности, порождая в итоге нечто третичное, усредненное и обесцвеченное, что, хотя и написано по-русски, неистребимо несет на себе все признаки сырого подстрочника. Но ведь самый удачный подстрочник еще не перевод, и чтобы превратить его в произведение русской литературы, следует заново переосмыслить образный строй оригинала, дать ему новое выражение — на современном русском литературном языке. Конечно, это трудная и сложная работа, она, я думаю, не под силу никому, кроме самого автора, если он чувствует уверенность в том, что в достаточной мере владеет русским языком.

Обычно при работе над переводом продолжается и работа над языком оригинала. В переводе сразу, порой совершенно неожиданно проявляются различные стилевые несовершенства оригинала, уточняется психология героев, некоторые мотивировки их поступков. В ряде слу-

чаев та или иная мысль или образ получают большую выразительность именно на русском языке, в других же, наоборот, — точному белорусскому выражению так и не удается найти исчерпывающий русский эквивалент. Особенно это касается народных речений, диалектизмов, а также некоторых синонимов и метафор, свойственных белорусскому и отсутствующих в русском языке. Оба языка в процессе авторского перевода непрерывно взаимодействуют, попеременно влияя один на другой. Разумеется, язык оригинала остается преимущественным, определяющим, но нередко он теряет свое преимущество и сам изменяется, приспосабливаясь к языку перевода. Это интересная, иногда захватывающая и еще по-настоящему не изученная область литературного творчества, в полную силу проявляющая себя только при авторском переводе...

Разумеется, все сказанное лишь часть личного авторского опыта, некоторые штрихи к истории создания одной небольшой повести. В других случаях, возможно, все будет обстоять иначе. Писатель может только приветствовать это «технологическое» разнообразие, являющееся предпосылкой разнообразия творческого.

1973 г.

НЕСКОЛЬКО СЛОВ ОБ «АЛЬПИЙСКОЙ БАЛЛАДЕ»

Группа студентов биологического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова просит меня рассказать в газете о предыстории создания одной из моих повестей...

Это произошло в самом конце войны в Австрийских Альпах, куда уже властно вошла последняя военная весна и с ней мощным потоком хлынули войска двух наших фронтов.

Здесь был глубокий тыл немецкого рейха и, как всюду в его тылу, было много работавших на войну промышленных предприятий и, конечно, всяческих лагерей: концентрационных, военнопленных, рабочих. С приходом Советской Армии все они приходили в движение, охрана разбегалась, дороги и населенные пункты наводнялись многими тысячами людей, согнанных из всех стран Европы.

Однажды мы заняли какой-то городок и ждали новой команды. Длинная колонна артполка, повернув к обочи-

не, замерла на вымощенной брусчаткой окраинной улочке. Кажется, это был Фельдбах или, может быть, Глейсдорф — память сохранила общий вид городка, но совершенно утратила его название. Солдатам не было разрешено отлучаться из машин, мы вот-вот должны были свернуть с прежнего направления, и начальство в командирском «виллисе» что-то решало на карте.

В кабине «студебеккера» сильно пригревало солнце, после бессонной ночи клонило в дрему, и я вылез на улицу. Солдаты в кузовах тоже сидели, разомлевшие от тепла, и дремотно «клевали» носами; по мостовой вдоль машин прошла группа вырвавшихся на свободу исхудавших экспансивных людей в темных беретах. Они несли национальный французский флаг, распевали «Марсельезу» и что-то прокричали нам, но мы не поняли, и только старшина Лукьянченко добродушно помахал им из кузова — давай, мол, не стоит благодарности. Освободили, так что ж... Это нам семечки.

И тут возле одной из дальних машин на глаза мне попалась девушка — щупленькая, черноволосая, в полосатой куртке и темной юбочке, она перебирала взглядом лица бойцов в машине и отрицательно вертела головой. А в машине уже началось обычное в таком случае оживление: что-то там наперебой выкрикивали бойцы, но она, погасив улыбку, перешла к следующей машине.

— Товарищи, кто есть Иван?

— Иван? — вскочил крайний боец. — Я Иван, вот он Иван, и шофер наш тоже Иван.

Исполненное надеждой лицо девушки постепенно скучнело по мере того, как она переводила взгляд с одного Ивана на другого, и она с тихой печалью молвила:

— Но. То нон Иван.

Что-то заинтересовало меня в этих ее поисках, и я подождал, пока она, повторяя все тот же вопрос, не обошла всю колонну. Разумеется, Иванов у нас было много, но ни один из них не показался ей тем, кого она разыскивала. Тогда мы вместе с командиром третьей батареи капитаном Коханом подошли к девушке и спросили, какого именно Ивана она разыскивает.

Девушка сначала немного всплакнула, но быстро овладела собой, рукавом куртки вытерла темные блестевшие глаза и, окинув нас испытующим взглядом и страшно перевирая русские и немецкие слова, густо пересыпанные итальянскими, рассказала примерно следующее.

Ее зовут Джулия, она итальянка из Неаполя. Год на-

зад, летом сорок четвертого, во время бомбежки союзной авиацией расположенного в Австрии военного завода она бежала в Альпы. После недолгого блуждания по горам встретила русского военнопленного, тоже бежавшего из концлагеря, и они пошли вместе. Сначала он не хотел брать ее с собой, так как пробирался на восток, ближе к фронту, она же хотела на родину, в Италию, откуда была вывезена после подавления восстания в Неаполе и брошена в немецкий концлагерь. Несколько дней они проблуждали в горах, голодные и раздетые, перешли заснеженный горный хребет и однажды в туманное утро напоролись на полицейскую засаду. Ее схватили и снова бросили в лагерь, а что случилось с Иваном, она не знает. Но она очень надеется, что он избежал ее участи, пробрался на фронт и теперь вместе с Красной Армией снова пришел в Австрию.

Конечно, это было наивно — надеяться встретить в огромнейшем потоке войск знакомого парня; мы, как могли, утешили девушку и поспешили к своим машинам, потому что уже была подана команда к движению.

В тот же день под вечер начался затяжной бой за очередной городок, вскоре погиб капитан Кохан, я почти забыл об этой мимолетной фронтовой встрече и вспомнил о ней лишь спустя восемнадцать лет, когда занялся литературой. И тогда я написал все то, что вы прочитали в «Альпийской балладе».

Вот и вся коротенькая история — пролог к одной из моих повестей, заинтересовавших группу студентов из Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова.

1971 г.

СЛОВО ОБ УЧИТЕЛЕ

Во время его нелегкой продолжительной болезни все, кому дорога литература, не переставая, следили за этим почти двухлетним единоборством большого человека с недугом, в котором, как это ни огорчительно, победила смерть. Да, как и все люди, будучи смертным, он в конце концов ушел в небытие, и как в утешение нам остались его книги, его бессмертные поэмы, которые своим теплом долго еще будут согревать человеческие души.

От самой молодости и почти через всю сложную и нелегкую жизнь ему сопутствовала тем не менее удивитель-

но счастливая литературная судьба. Нечасто так случается в искусстве, чтобы слава, пришедшая к художнику в ранней молодости, с таким неизменным постоянством служила ему всю жизнь. Но тут, пожалуй, дело не столько в достоинствах самой славы, сколько в определенной удачливости ее в общем капризного выбора — этот художник, несомненно, заслуживал и большего.

Он прожил немногим более шестидесяти лет, в течение которых им, быть может, более чем кем-либо другим сделано для расцвета и без того не бедной талантами русской литературы.

Глубоко национальный и в то же время чрезвычайно общечеловеческий его герой встает со страниц его многочисленных книг, посвященных, как правило, самым значительным моментам полувековой советской действительности — от коренного переустройства сельского хозяйства в годы коллективизации, через финскую и Великую Отечественную войны, послевоенный восстановительный период, годы покорения космоса. Его поэмы «Страна Муравия», «Василий Теркин», «Дом у дороги», «За далью — даль» давно уже стали классикой советской поэзии. Каждая из этих поэм в свое время становилась явлением, за каждой из них — сложная история ее создания, критические баталии или единодушное признание при их первом же появлении в печати. Завидная судьба!

Как и в прежние годы, так и теперь, после его смерти, будет немало попыток раскрыть его поэтический феномен, разгадать секрет его ошеломляющей популярности, разобраться в сложном разнообразии его творчества, начатого в провинциальной газете с небольшого стихотворения под названием «Новая изба». Как всегда в таких случаях, трудно избежать определенного риска и безусловной относительности в определении художнической природы поэта, основа которой, конечно же, в органичности его таланта. Но, кажется, есть все основания утверждать, что его кристальную по классической чистоте поэтику более всего отличает от множества других несомненных талантов его необычайная и неизменная во времени верность таким многоопределяющим в литературе категориям, как Правда, Простота и Искренность.

Думается, именно эти качества при высокой степени гражданственности и выразительности поэтического таланта обеспечили столь высокий успех его поэмам, его тихой, но такой емкой на чувства лирике. Тут, пожалуй, ему повезло в самом начале, потому что то, к чему обы-

чно приходят в конце пути, после ряда мучительных неудач и длительных поисков и без чего невозможно искусство, если оно не хочет превратиться в пустую забаву для снобов, это необходимо было счастливо постигнуто им в самом начале. В зачине своей «Книги про бойца», перечислив то, без чего невозможно обойтись на войне, автор выражает главнейший свой вывод, что «всего иного пуще не прожить наверняка — без чего? Без правды сущей, правды, прямо в душу бьющей, да была б она погуще, как бы ни была горька».

Этой его пронзительной «прямо в душу бьющей» правдой крепко мечены все его поэмы, статьи, его выступления, вся его военная лирика — от стихов, написанных им в снегах Карельского перешейка, до знаменитого «Я убит подо Ржевом» или недавнего одиннадцатистрочья, совершенно беспощадно-пронзительного в своей смысловой и эмоциональной емкости: «Я знаю, никакой моей вины в том, что другие не пришли с войны, в том, что они — кто старше, кто моложе — остались там, и не о том же речь, что я их мог, но не сумел сберечь, — речь не о том, но все же, все же».

Можно пространно рассуждать о многом, что касается его поэм и стихов, давних и написанных в последнее десятилетие его жизни, о его человеческих и гражданских чертах. Писал он вообще немного и в последние годы печатался мало, зато каждая его строчка была откровением для читателя независимо от того, было ли это коротенькое лирическое стихотворение вроде приведенного выше, или «В живых-то меня уже нету...», или основательная литературоведческая статья, как например, о творчестве И. Бунина, или предисловие к чьим-либо публикациям в журнале, много лет им возглавляемого. Не так давно напечатаны его дневники-воспоминания «С Карельского перешейка», которые не могли не взволновать каждого своей неожиданной новизной во взгляде на ту недолгую, почти уже позабытую войну. Интересно заметить, что эта небольшая публикация открывает собой четко обозначенные истоки Твардовского-баталиста, автора бессмертной «Книги про бойца». Именно там зимой 1940 года явилась к нему тема Василия Теркина, которую затем он пронес через всю мучительно долгую Великую Отечественную войну и которая окончательно закрепила за ним славу одного из самых замечательных советских поэтов.

Помимо многих других достоинств, в этих записках

обращает на себя внимание необычайная авторская наблюдательность, его на удивление свежая, не замутненная временем память, просто невероятная без чего-то существенно-личностного, чем владеет далеко не каждый даже из одаренных художников. Художественная выразительность каждой самой незначительной на первый взгляд детали, глубинное проникновение мысли, отсутствие даже отдаленного отзвука вторичности, явное наличие действительно гуманистической первоосновы сближает эту прозу Твардовского с самыми замечательными произведениями советской литературы и, кроме того, с «Севастопольскими рассказами» Л. Толстого.

При самых, может, чрезмерных допущениях трудно переоценить его влияние на советскую поэзию послевоенных лет, да и на прозу тоже. Вряд ли кто найдется в нашей литературе, кто бы мог посоревноваться с ним в деле воспитания молодых русских и не только русских писателей. Надо полагать, что в этот скорбный час прощания вместе с многими другими не обойдут его искренней признательностью и многие наши белорусские авторы, начиная от маститого Аркадия Кулешова, творчество которого он всегда чрезвычайно высоко ценил, и кончая теми, кто помоложе, — А. Вертинским, В. Адамчиком, автором этих строк, чьи произведения в свое время имели случай попасть на его редакторский стол. Проходя у него суровую по своей требовательности школу литературы, мы постигали высоту ее идеалов, избавлялись от налета провинциального верхоглядства, учились не пугаться несправедливости критических приговоров. И если такие приговоры случались, он не имел обыкновения оставлять беззащитного автора, торопливо лишать его кредита доверия. Наоборот, какая бы неудача ни постигла автора, если он поверил в него, то уже не изменял этому доверию и поддерживал, насколько было возможно. Отступничество было совершенно чуждо его характеру.

Литература создается не на один день и не для потреб какой-либо из очередных кампаний — ее жизнь измеряется десятилетиями, и каждая книга живет тем дольше, чем больше в ней заложено от правды народной жизни. Именно заботами о долговечности литературы и ее правдивости были пронизаны его известные выступления на партийных и писательских съездах, на встречах с журналистами и читателями. Отвечая на упреки некоторых критиков относительно его неприязни к романтическому течению в литературе, он говорил, что дело не в

течении, а в каждом конкретном литературном произведении. И если это произведение захватывает душу, дает читателю жизненную радость познания, «я менее всего озабочен выяснением того — романтизм это в чистом виде или еще что. Я просто благодарен автору за хороший подарок, — говорил он. — Но если мне подносят что-то ходульное, где жизнь дается в таких условных допущениях так называемой «приподнятости», что хочется глаза закрыть от неловкости, и говорят, что это надо читать, это романтизм, то я говорю — нет».

Он часто напоминал известную в литературе истину, что главным критерием достоинства любой книги является степень обязательности ее появления в данное время. Отметая все формалистические выверты, хотя и не отрицая значения литературного эксперимента в целом, он решительно становился на защиту интересов читателя. В этом смысле он высоко ценил такие далеко не традиционные по форме, но полные социального значения произведения западной литературы, как «Чума» А. Камю, «Носорог» Э. Ионеску, «По ком звонит колокол» Э. Хемингуэя, фильм «Евангелие от Матфея» Пазолини. Рассуждая на тему слитности формы и содержания, он говорил, что безответственность, беззаботность относительно формы очень часто влечет за собой безразличие читателя к содержанию произведения, так же как и беззаботность относительно содержания способна обернуться безразличием читателя к самой утонченной форме.

«Искусство мстительное, — говорил он. — Оно жестоко расправляется с теми художниками, которые сознательно или несознательно изменяют его основным законам — законам правды и человечности».

В этом замечательном пророчестве его завет нам, тем, кто волею судьбы пережил его, кому продолжать его дело, отстаивать в литературе дорогие для него идеи добра и справедливости.

1979 г.

ВСЁ МИНЕТСЯ, А ПРАВДА ОСТАНЕТСЯ...

Известно, что жизнь состоит не только из праздников, которых, как ни много в календаре, все же гораздо меньше, чем будней, наполненных трудом и заботами, перемежающихся чередой неудач, порой нежданно-негаданно обрушивающихся на наши головы, как снег с чисто-

го неба. Особенно огорчительны, если не больше, первые неудачи, последовавшие за первым же кажущимся или вполне правомерным успехом, они ранят больно и надолго; случается, что даже самые многоопытные и мужественные из людей готовы спасовать, растеряться, надолго впасть в уныние. А что уж говорить об авторе двух-трех жиденьких книжонок, только обретшем свое литературное имя и представшем перед всесоюзным читателем...

Разумеется, было нелегко. Град безапелляционных критических приговоров не оставлял сомнения в полнейшем крахе, чувство стыда и уязвленного самолюбия вызывало желание уйти в себя, замкнуться, обособиться от людей — пережить неудачу терпеливо и молча. Обстоятельства толкали к пересмотру своих собственных творческих возможностей, подмывало усомниться в самом жизненном опыте, который сослужил столь предательскую службу автору. И без того незавидное положение усугублялось еще и тем обстоятельством, что добрая половина критических залпов приходилась по журналу, с известным риском опубликовавшему незадачливое произведение и выдавшему известный аванс доверия тому, кто теперь так подвел всех. Это последнее угнетало больше всего. При всей готовности терпеливо влачить свой крест неудач недоставало мужества видеть его на плечах тех, кто в чем-то переплатил тебе и теперь расплачивался хотя и не новым в литературе, но всегда чувствительным образом.

Наверно, следовало бы написать, может быть, объяснить что-то и извиниться — в конце концов, общие интересы литературы всегда важнее личных терзаний автора. Но извиниться означало признать неправоту, свое фиаско и, может быть, бросить тень на искренность своих намерений, которые тем не менее упрямо не хотели поступаться малейшей толикой своей искренности. Намерения были самые лучшие, и они страдали больше всего. Да и опыт оказался ни при чем. Опыт был самый обыкновенный, солдатский, каким обладали многие тысячи, если не миллионы, рядовых участников войны, теперь довольно единодушно свидетельствовавшие автору свою солидарность. Это была большая поддержка, дававшая какие-то крохи надежды на то, что, возможно, еще и не все потеряно. Возможно, налицо перекос, авторский или критический, возможно, кто-то кого-то недопонял, возможно, наступит переоценка.

Но шло время, переоценка не наступала, а критические залпы всевозможных калибров грозили незадачливому автору совершенно стереть его с литературного лица земли.

И вот в такие минуты горестных уныний, как раз в канун майских праздников, пришел из Москвы небольшой конверт с редакционным грифом снаружи и поздравительной открыткой внутри — обычное редакционное послание автору перед праздником, несколько напечатанных на машинке строчек с выражением привета, ниже которых характерным угловатым почерком было дописано:

ВСЁ МИНЕТСЯ, А ПРАВДА ОСТАНЕТСЯ.
А. ТВАРДОВСКИЙ.

Не знаю, может, во всем этом и впрямь не содержалось ничего необычного, возможно, все это обычный жест вежливости, но для меня в тот момент эта строчка огненными буквами засияла на небосклоне, сверкнула призывным лучом маяка, вещавшим заблудшему путнику о его спасении. Действительно, как это просто! Время идет своим, не подвластным никому в мире ходом, оно хоронит династии, ровняет с лицом земли города, создает и разрушает цивилизации, одинаково расправляясь с ничтожествами и с великими мира сего, кончает с одними эпохами и начинает другие. Время безостановочно правит и судит, и ничто сущее под луной не в состоянии избежать его неумолимого приговора и в конце концов обращается в прах. Но правда ему неподвластна, и пока жив хоть один человек на свете, не исчезнет в мире жгучая необходимость в правде, неизменно освещающей человеку и человечеству запутанный лабиринт его бытия, указующий ему путь к свободе и лучшему будущему. С правдой возможно все, без нее невозможно ничто. Без правды нет движения, без нее лишь застой, гибель, тлен...

Все минется, правда останется! Какая великая мудрость заключена в этих четырех простеньких словах древней народной идиомы!..

Не скажу, что эти слова разрешили для меня все и ото всего освободили, но все же какой-то значительный груз спал с моих плеч. Это было утешение, и я с радостью принял протянутую мне руку поддержки — тем более такую руку! Как при вспышке молнии, в темени явственно обнаружился ориентир, который я, ослепленный и растерянный, готов был потерять в громыхании критических залпов. Он дал мне возможность выстоять в са-

мый мой трудный час, пошатнувшись, вновь обрести себя и остаться собой.

Потом были многие не менее мудрые и прекрасные его слова, были разговоры, критические и одобрительные, но именно эти первые четыре слова поддержки и утешения на всю жизнь запали в мое сознание. Наверно, это потому, что сами они были исторгнуты из самых чутких глубин души великого человека, кто, может, не менее других нуждался в утешении, правде и, может быть, недополучил их при жизни. Это последнее сознавать тем обиднее, что все мы, в свое время обласканные им, возможно, чего-то недодали ему самому, по беззаботности или по наивности своей полагая, что ему-то утешение ни к чему, что его у него в избытке. А как нет? Что же тогда может извинить нам эту непростительную нашу небрежность?

И вот теперь, когда минулось многое и его уже нет, остается еще раз убедиться в непреходящей ценности правды, к которой обязывает нас память перед его светлой и огромной личностью.

1982 г.

ЗАВИДНАЯ ПИСАТЕЛЬСКАЯ СУДЬБА

Примерно за год до кончины автора этой книги, замечательного советского писателя Сергея Сергеевича Смирнова, мы сидели с ним в тиши гостиничного номера в Минске, и он, как всегда, увлеченно, с завидной молодой одержимостью рассказывал о работе над своей новой книгой, о тех трудностях, которые предстояло преодолеть в этой его работе. Мы согласились, что замысел ее действительно сложен, однако не стоит огорчаться. Наверняка все сложности будут преодолены, и появится книга, вполне достойная его предыдущих книг.

Мы, однако, ошиблись.

Мы не могли предвидеть того, что пройдет год с небольшим, и этого полного душевной энергии и художнических замыслов человека не станет в живых. Но, видно, такова коварная сущность смерти, — как и на войне, бить по тем, кто, меньше всего думая о ней, отдает себя делу, людям, идеям.

Да, новая книга Сергея Сергеевича Смирнова никогда уже не появится на книжных полках наших библиотек, и, может быть, навсегда останутся неизвестными какие-

то новые подвиги и их герои, которых с таким постоянством умел открывать наш дорогой писатель. Лишенная его потрясающих открытий, наша литература наверняка станет беднее с его уходом из жизни, потому что, как бы активно ни работали другие на излюбленном им поприще, заменить его не может никто. В этой огромной литературе, всегда щедрой талантами, вряд ли кто другой в полной мере обладает теми редчайшими качествами, которыми был наделен он. Наверно, это потому, что в наше сложное время и в таком многотрудном деле, которому целиком посвятил себя он, недостаточно иметь даже блестящие литературные способности и специфический дар исследователя, надобно еще уметь отстоять собственную позицию с такой непоколебимой принципиальностью, как это умел делать он.

Мы уже не увидим его новых книг, но с нами навсегда останется то поистине замечательное, что успел создать он. Его бессмертная «Брестская крепость», потрясающие рассказы о госпитале в Еремеевке, этой маленькой советской колонии на оккупированной фашизмом земле, о героях Аджимушкая, самоотверженной краснофлотской Катюше, о безвестном русском парнишке, ставшем национальным героем далекой Италии, — обо всех этих и многих других героях будут с не меньшим восторгом и упоением читать наши потомки, и их души, равно как и наши сердца, будут полны восхищением перед мужеством их молодых предков. И, надо полагать, они тоже испытают сердечную благодарность тому, кто сделал достоянием истории страдания и подвиги их далеких предшественников.

Крылатый афоризм нашего времени «Никто не забыт, ничто не забыто» лишь тогда способен обрести свой истинный смысл, когда понимается как лозунг, конкретный призыв к действию, а не как констатация достигнутого. Теперь уже ясно, что минувшая война явилась целой эпохой в истории нашего народа, героизм которого долго еще будет питать наше искусство. При этом совершенно очевидно, что никому в отдельности, даже самому одаренному из литераторов не дано рассказать о ней сколько-нибудь исчерпывающе, каждый в меру собственных сил и возможностей может засвидетельствовать лишь малую толику из этого всенародного испытания. Но даже и в таком случае вклад Сергея Сергеевича Смирнова в военную документалистику переоценить невозможно. В течение почти трех десятилетий он искал, хлопотал, восстанавливал

забытое или утраченное и в самой деловой, лишенной всяких беллетристических прикрас форме свидетельствовал о фактах, непридуманная достоверность которых способна затмить самые изощренные выдумки. В самом деле: история хотя бы той же прославленной им Брестской крепости — героя, о которой во время войны, да и в первые годы после нее решительно ничего не было известно. Теперь мы знаем о ней многое, так же как и о тех трудностях, которые преодолел писатель, прежде чем в мельчайших подробностях воскресил все перипетии борьбы горстки советских бойцов против хорошо оснащенных частей вермахта, восстановил имена погибших героев, добился реабилитации оставшихся в живых, возвысил их действительно беспримерный подвиг до всенародного признания и высоких наград. Казалось, уже одна эта крепость над Бугом могла стать делом всей жизни для любого из литераторов, а он пошел дальше, разыскал, исследовал и поведал миру о десятке других, не менее ярких, сложных и противоречивых историях войны.

За ним заслуженно и прочно утвердилась репутация певца народного подвига в минувшей войне, в этом благородном деле ему не было равных, хотя о подвигах и о войне пишут многие сотни самых разных авторов, и наша военная литература, наверное, самая богатая в мире. В чем же тогда своеобразие и притягательная сила книг, созданных талантом Сергея Сергеевича?

Мне думается, что непростой ответ на этот вопрос в значительной мере заключается в личности писателя, его художническом таланте и его гражданском темпераменте. Сергей Сергеевич Смирнов не хроникер войны и даже не ее талантливый исследователь, способный извлечь из прошлого нечто значительное, осветив его лучом современной истины. Прежде всего он солдат, три десятилетия после окончания великой войны продолжавший жить излучением ее колоссальной энергии. Его, прошедшего весь кровавый и героический путь войны, командовавшего ротой, исколесившего с корреспондентским блокнотом залитые кровью поля Украины и Венгрии, его до конца дней не переставала волновать цена принесенных жертв и пережитых испытаний. Верность памяти павших, тревога за будущее поколений побуждали его искать, докапываться до истины, восстанавливать честь павших героев и развенчивать мнимых. Его неуемной энергии хватило бы еще на десяток книг о войне, не срази его смерть так рано, в расцвете его писательской и человеческой зрелости.

Не рискуя впасть в преувеличение, можно утверждать, что его документальная проза, пожалуй, самое значительное достижение этого популярного жанра. Лишенная домысла, всякой литературной красивости, задним числом сочиненных и всегда сомнительных диалогов, она являет собой сдержанно обстоятельный рассказ о том, что в процессе кропотливых поисков удалось установить автору. Это та проза, которая, будучи созданной на основе рассказов очевидцев, на материале тщательно изученных фактов и очень немногочисленных документов, сама становится документом, бесспорным и неопровержимым, как истина. Недаром многие ее страницы явились основанием для реабилитации ее героев, последующих публикаций других авторов, для правительственных награждений и прочего. Что может быть выше и действеннее такой литературы о наших современниках?

Каждый из тружеников литературы в меру своих способностей и таланта исполняет свой так или иначе понятый им долг перед временем и народом и каждый достоин признания определенного круга читателей. Но мало у кого найдется столько читателей, так кровно обязанных автору. Сотни, если не тысячи, людей в нашей стране и за ее рубежами до конца своих дней будут обязаны Сергею Сергеевичу Смирнову за его человеческое участие в их непростых судьбах, зачастую запутанных ситуациях, когда в конечном итоге многое, если не все, определяла его человеческая совесть и его писательская принципиальность. Преждевременную смерть писателя оплакивали не только его друзья и близкие, не только благодарные ему читатели, но и многие из тех, кто обязан ему как бы вторым рождением.

Что ж, завидная человеческая участь, прекрасная писательская судьба!

1977 г.

НА РУБЕЖАХ ДОБРА И ЛЮБВИ

Думается, Юрий Бондарев не нуждается в представлении читателю — на протяжении вот уже более двух десятилетий его имя хорошо известно самому широкому читательскому кругу. Почти все написанное им, начиная со знаменитой, во многом этапной для нашей военной прозы повести «Батальоны просят огня» и кончая недавним романом «Горячий снег», неизменно вызывало самый горя-

чий читательский интерес как новизной трактовки многих проблем войны, так и незаурядным изобразительным мастерством.

На этот раз Юрий Бондарев выступает с новым романом, представляющим собой своеобразный художественный синтез темы войны и мира, синтез, вобравший в себя проблемы нравственности, психологии, проблемы мирного сосуществования в Европе, по-прежнему разделенной границами, блоками, идейной и нравственной несовместимостью, психологическими предрассудками, что в наше время не может не вызывать озабоченности всех честных людей земли.

«Берег» — произведение сложное по своему построению, главы о современной действительности чередуются в нем с обширными ретроспекциями, изображающими последние дни войны, но весь этот, казалось бы, разнородный и разноструктурный материал подчинен общей идее и мастерски сплетен в неразрывное повествование о людях войны и мира, образы которых выписаны с удивительным мастерством по глубине и точности их психологии, без малейшей попытки сгладить какие бы то ни было шероховатости их характеров или трудности их взаимоотношений. Прежде всего это разные люди — юный и остро чувствующий лейтенант Никитин и столь же прекрасный в своем молодом ригоризме лейтенант Княжко, властный и импульсивный комбат Гранатуров и совершенно новый характер в военной литературе — командир орудия сержант Меженин, натура сложная и в то же время примитивная своим грубо замаскированным животным эгоизмом. Конфликт между ним и Никитиным, их роковое столкновение после гибели лейтенанта Княжко при всей их конкретности носят расширительный, почти символический характер. В нравственном отношении это две противоположные натуры, возможность добропорядочного сосуществования которых в условиях, когда исчезла недавно еще объединявшая их цель совместной борьбы против общего врага, стала весьма проблематичной. Но автор не идеализирует и Никитина, изображая во всей противоречивой сложности характер молодого человека, вдруг шагнувшего из войны на непростой рубеж мира и вдобавок захваченного более чем затруднительным по тому времени, неожиданно вспыхнувшим чувством к немецкой девушке Эмме. Все это написано с истинно художническим вдохновением. Трудная, исполненная драматизма история этой несостоявшейся любви привела к неожиданной, как

и разлука, их встрече в современном Гамбурге, не многое, однако, прояснив в их отношениях и многое усложнив — ведь минуло три десятка долгих, слишком по-разному прожитых ими лет, в течение которых все переменилось в мире и так мало осталось от их юной любви.

В немногих произведениях нашей литературы с такой яркостью и глубиной созданы образы различных представителей современной западной интеллигенции, как это сделано в «Береге». Избегая обычного в таких ситуациях гротеска, не сглаживая и не выпячивая трудностей нравственного и идеологического порядка, стоящих на пути к взаимопониманию между буржуазной интеллигенцией и советскими людьми, Юрий Бондарев делает успешную попытку проникнуть в сознание лучших представителей этой интеллигенции, чтобы разобраться в ее заблуждениях, равно как и в природе ее критицизма по отношению к сытой бездуховности своего общества. Свежо и мастерски выписанные сцены быта и нравов большого западногерманского города, захлебывающегося в угаре «свободного» предпринимательства и столь же неограниченного материального потребления, вызывают гнетущее ощущение человеческой малоценности в этой пресыщенной благополучной среде. При этом становится очевидным, что сущность бездуховности чрезвычайно многообразна и разнохарактерна в своих проявлениях как в большом, так и в малом, по отношению к человеку, вещам и природе.

Все сказанное, однако, даже в малой степени не исчерпывает содержания этого произведения. «Берег» — роман военный и роман социальный, роман психологический и роман философский. Вдумчивая наблюдательность автора, непредвзятость его суждений, стремление к углубленному проникновению в непростые события и значительные характеры делают его одним из самых заметных явлений современной европейской литературы.

* * *

Нечасто так случается в литературе, что одно из первых произведений молодого писателя делает переворот в определенном ее направлении, становится вехой, хотя, быть может, и спорной в момент ее появления, зато отчетливо видной и широко признанной по прошествии лет.

Со времени появления «Батальонов» Юрия Бондарева минуло более четверти века, отшумели многие литературные и прочие споры, и теперь мы имеем возможность чет-

ко определить как тщету их, так и правоту, которая, как это нередко бывает, в конечном счете остается за художником. Да, художником, каким с самого начала предстал перед читателями Юрий Бондарев, подтвердивший свой незаурядный талант целым рядом замечательных произведений, обогативших великую русскую литературу.

Широта литературных интересов Юрия Бондарева общеизвестна, она поражает как глубиной постижения истины, так и разнообразием человеческих отношений. Но главное, что на протяжении ряда лет питает неослабевающий читательский интерес к его творчеству, так это его неизменная верность проблемам минувшей войны, его непреходящее пристрастие к характерам сложным, судьбам, так или иначе опаленным горячим дыханием войны. И если в его первых повестях и романах мы видели человека на войне, в разбитых снарядами окопах, на разметанном взрывами снегу, в момент единоборства с немецкими танками, то в последующих произведениях этот выживший в жаркой схватке с фашизмом, постаревший и помудревший человек мучается над многими проблемами мирного бытия, среди которых, однако, главнейшими являются все те же, порожденные недавней борьбой с фашизмом. И в этом — проявление не прихоти художника, а насущная необходимость поколения, пережившего войну и познавшего истинную цену человеческого существования.

Юрий Бондарев — признанный бытописатель фронтовой судьбы поколения, лишившегося на войне девяноста семи процентов своих ровесников. Столь колоссальный урон одного поколения, конечно же, не мог не сказаться на духовном развитии нации, и отзвуки этого факта так или иначе присутствуют в каждом произведении писателя, будь то роман о войне, о трудной послевоенной судьбе или повесть о тех, кого недавнее прошлое безжалостно настигает в их многосложном сегодня. В последних произведениях писателя рамки этой судьбы значительно раздвигаются, включая в себя новые связи и делая новые, порой неожиданные, но всегда важные выходы в наше время, а также в грядущее будущее. Усложненная философичность бондаревских вещей поднимает их до высокого звучания, нечастого сегодня, но столь традиционного для лучших образцов отечественной и мировой классики.

Юрий Бондарев — обладатель ценного дара трепетного живописания словом, тончайшего анализа сложных

психологических состояний; его языковое мастерство не может не покорять красотой и изысканностью слога. В то же время вслед за многими исследователями его творчества нельзя не поразиться умению, с каким Ю. Бондарев лепит характеры, всегда самобытные, ничуть не похожие ни на какие из их литературных предшественников, верные той правде времени, которая постигается лишь впечатлительной душой и недюжинным жизненным опытом.

Волею судьбы или случая счастливо избежавший участи тех девяноста семи процентов своих ровесников, останки которых покоятся в тысячах братских могил, разбросанных на огромном пространстве от Волги до Эльбы, Юрий Бондарев остро осознает свой художнический долг и талантливо возвращает его человечеству. Имя этому долгу — правда о минувшей войне и неусыпная забота о будущем, столь хрупком и проблематичном в наш беспощадный ядерный век.

1975 г.

ВЕРНОСТЬ ПАМЯТИ

Для многих из нас, бывших фронтовиков, в первые годы после окончания войны не все написанное о ней имело притягательную силу. Скорее наоборот. Хотелось по возможности отрешиться от недавно пережитой военной действительности, войти в мирную жизнь, из которой мы были так неожиданно вырваны в годы своей ранней юности и о которой столько мечтали в боях. Но, удивительное дело, по прошествии небольшого времени это наше военное прошлое стало обретать все более емкий и разительный смысл, в котором увиделось многое не только из войны.

Первая военная книга Григория Бакланова поразила меня, как не поражали иные прочитанные до нее книги о войне. Это произошло в конце пятидесятых годов, еще до появления его «Пяди земли», сделавшей его имя широко известным в нашей литературе. Название этой его, кстати, не самой популярной книги — «Южнее главного удара», и повествуется в ней о нескольких считанных днях тяжелых оборонительных боев у озера Балатон в Венгрии. Эта талантливо написанная повесть — концентрат суровой правды о войне, какой она навеки запечатлелась в сознании переживших ее фронтовиков, достойный

памятник тем многим тысячам наших ровесников, что навек остались в изрезанной мелиоративными каналами и засаженной виноградниками балатонской земле. Потом появились другие его повести — знаменитая «Пядь земли», яркая, как вспышка ракеты, «Мертвые сраму не имут», емкий и мудрый «Июль 41-го года», в которых минувшая война предстала в новых, не менее впечатляющих образах. Но эта первая военная повесть Г. Бакланова явилась для меня необыкновенно наглядным примером того, как неприкрашенная военная действительность под пером настоящего художника зримо превращается в высокое искусство, исполненное красоты и правды. Во всяком случае, с благоговейным трепетом прочитав эту небольшую повесть, я понял, как надо писать о войне, и думаю, что не ошибся.

Сила баклановского таланта, на мой взгляд, заключается прежде всего в его мудрой, все сохраняющей в себе памяти — на детали, атмосферу, психологические состояния тех невозвратно уходящих в прошлое лет. Именно черпая из этой памяти, художник плавит в тигле своей души высокую правду о войне, умело очищая ее от разрушительных наносов красивости, приблизительности, избитой мертвой риторики. Во всем, что бы ни писал Бакланов, он удивительно конкретен и точен. Так, например, в окопном артиллерийском быту после выхода его книг просто стало затруднительным отыскать свежую, не использованную им деталь, обнаружить сколько-нибудь новый тип солдата или младшего офицера. Он выстроил целую галерею великолепных по своей достоверности характеров фронтовиков, каждый из которых мог бы стать гордостью любого автора — столько в них точности, верности натуре, психологической и социальной емкости. При этом нельзя забывать, что такие характеры, как Богачев, Мотовилов, Ищенко, Прищемихин, сочинить невозможно, их надо наблюдать много лет, жить с ними, пролить кровь и пережить войну, чтобы впоследствии с такой достоверностью воплотить их в литературе.

Верность факту военного прошлого, реалиям и людям войны сделали прозу Бакланова такой емкой, точной и умной, появления какой трудно было ожидать спустя два десятилетия после окончания войны, имея в виду количество о ней написанного. Но в его книгах война ожила новой жизнью, в ней появились новые живые люди с их горем и радостями, простодушием и хитростью — со всей сложностью невыдуманных их натур. К тому же каждая

его военная повесть — это не просто военная повесть — это не просто произведение про войну вообще, это еще и документ, множеством явных и едва уловимых примет привязанный к конкретному периоду войны, месту, определенным боям. Так, «Пядь земли» — это один из днестровских плацдармов 1944 года. «Мертвые сраму не имут» — фронтовой эпизод зимы того же года на Украине, «Южнее главного удара» — Секешфехервар, Венгрия. Одни только названия слишком о многом говорят помнящим их фронтовикам, потому что за каждым из них кровавые бои, ранения, смерти товарищей. Что и говорить, баклановские книги не для легкого чтива, в них, может быть, слишком много смертей, крови, горечи боевых неудач, но зато и не менее доблести, стойкости, душевной красоты и мужества. Да и возможно ли иначе? Разве величайшая из наших побед не далась нам самой великой ценой, которую когда-либо в истории платил наш народ?

Примечательно, что проза Бакланова, кроме того, что глубоко драматична по своей сути, еще и полна тонкого, неизъяснимого лиризма, как бы доброго, все понимающего взгляда человека, искренне и по-настоящему любящего людей. Многие его страницы освещены тихим светом добра и сочувствия. В то же время, пожалуй, редко кто другой в нашей литературе так нетерпим ко всякого рода подлости и фальши, как Григорий Бакланов. Но даже в своих осуждениях он немногословен и сдержан. И это прекрасно.

И еще — главный герой его книг почти всегда молодой человек.

Возможно, это потому, что наше поколение очень молодым пошло на ту, может быть, последнюю войну и наша молодость определила в ней и нашу судьбу. Мы были солдатами или лейтенантами, соответствующим нашему чину оказался и наш опыт — опыт фронтовиков-окопников, сугубо солдатский опыт, который получили на войне миллионы. Вряд ли кто из нас рассчитывал дожить не только до генеральского чина, но и до генеральского возраста, такого рода мечты были для нас «не по карману». И если все-таки судьба смилостивилась к некоторым из нас и мы нынче имеем возможность чествовать одного из наших ровесников, то делаем это с радостным сознанием того, что слепой выбор судьбы не оказался напрасным. Что касается Григория Бакланова, то он с лихвой и щедростью, присущей большому таланту, оплатил эти ему

подаренные войной годы, создав немало поистине прекрасных страниц о нашем трудном и героическом прошлом.

ПО ПРАВУ ФРОНТОВИКА

Есть писатели-универсалы, способные благодаря особенности своего таланта изобразить любую картину, разработать любую тему, которые под их пером неизменно обретают интерес и художественную выразительность. Есть и другая категория авторов — верных однажды избранной теме, в исследовании которой они достигают порой значительного взлета именно в изображении прошлой войны, хотя в его творческом активе наличествуют и такие несомненные удачи мирной темы, как многие рассказы или широко известная повесть «Карпухин». В последнем, майском, номере «Октября» он выступил с новым произведением на свою прежнюю тему — повестью о войне «Навеки — девятнадцатилетние».

Следует сразу заметить, что вся военная проза Г. Бакланова, начиная с его первой повести «Южнее главного удара», отличается скрупулезным вниманием к мельчайшим подробностям солдатского быта, окопного житья, сложнейшим перипетиям боя и человеческой психологии в бою. Он мастер точного и емкого слова, уверенно владеющий фразой, рожденной мыслью и незамутненным художническим видением. Как и в предыдущих своих произведениях («Пядь земли», «Мертвые сраму пе имут», «Июль сорок первого»), в этой его повести проявляется завидная свежесть памяти о тех огненных годах, которые уже так отдалились от нас, унося в забвение многое, что еще недавно, казалось, невозможно забыть. Но такова, видно, особенность человеческой памяти. К счастью, настоящий художник не может себе позволить забыть не только важнейшие события той трудной поры, но даже ее, казалось бы, второстепенные мелочи и — что важнее всего — столь важные для искусства душевное состояние людей войны, их чувствование, настроение — мир их души.

Сюжетное построение повести осуществлено преимущественно на романной основе и включает в себя год жизни героя, девятнадцатилетнего лейтенанта Третьякова. Это повесть о войне, но в ней вы не много найдете батальных картин, а те, что там есть, написаны с присущим Бакланову вкусом и множеством содержательных подробностей. Именно авторский вкус позволяет ему избежать порядочно поднадоевших тривиальностей в изоб-

ражении солдатского героизма, хотя поведение Третьякова во время атаки можно расценить как подвиг. Это, если можно так выразиться, дважды в течение года совершенное прикосновение лейтенанта к войне, после первого из которых последовал долгий период пребывания в тыловом госпитале, а после второго ему суждено навеки остаться девятнадцатилетним. Между первым и вторым боями пролегла вся трудная госпитальная молодость Третьякова с ее переживаниями и мечтами, страданиями и любовью — вся судьба людей поколения, в ранней юности безоглядно шагнувшего навстречу огненному шквалу войны и по преимуществу безвозвратно оставшемуся там. Так уж сложилось, что именно эти 18—20-летние ребята навеки упокоились в многочисленных братских могилах, разбросанных по Европе, в засыпанных взрывами воронках, обрушенных траншеях и ровиках. Известно из статистики, что их, рожденных в 1922—1925 годах, вернулось с войны лишь трое на сотню.

Безвременная их утрата — это не только скорбный финал индивидуальной судьбы, но и непреходящая скорбь близких, невозместимые потери народа, сказавшиеся и на судьбе последующих поколений. Это, наконец, вечный долг, лежащий на немногочисленных их сверстниках, который лишь частично может быть возмещен разве что немеркнущей с годами памятью. Талантливо засвидетельствованная в искусстве солдатская память становится своеобразным обелиском, воздвигнутым живыми своим павшим братьям.

В повести лишь один главный герой, проходящий перед читателем с первой до последней страницы, хотя соприкасается он со многими людьми на фронте, в тылу, в госпитале. Пристальное внимание автора к своему Третьякову, однако, не мешает ему точно и зримо, на глазах у читателя, лепить другие характеры, как бы ярко высвечивая их своим внутренним художническим зрением. Это, надо полагать, нелегко, если помнить о разделяющей нас дистанции времени, и тут невозможно не порадоваться завидной способности автора помнить и видеть все. Замечательно, что в повести совершенно не чувствуется вымышленного, все словно почерпнуто, пережито, вынесено из личного опыта автора. Хотя, разумеется, это не так. Каким бы разносторонним он ни был, этот авторский опыт, его всегда недостаточно для создания значительного художественного произведения. Тем удивительнее эта способность таланта — с такой убедительной достоверно-

стью вызывать из небытия прошлое, населять его полнокровными, живыми, легкими для узнавания образами.

В отличие от предыдущих военных повестей Г. Бакланова последняя содержит множество характерных черт и бытовых реалий жизни в тылу, будней далекого уральского госпиталя с его разнохарактерными типами раненых, врачей, санитарок. Перевернув последнюю страницу повести, вы будете долго помнить изуродованного на войне младшего лейтенанта Гошку, ослепленного капитана Ройзмана, командира роты Старых, человека нелегкой судьбы Атраковского. Реалистически выстроенная, лишенная нередкого в таких случаях налета слащавости, юношеская любовь Третьякова к вчерашней школьнице Саше подкупает целомудренностью отношений, рядом тонко подмеченных душевных состояний.

Повесть начинается лаконичной по описанию, но многозначительной по смыслу сценой обнаружения в старом засыпанном окопе останков воина, армейскую принадлежность которого можно определить лишь по едва сохранившейся, со звездой, пряжке. Это очень знакомая, даже характерная для Белоруссии картина, где вот уже много лет усилиями общественности и юных следопытов продолжается розыск одиночных могил и случайных воинских захоронений, после чего идут долгие месяцы поиска имен героев. Не всегда он заканчивается успешно. Но когда это случается, ничто из добытого у прошлого и отвоеванного у безвестности не оставляется без внимания. Печать, радио, телевидение рассказывают о жизни и последнем бое погибших, смысл их ратного подвига становится достоянием всех. Особенно нынче, когда белорусский народ готовится торжественно встретить 35-летие освобождения республики от немецко-фашистских захватчиков.

В заключение хочется высказать уверенность, что последняя повесть Григория Бакланова явится серьезным приобретением нашей военной прозы, своеобразным обелиском памяти «навеки девятнадцатилетних», талантливо созданным одним из их счастливо уцелевших ровесников.

1973 г.

ПАМЯТИ ХУДОЖНИКА

Хорошие вести в жизни приходят каждая в свой черед, являясь следствием каких-то причин, сообразуясь с логикой характеров, поступков людей. Скверные же всег-

да алогичны, нелепы, потрясающе неуместны. К ним привыкаешь долго, в течение всей жизни, а иногда и жизни не хватит, чтобы примириться с ними. В автомобильной катастрофе погибли работники «Мосфильма» — кинорежиссер Лариса Шепитько и ее коллеги.

Я хорошо знал Ларису Ефимовну Шепитько. Ее гибель — невосполнимая утрата для всех, знавших ее, смотревших ее трудные и очень человечные, не похожие ни на какие другие фильмы — страстные создания ее незаурядного таланта, ее беспокойного духа, исполненного болями и бурями нашего века. Трудно понять эту утрату, еще труднее примириться с нею.

Но что делать — смерть слепа, случай всегда лишен смысла. Черный и нелепый случай, так непоправимо и враз перечеркнувший человеческую судьбу, жизнь большого художника в самом расцвете его творческих сил.

Будто предчувствуя свой роковой предел, она всегда торопилась. Все ей казалось мало, она опасалась не успеть, опоздать. Уже были сняты отличные картины, принесшие ей премии и мировую известность, а жадность ее к работе не убывала с годами. Кажется, она всегда знала, что нет «вечности», и непрестанно билась над совершенствованием средств выражения своих идей языком кино, стремясь к высокому смыслу и высокой артистичности в каждом фильме. Наверное, как немногие в современном кинематографе, она понимала решающий смысл духовного содержания искусства и умела гармонически воплотить его в каждой работе. Часто это было непросто. Все работавшие с нею над «Восхождением» знают, как давалась ей эта далеко не «женская» картина, но и Лариса была наделена безусловным пониманием того, что только она может сделать то, что она делает. Так уж случилось, что именно эта слабая женщина и великолепный режиссер взвалила на себя тяжелейшую глыбу труднейшего материала и уверенно поднялась с ней на одну из вершин современного кинематографа. Да, в ней жил мужественный художник современного кино, уроки которого не потеряют смысла и для последующих поколений кинематографистов.

Она всегда докапывалась до первопричин и корней, искала в глубинах народной жизни, в тайниках человеческого духа. Логика ее мышления порой изумляла, порой восхищала, что в общем-то понятно — она была художником, напряженно мыслившим. И еще — она всегда была оптимисткой, никогда и никакие неудачи не могли

ввергнуть ее в уныние. Она свято верила в свою счастливую звезду, равно как и в счастливый исход всех своих благих намерений, какие бы тернии ни лежали на ее далеко не легком пути. Теперь я понимаю, почему так: помыслы ее были светлы, а деятельная ее натура таила в себе неиссякаемые запасы энергии.

Она всегда была в работе, в ее воображении всегда теснились интересные образы, и ее замыслам не было конца. И в нее верили, от нее многого ждали.

Если бы не этот нелепый финал...

Но что делать — давно и не нами сказано, что жить — значит терять. Конечно, терять всегда горько, и как бы мы ни утешали себя тем, что после Шепитько останется многое, как бы ни клялись помнить ее прекрасные фильмы и ее милый образ — плохое это утешение. Навсегда оборвалась человеческая жизнь, прекратился творческий путь художника, и никто больше на этой земле не создаст того, что могла и стремилась создать Лариса Шепитько, никто и никогда не заменит ее. Искусство кино потеряло одного из самых замечательных своих художников, и наша скорбь безутешна.

1979 г.

СИЛОЙ ЛЮБВИ И НЕНАВИСТИ

«Как это страшно, когда человек улыбается».

Именно страшно, как ни парадоксально звучат эти слова, но в тех бесчеловечных условиях, атмосфере крови, безвинных смертей и жестокой борьбы проявление естественных человеческих чувств казалось непонятным и противоестественным. Нормальное человеческое восприятие всякий раз пасовало перед тем, что приходилось видеть и переживать, перед непомерными психическими и нравственными перегрузками, перед патологической жестокостью карателей, многие поступки которых непостижимы с позиции элементарной логики. «Просто ушли все мерки: когда человек должен плакать, когда улыбаться». Возможно, именно по этой причине герой «Хатынской повести» лишен нормального восприятия, то утратив слух (после контузии), то зрение в результате все той же контузии. Но именно эта его увечность и наделяет его особой способностью ощущать прошлое, придает чрезвычайную зоркость его душевной памяти, в которой навек незамутненными запечатлелись образы всенародного испы-

тания, партизанские будни — долгие годы кровавой войны.

При появлении «Хатынской повести» Алеся Адамовича многим казалось, что это произведение строго документального, почти мемуарного жанра, привязанное к конкретному месту и времени, с кругом вполне достоверных событий и действующих лиц. Такому впечатлению в немалой степени способствовало и название, прямо относящее повествование к трагической истории всемирно известной белорусской деревни, уничтоженной фашистами в 1943 году. Кроме того, читатели уже знали Алеся Адамовича как автора партизанской дилогии «Партизаны», где со скрупулезной правдивостью и полнотой нашли свое воплощение личный опыт Адамовича-партизана, его семьи, кошмарная атмосфера оккупации и многие страницы партизанской борьбы в лесах Белоруссии.

Да, задолго до того, как стать писателем и ученым-литературоведом, Алесь Адамович прошел жестокую школу войны, которая застала его зеленым подростком и, проведя через кровавое горнило борьбы, выпустила в мир обогащенным уникальным опытом партизана-антифашиста. Именно там, на войне, в лесах и болотах Бобруйщины, Адамович постиг непреходящую ценность таких человеческих качеств, как верность дружбе, товарищество, преданность и героизм, познал зловещие следствия подлости и измены — всего того, что в последующем ляжет в основу его блестящей военной прозы и в немалой степени определит его человеческое и художническое мировоззрение.

Однако каким бы ярким и самодовлеющим ни был личный военный опыт автора «Хатынской повести» и ее документальная основа, по прочтении ее становится ясно, что этот опыт, кроме того, счастливо оплодотворен недюжинным талантом художника и мыслителя, всегда остро и точно чувствующего время, живое биение человеческого сердца в нашем творческом мире. В повести мы часто встречаемся с многочисленными выходами автора-рассказчика в материал наших дней, жадно прислушиваемся к его размышлениям или диалогу Гайшуна с его постоянным оппонентом Бокием, и в этих диалогах находим новое постижение глубины и смысла прошлой войны. Тема ее в течение многих лет не оставляет Адамовича-художника и Адамовича-публициста, как не оставляет она и человечество, спустя сорок лет снова очутившегося перед ужасающей катастрофой, грозно нависшей над ми-

ром. Силой таланта прозаика мы снова переносимся в то грозовое время и вместе с героями совершаем беспримерную одиссею по мукам и смертям.

Горят леса и деревни Бобруйщины, всю ночь в разных местах пылает горизонт, удушливо чадят торфяники, темень ночи то и дело прорезают трассирующие очереди немецких пулеметов, в небе рябит от сверкания ракет, и в этой огненной круговерти, как в безысходной западне, мечутся тени партизан и среди них четырнадцатилетний подросток Флера Гайшун. На первый взгляд кажется, ну, что они могут, эти оголодалые, вымокшие в болотине, измотанные бессонницей люди, что они могут, кроме как бесславно погибнуть под адским огнем скорострельных немецких пулеметов? Они и погибают в самом деле, но последний из них, Флера, до последней возможности делает то, ради чего послан из леса — он добывает пищу для женщин и детей, много дней голодающих в болотах на торфяном острове. Не его вина, что вылазка эта оканчивается столь трагично, а сам Флера оказывается в обстановке еще более ужасающей — его хватают каратели и вместе с жителями деревни Переходы загоняют в сарай — на сожжение. Случай оставляет его в живых, и мы благодарны этому случаю, так как становимся свидетелями новой цепи жестоких испытаний — боя с карателями, захвата их партизанами, наконец, находим маленький философский шедевр, почти самостоятельную новеллу в повести — круговой бой карателей с партизанами. И все это глазами Флеры, через его юношеское восприятие, одинаково обостренное к собственным и чужим переживаниям, к своим и немцам, к хорошему и плохому. Не случаен именно такой герой в повести А. Адамовича, он с наибольшим чистосердечием и глубиной транслирует нам из прошлого самые душераздирающие моменты войны, которые годы спустя преподаватель вуза Гайшун осмысливает философски, с позиции нового времени и опыта прожитых лет. Военный же подросток Флера не слишком умудрен знаниями, пока он эмпирик, но война муками проходит через его сознание, и ему нужно немало сил для того, чтобы выстоять в ее дьявольских передрягах. Он борется с врагом и противостоит напору каждодневных потрясений, когда утешает «сумасшедшая мысль, что маму, сестричек, что всех деревенских уже не убьют, никогда не убьют», потому, что уже убили и тем обезопасили от новых безмерных страхов и мучительного ожидания смерти. В другой раз потрясенный зверской распра-

вой над безвинными жителями Переходов, Флера думает о захваченных в плен палачах, что им мало смерти, что они только того и ждут, чтобы от тяжести своих злодеяний «спрятаться в смерть», тем самым избежав чего-то несравненно большего, чего они заслужили. Непомерны, на грани патологического, мысли и чувства юноши, но они обусловлены чудовищным ходом событий, в которых ему приходится участвовать. Не всякому по плечу то, что пришлось пережить Флере, утратившему на войне здоровье, зрение, но сохранившему веру в высокое предназначение человека.

Безусловно, главный, «сквозной» герой повести Флера Гайшун, кроме которого, однако, на ее страницах проходят перед читателем колоритные партизанские образы командира отряда Косача, чересчур говорливого в момент опасности партизана Рубежа, который пытается тем самым побороть свой страх и добросовестно делает свое нелегкое дело; подорвавшего себя в безвыходной ситуации одноногого Степки-фокусника, неукротимого в безудержном порыве отмщения за односельчан Перехода. Полный девичьего обаяния образ тоненькой, «как линеечка», девочки-девушки Глаши естественно и легко входит в тревожное сознание Флеры первым, еще не осознанным чувством любви, чтобы спустя годы превратиться в зрелое чувство к Глаше — жене, матери его сына. Искусно очерченный треугольник Флера — Глаша — Косач не много проявляет в повести, однако в своем подтексте содержит богатый драматический материал человеческих отношений, значителен и правдив в своей непростой природе. В самом деле, если война изуродовала Флеру физически, то она же не пощадила и сильного, бравого командира отряда Косача, «выстудив» его нравственно, превратив, по словам Глаши, в «вымороженный дом с выдранными дверями и окнами». Естественно, что Глаша предпочитает ему незрячего, но сохранившего человеческое тепло Гайшуна, — тепло, которого так не хватает многим «высушенным», «выстуженным» в жестоких испытаниях войны.

«Хатынская повесть» — это талантливо воплощенная память войны, повесть-напоминание и повесть-предупреждение. Опыт тех, кто пережил войны, не может пропасть даром, он учит человечество, может, самой элементарной из истин: только не щадя своей жизни, можно отстоять свободу и победить врага. Тем более такого изощренного, каким был немецкий фашизм.

Художественно-философское разоблачение всех разно-

видностей мирового фашизма по-прежнему является важнейшей темой современного искусства. Это и понятно, потому что фашизм — явление живучее, многоликое, способное, как показала жизнь, с одинаковой жестокостью поражать народы всех континентов. Убедительный тому пример — памятные события в Чили или недавняя трагедия Кампучии, которые, несомненно, послужат исходным материалом для многих произведений мирового искусства.

Что же касается советской литературы, то она продолжает разрабатывать опыт борьбы советского народа с немецким фашизмом, принесшим ему неимоверные страдания. Именно в этом русле создана и другая повесть Алеся Адамовича — «Каратели».

Автор исподволь, неторопливо подводит читателя к широкой панораме трагедии белорусского поселка Борки, прослеживая весь дьявольский ход этой «акции устрашения», одной из многих, заливших невинною кровью оккупированную землю Белоруссии. Здесь, в Борках, ее осуществлял проклятой памяти батальон одного из нуворишей нацизма доктора Дирлевангера, который явился инициатором и режиссером множества подобных акций в Белоруссии и Польше, но начинал он с Борков, где в течение одного дня было уничтожено почти две тысячи ни в чем не повинных людей. Конечно, для работы такого масштаба требовались опытные исполнительские кадры, и они нашлись у Дирлевангера. Разные пути привели их в это одно из самых жестоких карательных формирований фашизма, но в самом начале каждого были страх и желание выжить любой ценой. Это была действительно банда уголовников и предателей различных возрастов, вероисповеданий и характеров, объединенных патологическим усердием в своем стремлении угодить фашизму.

И здесь Алесь Адамович далек от сочинительства, фабульная основа его повести строго и подробно документирована, вплоть до мельчайших подробностей. Автору не много пришлось домысливать — история уничтожения Борков хорошо известна в Белоруссии. Главной его задачей было желание рассказать об участниках и вдохновителях, начиная с Гитлера и кончая последним рядовым полицаем — плюгавым Доброскоком.

Задача, надо прямо сказать, не из легких. Она требовала не только углубленного знания оккупационной атмосферы, условий партизанской борьбы, но и недюжинного таланта психоаналитика, способного постичь ущербную

психику людей, которых с позиций нормальной человеческой логики понять невозможно. Адамович понял, чтобы разоблачить и возненавидеть.

Несложная на первый взгляд схема многих характеров, однако, таила в себе всю запутанность человеческих отношений, разобраться в которой — благодатная задача художника. Одна из таких непростых, по-своему усложненных бесконечною цепью преступлений натура самого Дирлевангера, в чем-то повторяющая патологическую сущность фюрера и развивающая ее кровавой конкретикой действия. Дирлевангер деятелен, по-своему умен, решителен, твердо верует, как он сам формулирует, в силу «национал-социалистических идей и детской крови». В то же время это типичный мелкобуржуазный делец, даже на войне содержащий работающую на него сапожную мастерскую с группой обреченных евреев, сожительствующий с женщиной, «сомнительной» в расовом отношении, что по нацистским установкам считалось немалым риском. «Сорвиголова этот Дирлевангер!» — восхищенно думают о нем подчиненные, подобострастно внимая его каннибальской заповеди:

«Я не против, чтобы вы спали с русской девкой, но вы обязаны тут же, своей рукой застрелить ее».

Стрелять они умели.

Рядовой полицай Тупига, один из самых усердных убийц батальона, так поднаторел в своем деле, что тянет пулеметной очередью, «как опытный портной шов — твердо и плавно...». Это палач по призванию, он патологически влюблен в свое ремесло и убежденно ненавидит тех, кто от этого ремесла отлынивает.

Особое место в повести занимают взаимоотношения командира карательного взвода Белого с его дружком Суровым, воплощением черной совести взводного, своеобразным его алиби на непредвиденный случай, человеком-«ксендзом», у которого что-то зашито в подкладке — индульгенция за прегрешения на двоих. При всей фатальной разобщенности фашистских прислужников эти двое до поры до времени действительно сплочены одной тайной, гнетущим намерением выпутаться из положения, которое в принципе не имеет выхода. Несмотря на все их старания, фашистская действительность оказывается сильнее, и планы Белого-Сурова рушатся. Впереди тупик.

Точно таким же тупиком, лишь растянутым по времени, заканчивается преступно-мятущаяся жизнь ротного Мельниченко, одного из приспешников националисти-

ческого охвостья, пошедшего за Гитлером по убеждению.

Послушно расправляясь с белорусскими деревнями, убивая во дворах, в избах, в сараях, они тем самым неотвратимо приближали себя к той последней черте, за которой их ждало полное расчеловечение, тотальное освобождение от всех нравственных обязательств перед людьми и страной. Моральный и духовный примитивизм этих людей позволил фашизму использовать их по своему усмотрению и с наибольшим эффектом, независимо от их воли.

Все они склонны к размышлениям и рефлексиям на досуге, так или иначе объясняя свое положение. Полицаи поменьше чином обычно не рассуждали, они делали свое кровавое дело с фанатичной тупоголовостью. С ужасающими подробностями в повести воссоздается поистине апокалипсическая картина уничтожения одного из лагерей в Бобруйске, когда под предлогом спровоцированных беспорядков гитлеровцы расстреляли всю многотысячную массу военнопленных. Немногие уцелевшие в этом аду после всего пережитого, сломленные и душевно искалеченные, пошли служить немцам, не подозревая, что впереди их ждет нечто похуже.

Этих людей нельзя ни понять, ни оправдать.

Потому что, погибая сами, они не вправе были губить соотечественников, пособничать врагу, становиться послушным орудием в преступных фашистских действиях. Все дальнейшее, что случилось с теми, кто пошел в услужение к палачам, находилось за пределами человечности, потому что платой за преступную собственную жизнь были реки крови безвинных. Постепенно, но неотвратимо обрывались все нити, связывающие их с прежней довоенной жизнью, и каждый день их существования лишь усугублял их и без того непомерную вину перед Родиной. При всей кажущейся интегрированности их судеб и поступков они каждый до конца оставались удивительно отмежеванными друг от друга, исступленно одинокими в своем ежечасном и ежедневном усилии переиграть смерть. Разумеется, это было непросто в обстановке непрерывных боев с партизанами, атмосфере ненависти со стороны населения, безжалостного фашистского террора, когда зачастую с одинаковой легкостью катились в общую яму головы жертв и головы их палачей.

Композиционное строение повести представляет собой безжалостный разрез — обнажение всей дьявольской си-

стемы фашизма. Немного найдется в нашей литературе произведений, где бы на такой относительно небольшой площади с такой яркостью и глубиной было препарировано все социальное явление, построенное на страхе, бездумном подчинении и авантюризме. Книгу начинает и заканчивает выписанный изнутри образ Шикльгрубера — Гитлера с его пространными рефлексиями-монологами, полного непомерного честолюбия и бахвальства, изобличающими ничтожество обывателя, капризною волею случая вознесшегося над одним из древнейших государств Европы. Во многие положения его бредней просто трудно поверить, если отрешиться от мысли, что в свое время они двигали судьбами народов. Именно этот во всех отношениях заурядный авантюрист, возомнивший себя орудием провидения и мессией германцев, стал непосредственным виновником гибели более 40 миллионов человек в Европе. Однако и этого ему было мало, он мечтал о власти над миром, осуществляемой с высот Гималаев. История, однако, распорядилась иначе, и незадачливый ницшеанский последыш на глазах у всего человечества сам превратился в недочеловека, трусливую обезьяну на дереве.

Повесть насыщена обильным документальным материалом о людях и событиях минувшей войны и является новым свидетельством героической борьбы народа против его угнетателей.

Многие ее с умом и блеском написанные страницы согреты благородным чувством любви и признательности к тем, кто погиб, не преступив человечности, исполнены ненависти к палачам, пролившим невинную кровь во имя сумасбродных идей фашизма. Автор со всей очевидностью и глубиной вскрывает подлую природу страха и предательства, в финале которых — всегда смерть и презрение.

Эти две самобытные и во многих отношениях поучительные повести, несомненно, принадлежат к тем счастливым произведениям литературы, которым уготована долгая жизнь.

1980 г.

НА ТЫНЯНОВСКИХ ЧТЕНИЯХ

Развитие любой современной науки, в том числе филологической и литературоведения, в качестве непременного условия требует досконального освоения предшест-

вующих накоплений, полного уяснения связей между предыдущими и последующими периодами. Этой важной задаче как нельзя лучше служат Тыняновские чтения, регулярно проводимые общественностью, а также Комиссией по литературному наследию Юрия Николаевича Тынянова.

Здесь нет необходимости подробно говорить о месте этой замечательной личности в истории русской литературы, русской филологии и даже кино; заслуги эти огромны, а оставленное им наследие столь велико в своем содержании, что вот уже на протяжении около сорока лет продолжает привлекать все большее число ученых и исследователей. В вышедшем недавно в Риге «Тыняновском сборнике» * представлена лишь небольшая часть из того, что было сообщено на конференции в мае 1982 года, состоявшейся на родине Тынянова в Резекне. Несомненно, однако, что это лучшая часть как по глубине проникновения в творчество писателя, так и по важности затронутых проблем, так или иначе связанных с его прозой, работами в русской филологии и кино. В этой связи нельзя не отметить прежде всего предпосланное сборнику вступительное слово В. А. Каверина, одного из немногих наших современников, наиболее близко стоявших к Тынянову, знавшего его с юных лет, дружившего с ним до самой кончины писателя и теперь на протяжении длительного времени возглавляющего Комиссию по литературному наследию этого писателя. Автор в сжатой форме точно и емко формулирует смысл непреходящего значения Ю. Н. Тынянова как прозаика, автора широко известных исторических романов, ученого-исследователя, практика и теоретика советского кино на раннем этапе его развития. Уникальность единения в одном лице большого ученого и большого писателя, пишет В. Каверин, в своем взаимодействии привело к замечательным итогам — созданию прекрасных книг прозы и научных произведений. Серьезное занятие филологией не мешало, а помогало Тынянову создать углубленные образы героев его исторических романов, обогащало его стиль; в то же время опыт Тынянова-прозаика побуждал его на новые исследования с рядом замечательных выводов и открытий. З. Н. Поляк, говоря о документальных источниках романа «Смерть Вазир Мухтара», прослеживает огромную работу автора с эпистолярным наследием А. С. Грибоедова

* Тыняновский сборник. Рига, «Зинатне», 1984.

и его современников. Метод «скрытого» цитирования первоисточников как основы документальности, то есть достоверности и историчности, широко использованный Тыняновым, позволил ему достичь замечательных результатов в области художественной прозы.

Во многих отношениях интересно малоизвестными в литературоведении фактами сообщение Ю. М. Лотман и Ю. Г. Цивьян «SVD: жанр мелодрамы и история», где на замечательном кино- и литературном материале анализируется опыт Тынянова-сценариста, создателя сценариев фильмов «Шинель», «Поручик Киже» и особенно «SVD», написанного им совместно с Ю. Г. Оксманом. Этот сценарий любопытен для нас смелым вторжением мелодраматического вымысла в конкретный исторический материал, сочетанием разнородных жанровых стилей и заимствований, свойственных кинематографу периода его становления, и той ролью, которую сыграло в нем творчество Тынянова как председателя ОПОЯЗа.

Личность выдающегося ученого или художника всегда является притягательным объектом как для широкого круга читателей, так и для ученых-исследователей. Современники Тынянова оставили нам немало проникновенных воспоминаний о нем, число этих воспоминаний растет. М. О. Чудакова и Е. А. Тоддес останавливаются в своем разборе на «Мемуарных заметках» крупного ученого, историка русской литературы, профессора Ю. Г. Оксмана, чье общение и совместная работа с Тыняновым продолжалась более двадцати лет. Как показывают авторы разбора, свидетельства Ю. Г. Оксмана ценны еще и тем, что жизненный и литературный опыт мемуариста во многих отношениях был сходен с опытом самого Тынянова.

В этих коротких заметках нет возможности подробно анализировать все материалы сборника, несомненно того заслуживающие. И все-таки хотелось бы упомянуть содержательные статьи и сообщения В. В. Пугачева, М. Л. Гаспарова, Л. Д. Гудкова и Б. В. Дубина, В. И. Новикова. Как указывается в предисловии, авторы этих работ «стремятся показать историко-культурный подтекст, вовлечь в рассмотрение наследие не одного деятеля, но и его современников».

В общем это справедливо. Достоинство сборника, несомненно, повышается расширительным пониманием значения Ю. Н. Тынянова в истории русской литературы, где, по выражению В. Б. Шкловского, «взаимодействуют

не отдельные элементы, а системы, и системы эти не пропадают бесследно, а вступают во взаимодействие».

Остается пожелать только, чтобы столь важое и благородное дело, как издание «Тыняновских сборников», равно как и проведение Тыняновских чтений, происходило регулярно и на столь же высоком нравственном и научном уровне, как это делалось до сих пор.

1985 г.

ВЕЛИКАЯ АКАДЕМИЯ — ЖИЗНЬ

Диалог: В. Быков — Л. Лазарев

Л. Л.: Расскажите, пожалуйста, о вашей «railописательской» биографии. Это не праздное любопытство: многое в творчестве писателя определяется уже тем, что заставило его в свое время взяться за перо, как и в связи с чем в нем пробудился художник. Какую роль в этом сыграло ваше пребывание на фронте? Ведь для людей нашего поколения (мы ровесники, у нас общая военная судьба) война была и осталась главным жизненным испытанием, многое в нас сформировала именно она. Борис Слуцкий очень точно заметил, что наше поколение война пересоздала «по своему образу и подобию». Чем стали эти годы войны для вас, что значили для вашей писательской судьбы?

В. Б.: Родился и вырос я в Белоруссии, в предвоенные годы учился в Витебском художественном училище, занимался скульптурой, изобразительным искусством и не помышлял о писательстве. Но вот грянула Великая Отечественная война, которая захватила меня летом 1941 года на Украине и позже привела в Саратовское пехотное училище. После его окончания в должности командира стрелкового взвода, взвода автоматчиков и взвода противотанковой артиллерии (калибра 45, 57 и 76 мм) воевал до конца войны.

Как видите, сложилось так, что период юности и возмужания нашего поколения совпал с годами войны, и первой наукой жизни, которую мы постигли в юности, была труднейшая наука войны со всей сложностью ее проблем и человеческих отношений.

Во время войны, как никогда ни до, ни после ее, обнаружилась важность человеческой нравственности, незыблемость основных моральных критериев. Не нужно много говорить о том, какую роль тогда играли и героизм и

патриотизм. Но разве только они определяли социальную значимость личности, поставленной нередко в обстоятельства выбора между жизнью и смертью? Как известно, это очень нелегкий выбор, в нем раскрывается вся социально-психологическая и нравственно-этическая суть личности.

Мне думается, что было бы неразумно и нерасчетливо пренебрегать этим, миллионами вынесенным из войны опытом, к тому же оплаченным столь дорогой ценой. И меня интересует в первую очередь не сама война, даже не ее быт и технология боя, хотя все это для искусства тоже важно и интересно, но главным образом нравственный мир человека, возможности его духа.

Л. Л.: Но после фронта и продолжая еще службу в армии, вы писали на другие темы. И так было, кстати, со многими вашими ровесниками, вступавшими в литературу...

В. Б.: Да, так было со многими. Очевидно, это случилось потому, что в годы войны ввиду недостаточной зрелости и незначительности нашего жизненного опыта (в его житейском и биологическом понимании) мы не смогли сразу постичь всю сложность того, что видели и что переживали на фронте. Это пришло позже, и многих из нас заставило, так сказать, задним числом задуматься о давно пережитом и даже забытом, с расстояния десятка лет и высоты накопленного опыта попытаться открыть там нечто такое, что оказалось живым и поучительным для всех.

Очевидно, к таким тугодумам принадлежал и я, долгое время после войны полагавший, что все сколько-нибудь значительные проблемы войны достаточно разработаны литературой, так много и горячо писавшей во время войны, что гораздо интереснее мало для нас знакомое, но бурно захватившее всех время мира с его новыми радостями и новыми трудностями. Наверное, так полагал не один я, опыт многих моих ровесников, впоследствии зарекомендовавших себя очень значительными авторами военной темы, свидетельствует о том же.

Л. Л.: Ваши ровесники в литературе, писатели военного поколения, с которыми ваше имя постоянно ставят рядом, — Юрий Бондарев, Григорий Бакланов, Александр Адамович, Виктор Астафьев — уже написали книги, в которых рассказывается и о мирном времени. Вы среди них, кажется, единственный, кто после первых опытов целиком посвятил свое творчество темам войны. Что

же заставляет вас снова и снова возвращаться к событиям тех дней?

И что, на ваш взгляд, — подойдем и с этой стороны к поставленному вопросу, — еще, так сказать, недоисследовано нашей литературой, создавшей уже прекрасную и обширную библиотеку книг о Великой Отечественной войне?

В. Б.: Многие факторы человеческой сущности вместе с войной ушли в прошлое. Перед обществом и индивидуумом мирное время выдвинуло новые, только ему свойственные проблемы. Так, например, проблема героизма во время войны является решающей, главной. Смелость, отвага, презрение к смерти — вот те основные качества, которыми определяется достоинство воина. Но в мирное время мы не ходим в разведку, презрение к смерти от нас не требуется и отвага нам необходима лишь в чрезвычайных ситуациях. Однако то, что в войну стояло за героизмом, питало его, было его почвой, — разве это утратило свою силу? Да, мы не ходим сегодня в разведку, но это обстоятельство не мешает нам и теперь ценить в товарище честность, преданность в дружбе, мужество, чувство ответственности. И теперь нам нужны принципиальность, верность идеалам, самоотверженность, — это и сейчас определяет нашу нравственность, как в годы войны питало героизм. А воспитание коммунистической нравственности — первоочередная задача литературы. Множество примеров из жизни, свидетельства прессы, наши повседневные наблюдения настойчиво говорят о злободневной неотложности этой задачи. Рост материальной обеспеченности общества, повышение роли науки и техники не приводят автоматически к более высокой нравственности, к духовному богатству. Напротив, все это нередко отходит на второй план, скудеет. Мы знаем о пагубной власти материального в западном потребительском обществе с его стандартной ширпотребовской культурой. Мы видели на примере Германии, к чему может привести передовая техника, не контролируемая нравственностью, не обеспеченная духовностью.

Литература должна не переставая бить в свои колокола, настойчиво пробуждая в людях потребность в высокой духовности, без которой любой самый высокий прогресс материальной культуры будет не в радость.

Л. Л.: Говоря как-то о повести «Сотников», вы заметили: «А разве это повесть о партизанской войне?» (Я бы, правда, сказал не столь категорично: эта повесть не толь-

ко о партизанской войне.) Но, судя по сказанному, вы сознательно ищете современную проблематику, обращаясь к действительности военной поры. Вопрос в том: современная ли — в прямом и точном смысле слова — эта проблематика? Ведь каждое время — вы тоже помянули об этом — все-таки рождает свои собственные проблемы. А модернизация или архаизация их может увести от правды. Или это проблематика, на самом деле лишь «рифмующаяся» с теми вопросами, над которыми мы сейчас бьемся, помогающая найти ключ к решению? И еще одно: не здесь ли один из источников тех споров, которые нередко возникали в критике вокруг ваших произведений, когда их современный пафос истолковывался или чересчур узко или чересчур расширительно?

В. Б.: Великая Отечественная война советского народа против немецкого фашизма длилась четыре года, но ее духовно-физический «концентрат» составляет целую эпоху в нашей истории. В течение этих четырех лет так или иначе нашли свое отражение многие века нашей истории, нашей политики, все составляющие психологии, морали и нравственности нашего народа. Нельзя также полагать, что День Победы 9 мая 1945 года явился переломным днем нашего существования, что как только затихли раскаты орудий, жизнь в мгновение ока изменила характер и стала безмятежной и благостной. На самом деле жизнь из одного качества в другое эволюционировала медленно и малозаметно. Многое из того, что мы открыли для себя в годину тяжелейших испытаний, с нами и поныне, многие наши духовные, нравственные и организационные приобретения так или иначе оказывали или оказывают свое влияние на последующую жизнь общества. Поэтому существует ли надобность для литератора подгонять правду нашего существования под правду войны или реконструировать действительность? Не плодотворнее ли поискать общий знаменатель, философский корень того, что имело место в войне и не утратило своего нравственного или иного значения и теперь? Конечно, метод охоты снайперов за вражескими солдатами вряд ли способен всерьез заинтересовать кого-либо нынче, снайперы не самая актуальная специальность для общества мирного времени; отошли в прошлое многие другие качества, некогда важные для войны, и с ними носители этих качеств. Но вот любители подставить ближнего под удар судьбы или начальства, чтобы самому укрыться за его спиной, не перевелись и поныне. Прав-

да, в годы войны это было заметнее и более впечатляюще по результатам, теперь нередко такие вещи выглядят менее драматически, но при всем том природа их остается единой. Природа предательства во всех видах отталкивающа и предосудительна, какими бы мотивами это предательство ни руководствовалось и какие бы благие цели ни преследовало.

В этой связи будет нелишне, я думаю, вспомнить о некоторых спорах вокруг одного из персонажей моей повести «Сотников». Я имею в виду Рыбака. Мне думается, что причина падения Рыбака в его душевной всеядности, несформированности его нравственности. Он примитивный прагматик, совершенно не соотносящий цели со средствами. Война для него — простое до примитива дело, с исчерпывающей полнотой выраженное постулатом: «чья сила, того и право» и еще: «своя рубашка ближе к телу». Он не враг по убеждениям и не подлец по натуре, но он хочет жить вопреки возможностям, в трудную минуту игнорируя интересы ближнего, заботясь лишь о себе. Нравственная глухота не позволяет ему понять глубину его падения. Только в конце он с непоправимым опозданием обнаруживает, что в иных случаях выжить не лучше, чем умереть. Но чтобы постигнуть это, ему пришлось пройти через целый ряд малых и больших предательств, соглашательств, уступок коварному и хитрому врагу, каким был немецкий фашизм. В итоге духовная гибель, которая оказывается горше и позорнее физической гибели.

Конечно, современный читатель не стоит перед таким выбором, но судьба Рыбака, может быть, заставит его задуматься над тем, как опасны сделки с собственной совестью и к чему они могут привести человека...

Л. Л.: В отличие от литературных ровесников вас не занимала тема поколения юношей 41-го года, которой они в своем творчестве отдали немалую дань. Не потому ли, что они начали свой литературный путь раньше, чем вы, и успели об этом довольно много написать? Не потому ли вы с самого начала пошли по пути несколько иному?

В. Б.: Вероятно, и поэтому. Действительно, они довольно подробно написали о судьбе — военной и послевоенной — юношей 41-го года до того, как я начал писать вообще. Но тут есть и еще одна причина. Они, вернувшись сразу после окончания войны к мирной жизни, в институты и университеты, были теснее связаны со

своими ровесниками, чем я, продолжавший и после войны немалое время служить в армии на окраинах, в далеких гарнизонах. Многие проблемы, которые были насущны и очень важны для них, для меня находились за пределами моего личного жизненного опыта.

Л. Л.: Однажды вы заметили, что немалую роль в рождении книг о солдатах пехоты, которая «в прошлой войне являлась не только царицей полей, но и пролетариатом всех битв, выигранных ею большой кровью», играет «чувство долга живущих непехотинцев, вдоволь насмотревшихся на кровь, муки и пот пехоты». В другой раз вы писали: «Да, это он, рядовой великой битвы, ничем не выдающийся бывший колхозник или рабочий, сибиряк или рязанец, долгие месяцы мерз под Демянском, перекопал сотни километров земли под Курском и не только разил огнем немцев, но и крутил баранку на разбитых фронтовых дорогах, прокладывал и держал связь, строил дороги, наводил переправы. Он многое пережил, этот боец, голодал, изнывал от жары, побаивался смерти, но добросовестно делал свое незаметное солдатское дело. И, пройдя через все испытания, он не утратил своей человечности, познал и накрепко усвоил в великом коллективе изначальную правду жизни и многое другое». Опираясь на эти ваши высказывания, можно, мне кажется, определить не только среду, в которой вы ищете героев (в новой повести «Волчья стая» она, скажем, дала образы Левчука и Грибоеда), но и нечто более важное — круг проблем, характерных именно и только для войны **всенародной**, какой была война против гитлеровских захватчиков. Имеют ли эти сказанные вами слова действительно «программный» характер?

В. Б.: Наша великая война, как известно, изобилует всевозможными подвигами, сотни тысяч людей всех поколений, воинских званий и родов войск совершили на ней чудеса храбрости и воинского умения. Но лично я, немного повоевавший в пехоте и испытавший часть ее каждодневных мук, как мне думается, постигший смысл ее большой крови, никогда не перестану считать ее роль в этой войне ни с чем не сравнимой ролью. Ни один род войск не в состоянии сравниться с ней в ее циклопических усилиях и ею принесенных жертвах. Видели ли вы братские кладбища, густо разбросанные на бывших полях сражений от Сталинграда до Эльбы, вчитывались ли когда-нибудь в бесконечные столбцы имен павших, в огромном большинстве юношей 1920—1925 годов рожде-

ния? Это — пехота. Она густо устлала своими телами все наши пути к победе, сама оставаясь самой малозаметной и малоэффективной силой, во всяком разе, ни в какое сравнение не идущей с таранной мощью танковых соединений, с огневой силой бога войны — артиллерии, с блеском и красотой авиации. И написано о ней меньше всего. Почему? Да все потому же, что тех, кто прошел в ней от Москвы до Берлина, осталось очень немного, продолжительность жизни пехотинца в стрелковом полку исчислялась немногими месяцами. Я не знаю ни одного солдата или младшего офицера-пехотинца, который бы мог сказать ныне, что он прошел в пехоте весь ее боевой путь. Для бойца стрелкового батальона это было немыслимо.

Вот почему мне думается, что самые большие возможности военной темы до сих пор молчаливо хранит в своем прошлом пехота. Время показывает, что уже вряд ли придет оттуда в нашу литературу ее гениальный апостол, зато нам, живущим и, может, еще что-то могущим, надо искать там. Пехота прошлой войны — это народ со всей его многотрудной бранной судьбой, там надобно искать все.

Л. Л.: Ваши последние произведения посвящены партизанам. Но вы партизаном не были, воевали в регулярной армии. И все-таки я хочу задать вам вопрос, имея в виду и ваши партизанские повести: в какой мере ваши личные впечатления, ваш военный опыт входят в ваши произведения? Могли бы вы писать о войне, в том числе и партизанской, если бы вы не были на фронте? И с другой стороны, когда вы начали писать о партизанах, потребовал ли этот, новый для вас, материал каких-то дополнительных усилий для овладения им? Как вообще вы собираете материал? Конечно, это сложный процесс. Но если его до известной степени упростить и логизировать, то какое место занимают беседы с участниками войны, изучение архивов, чтение мемуаров, военно-исторических работ и т. д.? Целеустремленны ли ваши поиски материала или он накапливается сам собой?

В. Б.: Хотя я пишу о войне довольно давно, темой партизанской войны занялся лишь в последнее время, после того, как обнаружил, что она таит в себе возможности, которые далеко не всегда предоставляет фронтовая действительность с высокой степенью ее организованности и регламентированностью всего ее быта и деятельности. Партизанская же война в значительной мере

(особенно на ее раннем этапе) — процессе действия масс, стихийности ее человеческого материала, нравственного и психологического разнообразия, что всегда предпочтительнее для литературы. Извечная тема «выбора» в партизанской войне и на оккупированной территории стояла острее и решалась разнообразнее, мотивированность человеческих поступков была усложненнее, судьбы людей богаче, зачастую трагичнее, чем в любом из самых различных армейских организмов. И вообще элемент трагического, всегда являющийся существенным элементом войны, проявился здесь во всю свою страшную силу. Можно сказать, не боясь впасть в преувеличение, что для полнокровного изображения в литературе трагедии оккупированных территорий слишком бледны употребляемые для обычного бытописания краски. Здесь нужны совершенно другие средства и страсти масштаба шекспировских. Я всегда с большой робостью берусь за этот материал и, может быть, вовсе не взялся бы, если бы не мысль о быстротекущем времени, с каждым годом все меньше оставляющем нам свидетелей и свидетельств той невообразимой по человеческим переживаниям эпохи. При этом, разумеется, было бы немыслимо сколько-нибудь успешно справиться с ним, не обладая опытом войны, ведь главная идейная основа здесь та же, что и в действующей армии, психологические, нравственные предпосылки многих поступков тождественны. Я не вел целеустремленных поисков материала, не занимался сбором его. Там, где я живу, в этом еще нет надобности, здесь еще очень многое напоминает о прошедших годах войны.

Л. Л.: Накопленные художниками впечатления бытия по-разному ими реализуются, в чем и сказывается писательская индивидуальность каждого автора. Так вот, были ли у каких-то из ваших героев прототипы, или близость создаваемого характера к реальному лицу вас связывает? То же самое я хочу спросить о сюжетных ситуациях: опираетесь ли вы на реальные события, подлинные случаи, имевшие место в действительности, или ваше знание жизни позволяет вам создавать вымышленные, но правдивые ситуации?

В. Б.: У меня тут нет никакой определенной системы. Каждый раз бывает по-разному. У некоторых из созданных мной образов есть прототипы. Хотя и в данном случае прямого «списывания» нет, происходит обычная литературная трансформация. Мне уже приходилось как-то

писать об этом, приводя в качестве примера два образа из повести «Третья ракета». Самый достоверный, «списанный» образ там — командир орудия старший сержант Желтых. Многие черты его внешности и его характера я действительно списал с командира орудия моего взвода, с которым воевал в Венгрии, находясь в 10-й истребительно-противотанковой артиллерийской бригаде. Его настоящая фамилия Лукьянченко. Следовательно, он не командир сорокапятки и не погиб на плацдарме в Румынии, но благополучно довоевал войну и в сорок пятом демобилизовался из армии. Но в остальном он тот же: по-хозяйски расчетливый, неторопливый, не шибко грамотный — настоящий хлебороб-колхозник, сменивший в силу войны плуг на орудие. Он был одним из лучших командиров орудий в нашем противотанковом полку.

Другой образ из той же повести, рядовой Кривенок, тоже во многом списан с реального лица, только лицо это имело к моей биографии несколько иное отношение и в другое время. Как-то был у меня во взводе один взбалмошный боец, он причинил много неприятностей командирам и плохо кончил по своей, между прочим, вине. Кривенок в повести не такой, но во многом похож на того, другого бойца.

Я уже писал также о родословной Рыбака из «Сотникова», прообразом которого послужил человек, кроме одинаковой судьбы, не имевший более ничего общего с его литературным персонажем. Но именно общность судьбы и сделала его прототипом, и теперь я не могу их разделить — один вызвал к жизни другого. Что это — прототип, менее того или больше — я не думал, да и есть ли надобность разбираться в этом?

Но даже и в тех случаях, когда сам автор затрудняется назвать реальный прообраз героя, значит ли это, что таковой вовсе отсутствует? Забытые или полузабытые жизненные впечатления, образы, характеры людей и даже личные настроения давних лет, запечатлевшись глубоко в подсознании, могут однажды воскреснуть и предстать перед автором как увиденное или почувствованное им впервые. Особенно если несколько стертых характеров трансформируется в один сборный — яркий и полнокровный, тот, о котором говорят, что он, выдуманный, заключает в себе больше правды, нежели существовавшие на самом деле. Ведь в процессе творчества, как известно, роль подсознательного чрезвычайно важна.

Л. Л.: А сюжетные ситуации?

В. Б.: Точно так же и сюжетные ситуации. С некоторыми из них у меня не было лишних забот — они взяты прямо из моей фронтовой действительности, степень конструирования в них весьма незначительна. Таковы сюжеты «Третьей ракеты», «Атаки с ходу», отчасти «Круглянского моста» и «Волчьей стаи». Фабула каждой из этих повестей была заранее известна, автору пришлось только разработать ее в деталях и населить подходящими образами.

Другие же сюжеты складывались из различных случаев, постепенно соединялись, образуя единое целое. Какие-то стыки домысливались, отыскивались органические связи, видоизменяясь, различные случаи как бы притирались друг к другу. А бывало, что какая-то жизненная история служила лишь завязкой, началом повести, все остальное уже диктовало воображение.

Справедливости ради надо сказать, что невыдуманность первых решительно не имеет преимуществ перед сконструированностью других, составленных из различных кусков, и не гарантирует от неудачи. Во всяком случае, те вещи, сюжеты которых мне пришлось, что называется, выдумать («Западня», «Сотников», «Дожить до рассвета», «Альпийская баллада»), вряд ли уступали в своей жизненной достоверности сюжетам непридуманным. Видимо, многое здесь решается всем идейно-образно-сюжетным комплексом, различным в каждом отдельном случае и окончательно определяющим литературное достоинство вещи.

Л. Л.: А как у вас возникает замысел, что служит первотолчком — пришедшая в голову мысль, проблема, которую вы хотите поставить или исследовать, какие-то впечатления и воспоминания или чей-то рассказ о пережитом и т. д.? Или в разных случаях бывает по-разному? Если это воспоминание или чей-то рассказ, то вас привлекает «просвечивающая» в нем проблема или к ней вас приводит логика воссоздаваемых событий и раскрывающихся характеров?

В. Б.: Взаимодействие частей в схеме: замысел — материал — воплощение, пожалуй, самое трудное для постижения и, пожалуй, наименее осмысленная область психологии литературного творчества. Ясно, что постоянно бодрствующая авторская мысль, несущая в себе нравственно-философскую идею, лишь тогда в состоянии литературно произрасти, когда она попадает в благоприятную почву жизненного материала. Необходим подходя-

щий синтез идеи, жизненно достоверной ситуации и соответствующих человеческих образов, способных в данных обстоятельствах выразить данную идею. Что в моем сознании появляется прежде и что после, по-моему, не суть важно. Может появление точно подмеченных характеров, поставленных в соответствующие ситуации, привести к выражению той или иной идеи, а может и идея для своей литературной реализации вызвать к жизни свои адвокаты-образы. В «Третьей ракете» я не навязывал моим персонажам никакой литературной идеи, они жили, страдали, воевали каждый в силу своего характера и сложившихся обстоятельств. В итоге их самопроявления обнаружилась и читается какая-то идея, наверно, более сложной идеи и не надобно для этой маленькой повести. Что же касается «Сотникова», то здесь все было подчинено заранее определенной идее, хотя это вовсе не означало диктат автора над характерами и обстоятельствами — просто автор достаточно хорошо знал своих героев и по возможности точнее рассчитал логику их поступков. К тому же для выражения данной идеи я старался выбрать из запасников своей памяти наиболее подходящие персонажи.

Л. Л.: Я хочу напомнить то, что сказано в одной вашей статье: «В «Сотникове», — писали вы, — я с самого начала знал, чего хочу в конце, и последовательно вел своих героев к сцене казни, где один помогает вешать другого». А как было в других случаях, в других повестях: знали ли вы, к чему должны прийти в конце? Не случалось ли вам испытывать сопротивление родившегося под пером характера? Мне, например, кажется, что в «Альпийской балладе» и «Дожить до рассвета» вас кое-где ведет не логика характеров и обстоятельств, а опережающая их мысль. Мысль, которую вы хотите выразить, становится хозяйкой положения. Что вы думаете на этот счет?

В. Б.: Я думаю, что если характер схвачен точно, если он поставлен в подходящие для его раскрытия обстоятельства, если авторское отношение к нему верно, — никаких особых сюрпризов быть не должно.

Я уже говорил о «Сотникове». Что касается, например, «Дожить до рассвета» и образа главного героя этой повести, лейтенанта Ивановского, то меня здесь прежде всего интересовала мера человеческой ответственности. Как известно, на войне выполняются приказы старших начальников. И ответственность за удачу или неудачу той

или другой операции делится пополам между ее исполнителем и руководителем. А здесь случай, когда инициатором операции выступает сам исполнитель — младший офицер, но все дело в том, что эта его инициатива заканчивается полным фиаско. Конечно, Ивановский тут ни при чем, можно оправдать его, ведь он честно исполнил свой долг. Но сам Ивановский оправдать себя не может: ведь операция потребовала невероятных усилий, за нее заплачено жизнью людей, его подчиненных. В гибели Ивановского не виноват никто: он сам выбрал для себя такой удел, потому что обладал высокой человеческой нравственностью, не позволявшей ему схитрить или слукавить ни в большом, ни в малом...

Л. Л.: Мне кажется, что многое в этой повести определяется и временем действия: начало зимы сорок первого года, враг все ближе подходит к Москве. Без понимания этого трудно постичь логику поведения героя. В эту пору каждый честный человек был готов на все, чтобы спасти Родину, и отдать свою жизнь за то, чтобы уничтожить хотя бы одного вражеского солдата, — это не казалось чрезмерной ценой. И трагический финал повести, как мне представляется, подводит читателя к этой мысли...

В. Б.: Да, время, изображенное в повести, — самая трагическая пора Великой Отечественной войны. Кроме всего прочего, многие воины тогда еще не имели того опыта, того умения воевать, которые пришли позже. Но тем не менее патриотизм, самоотверженность, сила духа и воля к сопротивлению были очень высоки, благодаря им мы выстояли. В тех условиях, когда нам недоставало воинского мастерства и военной техники, люди, подобные лейтенанту Ивановскому, пытались это компенсировать самоотверженностью, готовностью пожертвовать собой, любой ценой остановить врага. Позже воля к победе и самоотверженность, подкрепленные воинским умением и преимуществом в боевой технике, приводили к результатам более значительным, чем у лейтенанта Ивановского...

Впрочем, дело, как мне кажется, вовсе не в боевом результате той или иной операции или действия, для литературы о войне одинаково важны как удачи, так и поражения, большие и малые. К тому же, что такое победа, а что поражение с точки зрения нравственной или философской, которые больше всего другого интересуют в искусстве? Ивановский, разумеется, был побежден и погиб на своем маленьком поле боя, но если он из тех людей, о

которых сказано, что их можно убить, но нельзя победить, то его поражение явственно превращается в иное, противоположное качество. Именно на стыке этих взаимоисключающих понятий и таятся значительные возможности литературы, нередко, к сожалению, игнорируемые нами, привыкшими к предельной ясности, с которой соседствует упрощенчество.

Л. Л.: Почти все, что вы написали, принадлежит к одному жанру — короткой повести: поначалу она напоминала своей структурой повесть лирическую, и критики еще долго ее числили по этому «разряду», даже тогда, когда основное ее содержание определилось как нравственно-философское. Когда вы приступаете к работе над новой вещью, «задана» ли ее жанровая структура с самого начала или это складывается само собой? Совсем недавно один критик написал, что вам уже «тесно» в том жанре, в котором вы работаете много лет, что вы, он в этом убежден, должны перейти к более крупной форме — роману. Совпадает ли это с вашими ощущениями и намерениями?

В. Б.: Мне трудно сказать, как будет дальше. Может быть, когда-нибудь я и напишу роман. Но пока у меня нет подобного намерения.

Так получилось, что с самого начала я писал преимущественно повести. Когда-то эти повести действительно были лирическими. Потом, очевидно, по мере того, как их автор обретал литературный опыт, характер их изменился. Принимаясь за новую вещь, я не определяю ее размер или структуру, хотя, конечно, и предполагаю, какой примерно получится эта вещь, и знаю наверняка, что это будет повесть. Но в процессе работы она становится или короче, или длиннее, чем мне представлялось вначале. Иногда какие-то звенья сюжета, какие-то эпизоды сокращаются, другие, наоборот, развиваются подробнее. А в общем, я не ощущаю тесноты в этом обжитом мною жанре. Я думаю, что это очень емкая форма прозы и в ней можно выразить очень многое, а главное — без утомительных излишеств.

Л. Л.: Часто говорят и пишут, что ваши повести — во всяком случае, последние — повторяют художественную структуру притчи, хотя оценивается это свойство по-разному — и как достоинство, и как недостаток. Мне это определение не кажется верным: притча предполагает отрешение от конкретности — бытовой, психологической и прежде всего исторической. Но этого никак не скажешь

о ваших повестях. Повод же для такого рода суждений, мне кажется, в том, что ваши повести отличаются крайней заостренностью и трагизмом ситуаций, нравственным максимализмом, бескомпромиссностью представлений о том, что хорошо и что дурно, которые и определяют оценки человеческого поведения. Не потому ли с таким постоянством вы оставляете героев один на один со своей совестью, повинуясь которой они сами должны решить свою судьбу в обстоятельствах, где за верность долгу платят жизнью?

В. Б.: Действительно, некоторым из моих критиков хотелось бы объяснить какие-то особенности моего творчества придуманной на ходу приверженностью автора к жанру притчи. Думаю, что это не так. Кажущееся притчеобразие некоторых из моих повестей проистекает, по моему мнению, не от авторского насилия над жизненным материалом в угоду заранее принятой идее, не из стремления решить некую абстрактную моральную задачу, а от лаконизма повествования и сжатости действия, может быть, от некоторой беллетристической обедненности сюжета и стиля. Очевидно, иногда дает себя знать примат идеи над формой, когда идея не всюду находит свое органическое воплощение в форме. Наверное, все это присуще некоторым из моих повестей, но я не стремлюсь к этому, более того, я этого избегаю. Другое дело, как вы сказали, нравственный максимализм, без которого я не могу обойтись, потому что всеми средствами привык затягивать нравственные узлы, отчего порой слишком выпирает жесткость сюжетных конструкций. В то же время можно понять тех, кому хотелось бы мягкости тонов, обстоятельности переходов. Но что делать? Война плохо согласуется с этой человеческой склонностью. Война — дело слишком серьезное, чтобы на ее материале конструировать воскресное чтение для досужих читателей. Кроме того, я убежден, что наиболее правдиво поведать о ней можно только средствами реализма. Всякая нарочитая романтизация, вольная или невольная эстетизация этого народного бедствия, на мой взгляд, является кощунством по отношению к ее живущим участникам и по отношению к памяти двадцати миллионов павших. Это надлежит крепко помнить художнику, обращающемуся к суровым годам войны, — в этом своеобразный категорический императив искусства нашего времени.

Л. Л.: Какие свои книги вы любите больше всего и что вам в них дорого? Только не уходите от этого вопро-

са, заявив, что самая любимая, самая лучшая еще не написана. О будущих книгах, я надеюсь, мы еще поговорим. Знать же, что писатель из созданного им ценит больше всего, — это поможет понять суть его художественных исканий... И еще один вопрос. Не возникало ли у вас по прошествии определенного времени желания вернуться, дописать, переписать когда-то написанные вещи?

В. Б.: Первый вопрос действительно весьма затруднителен, потому что у писателя несколько оценочных критериев своих произведений. У читателя, в общем, один критерий: понравилось или не понравилось, или это произведение понравилось больше, а это меньше, даже когда он пытается уяснить для себя, почему понравилось и почему не понравилось. Автора же связывает с каждым созданным им произведением очень многое: не только то, что он выразил в нем, но и то, скажем, что хотел выразить и как ему это удавалось. Потом одна вещь пишется легче, а над другой приходится работать порой весьма мучительно. Если говорить конкретно, то более других мне дорога повесть «Сотников», которая и писалась довольно легко, и жизненного содержания в ней, может быть, несколько больше, чем в других вещах.

Что касается второго вопроса, то уж так повелось, что я не возвращаюсь к вещам, ставшим достоянием читателя, для этого у меня нет ни сил, ни желания. Хотя почти всегда в опубликованной вещи обнаруживаю какие-то недоделки, недостатки, огорчаюсь, ругаю себя за недосмотр, но не могу заставить себя взяться за нее вновь. Берусь за следующую.

Л. Л.: Корабль спущен на воду?

В. Б.: И отчалил от берега, он принадлежит уже не строителям, а экипажу...

Л. Л.: Есть ли у вас среди классиков любимые писатели? В критике, когда стараются определить традиции, с которыми связывают ваше творчество, чаще всего называют имена Достоевского и Кузьмы Черного. А как считаете вы сами? Есть ли сознательность, намеренность в выборе писателем традиций? И что такое «учеба у классиков», о которой мы так часто толкуем, — использование их опыта или стремление к той глубине проникновения в душу человека, которой они достигли?

В. Б.: Я думаю, что понятие «учеба у классиков» зачастую у нас упрощается. Учиться у классиков — это не значит перенимать их технологию творчества, осваивать их приемы. Это нечто гораздо более широкое и значи-

тельное: уважение к правде, проповедь гуманизма, понимание общественного долга литературы и писателя, — все то, в чем действительно состоит сила и значение классиков.

Мои литературные симпатии не оригинальны и, быть может, покажутся старомодными. Как и миллионы читателей, я считаю самым высоким в нашей литературе Льва Толстого, рядом с которым действительно поставить некого. Своим пророческим предвидением, пониманием подспудного, затаенного в человеческой душе всегда будет велик Достоевский, с творчеством которого созвучно многое в произведениях классика белорусской литературы Кузьмы Черного. Великая русская литература была и остается той главной школой духовности, которую должен пройти каждый, прежде чем отважиться добавить в ней какую-то свою строчку...

Кроме того, я хотел бы сказать, что в моей писательской судьбе немалую роль сыграло то обстоятельство, что я писал в одно время и при полном взаимопонимании с моими русскими сверстниками, авторами талантливых книг о войне, среди которых в первую очередь хочется назвать Юрия Бондарева и Григория Бакланова. Я многим обязан также Александру Адамовичу, великолепному белорусскому прозаику и самому проницательному из моих критиков.

Л. Л.: Ну, раз вы помянули, что Александр Адамович не только прозаик, но и критик, перейдем к этому вопросу. Поговорим о критике. Вы как будто не можете пожаловаться на ее невнимание: ваши книги рецензировали много и охотно. Хотя вам приходилось сталкиваться не только с проницательными и взыскательными суждениями критиков, но и с непониманием, даже с недоброжелательством. Интересуетесь ли вы критикой вообще и суждениями критиков о вашем творчестве? Находят ли они у вас внутренний отклик — это необязательно согласие и принятие, может быть и отталкивание? Вам порой — пусть не очень часто — тоже приходится выступать в роли критика, делаете ли вы это с охотой или в силу долга?

В. Б.: Я отдаю себе отчет, что критика, как и критики (впрочем, как и писатели), бывают разными. Правда, критики в моем сознании не делятся на тех, которые меня хвалят и которые меня ругают. Дело не в том, чтобы тебя похвалили. Приятно, конечно, когда написанное произведение находит у критика такое же понимание,

как у автора, когда критик не выискивает в нем то, что с удовольствием потом осудит...

Л. Л.: Когда он понимает внутренние законы, по которым создавалось произведение, его пафос...

В. Б.: Совершенно верно. Но в то же время бывает так, что иной критик по разным причинам не приемлет данной манеры автора и заранее настроен неприязненно. Именно эта его настроенность выдает себя с самого начала, нередко с заголовка, и я уже знаю все, что последует дальше. Больше того — еще в процессе работы над повестью я уже предвижу, что скажет определенного толка критик, предвижу весь несложный ход его мотивировок и рассуждений. Читать его рецензию бессмысленно, потому что автор и рецензент как бы на разных берегах реки и каждый видит нечто обратное тому, что видит его оппонент. Про такого критика исчерпывающе гласит пословица: ему про Фому, а он про Ерему. Случается и так, что критик ругает автора вовсе не за то, что действительно задевает критика, старательно им замалчивается, и он отыгрывается на мелочах и положениях, которые при желании можно истолковать различно.

Приятно читать рецензию, пусть самую строгую, где критик стремится взглянуть на проблему твоими глазами и судит тебя с твоей же позиции. При этом давно замечено, что совершенно так же, как первый критик стремится подхватить любой действительный промах автора, чтобы использовать его против последнего, так же второй критик охотно готов переоценить малейшую удачу писателя, но и тот и другой оставляют истину за рамками своих рассуждений. Впрочем, оно и понятно. Отстаивая или отрицая позицию автора, каждый из критиков оружием собственной аргументации прежде всего обосновывает собственную позицию, к которой произведение автора порой имеет весьма отдаленное отношение, являясь лишь поводом для критического самовыражения. Что тоже понятно.

Л. Л.: У меня возникло такое ощущение, что в следующих после «Сотникова» повестях, особенно в «Обелиске», есть внутренняя полемика, хотя и не прямая, не специальная, с тем, что писали некоторые критики после появления «Сотникова»...

В. Б.: Возможно, хотя такой задачи — учитывать замечания критиков или полемизировать с ними на страницах своих произведений — я перед собой не ставил. Я уж не говорю о том, что, когда завязывались споры

вокруг какой-то из моих повестей, следующая была уже в работе... Может быть, здесь дело в том, что иногда к проблемам, которых я только коснулся в какой-то повести (они были для меня боковыми), я возвращаюсь позже, чтобы заняться ими основательно...

В каждой отдельной вещи не может быть полной картины войны, всех выдвинутых временем проблем. В маленькой повести может быть лишь один какой-то эпизод, какой-то момент, одна маленькая грань того времени. Как можно требовать всей полноты картины войны от одного автора, когда вся наша литература до сих пор еще не может охватить всю огромную полноту Великой Отечественной войны?.. И поскольку я тоже не считаю эту тему исчерпанной ни моим творчеством, ни литературой в целом, в каждой своей новой вещи стараюсь обнаружить то, что было упущено или не нашло места в предыдущей, и это, вероятно, тоже может создавать впечатление, что я в своем творчестве полемизирую с критиками...

Л. Л.: Я хочу напомнить о втором моем вопросе: как вы сами себя чувствуете в роли критика?

В. Б.: Не слишком уверенно. В литературе я привык мыслить образами, здесь же другая форма мышления, которой нужны несколько другие навыки. Одно дело получить впечатление от определенного произведения, и совсем другое — обосновать это впечатление, перевести его в логический ряд силлогизмов. Но тем не менее иногда возникает потребность высказаться в печати по поводу того или иного произведения, особенно в тех случаях, когда какое-то произведение, как мне кажется, не оценено должным образом или оценено необъективно.

Л. Л.: Не случалось ли вам откладывать начатую вещь, если она почему-то не давалась? Возвращаетесь ли вы снова к ней? Есть ли у вас «задел» замыслов? Знаете ли вы, заканчивая одну вещь, какую будете писать следующую? Нужны ли вам паузы между двумя книгами?

В. Б.: Многие мои коллеги — я не раз это слышал от них — считают, что паузы между двумя книгами должны быть как можно короче. Когда-то я тоже склонен был так думать, но потом это мое мнение переменилось. Хотя сразу переходить от одной вещи к другой кажется легче, так сказать, помогает инерция письма, однако, как мне теперь думается, это кажущаяся легкость. Ведь работа над книгой — это не только работа над строкой и фразой, а нечто еще более важное и трудное. Поэтому, не

выносив должным образом замысла, трудно создать что-нибудь стоящее, а для вынашивания надобны время и мысли. Надобно вещь спроектировать. Ведь проза, как известно, это архитектура, а не искусство декоратора.

Но самое трудное для меня — выбрать среди многих замыслов тот, над которым сейчас надо работать. Не случайно Пушкин придавал такое значение «форме плана». Главная идея произведения, план определяются выбором той или другой темы или идеи. Этот выбор должен быть оптимальным в смысле задач и возможностей, и на него зачастую уходит гораздо больше времени, чем на написание произведения. Замыслов у меня, повторяю, всегда в достатке, но при этом необходимо верно соотнести эти замыслы со своими возможностями. (К понятию «возможности» я отношу не только способности и опыт, но и знание материала, владение им.) Иногда, приступив к работе, выясняешь, что выбранный замысел не по плечу, я с ним не справлюсь. Тогда приходится вещь откладывать. Иногда, после того как она отлежится, возникает новый взгляд на тему, новый к ней подход, новое сюжетное решение. Так случилось, например, с повестью «Дожить до рассвета», начатой мной лет шесть назад, отложенной и дописанной в 1972 году. Некоторые же замыслы так и оказываются отложенными навсегда. Особенно те, которые опоздали со своим появлением или не были осуществлены в нужное для них время.

Л. Л.: Становится ли с годами, с накопленным опытом, осознание своих возможностей более точным? И всегда ли это благо: может быть, риск, дерзание помогают иной раз сделать и то, что казалось невозможным?

В. Б.: Пожалуй, да. Неопытность, как и незнание, не всегда плохо, иногда, особенно в начале творческого пути, они немало способствуют тому, что автор берется за работу над вещью, за которую никогда бы не взялся, знай он определенно, что это такое. И случается, создает что-то весьма удачное. И кто знает, сколько произведений остались ненаписанными в зрелом возрасте именно в силу осознания их авторами размеров собственных возможностей, а также из нежелания риска. Знание тут предостерегает автора от самонадеянности, но и подрезает немаловажную в любом деле способность к дерзанию. Ведь всем известно, что идти по протоптанной стежке всегда предпочтительно для автора. Но не для литературы, конечно.

Л. Л.: И наконец, последний вопрос: когда вы пишете,

думаете ли вы о своем будущем читателе? Или мысли о читателе возникают, когда вещь закончена?

В. Б.: Я плохо себе представляю, что такое читатель вообще. Я знаю читателей — моих знакомых, могу с определенной долей уверенности предвидеть реакцию каждого из них на какой-нибудь мой пассаж. Но читатель вообще?.. Ведь он такой разный, духовно-нравственный диапазон его столь всеобъемлющ, что учесть его интересы или его отношение без ЭВМ я не в состоянии. Если я думаю о чем-либо побочном, когда пишу, так это скорее литература, жизнь, насущные потребности времени, общественная атмосфера, не учитывая характер которых что-либо создать невозможно. Наконец, я всегда считаюсь с возможной реакцией моих знакомых, людей, чьим именем я привык дорожить и в чью объективность глубоко верю.

1975 г.

ПОЛОТНА, ОПАЛЕННЫЕ ВОЙНОЙ

Творчество Михаила Савицкого глубоко драматично в своей основе, любая тема на его полотнах обретает черты заостренной важности, истинности, порой подчеркнутой трагедийности. Начиная с одной из первых своих работ — «Партизаны», он не перестает разрабатывать тему войны, идя по пути эпического истолкования всенародного подвига.

Цикл его картин, посвященный партизанам, выдвинутый на соискание Государственной премии СССР, — самое, пожалуй, значительное явление в белорусской национальной живописи. Всему миру известна его «Партизанская мадонна». Древний сюжет, столетия вдохновлявший художников прошлого, зазвучал на холсте Михаила Савицкого свежо и волнующе. Молодая мать с младенцем на руках, горестное лицо старой женщины, прощальный взгляд уезжающего в бой партизана — все здесь исполнено драматизма, дыхания грозной силы войны. Но с этой безжалостной силой как бы диссонирует задумчиво устремленный вдаль взгляд молодой матери, более всех рискующей в атмосфере опасности и менее всех защищенной от нее. В этом страдальческом взгляде, однако, великая материнская любовь и надежда, которых не в состоянии лишить ее даже такая жестокая сила, какой была минувшая война.

Художественная манера М. Савицкого ярка и своеобразна, ее невозможно смешать ни с какой другой. Композиция и колорит — вот две самые сильные стороны его мастерства; детализация мало интересует художника. «Для меня очень важно писать не как видишь, а как знаешь», — говорит он. И каждый раз нельзя не поражаться его знанию событий и явлений, ставших объектом его изображения.

Наверно, поэтому в его полотнах так много обобщенно-символического, исполненного в огрубленной, почти плакатной манере, несомненно идущей от желания максимально выделить идею, почти всегда лежащую у Савицкого в глубине образа, за рамкой холста. На холсте лишь ее пластический знак, символ, выраженный предельно лаконично по форме, но исчерпывающей в своем содержании.

Одна из его лучших работ партизанского цикла имеет емкое и очень конкретное название — «Витебские ворота» и посвящена реально существовавшему в годы войны узкому коридору в немецкой линии фронта, через который продолжительное время осуществлялось сообщение партизанской Белоруссии с Большой землей. Эта огромная картина состоит из ряда параллельных сюжетов, композиционно чрезвычайно насыщенных и напряженных эмоционально. На огненном фоне закатного неба черные ветви деревьев, под ними три человеческих потока; два — туда и один, центральный, — оттуда; в нем белорусские женщины с узлами, раненые, выходящие на спасительную Большую землю. Однажды увидев, невозможно забыть их темные, страдальческие лица, скорбно сжатые губы. Во всей картине — ни одной лишней детали, ни одного необязательного мазка.

Дыхание прошлой войны присутствует у М. Савицкого всюду, независимо от того, что изображено на его холстах. Даже в самых мирных сюжетах она дает себя знать то в трудном изгибе плечей пожилого человека, то в строгом, со скорбью, взгляде немолодой женщины, то в особом, почти священном ее отношении к буханке только что испеченного хлеба. Наверно, это и понятно, если иметь в виду все те небывалые лишения, которые вынес народ за годы войны, огромные жертвы среди населения Белоруссии.

Многие картины М. Савицкого именно о них, простых белорусских крестьянах, рабочих, женщинах, матерях. Вот они остановились зачем-то в центре ржаного поля,

пятеро сельских тружеников: пожилой, наверное, немало повидавший на своем веку, но все еще не переставший трудиться на земле крестьянин, его молодой сын или, возможно, односельчанин, девушка в комбинезоне и две женщины в темных платках. Они в деловой сосредоточенности решают судьбы поля, его урожая, возможно, вспомнив в эту минуту о тех, кто тут работал до них, а может, погиб на этой земле, обильно политой человеческим потом и кровью. Картина так и называется «В поле».

М. Савицкий много знает о предмете своего изображения и помнит о нем. Биография народа, собственная биография художника обязывают его бережно хранить в памяти все им пережитое и своим ярким талантом без устали служить памяти тех, кто вместе с ним отстаивал Севастополь, погибал в Бухенвальде и Дахау, кто четырежды пытался бежать на волю и чудом остался жив. Но прежде о тех, кто отдал свою жизнь в борьбе с фашизмом.

Савицким создано много замечательных полотен на темы войны и мира. Его работы выставлялись в десятках стран света, многие из них отмечены премиями, дипломами и медалями. За десять с небольшим лет, прошедших после окончания института имени Сурикова, художником создано несколько десятков полотен, потребовавших поистине титанического труда. Среди них ряд сложных многометровых композиций, в том числе и монументальная роспись в Музее Великой Отечественной войны в Минске площадью сорок восемь квадратных метров. А совсем недавно москвичи и гости столицы на выставке «На страже Родины» знакомились с новой, не менее прекрасной работой художника, названной им «Поле», картиной, заставляющей говорить о нем как о мастере высокой гражданской ответственности и большого мастерства.

1973 г.

ГЛАВНЫЙ ЖАНР ЛИТЕРАТУРЫ

Говорят, что главным показателем состояния литературы на каждом данном этапе является степень развития жанра романа, что только роману дано поднять на себе самый полный груз времени со всем комплексом его идей, тревог и исканий — его правды. Наверное, это так. Даже в младописьменных литературах роль романа ста-

новится все заметнее, не говоря уже о литературах старых и развитых. Действительно, мы имеем замечательные достижения в этой области прежде всего благодаря ряду отличных произведений последних лет Чингиза Айтматова, Юрия Бондарева, Валентина Распутина, Нодара Думбадзе, Даниила Гранина, Владимира Богомолова, Ивана Чигринова, Юозаса Балтушиса. Очевидно, характер романа, его возможности, его наполненность правдой времени резко изменились с течением лет и выдвинули роман на передний край литературы.

А ведь еще лет 10—15 назад ситуация в этой области была иной, роман не был тем, чем он стал ныне. Помнится, как Александр Твардовский, тогдашний редактор «Нового мира», неоднократно утверждал, что самым оперативным и современным прозаическим жанром является повесть. И действительно, 50—60-е годы были временем расцвета повести. Почему так? Разумеется, на то были свои причины, некоторые из них отошли со своим временем, другие остались. Если говорить о злободневности данного жанра, его оперативности, то, разумеется, следует отдать предпочтение короткой, со сжатым сюжетом, проблемной повести. Точно так же, как в этом отношении повесть уступает очерку, также расцветшему в настоящее время. В самом деле, по остроте познания жизни, быта, экономических, нравственных и иных проблем очерк продемонстрировал свои блестящие возможности, связанные нынче с именами Ивана Васильева, Юрия Черниченко, Анатолия Стреляного и других. Вот уж действительно чьи очерки можно класть на стол Госплана, пусть попотеет. Без преувеличения можно сказать, потеть ему в этом случае придется долго, потому что проблемы, поднимаемые в них, нешутейные и разработаны они, как правило, глубоко и остро. Авторам повестей трудно за ними угнаться. Тем более авторам романов, хотя литература время от времени становится свидетельницей такого рода попыток, когда некоторые из романистов целиком посвящают свое детище какой-либо хозяйственной, экономической или даже технической проблеме. Это так называемый производственный роман. Не знаю, как критики (я здесь выступаю как частное лицо, так сказать, рядовой читатель), но я не могу вспомнить сколько-нибудь значительных удач в этом направлении. Очевидно, в наш сложный, бурно развивающийся век, век НТР многие проблемы и экономические искания устаревают раньше, чем найдут свое воплощение в романах, кото-

рые, как известно, не скоро пишутся и еще медленнее издаются. Пресловутая плановая система и на книгоиздательском деле отражается точно так же, как и в других хозяйственных областях: не столько толкает дело вперед, сколько тянет его назад. Но это другой разговор и не о том сейчас речь.

Речь о том, что же все-таки нынче роман, что он может и чем он быть должен?

Мне думается, это мудрые люди придумали в свое время разграничение литературы по жанрам, и хотя нынче, как никогда прежде, жанры эти становятся неопределенными, размытыми, подверженными взаимодиффузии и смешению, все-таки жанровые законы остаются в силе, и безнаказанно преступать их невозможно. Опыт деревенской и военной прозы, опыт наших лучших мастеров литературы красноречиво подтверждает это. То, что свойственно повести, не очень подходяще роману. Роман может то, что не по силам повести. У рассказа одни задачи, а у очерка совсем другие.

Разумеется, я далек от того, чтобы выводить здесь какие-то правила, тем более навязывать их уважаемым романистам. Но мне думается, почему бы нам не осмыслить того же Айтматова, Бондарева или Распутина? Во всех трех последних романах этих авторов при всем различии их—тематическом, философском, стилевом, этическом— в основе авторской концепции лежит человеческая судьба, судьба личности в драматические моменты нашей истории. Неважно, как и какими средствами воплощается это в романе — у Айтматова это почти вся жизнь героя, у Бондарева — два кардинальных момента жизни, так взаимоувязанные между собой, что определяют всю заключенную между ними жизнь. То же у Распутина: на одном случае из жизни — случае, разумеется, очень значительном и важном, — показана человеческая судьба и даже более, как писал Адамович, «всенародное наше прощание с крестьянской Атлантидой, постепенно скрывающейся во всем мире», уходящей из жизни в историю. Конечно, нужен недюжинный талант, чтобы решиться на задачу такой грандиозности, драму, связанную с судьбой личности или тем более целого класса, не каждый романист обладает способностями такого масштаба. И в данном случае успех во многом был обеспечен счастливым (технически выражаясь, оптимальным) сочетанием высокой задачи и мощных литературных способностей. Значит, приходится соразмерять эти наши возможности, — что делать? Иначе каждый из

нас написал бы по «Войне и миру» за свою жизнь, по крайней мере усидчивостью нас не удивишь, а в благих намерениях никто не усомнится.

Да, теперь уже совершенно очевидно, что не всякая пухлая книжка прозы — роман, так же не всякое стихотворение лесенкой есть поэзия.

Жизнь и смерть — вечная тема искусства, потому очевидно, что человеческая судьба заключена именно между двумя моментами — рождением и смертью. Независимо от того, как человек к ним относится, они определяют его судьбу, его самоценность среди других ему подобных на этой земле. Особенно значительна и самодовлеюща именно смерть, как итог судьбы, ее следствие. Можно бояться или презирать ее, пренебрегать ею или даже жаждать ее, но независимо от наших к ней отношений никому не дано избежать ее, и потому она незримо и постоянно присутствует в человеческом бытии, в значительной степени определяя его содержание. Когда-то в годы войны мы, молодые тогда люди, познавшие жизнь именно в форме жестокой войны, привыкнув к ней, даже не замечали ее постоянно и незримо давящего на сознание пресса, мы сжились с ним и просто не могли себя ощущать иначе. И только 9 мая 1945 года, когда этот пресс вдруг исчез, мы не столько поняли, сколько неожиданно для себя почувствовали, от чего избавились. Прежде всего от неопределенности нашей судьбы. Впервые за годы войны жизнь обрела для нас значение смысла и избавилась от власти случайного. Но ведь многие не дожили до этого дня, не дошли до Победы и — что меня давно поражает — не то, что они погибли, это слишком банально на войне — а то, что, погибнув, они так и не узнали об окончании этой войны. Погибли в неведении. И до сих пор пребывают в оном. Никогда не узнают, о, может быть, самом важном из всего, что в течение ряда лет занимало на земле умы миллионов людей.

Понятно и в общем объяснимо нередко высказываемое читательское желание счастливых финалов в наших произведениях. Но вот что касается прозы о войне, то я, например, каждый раз теряюсь, сталкиваясь с выражением подобных желаний. В таких случаях сам по себе возникает вопрос: что же такое литература? И что такое искусство вообще?

Казалось бесспорным, что искусство — это средство познания жизни с целью ее совершенствования. Поэтому лучшие произведения искусства всегда будоражили че-

ловеческое сознание, лишали человека самоуспокоенности и довольства собой и своим образом жизни. Мы знаем множество примеров такого рода во все времена — от Сервантеса до Айтматова. Но мы не можем также закрыть глаза и на то обстоятельство, что с некоторых пор искусство все больше становится средством уик-энда, сонливого отдыха или шумного фестивального празднества. Один уважаемый кинорежиссер в недавней дискуссии в «Литгазете» так и написал черным по белому: «Человек идет в кино, чтобы развлечься, значит, задача кино развлечь его, коль оно получило с него 50 копеек за билет». Книги подорожали, полтинником не обойдешься. Тогда что же, стараться развлекать на рубль? Или на трешку и больше, если это роман? Разумеется, я несколько утрирую, но все же не могу отделаться от вопроса: что должна литература? Учить? Вряд ли. В наше время учителей-наставников достает и без литературы. Пробуждать чувства добрые? Но в области чувств мир дожил до ядерного топора, тут не до добрых чувств — не потерять бы рассудок от ненависти. Может быть, в занимательной форме средствами беллетристики проповедовать истины, которые в другой, незанимательной форме, уже не усваиваются обществом? Чем больше размышляешь над этими и схожими с ними вопросами, столь естественными для людей нашей профессии, тем все больше склоняешься к единственно разумной возможности реалистического искусства: показать человеку человека таким, каков он есть, и пусть он решает сам, каким ему быть. Пусть он сам и выбирает свою судьбу, альтернативность которой в наше время выражается предельно просто: жить или умереть.

Но тут есть один щепетильный вопрос, относящийся именно к этому показу. Говорят, что культура — это память человечества. Это правильно. Все дело, однако, в том, что следует помнить, — ведь человеческая память избирательна, а искусство уже в силу своей природы избирательно тем более. Например, что касается войны, то один из ее участников из всего пережитого наиболее ярко запомнил, как его догоняли, хотели убить, но промахнулись, и он до сих пор вскакивает по ночам в холодном поту. Другой — как его награждали орденом, и он спустя годы не перестает переживать радостные волнения по этому поводу. Третьему не дает покоя случай, когда рассерженное начальство назвало его «дураком», но теперь это популярное слово в устах не очень разборчивого на слова

начальства звучит для него как «молодец» и заставляет каждый раз умиляться. Это я говорю о ветеранах, но то же можно сказать и об авторах военных романов.

Теперь нередко можно услышать от наших читателей, в том числе и ветеранов, суждения вроде: «Ну сколько можно перелопачивать одно трудное да кровавое, ведь были же на войне и веселые моменты, и шутка, и смех». То есть на первый план выходит все то же желание развлечься. Но ведь во все времена жаждущие развлечений шли на торжища, в скоморошный ряд, но никогда — во храм. Боюсь, что смешение жанров и особенно забвение высоких задач литературы грозят уравнять торжище с храмом, сделать искусство товаром ширпотреба, средством, стоящим в ряду с продукцией мебельщиков — не более. То, чем оно стало по ту сторону океана, где, по свидетельству Джона Стейнбека, «писатель стоит несколько ниже клоуна и несколько выше дрессированного тюленя». Но вряд ли мы захотим когда-либо сравняться с клоуном или тем более с тюленем. Даже великолепно выдрессированным.

Я думаю также, что, хотя мы, допустим, и не гениальные писатели, но уж, во всяком случае, квалифицированные читатели. То есть относительно хорошо знаем жизнь, чтобы разбираться в ее запутанных эмпириях и кое-что смыслим в литературе. И тут возникает любопытный парадокс: почему мы, люди, в силу своего воспитания и образа жизни зачастую далекие от крестьянских низов, от жизни «неперспективных» деревень, быта древних стариков и старух, мало или вовсе неграмотных отшельников в зачастую никогда не виданной нами дремучей тайге с их размеренным, однообразным и часто примитивным укладом, почему мы частенько с куда большим интересом и участием читаем о их делах и заботах, нежели о блестящих научных или служебных успехах тех, кто гораздо ближе нам по опыту жизни, мировоззрению, мироощущению — высокообразованных жрецов науки, искусства, руководителей, генералов, начальников главков. Почему безграмотный дед на колхозной бахче куда интереснее изъездившего мир дипломата, определяющего судьбы народов, в то время как наш дед не может удовлетворительно определить судьбу единственной своей буренки, оставшейся на зиму без сена. О том печаль его, и она нас трогает больше, чем драматические переживания упомянутого дипломата перед уходом на вполне заслуженный отдых с солидной пенсией и статусом пенсионера со-

юзного значения. Почему солдат в окопе для меня как читателя во многих (если не во всех) отношениях предпочтительнее своей судьбой удачливому маршалу в блеске его снаряжения, штаба и его маршальского глубокоумия? Почему так? — хочу я задать вопрос уважаемым коллегам, хотя и предвижу их скорый ответ: все дело в таланте автора. Да, но не совсем. Истинность таланта великолепно проявляется уже в выборе героя, который и внушает нам вышеизложенные чувства. Исчерпывающий же ответ на этот вопрос мне, однако, неведом.

В заключение хочется сказать, что роман, помимо прочих своих достоинств, это еще и очень серьезный жанр, вершина литературы. Все-таки вершина не драма, но роман. В отличие от превратной, зависящей от многих причин жизни драмы он неизменен и — на века. И пусть его читают старинным индивидуальным способом — наедине, есть надежда, что лучшие наши романы переживут свое время. Чего не скажешь о произведениях драматургии и, особенно, кино, которые захватывают миллионы, но в вечности живут доли секунды и нередко умирают еще при жизни своих создателей. Посмотрите старые картины, которые поражали когда-то наше воображение, — тягостное чувство вызывают они сейчас. Конечно, тягостное чувство могут вызвать и некоторые романы уже в момент своего появления, но причины одинакового явления здесь все-таки весьма различны.

Поэтому, заканчивая, я хочу провозгласить: «Да здравствует талантливый, пусть неудобный и нелицеприятный, по честный и мужественный роман — главное достижение нашей литературы!»

1982 г.

ТРЕВОЖНОЕ ВОСПОМИНАНИЕ

В дни, когда так радостно и всенародно отмечается годовщина Великой Победы, миллионы бывших фронтовиков нашей страны ни на минуту не вправе забывать о тех, кто теперь мог быть с нами, но кого давно уже нет. Более сорока лет назад они в последний раз упали спиной на траву и остались лежать там, живя лишь в нашей солдатской, не мутнеющей с годами памяти.

Всем, кому привелось в ту войну сражаться на территории Венгрии, хорошо известно, какой ценой далась нам свобода этой прекрасной европейской страны. Мно-

гие ее географические названия, будучи произнесенными в обществе фронтовиков, действуют как заклинание, как своеобразный пароль, будящий нелегкие воспоминания и вызывающий в памяти образы, навсегда связанные с войной. И хотя минуло с тех пор немало времени, эти воспоминания так же свежи и волнующи, как они были тревожны и волнующи давней весной сорок пятого года.

В такие минуты мне живо вспоминается мой друг лейтенант Бережной. И хотя мы потеряли там многих, может быть, не менее достойных бойцов и офицеров, образ этого юного взводного ярче других павших сквозь годы горит в моей памяти.

Мы занимали ПТОР (противотанковый оборонительный район) в непосредственной близости от передовой, на которой располагалась пехота. В отличие от нее нам, артиллеристам, было здесь чуть вольготнее, тем более что на передовой несколько дней продолжалось затишье, и мы, командиры, позволяли себе ненадолго отлучиться поблизости, навестить друзей, общение с которыми в обычной боевой обстановке было затруднительно, и мы зачастую по неделям не виделись друг с другом.

Две семидесятишестимиллиметровые пушки Бережного располагались поблизости от моих через обсаженный кустарничком проселок, и в тот тихий предвечерний час Бережной пришел на мою огневую. Я дочитывал «Сестру Керри» Т. Драйзера, которую накануне у него одолжил и обещал, прочитав, вернуть этим вечером. Надо сказать, что мы, молодые, сильно тосковали в годы войны по книгам и жадно читали все из того немногого, что попадалось под руки, а за хорошими книгами всегда была очередь. Бережной же среди нас всех выделялся своей начитанностью и еще умением в любой обстановке доставать книги. Всегда в его туго набитой полевой сумке находилось что-нибудь годящееся для прочтения.

Книгу в тот вечер я ему не вернул — мне не хватило какого-нибудь часа светлого времени, чтобы ее дочитать, так как пришел мой комбат старший лейтенант Ахрин и приказал подготовить освещение на случай ночной стрельбы. Как раз в секторе обстрела нашего орудия стояли две скирды соломы, и я вместе с двумя солдатами пошел к ним, чтобы на месте решить, как это все устроить. Бережному я пообещал принести книгу на следующий день утром — мне оставалось каких-нибудь сто двадцать страниц текста, и я вовсе не думал, что за время, нужное для их прочтения, может что-либо случиться.

Однако случилось. Случилось, что я потерял книгу и потерял моего друга.

На рассвете следующего дня немцы обрушили на нас шквал артогня, под прикрытием которого танки и бронетранспортеры 6-й танковой армии СС Зеппа Дитриха попытались осуществить свою последнюю (четвертую за зиму) попытку прорваться к Дунаю. В этот раз к Дунаю они не прорвались. Совместными усилиями войск Третьего Украинского фронта их продвижение на юг было остановлено по каналу Шио и у станции Шимонторнья.

Прежде, однако, чем это удалось, мы потеряли в жестоких боях половину личного состава полка и почти всю его материальную часть, горстка уцелевших артиллеристов во главе с командиром бригады полковником Парамоновым, теряя последних людей и последние пушки, сосредоточилась в фольварке на берегу канала Шио и сутки отбивалась от наседавших танков врага. Мой друг командир взвода лейтенант Бормотов, когда не осталось пушек, противотанковой гранатой подорвал в выемке немецкий танк, тем самым закрыв немцам выезд на понтонную переправу через канал. Однако все наши попытки прорваться к своим не принесли успеха. Наспех сформированная под моим началом группа пехоты, сумевшая пробиться через боевые порядки немецких танков, была встречена на берегу канала плотным огнем своих минометчиков, принявших нас за немцев. Потеряв нескольких человек убитыми и подобрав раненого старшину батареи Жарова, мы вынуждены были отойти обратно. Потом был ночной прорыв под огнем через занятую немцами переправу и долгая неделя изнурительных боев за высоты южнее станции Шимонторнья, стоившая больших жертв пехоте, танкистам и артиллерии. Мы потеряли в этих боях, кроме нескольких десятков бойцов и сержантов, двух командиров взводов, опытнейшего из командиров батарей капитана Ковалева и, наконец, командира полка подполковника Овчарова, убитого болванкой из танка. Многие убыли из полка по ранению. Возле орудия моего взвода, которым командовал старшина Лукьянченко, была подбита и сгорела со всем экипажем наша тридцатьчетверка, и ее обгоревший корпус несколько дней служил нам единственным укрытием от уничтожающего огня из «тигров». Однажды утром, когда высота на некоторое время была оставлена пехотой, наши огневые расчеты, внезапно оказавшиеся без ее прикрытия, уцелели только благодаря туману, скрывшему нас от немецких танков.

Неделя тяжелых боев под Шимонторньей окончилась мощным предрассветным взрывом, которым немцы уничтожили свою переправу через канал и начали поспешный отход на север, где в их тылы уже вторглись части Второго Украинского фронта. Вместе с пехотой наш артполк незамедлительно начал преследование, и через несколько дней снова вышел к знакомой дороге, где мы занимали разгромленный свой ПТОР. Здесь у нас оставалось некоторое количество боеприпасов, которые надлежало забрать, и несколько человек на «студебеккере» направились к огневым позициям Бережного, где он принял последний свой бой.

У меня до сих пор живо стоит в глазах эта потрясающая картина разгрома, красноречиво свидетельствовавшая о трагическом исходе развернувшегося здесь единоборства горстки бойцов с не менее чем батальоном танковой дивизии СС «Адольф Гитлер». Вся весенняя земля вокруг огневой позиции была разворочена широкими следами танковых гусениц, земляной бруствер срыт начисто, пушка разбита двумя или даже тремя попаданиями тяжелых 88-миллиметровых снарядов, ствол ее перебит и свернут набок, накатник сорван; одна станина торчала сошником вверх, вторая, напротив, была вдавлена глубоко в землю. Между станинами ничком лежали два раздавленных тела наших бойцов в окровавленных и ссохшихся уже шинелях, а рядом, на бруствере, свесив в полузасыпанный ровик ноги, распластался мой друг лейтенант Бережной. Карманы его расстегнутой гимнастерки были вывернуты, пистолет с ремня срезан вместе с кожаной кобурой, орден Красного Знамени свинчен с гимнастерки, а навсегда остановившиеся серые глаза недоуменно и скорбно глядели в высокое, по-весеннему голубевшее венгерское небо.

Теперь, спустя много лет, при взгляде на это небо я почему-то вижу на нем этот недоумевающий взгляд мертвого двадцатилетнего друга, так любившего книги и так рано расставшегося со своей молодой жизнью — всего за два месяца до нашей Победы. И мне не дает покоя мысль, что, уйдя из жизни, он так никогда и не узнал о том заветном и радостном дне, когда в Европе смолк грохот разрывов и воцарился мир.

Но до того дня посчастливилось дожить нам, и наш неоплатный долг перед павшими будет до конца наших дней лежать на нашей человеческой совести.

Впрочем, может, это так и должно быть, потому что

в этой тревожной памяти — та несомненно существующая нить, которая навсегда и неразрывно связала нас, живых, с павшими. И еще меня постоянно согревает мысль о счастливой жизни венгров после войны. Очень хочется надеяться, что и в Сексарде, и в Шиманторнье, и на всем пространстве возле благословенного Балатона, обильно политом кровью советских солдат, произрастает новая жизнь, которой длиться множество лет в мире и дружбе.

Чистого неба и ясного солнца вам, дорогие мои венгерские читатели.

1975 г.

ВСЕНАРОДНАЯ ПАМЯТЬ

В неприметной лесной деревушке возле большой белорусской реки живет нестарая еще женщина. У нее добротный, отстроенный в послевоенное время дом, некогда разноголосо звучавший ребячьими голосами. Теперь здесь тишина, небольшое хозяйство, и досуг заполнен воспоминаниями о том давнем военном лете, когда эта женщина, тогда молоденькая девушка, потерявшая родителей, собрала под уцелевшей крышей полдюжины осиротевших на войне ребятишек, на долгие годы став для них матерью, старшей сестрой, воспитательницей. Шли годы, ребятишки учились, взрослели и расходились из лесного пристанища по своим неизведанным дорогам. И вот настала минута, когда она распрощалась с последним из младших и осталась в этом доме одна. Она не жалеет о своей нелегкой судьбе, которую во многом определила ее доброта, проявившаяся в трудный час...

Все дальше уходит война в невозвратное прошлое, эта самая большая война, но шрамы от ее страшных когтей нет-нет да и проглянут в привычном благополучии нашей сегодняшней жизни. Минуло столько лет, а память о ней жива в сознании народа, в сердцах и душах людей. В самом деле, как можно забыть наш беспримерный подвиг, наши невосполнимые утраты, принесенные во имя победы над самым коварным и жестоким врагом — немецким фашизмом! Четыре военных года по концентрации пережитого не сравнимы ни с какими другими годами нашей истории. Кроме того, война преподала истории и человечеству ряд уроков на будущее, игнорировать которые было бы непростительным равнодушием.

Но память человека, к сожалению, ограничена в своих возможностях. То, что недавно еще было памятно тебе, по прошествии лет постепенно затягивается туманной дымкой забвения, и уже требуется усилие, чтобы вспомнить имена иных фронтовых товарищей, даты некогда так хорошо памятных боев, названия сел и урочищ, которые, казалось бы, на всю жизнь врезались в твою память. К тому же с неотвратимостью редеют ряды ветеранов, тех, кто прошел войну и мог бы со знанием дела и подробностей рассказать о ней людям.

В этом смысле огромнейшая задача ложится на наше искусство и литературу, обладающие, как известно, завидной способностью остановить быстротекущее время, запечатлеть его кардинальные моменты в историческом сознании народа. Действительно, за послевоенные годы всеми видами искусства создано немало замечательных произведений на темы минувшей войны, а литература обогатилась книгами, которые, можно надеяться, явятся надежным свидетельством о ней на многие грядущие десятилетия. Но все необозримое многообразие народного подвига в огневые годы войны, героизм сражающихся миллионов, полная не меньшего героизма и самоотверженности работа советского тыла таят в себе немало неосвещенных, а то и забытых страниц. Нужно как можно больше ярких индивидуальных и коллективных свидетельств об этой небывалой в истории войне, рассказанных по радио и телевидению, написанных воспоминаний, очерков, статей.

Надо отдать должное нашей прессе и нашим издательствам — за послевоенные годы напечатано множество материалов о прошлой войне, принадлежащих перу видных военачальников, партизанских и партийных руководителей. Среди них немало интересных воспоминаний, освещенных незаурядностью личности авторов.

Читающая общественность отметила появление необычной книги рассказов о злодеяниях оккупантов на белорусской земле «Я из огненной деревни», записанных А. Адамовичем, Я. Брылем и В. Колесником. Совсем недавно тот же А. Адамович в соавторстве с Д. Граниным опубликовали «Главы из Блокадной книги» о людях осажденного Ленинграда. Несколькими годами ранее наша литература обогатилась чрезвычайно содержательными военными дневниками К. Симонова.

Трудно переоценить значение того дела, которое делают вышеназванные и другие авторы. Большая заслуга

в этом жанре принадлежала С. С. Смирнову с его «Брестской крепостью». Эта и последующие его книги, построенные на скрупулезной фактической достоверности, свободные от всегда сомнительного в таких случаях беллетристического элемента, страстно ратующие за воздание должного непризнанным, а то и забытым героям войны, явились откровением для своего времени.

Разумеется, литература не может не сознавать свой долг как по отношению к забытым страницам войны, так и по отношению к ее героям, ветеранам многих сражений, обладающим уникальным опытом, но, по ряду причин, не имеющим возможности должным образом запечатлеть его на бумаге. При Союзах писателей ряда республик созданы и работают комиссии по военной литературе, опытные авторы разбирают рукописи воспоминаний, помогают их доработке. Немало книг ежегодно выходит в литературной записи профессиональных литераторов. И в данном случае весьма важным является не только профессиональное мастерство литературного помощника автора, но так же и его жизненный и военный опыт, степень владения материалом.

Но, к сожалению, бывает и так, что автор литературной записи, должно быть, не располагая добротным оригиналом и не обладая личным военным опытом, ограничивается в своей работе более или менее грамотным изложением фактов и впадает в еще больший, на мой взгляд, грех — насильственную беллетризацию материала. И тогда на протяжении многих страниц читателю предлагаются бесконечные разговоры персонажей, поданные в их прямой речи, якобы имевшей место в действительности, что само по себе уже вызывает сомнение.

Каждый литературный жанр имеет свои законы, присущие ему одному особенности, и многое из того, что обязательно для художественной литературы, совершенно противопоказано литературе документальной. И уже совсем непозволительно, когда имя такого литературного помощника значится на обложке книги рядом с именем ее настоящего автора, а то и вместо него. Возможно, подобная трансформация не преступает юридические или литературные нормы, но, кроме них, существуют же и этические нормы, так что простая замена первого лица третьим в данном жанре еще не дает права на авторство.

Довольно распространенной, как и не менее огорчительной ошибкой пишущих о пережитом в годы войны является стремление создать на ее материале роман или

повесть, вместо того чтобы подробно, строго придерживаясь фактов, и без малейшего вымысла написать о том, что было и что хорошо запомнилось. Не обладая должными литературными навыками, эти люди при всей похвальности их намерений затрачивают массу времени на создание произведения, заранее обреченного на неудачу, после чего следуют неизбежное разочарование, необоснованные обиды на редакторов и консультантов. Всего этого можно и должно избежать, если автор будет ясно сознавать стоящую перед ним задачу и разумно соизмерять с ней собственные литературные возможности.

Не следует, конечно, полагать, что все написанное в различных видах и формах воспоминаний будет опубликовано в печати. Многое останется в рукописях, станет документом семьи либо будет сдано в музеи и архивы, где сохранится на длительное время и в конце концов найдет своего благодарного читателя.

Планы и возможности наших издательств, как известно, ограниченны, но нельзя не признать также, что издательства еще недостаточно работают с ветеранами, стимулируя их к созданию книг о войне, недостаточно ведут поиск интересных рукописей, а из того, что самотеком поступает в издательства, многое так и не находит дороги к читателю по причине производственной трудоемкости или необычности материала. Особенно если автор такой рукописи — рядовой участник войны и после нее не так уж много преуспел.

Я знаю живущего в Гродно бывшего командира батареи Ивана Григорьевича Ущаповского, человека, действительно прошедшего всю войну от первого ее дня до последнего, много пережившего и много на ней повидавшего. Обладая удивительной памятью относительно всего, что касается той поры, он отдал несколько лет жизни созданию воспоминаний о пережитом, написал более тысячи страниц на машинке. Это искренний и правдивейший документ — свидетельство о величайшей из войн, увиденной глазами ее рядового участника, но пока еще не нашедший своего издателя.

Долг всех, кто пережил величайшую из войн и кому есть что рассказать людям, сделать это в любой доступной для него форме.

Мы, литераторы, а также издатели, журналисты должны помочь тем, кто не имеет достаточных для того возможностей. И старый заслуженный генерал, прошедший свою дивизию от подмосковных полей до Берлина,

и прославленный партизанский руководитель, организатор всенародной борьбы на оккупированной территории, и безвестная женщина, воспитавшая шестерых сирот, могут и должны поведать истории и человечеству о пережитом ими в лихую годину.

Многие уже написали, другие пишут. Отрадно, когда за перо берутся не только люди, обладающие определенным досугом, но и чрезвычайно занятые люди, для которых несколько свободных часов в неделю — трудноразрешимая проблема. Недавно мы с другом журналистом были на приеме у одного из белорусских министров, который в конце разговора доверительно сообщил, что собирается написать книгу. Мы, конечно, дружно поддержали это намерение, и один из нас, подумав о постоянном дефиците его времени, сказал, что надо подыскать помощника.

— А нет! — решительно заявил министр. — Такое дело я не могу доверять никому. Только сам!

Что ж, похвальное решение!

9 февраля в Минске закончилось всесоюзное совещание, созванное Союзами писателей СССР и БССР. Несколько дней известные писатели и литературоведы обсуждали проблему «Героизм советских людей в годы Великой Отечественной войны и современная документальная литература». Определены задачи, стоящие не только перед документальной, но и художественной литературой о войне. Главный же вывод таков: все мы, участники минувшей войны, каждый в меру своих сил и возможностей должны неустанно свидетельствовать перед народом и историей о нашем уникальном опыте, явившемся для многих также и огромным жизненным опытом, а для народа в целом — величайшим из испытаний, когда-либо выпадавших на его долю. Это наш писательский, гражданский и воинский долг.

1978 г.

МНОГО ЛЕТ НАЗАД...

В конце декабря 44-го года при отражении немецкой контратаки южнее Секешфехервара я был ранен в руку и отправлен в ГЛР (госпиталь легкораненых) 4-й гвардейской армии.

Госпиталь располагался в маленьком живописном городке Сексарде на правобережье Дуная и занимал зда-

ние отеля в самом центре города. Раненых было много, тесные помещения-номера вмещали по две кровати, на каждую из которых клали по двое, а то и по трое раненых, благо кровати были на западный манер — солидной вместимости. Моим напарником оказался старший лейтенант, командир стрелковой роты, раненный неделю назад в челюсть. С лицом, только обмотанным бинтами, он выглядел словно нынешний космонавт в скафандре и, почти не разговаривая, только мычал иногда что-то нечленораздельное, а ночью ворочался и зло ругался. Несколько первых дней я отсыпался между перевязками и процедурами — на чистых простынях, в тепле и покое. После недавно пережитого, при относительно легком ранении это казалось блаженством, да, по существу, таковым и являлось. В этом же госпитале, только на первом, солдатском, этаже находился и наводчик моего орудия, которое было разбито снарядом из танка; иногда мы встречались в коридоре и разговаривали. Наводчик был ранен спустя несколько минут после моего ранения, он рассказывал о последних выстрелах из орудия, и мы оба тяжело переживали гибель нашего расчета. Правда, там, в батальоне, оставалось еще одно орудие взвода, но оно было неисправным, и вести из него огонь было невозможно.

Режим в госпитале был, в общем, не строгий. Офицеры могли в свободное время выходить в город, и мы иногда прогуливались по его узеньким улочкам, крохотной центральной площади с конной статуей посередине. Там же был ресторанчик, в нем с шутками-прибаутками лихо обслуживал клиентов цыганского вида гарсон. Иногда мы захаживали туда перед обедом, выпить стаканчик-другой местного вина и закусить ветчиной с паприкой — венгерским перцем, который там готовился в десятках видов. Там же в узком кругу мы отпраздновали и встречу нового, 45-го года — четверо или пятеро молодых людей, волею войны и ранений сведенных ненадолго вместе. Память не сохранила имен участников той встречи, запомнилась только веселая хохотушка Валя-Валечка, юная блондинка с короткой стрижкой, которая долечивалась в нашем госпитале. Она была ранена месяц назад при форсировании Дуная, на днях за ней должы были приехать из части, где она служила фельдшером в санроте. Далеко за полночь, в уже наступившем новом году, мы возвращались по ночному городу в госпиталь, и Валя рассказывала о себе, о том, что родом она из Каза-

тина, что до войны училась в медицинском училище, что это ее третье ранение и что, как только кончится война, она пойдет в мединститут, потому что в медицине видит единственное свое призвание и не мыслит другого занятия в жизни. «А вам еще служить, как медным котелкам», — подшучивала над нами Валя. Мы не возражали, чувствуя, однако, насколько все это проблематично, как для нас, так и для Вали. Над городом и ближними холмами лежала новогодняя ночь, сыпал реденький пушистый снежок, было нехолодно и почти тихо. Это были немногие из счастливых минут, пережитых мной на войне, которая под покровом новогодней тишины продолжала готовить нам свои кровавые сюрпризы.

Прогуливаясь по тихим улочкам Сексарда, мы почти не думали о том, что происходило в ту ночь недалеко к северу, на передовой, куда немцы спешно стягивали из Франции, Польши свои ударные танковые дивизии, их «тигры» уже занимали боевые порядки в ближних тылах, а гренадеры поспешно изготавливались для атаки с целью деблокирования Будапешта. Второго января начались ожесточенные бои сначала возле Дуная, а затем южнее, у озера Балатон; неделю спустя в Вену прибыл сам Гитлер, который взял на себя руководство всей операцией и силами шести танковых и двух пехотных дивизий нанес удар по обескровленным, вымотанным непрерывными боями частям 4-й гвардейской армии. Немцы прорвали фронт и вышли к Дунаю.

Госпиталь в Сексарде был поднят по тревоге и в спешке начал эвакуацию на левый берег Дуная. Транспорта для всех не хватало. На немногих машинах и повозках были отправлены те, кто не мог передвигаться самостоятельно, остальные своим ходом ночью в снегопад совершили марш в район Байи, где по битому льду перешли через Дунай. Долечивались мы в Сегеде.

Потом для меня снова потянулись долгие недели упорных боев под Балатоном, немцы долго не оставляли своих попыток расколоть войска Третьего Украинского фронта и сбросить их в Дунай. Один из их мощных ударов принес им успех, мы снова отступили, потеряв много боевых друзей, техники и вооружения. Но все же на дворе стоял сорок пятый год, перевес сил был явно не в пользу немцев, и близка была наша победа.

Она явилась для нас теплым солнечным днем в Австрийских Альпах близ города Ротенмана на реке Энс, где мы встретились с союзниками.

Этому дню предшествовали недели наступления по Венгрии, жестокие бои на австрийской границе и в горных районах Альп. После 5 мая выдались два дня передышки, в течение которой наш 1245 ИпТАП вместе с пехотой готовил новый, казалось, уже последний удар по упорно сопротивляющемуся противнику. Уже был повержен Берлин, ходили слухи о скорой капитуляции Германии. Но это там, на севере, здесь же, в Альпах, перед нами оборонялись немецкие дивизии, которые предстояло сбить с их, как всегда, укрепленных позиций.

Атака была назначена на 19.00 7 мая, и весь день до вечера прошел для меня в хлопотах по ее подготовке. После полудня артиллерия пристреляла цели, пехота изготовилась к броску из передней траншеи. Солдаты дописывали письма. Все понимали, что в этом последнем, по всей вероятности, бою кому-то суждено будет навеки остаться в чужой земле, считанные часы не дожив до победы. Помнится, я тоже написал своим старикам, однако отправить письмо не успел, — меняли огневые позиции и стало не до того.

Как и было назначено, в 19.00 пехота поднялась, достигла немецкой траншеи, но... траншея оказалась пустой. Немецкие гренадеры скрытно покинули ее за час до нашей атаки и по всем дорогам устремились на запад, навстречу беспрепятственно наступавшей американской армии. Мы начали преследование, а затем и обгон бесчисленных колонн немецкой пехоты, которая уже не оказывала сопротивления. Города и поселки горной Австрии встречали нас белыми флагами, простынями с балконов, цветами и радостью на лицах исстрадавшихся австрийцев.

На реке Энс состоялась встреча с авангардом американской армии, мы на радостях выпили и проспали ночь на обочинах шоссе, в кузовах и кабинах автомобилей. Проснувшись назавтра, торжествовали победу. Было 9 мая.

Последнее свое письмо с войны я обнаружил потом в полевой сумке и с наслаждением разорвал его в клочья.

А месяц спустя, вспомнив зиму, Новый год и госпиталь в Сексарде, написал в воинскую часть Вали, откуда через месяц получил официальный ответ, из которого следовало, что лейтенант медслужбы Ершова пропала без вести в январе 45-го года.

1985 г.

СТАВШЕЕ ЖИЗНЬЮ И СУДЬБОЙ

Эта серия фильмов родилась не сразу и имеет свою предысторию, в основе которой — пятилетней давности призыв А. Адамовича к кому-нибудь из «неленивых и любопытных» литераторов «отложить на время свои высокоталантливые произведения» и пойти к бывшим фронтовичкам и партизанкам с магнитофоном, чтобы записать их воспоминания. И вот это сделано, воспоминания записаны и по ним сняты фильмы. Хотя то, что мы слышим с экрана, воспоминаниями можно назвать лишь с трудом, с известной натяжкой — столько в этих монологах неутихающей боли женщин, что кажется: все это продолжает жить в них поныне, и до сих пор жжет их немолодые души печалью и ненавистью. И все-таки это прошлое, наша большая война, о которой мы столько уже знаем по собственному опыту, свидетельству литературы, кино, истории.

Но, оказывается, знаем не все.

Эта неполнота даже самого искушенного знания о войне обнаруживается сразу, с первых же кадров первого фильма В. Дашука и С. Алексиевич, который выходит на экраны страны под общим названием «У войны не женское лицо». Хотя вряд ли обличье войны можно назвать и мужским, но уж действительно не женским: столько в нем бесчеловечного и жестокого, свойственного скорее животному миру, нежели человеческому обществу. Но такой поворот основательно отработанной темы в нашем искусстве мы видим, пожалуй, впервые, и мы благодарны создателям фильма за еще одну правдивую страницу из великой правды о минувшей войне.

Виктор Дашук, приступая к работе над данной серией, уже имел солидный опыт такого рода, приобретенный им при создании совместно с А. Адамовичем сериала «Женщины из убитой деревни». Работа же над этой серией началась со знакомства с огромным материалом Светланы Алексиевич, потратившей годы на розыск и запись рассказов сотен женщин, участниц прошлой войны и создавшей книгу об их трудном, но и героическом прошлом. Разумеется, то, чем воспользовался В. Дашук, только маленькая крупица из ее собрания, но и в этой крупице, как в капле воды отражается океан, отразился океан человеческого горя, мужества и героизма.

Именно героизма прежде всего, ибо как еще можно назвать все то, что пережила на фронте хотя бы одна из

героинь фильма, санинструктор стрелкового батальона Ольга Омельченко, спасавшая на поле боя раненых, порой мокрая от чужой крови, терявшая силы от каторжной неженской работы, случалось, зубами перегрызавшая мякоть перебитой руки раненого, принимавшая участие в расстреле осужденных за трусость в бою. Это ей с осуждением и тревогой впоследствии скажет майор, командир батальона: «Как ты будешь жить после войны, Омельченко?» Невеселые эти слова были восприняты Ольгой с недоумением, но потом, после войны, действительно не раз приходили на ум бывшей фронтовичке, послевоенная судьба которой оказалась ненамного ласковее ее фронтового прошлого.

Чем, как не высоким мужеством, исполнена другая судьба другой девушки — зенитчицы Вали Чудаевой, получившей в бою тяжелое ранение и отморозившей ноги в снежном сугробе, куда она была отброшена взрывом. Но она по своей доброй воле избрала для себя такую участь, и, когда в госпитале, оказавшись перед необходимостью ампутации ног, пыталась покончить с собой, ее спасли доброта пожилой нянечки и мастерство молодого капитана-хирурга.

Действительно, доброта однозначна и самоценна, но нигде ее надобность не обнаруживается с такой необходимостью, как на войне. Девушка-санинструктор в пехоте была и спасительницей раненых, кровью истекавших на поле боя, и их утешительницей в последние минуты жизни. «Когда человек умирает и ты не можешь ему помочь, ты целуешь его, гладишь, ласкаешь — прощаешься с ним. Все это тяжело, это очень тяжело, и таких много было, и эти лица у меня вот и сейчас в памяти... Почему-то вот годы прошли, а хоть бы кого забыть...» — говорит санинструктор Тамара Умнягина, и в этом тоже проявление самой милосердной женской доброты и неувядающей женской памяти на войне в ее конкретных подробностях, ее не всегда лицеприятных деталях — ее правды.

Каждый волнующий рассказ в фильме дополняется следующим, не менее будоражащим наше сознание, неизменно расширяя наше представление о той роли, которую сыграли в войне призванные на нее восемьсот тысяч женщин. Роль эта многосложна и многозначительна и до конца еще не исследована нашим искусством, создавшим ряд героических образов девушек на фронте и в немецком тылу, преимущественно принадлежащих к «престижным» военным специальностям — снайперов, летчиц, раз-

ведчиц. А вот перед нами свидетельство представительницы иной специальности — записанный С. Алексиевич рассказ прачки банно-прачечного отряда Марии Дедко: «Стирала белье. Через всю войну стирала... Белья привезут... Халаты белые. Ну эти маскировочные, а они в крови, не белые, а красные. Гимнастерка без рукава и дыра во всю грудь. Слезами отмываешь и слезами полощешь...»

Женщины помнят все или почти все и, что особенно важно, по прошествии лет умеют рассказать (как о трудном, трагическом, так и о светлом, хорошем) с подкупающей простотой и искренностью. На войне наряду с кровью, боями, страхом и ненавистью уживались и светлые чувства. Любовь между молодыми людьми и там не была исключением, правда, там она в большинстве случаев имела трагический финал. В этом смысле запоминается рассказ все той же Ольги Омельченко, отдавшей свою кровь незнакомому лейтенанту, который после выздоровления отыскал ее в госпитале и вызвал в девичьей душе светлое чувство любви. Ольга, как только было возможно, берегла его, это свое первое чувство, пронеся его через многие бои и невзгоды вплоть до того осеннего дня, когда на освобожденной Сумщине среди свежезакопанных могил с дощатыми столбиками увидела и табличку с именем своего любимого. Светлую грусть вызывает в душе зрителя этот невеселый рассказ, и полная этой грусти мелодия известных романсов ненавязчиво звучит на протяжении всего фильма.

Но в фильме В. Дашука и С. Алексиевич не только война. Вся образная структура серии выстроена так, что военно-документальные кадры перемежаются современными, рассказ мастерски сочетается с показом. В нарочито замедленной съемке мы имеем возможность разглядеть лица, жесты, движения людей на поле боя, перевязку в воронке, друзей, прощающихся с убитым на краю могилы, и радостные рукопожатия командира, уезжающего на передовую из медсанбата. Героини фильма не только вспоминают о своей трудной участи, но и рассуждают о жизни, людях, о современной молодежи, счастье и благополучие которой во многом определила наша победа в минувшей войне. Неоднозначно это отношение к послевоенному поколению, оно несет с собой ряд непростых проблем, над разрешением которых так или иначе приходится думать многим. В книге С. Алексиевич есть запись беседы с бывшим врачом медсанбата Лидией Со-

коловой, много пережившей на фронте в годы войны. На вопрос журналистки, рассказывала ли она о войне своим детям, Лидия Константиновна отвечает отрицательно.

— Мы жалели своих детей. Наши дети выросли, ничего не зная о тех ужасах, которые нам пришлось пережить.

Наверное, можно понять женщину-мать, всячески оберегающую детей от невзгод жизни, но вряд ли можно считать ее принцип правильным. Да в конце разговора она и сама признает, что дети должны воспитываться на примере родителей, судьбе того поколения, которое пережило войну и которого становится все меньше.

И это несомненно.

Этой же благородной цели служит многотрудная и многозаботная работа молодой журналистки С. Алексиевич по сбору и записи женских свидетельств, которая еще не закончена и продолжается, и фильм, прекрасно снятый признанным мастером-кинодокументалистом В. Дашуком.

Кроме всего прочего, в их деле мне видится красноречивый ответ на вопрос, часто задаваемый молодыми авторами: как следует писать о войне по молодости лет не участвовавшим в ней? Хочется ответить им; прежде всего вот так, как написала Светлана Алексиевич и снял Виктор Дашук: честно, правдиво, без недомолвок и отсебятины, с уважением к делу и слову людей, для которых прошлая война была их трудной жизнью и навсегда стала судьбой.

1983 г.

ВСЕ, ЧТО МЫ МОЖЕМ

В последнее время все чаще проводятся крупные культурные мероприятия — центральные и региональные, — которые дают возможность их участникам и всей культурной общественности вести деловой разговор на равных, взаимообогащаясь, учась и уча, но не поучая. Я думаю, что эта замечательная тенденция будет развиваться и совершенствоваться.

Да, конечно, слово писателя — огромная сила, это стало известно не сегодня и не вчера даже. Классическая литература каждого из развитых народов, и, может быть, русская классика в первую очередь, явилась генератором высокой духовности, которая дала силу народам выстоять

в годы труднейших исторических испытаний, сохранить язык, культуру, нравственное здоровье поколений. А ведь многие классики вряд ли сознательно ставили перед собой столь грандиозные и так далеко отстоящие цели. При всем даровании (которое, кстати, многие из них расценивали весьма сдержанно) они больше заботились о современности, задачах злободневных и близких.

Как же им удалось создать действительно бесценную сокровищницу духовности, способную влиять на народное сознание спустя многие годы, десятилетия и даже века? Я думаю, прежде всего потому, что их сердца исходили непрестанной болью за судьбы своего народа и человека как такового. Да, они понимали прекрасно, что человек несовершенен, «греховен», как говаривали в старину, что народ достоин лучшей исторической участи, что общественное устройство нуждается в реконструкции, может быть, в революционной переделке. Но они не поучали, ничего не навязывали, редко «призывали». Они показывали человечеству его собственный лик, оставляя ему, человечеству, решать, как быть дальше. Поскольку по своему духовному складу они были гуманистами, людьми, кроме таланта наделенными еще и кристальной человеческой совестью, их словам внимали современники, так же как спустя годы и столетия, внимали и мы, живущие в совершенно другое время, в другом социальном, политическом, нравственном климате, в эпоху НТР.

Да, действительно, в эпоху НТР, с результатами которой мы сталкиваемся ежедневно, плоды которой тоже пожинаем ежедневно, уже не составляет труда представить себе, какие из этих плодов предстоит пожать в обозримом будущем, потому что при всем всеохватном разнообразии НТР одна обособленная ветвь ее развивается довольно определенно. От всего человечества требуются гигантские усилия регламентировать ее в этом развитии, если уж нельзя удержать или остановить, иначе эта лавина угрожает сделаться неуправляемой. В таком случае нетрудно представить себе финальный аккорд этого низвержения в пропасть, где в виде некоей неопределенной туманности на месте Планеты Людей могут упокоиться их иллюзии, их метания и терзания, все низменное и высокое, чем обладали они в преизбытке.

Так что же можем мы, литераторы, мастера слова, гуманисты, избравшие методом своего творчества са-

мый передовой и испытанный метод социалистического реализма?

Разумеется, можно много говорить на данную тему в прекрасном Баку, Минске, Москве или благословенной Софии, можно даже сказать, что все это стало делом привычным, как привычны наши выступления и резолюции, составленные из очень знакомых, давно обкатанных слов. Следует заметить — очень хороших и правильных слов, но, по-видимому, недостаточных перед той угрозой, с которой столкнулось человечество. Очевидно, нужны новые действенные меры, может быть, новые слова, а главное — новые идеи.

Но писатели редко создают оригинальные идеи, даже и классики не очень охотно искушались по этой части. А если и искушались проповедовать, как великий Лев Николаевич, то их не очень-то слушали при жизни, да и нынче тоже, расценивая эту проповедь как ошибку, каприз, завихрение старческого ума.

Так что же мы можем?

Мы можем то, что мы умеем: писать. Все мы живем в свое время, и худое ли оно, хорошее ли — для нас другого не будет. И мы должны выполнить наше, как бы сказали в старину, «божеское предначертание» — оставить после себя свидетельство об этом времени. Может быть, кое-что из сотворенного нами пригодится если не сейчас, то когда-либо в будущем. А если не пригодится, что ж, мы не посетуем, вспомним, сколько из созданного до нас не пригодилось, забыто, а ведь и в прошлом в литературе были не одни бездари. Главное, я думаю, мы должны делать свое дело честно и как можно лучше. Без спешки. Без лести и лукавства. Без желания потрафить во что бы то ни стало. Мы должны помнить, чем заканчивались самые изощренные попытки на этот счет.

Но, скажете вы, зачем все это перед лицом того, что витает над миром? Не будет ли это простой тратой времени и усилий, когда... Может быть, будет. А может, и нет. Где тот мудрец, который с достаточной уверенностью ответит на это? Мы знаем, сколь туманно прошлое каждого народа, можно ли угадать наше будущее?.. С совершеннейшей определенностью ясно лишь то, что страна переживает сейчас, может быть, самый благополучный период своей истории — без голода, эпидемий, войн, с неотвратимой регулярностью каждые четверть века сотрясавших страны Европы; уровень культурного развития народных масс не имеет себе равного в прошлом...

Тем более, или несмотря на все, мы должны трудиться каждодневно и еженощно, летом и зимой — каждый год из отпущенных нам в жизни. И даже если бы шанс избежать катастрофы был бы равен одному из тысячи, наши усилия окупились бы сторицей. Мы свидетели времени и генераторы духовности, которая единственно еще вселяет надежды. Наше же молчание или небрежение в нашем деле обернулось бы не чем другим, как лжесвидетельством, кощунственным вообще и преступно кощунственным перед лицом угрожающей всем опасности.

И тут мне хотелось бы сказать еще об одном. Конечно, у нашей литературы еще немало различных, порой действительно трудноразрешимых проблем, как, например, проблема художественного перевода, о которой было высказано немало точных и верных суждений в докладе Г. А. Алиева, в содокладе Ю. Суровцева и выступлении С. Баруздина. Есть и другие проблемы. Но не надо создавать псевдопроблем, чтобы затем призывать литературную общественность бороться с ними. Горький и Маяковский находятся на такой высоте всенародного и мирового признания, что, по моему убеждению, не нуждаются ни в какой защите, тем более за счет других выдающихся имен нашей литературы.

Вся страна ныне отмечает 100-летний юбилей серебряной звезды русской поэзии А. Блока, — как можно говорить, что ему воздается больше заслуженного? Что же касается Ахматовой, Цветаевой и Булгакова, то ничего нет страшного, если мы после их смерти воздаем им то, что они заслужили, — печатаем их.

Ну а конференции, подобные нашей?

Как я уже сказал вначале, они, несомненно, благо. Они благо хотя бы потому, что предполагают в первую очередь ни с чем не сравнимое счастье общения единомышленников — писателей и наших читателей. Все-таки мы живем в одной — худой ли, хорошей ли — нашей родной деревеньке, название которой Земля. И пока она еще вертится, это же замечательно — на исходе дня собраться на одной из завалинок и порассуждать о жизни. Даже если эти рассуждения сугубо деловые и не очень веселые.

Ну а если они вселяют надежду, то тем более это замечательно.

1981 г.

ПОД КИРОВОГРАДОМ

Очень это непросто — писать о пережитом, тем более о давнем военном прошлом. И не потому, что многое выпадает из памяти — память фронтовиков как раз цепко удерживает все, что касается пережитого в годы войны, — трудности же здесь несколько иного рода. Как я теперь думаю, они в эмоциональном отношении к тому, что когда-то было проблемой жизни и смерти, а ныне, по прошествии лет, отдалилось настолько, что стало чем-то почти ирреальным, из области снов, привидений. Иных в этом отношении к пережитому в годы войны тянет на юмор, на поиски забавного или, на худой конец, увлекательного по сюжету и его извилистым прихотям. Мне же все это по-прежнему видится в кровавом, заторможенно-невразумительном тумане, — как оно и отразилось тогда в нашем горячечном сознании, изнуренном боями, опасностью, предельным физическим напряжением и бессонницей.

1944 год начался для меня (как, впрочем, и закончился) в отчаянной борьбе с немецкими танками, одним, а затем и вторым ранениями, радостями многих больших и малых побед, а также и горечью неудач, зачастую трагических для солдата переднего края — наверное, всем комплексом переживаний, присущим любому фронтовику-окопнику.

Самое начало года, первые дни января, выдалось вполне успешным и даже весьма обнадеживающим. Войска Второго Украинского фронта перешли в наступление под Кировоградом. Танкисты генерала Ротмистрова прорвали немецкую оборону, и наша дивизия в числе других стрелковых соединений фронта легко и без потерь вошла в этот прорыв. Нашей задачей было расширять прорыв, следуя за танками, обеспечивать фланги. Наступали мы в основном ночью, когда над заснеженной степью спускались прозрачные зимние сумерки; до вечера же вели огневой бой с немцами, пережидая бомбежки, которые следовали одна за другой почти от восхода солнца. Вечером батальон сворачивался в походные колонны и вдоль немецкой обороны, между очагами вражеского сопротивления протискивался за танками на запад, однако отставая от них, что составляло тогда немалую заботу командования, непрестанно торопившего нас. Это же обстоятельство послужило, по-видимому, причиной того, что высланная вперед разведка недосмотрела, прозе-

вала в степи довольно крупное сосредоточение немецких танков, всей мощью своего огня неожиданно ударивших из зарослей кукурузы по нашей походной колонне.

Батальон рассыпался по снежной степи, многие были сражены на узкой полевой дороге, другие побежали к черневшим в отдалении скирдам. Тотчас за трассирующим шквалом пулеметного огня взревели моторами танки, и на поле высыпали немецкие автоматчики. Упав в рыхлый снег, я выпустил по ним свой диск и, когда стал перезаряжать автомат, обнаружил, что остался почти в одиночестве на этой стороне дороги. Боец, лежавший несколько впереди, уже не двигался, другие же ушли далеко назад, за дорогу, и перебежками старались добраться до скирд, представлявших здесь некоторое убежище. Я попытался вскочить, но сверкающий огневой шквал вынудил меня упасть снова. Танки были совсем близко, в громыхании боя послышались выкрики немецких автоматчиков: «Рус, сдавайся!» Перезарядив автомат, я все-таки вскочил, потому как малейшее промедление грозило теперь обернуться худшим, чем гибель. Несколько десятков метров я передвигался бросками — пригнувшись, делал 5—6 широких шагов в густом сверкании трасс, падал и тотчас вскакивал снова. Мне надо было оторваться от немцев и догнать своих. В отдалении уже слышались заглушаемые боем крики и ругань моего ротного, лейтенанта Миргорода, отчаянно пытавшегося остановить бегущих и организовать сопротивление. Но была ночь, и хотя на снегу четко различался каждый силуэт бойца, лиц бегущих разобрать было невозможно. Я почти уже добежал до него, как вдруг сильный удар по ноге выше щиколотки опрокинул меня на снег. Сапог стал быстро наливаться кровью, и первой моей мыслью было: не перебита ли кость? Если кость перебита, то, разумеется, все для меня окончилось. Но танки уже приблизились, один через мою голову строчил из пулемета по бегущим к скирдам, и я тоже вскочил. К счастью, нога не подломилась, значит, кость цела (потом обнаружилось, что пуля отколола от голенной кости узкий обломок, в течение трех месяцев задержавший меня на госпитальной койке). Выпустив автомат, я отстегнул от ремня тяжелую противотанковую гранату кумулятивного действия и размахнулся. Однако мой бросок не достиг цели, кумулятивная не взорвалась (возможно, я не добросил или промахнулся), и танк, круто повернув в мою сторону, поддал газу. В клубах поднятого гусеницами

снега он озверело ринулся на меня. В последний момент я едва успел отбросить в сторону ноги, как он прогромыхал рядом, обдав меня снежным крошевом и траками вмяв в снег полы моей простреленной шинели. Сквозь поднятый им снежный вихрь я, однако, успел ухватить взглядом взметнувшуюся впереди фигуру Миргорода, его взмах руки, и тотчас мощный взрыв пахнул мне в лицо, сбив на снег шапку. Тяжело качнувшись, танк остановился, на его броню из башни вывалились два человека в черном. Тут уж я ударил по ним из автомата, и они скатились на землю. Однако больше мой автомат не стрелял: может, заело в диске или кончились патроны, мне недосуг было разбирать в том, — танки уже расстреливали из пушек скирды, туда же устремились немецкие автоматчики. Сзади за ними на всем протяжении до кукурузы темнели распластанные тела убитых, некоторые из раненых пытались ползти. Из недалекого провала свежей воронки, пригнувшись, ко мне подбежал боец нашей роты, он был ранен в плечо, и правая рука его плетью волочилась по развороченному гусеницами снегу. Солдат плакал, матерился, но он помог мне выбраться с того поля в засыпанные снегом заросли подсолнуха, с трудом преодолев которые мы очутились на едва приметной полевой дорожке. Здесь нас догнала повозка, на которой лежали двое раненых, и девушка-санинструктор с повозочным встревоженно вслушивались в грохот близкого боя. Стащив с ее помощью простреленный сапог, я вылил из него кровь. И девушка впервые перевязала мою ногу. К полуночи мы были уже в селе, где возле церкви в просторном поповском доме расположилась санчасть какой-то стрелковой дивизии.

В доме этой санчасти мне пришлось пережить ночь, события которой с достаточной подробностью описаны на страницах одной из моих повестей, а наутро всех его обитателей подняла отчаянная стрельба на околице — село атаковали немецкие танки. Обороны здесь никакой не было, в селе располагались тыловые службы, санподразделения, и вскоре все, кто был способен к передвижению, бросились по балке в село по соседству.

Но что было делать раненым?

В последний момент, когда почти все наши покинули село, я выполз из санчасти на улицу с единственной подобранной во дворе противотанковой гранатой, намереваясь погибнуть недаром. Несколько минут, лежа в канаве, ждал появления танков, которые тем временем уже во-

шли в село и расстреливали последних его защитников, как вдруг из-за угла побитой осколками мазанки выскочила пароконная повозка с седоками. Закричав, я замахнулся гранатой, охваченный внезапным намерением задержать мой ускользающий шанс, и повозка остановилась в полусотне шагов на улице.

Эта повозка вывезла меня из села, сзади по нас торопливо стреляли танки, уже появившиеся у окраинных хат, за греблей. Тяжелые болванки угрожающе фуркали над головами, но нам повезло: мы выскочили из-под огня и на пригорке у соседнего села были решительно остановлены незнакомым офицером в полушубке, который собирал всех, укладывая в боевой порядок. Пришлось и мне залечь в цепь, хотя, кроме пистолета и гранаты, у меня ничего больше не было. Но в нашем положении противотанковая граната все-таки чего-то стоила.

Нас набралось здесь человек сорок. Второпях мы вырыли в рыхлом снегу неглубокие ямки и залегли. Очень скоро из балки появились танки, их было одиннадцать, при виде нашей цепи они замедлили ход, а затем и остановились вовсе. Эта их остановка сначала обрадовала, а затем и озадачила нас: лучше бы они нас атаковали, мы бы тогда попытались отбиться гранатами. На расстоянии же они были для нас неуязвимы, зато вполне уязвимы для них были мы. Не раз мне на фронте приходилось переживать подобную ситуацию. Так было и потом, в конце 44-го при втором моем ранении под Балатоном в Венгрии, когда танки с близкого расстояния буквально за несколько минут выбили залегший на мерзлой земле батальон. Снарядов они не жалели, времени у них было в достатке, впрочем, как и сноровки тоже.

Они расстреливали нас, методически, аккуратно посылая по снаряду в каждого бойца, и спустя четверть часа вместо нашей цепи на снегу чернел ряд кровавых разрывов с разметанными вокруг комьями мерзлой земли. Уцелевшие, почти все раненые, скатились по обратному склону в село, невесть на что надеясь и невесть что полагая. Но все-таки, как оказалось, мы задержали их, пусть и ненадолго, но за это время на улицах села появился десяток наших тридцатьчетверок, по-видимому, срочно переброшенных сюда с другого участка фронта. Они вышли на сельскую окраину, и между танками завязалась огневая дуэль, которая продлилась до вечера. Две наши тридцатьчетверки сгорели в вишеннике на отшибе, но горели и немецкие танки — за бугром в погожее небо долго ва-

лили черные клубы дыма. Вдобавок ко всему под вечер налетели «мессершмитты» и принялись нещадно бомбить село, от разрывов их бомб разваливались глиняные мазанки, разлетались плетни и сараи. Мы с несколькими ранеными сунулись в какой-то погреб, где и просидели до ночи. Но в наступивших сумерках наши тридцатьчетверки стали покидать свои позиции за селом, и чумазый капитан-танкист объявил, что они уходят. Раненых, если те пожелают, могут взять на броню. Ночью село, по всей вероятности, будет занято немцами.

Мы торопливо взобрались на броню, человек по шесть на машину, вцепились в железные поручни. Тяжелораненых устроили посередине. Сначала нам было тепло и удобно, следовало только держаться покрепче. Но едва танки тронулись, снова налетели немецкие самолеты, началась ожесточенная ночная бомбежка. Некоторое время танки двигались, не обращая на нее внимания, то и дело пошатываясь в стороны от близких разрывов, которые грохотали справа и слева, спереди и сзади, обрушивая на нас пласты снега и комья мерзлой земли, высекая осколками искры из брони. Но, после того как одна из машин взорвалась и из нее никто не выбрался, танкисты при первых разрывах бомб стали останавливать машины и разбегаться в стороны от дороги. Раненые, способные к передвижению, тоже соскакивали с брони, на которой оставались лишь те, кто не мог слезть и особенно взобраться на нее после. Притиснувшись к башне и сжавшись в болезненный ком, я пережидал на танке четыре или пять таких бомбежек, опасаясь лишь одного — быть сброшенным взрывом на снег. Но вот танки въехали в какое-то большое село, и после непродолжительной стоянки капитан скомандовал слезть всем — на рассвете танки пойдут в атаку.

Что ж, пришлось слезть. Село горело после недавней бомбежки, которой была свеже и жестоко обезображена улица. Какой-то боец помог мне доковылять до более-менее сохранившейся мазанки, и, войдя в нее, я свалился на кровать в углу. Здесь уже кто-то лежал, наверное раненый, солома в кровати показалась мне мокрой, но только я прилег на краешке, как сразу же и уснул, словно провалился в забытьи.

Как и все эти суматошные дни, пробуждение наступило от сильной стрельбы на околице, и я вскинул голову. Брезжил первый рассвет, из поредившейся темноты проступали убогие пожитки этой покинутой хатенки:

стол, кровать, опрокинутая скамья на полу. Мой сосед не обнаруживал признаков жизни, и я толкнул его локтем, тут же, однако, испугавшись — рядом лежал человек в сизой немецкой шинели с двумя офицерскими знаками на узком, отороченном галуном погоне. Под ним в соломе стояла лужа крови, испачкавшей полы моей шинели. Немец был мертв. Тем временем стрельба приблизилась: несколько пуль ударило в стену, от которой на кровать брызнуло сухой штукатуркой. Поняв, что поблизости завязывается что-то скверное, я сполз с кровати и доковылял до дверей. В сенях было темно, в углу возле входной двери был сколочен сусек, полный картошки, и я вытянулся на нем, изготовив свой пистолет.

Бой в селе разгорелся с новой силой. Послышались крики, кто-то пробежал по улице. Вскоре там раздались гранатные разрывы — скверный признак того, что немцы ворвались в село. Сквозь щель в дверях мне виден был залитый взошедшим солнцем заснеженный двор — началось ядреное морозное утро. В свете этого утра за стеною мелькнула тень, послышалось усталое дыхание, и дверь передо мною резко распахнулась. В ее проеме возникло молодое лицо человека в немецкой каске с биноклем на груди. Одной рукой он открыл дверь, а в другой держал автомат. Нас разделяли каких-нибудь три метра, я был готов, мой пистолет был направлен в середину его груди, и я мог выстрелить тотчас же. Немцу же для очереди предстояло бросить дверную ручку и другой рукой подхватить автомат. Но я промедлил секунду, а немец, отсутствующе взглянув на меня, выпустил дверь и побежал дальше, туда, где слышались немецкая речь, крики и топот сапог. Так я подарил ему жизнь, впрочем, как и он мне тоже. А скорее обоим нам подарило жизнь солнечное утро, наверное, не давшее ему ничего увидеть в темном закутке. Я запахнул дверь и с пистолетом в руке стал терпеливо дожидаться развязки этого суматошного боя.

К полудню развязка все-таки наступила. Наша пехота выбила немцев из села и продвинулась дальше. Я выполз на улицу, кто-то из пробегавших бойцов показал, где искать их полковую санчасть. Когда мы с одним раненым техником-лейтенантом добрались до нее, снова налетели «юнкерсы» и обрушили на село контейнеры мелких осколочных бомб. Снова все заполыхало кругом, задымило, загрохотало. Девушка — лейтенант медслужбы, съежившись от близких разрывов, на полу санчасти то-

ропливо заполняла на раненых карточки передового района — перевязывать раны уже не было возможности. Когда очередь дошла до меня, записав звание и фамилию, спросила номер полка и, услышав в ответ незнакомые наименования, удивилась.

— Это не нашей части.

— Где он ее найдет теперь, эту свою часть? — сказал техник-лейтенант.

— А это не мое дело.

Без карточки передового района эвакуироваться в госпиталь было невозможно, и я приуныл. Но тут «юнкерсы» сыпанули на село очередную партию бомб, из хаты разом выскочили все окна, и девушка, смягчившись, бросила мне карточку.

Так, в общем, закончилась для меня эта не слишком выдающаяся эпопея — обычная солдатская история, несколько дней войны со смертями, кровью, успехами и, как сказали бы теперь, досадными срывами. Тому, кто воевал на переднем крае, особенно в пехоте, не раз приходилось переживать подобное. Иным доставалось и больше.

В январских боях под Кировоградом остался почти весь наш батальон, а может, и весь полк даже. Хоронили погибших не скоро, когда фронт откатился к Бугу и степь освободилась от снега. Жители окрестных сел собрали там пролежавшие зиму тела наших бойцов и свезли в братскую могилу в Северинке. Наверное, там же подобрали и мою полевую сумку с некоторыми бумагами. Это дало основание предположить, что ее хозяин тоже остался поблизости. В той же братской могиле оказался и мой командир роты лейтенант Миргород, имя которого носит теперь пионерская дружина местной школы. Недалеко от тех мест похоронен командир нашего батальона капитан Смирнов, ненамного переживший своего командира роты, по соседству с ними покоится прах командира полка майора Казаряна, скончавшегося от ран в медсанбате.

Неискушенному в войне, тем более молодому человеку, может показаться, что наши разрозненные усилия были бесцельными, а наше малоуспешное сопротивление немецким танкам бессмысленным. Но это не так. Пока раненые, а также лишенные противотанковых средств и должной организованности бойцы тыловых служб вели спорадические бои с немецкими танками, сковывая их маневр и отвлекая на флангах, ударная группировка на-

ших войск под командованием генерала Ротмистрова упорно окружала Кировоград, в итоге принудив немцев к отходу.

Тогда нам все это казалось по-разному, но теперь видится все яснее: наши жертвы были не напрасны, каждая капля крови, пролитой на поле боя, так или иначе приближала нашу победу, потому что в той войне и нашем ожесточенном единоборстве перевешивала лишь чаша, до краев наполненная человеческой кровью. Миллионы человеческих жизней — красноречивое тому свидетельство. Может быть, именно поэтому на нашей стороне оказалась победа, значение которой непреходяще для человечества.

1985 г.

БОЛГАРИЯ — БЕЛОРУССИЯ

Благословенная страна Болгария с ее замечательным по своей доброте народом впервые явилась в мою судьбу в предпоследний год Великой войны, и в ту драматическую пору для солдатского сердца не было милее уголка в Европе. В памятный сентябрь сорок четвертого мы навека разломали хлеб самой искренней дружбы и увидели, какую бездну добра вмещает в себе благородное сердце болгарина. Конечно, нетрудно догадаться, откуда эта щедрость на дружбу — она в драматизме исторического прошлого народа, и в этом смысле мы не можем не заметить поразительную общность исторических судеб болгар и белорусов. Все тяжелейшие испытания, выпавшие на долю болгарского народа, близки и понятны белорусам, тоже полной чашей испившим на своем веку и многовековой гнет, и национальное истребление, и нравственное и духовное закрепощение. Надо ли говорить, как это объединяет и сплачивает.

Если коснуться литературных связей, то в последнее время они так крепки и многообразны, как никогда прежде. Первооткрывателями в этом деле явились два болгарских литератора Найден и Георгий Вылчевы, многое сделавшие для популяризации белорусского художественного слова в Болгарии, а также наш замечательный белорусский поэт, нынешний руководитель Союза писателей республики Нил Гилевич, Болгария для которого стала второй благословенной родиной. Именно этим писателям принадлежат первые переводы с братских литератур и

первые строки о братских народах. С тех пор прошло почти четверть века, и теперь десятки белорусских литераторов переводят на родной язык болгарское слово, а десятки болгар отвечают им тем же. Широкую популярность в Белоруссии приобрели переводы с болгарского В. Никифоровича, В. Анискевича, В. Кулешовой.

Недавно в Минске вышла отдельной книгой «Белорусская поэма» — произведение, написанное по-болгарски и переведенное на белорусский язык. Для меня лично она очень дорога, эта полная мудрой скорби поэма, и тому много причин. Во-первых, она о моем родном крае — Ушаччине, славном своим партизанским прошлым, во-вторых, строй ее поэтических чувств необыкновенно близок и понятен каждому из белорусов, в-третьих, ее создал замечательный болгарский поэт и мой друг Стефан Паптонев, а перевел на родной язык один из самых талантливых мастеров нашей поэзии и мой белорусский друг — Рыгор Бородулин. Надо ли говорить, какой это прекрасный взнос в и без того никогда не скудевшую копилку нашей благородной дружбы.

Пусть же она не померкнет в веках!

1981 г.

ЗНАТЬ ТО, О ЧЕМ ПИШЕШЬ...

Художественное осмысление сущности народной жизни во всем ее неповторяющемся разнообразии и составляет, по-моему, главную художественную задачу искусства социалистического реализма. При этом, мне кажется, следует исходить из обязательности признания именно факта неповторяющегося разнообразия жизни, в которой в каждый данный момент происходит непрекращающееся взаимодействие различного рода характеров, воплотить которые в литературе может лишь образ. Но очень непросто это — посредством одного выразить другое, да еще с необходимой для реалистического искусства глубиной и точностью. Для этого мало обладать литературным талантом — надо еще очень многое знать, глубоко чувствовать и верно разбираться зачастую в запутанных жизненных связях, процессах и явлениях.

Существует парадоксальное на первый взгляд мнение, будто для того, чтобы верно выразить дух времени, нужно отойти от этого времени на расстояние, так как с расстояния все видится четче. И действительно, всякая со-

временность трудноуловима для типизации. Гораздо податливее и послушнее время ушедшее, с его устоявшимися ценностями и обкатанными реалиями. Но вот, читая ныне некоторые произведения на тему прошлой войны, невольно замечаешь, как при всей несомненности многих положений и канонизированной обязательности определенных реалий все-таки в них отсутствует нечто большое и значительное, без чего эти произведения просто не впечатляют, хотя речь идет о самом, может быть, главном для любого живущего — борьбе за жизнь.

Да, реалий и остродраматических ситуаций там, может быть, предостаточно, но откуда авторам взять душевной наполненности, психологической достоверности чувства, которые невозможно имитировать, но надобно пережить. Вот почему на вопросы молодых литераторов, родившихся после победного мая 1945 года, можно ли невоевавшим писать про войну, я отвечаю: можно, но лучше не надо. Литература, кино, телевидение сейчас в состоянии снабдить вас полным набором расхожих ситуаций и штатных деталей, но никто не внушит вам чувств, которые вы не испытали и которые, может быть, и составляют самое существенное в данном художественном произведении.

Именно верность в передаче человеческой психологии, сила страстей и высота справедливости идеалов отличают лучшие произведения литературы социалистического реализма на тему прошлой войны. Вспоминая теперь многие обстоятельства появления так называемой второй волны военных прозаиков, нельзя не признать того факта, что главным в их повестях и романах, заставивших заволноваться критиков и читателей, была все-таки с неожиданной полнотой обнаруженная и доподлинно переданная психология солдата в бою. Адамович, Астафьев, Бакланов, Богомолов, Бондарев, Гусаров, Носов создали книги, где незаурядный талант их авторов, счастливо переплетаясь с недюжинным личным военным опытом, принес удачу принципиального значения. В них мы находим поразительную сложность и неимоверную трудность военной судьбы, самоотвержение и героизм — весь комплекс правды самой кровавой, но и самой справедливой из войн, выпавших на долю нашего народа.

Как известно, всякое прогнозирование связано с той или иной степенью риска, но в данном случае, кажется, меньше всего рискуя ошибиться, можно утверждать, что лучшие произведения указанных выше и некоторых дру-

гих авторов о войне на долгие годы останутся в золотом фонде литературы социалистического реализма. Потому что в них есть психологическая точность и большая правда о времени, которое никогда не изгладится из человеческой памяти.

1979 г.

ЗА СЧАСТЬЕ НАДО БОРОТЬСЯ

В наше время впервые за свою историю человечество получило реальную возможность навсегда устранить угрозу войны и жить в мире, который, как никогда, нужен сейчас, ибо не существует другой альтернативы всеобщему миру, кроме всеобщего уничтожения.

Если посмотреть на многовековое прошлое культуры народов, то можно увидеть, что художники-гуманисты всегда были против войны, больше всего их заботили проблемы мира. Но далеко не всегда они имели хоть какую-либо возможность устранить угрозу очередной войны, потому что были разобщены, нерешительны, отягощены классовыми, сословными, религиозными и прочими предрассудками, мешавшими им сказать свое решительное «нет» войне.

Мы же теперь имеем такую возможность.

Эта возможность опирается на волю народов, волю демократических сил, лучших представителей прогрессивного человечества, понимающих всю пагубность новой войны и сознающих личную ответственность перед историей, человечеством и собственной совестью.

Лучшие художники мира и Страны Советов не перестают отстаивать мир письменно и устно, в художественном творчестве и публицистике. Но кто может сказать, где предел этой неустанной работе? Давно и хорошо известно, что мир не утверждается сам собой, что за него надо бороться, потому что существуют человеконенавистники всех мастей, которые готовы ввергнуть человечество в пучину новой, невиданной по своим разрушительным последствиям войны. Вместе со всеми честными людьми мира писатели должны решительно возвысить свой голос во имя защиты жизни на земле.

Совершенно очевидно при этом, что прочного мира невозможно добиться без полного взаимопонимания между людьми. На путях к мирному сосуществованию все еще стоит множество различных предрассудков, вытека-

ющих из длительной разобщенности различных культур. Литература — одно из испытанных средств разрушения этих предрассудков, укрепления взаимопонимания между народами. Но в укреплении такого взаимопонимания нуждаются и сами литераторы, чье личное общение и регулярные контакты в самых разнообразных формах также служат благородной идее мира. Вот почему становится совершенно бесспорной необходимость той встречи, которую намечено провести в Болгарии.

Эта встреча, предполагающая большой разговор о мировой культуре и судьбах человечества на нашей планете, внесет также свой несомненный вклад в дело разрядки напряженности, предпринятой, как известно, по инициативе Советского Союза. Кому, как не нашему народу, стоять в авангарде этой разрядки, кто еще может сравниться с ним по безмерности испытаний и количеству жертв, принесенных во имя мира в прошлой войне? Мы лучше всех на этой земле представляем весь ужас войны и поэтому так ценим мир.

Конечно, ничто не дается легко, особенно такое многотрудное дело, как отстаивание мира на планете, до предела начиненной оружием и разделенной на множество перегородок. Здесь неизбежны свои трудности и свои проблемы. Но честные писатели всех континентов должны выразить свое отношение к этим проблемам, без разрешения которых человечество по-прежнему будет балансировать на шаткой грани между войной и миром.

1977 г.

ВО ИМЯ ЖИЗНИ

Интервью для газеты «Дойче Фольксцайтунг ди тат»

Всякая агрессивная война уже по своей природе направлена против человека, который для нее — лишь средство, материал преступной политики тех, кто обанкротился в этой политике, ведя ее мирными средствами. Но прежде чем вовлечь в свою круговерть человеческую жизнь, война стремится покончить с культурой, потому что культура и ее вековые традиции уже фактом своего существования противостоят военному угару. Все самое ценное, накопленное народами в течение столетий мирного развития, быстро обесценивается, а оставшиеся кро-

хи культуры пересматриваются и переоцениваются агрессором с расчетом адаптации их для своих целей. Такая война пожирает прошлое народное, лишает человека истории еще до того, как лишить его физического существования в мире.

И даже после ее окончания надобно длительное время, чтобы изжить ее следы на земле и в народном самосознании, психология ее живет долго; в той или иной форме ее следствия продолжают влиять на формирование будущего.

Вот почему тема минувшей войны на протяжении десятилетий не уходит из белорусского искусства, питает нашу литературу. И тут нет какой-либо заданности или преднамеренности — есть боль, не покидающая душу народа, который потерял за годы войны четверть своих людей — каждого четвертого жителя Белоруссии.

С началом войны обрываются всякие культурные связи между воюющими сторонами. То, что в области культуры естественно формировалось в течение столетий, расторгается за несколько недель. Надо сказать при этом, что честная интеллигенция обеих сторон болезненно переживает этот разрыв, который безусловно погубно влияет на самочувствие обеих культур, особенно если популярные и уважаемые деятели культуры вольно или невольно оказываются в неправом лагере. В этом отношении показателен пример хотя бы норвежца Кнута Гамсуна, чьи романы были любимы в мире до того момента, как их автор оказался коллаборационистом фашизма. (Известно, что читатели возвращали Гамсуну его книги, швыряя их через ограду усадьбы писателя.)

Правда, и в годы войны, несмотря на нашествие на наши земли дивизий вермахта, мы старались сохранить объективность и не распространять нашу ненависть, так сказать, ретроспективно. Гёте, Гейне, Томас Манн всегда были и оставались для нас великими немцами, отношение к ним не изменилось с годами. Но драматизм момента в данном случае состоял в другом: миллионы наших людей на оккупированных территориях вынуждены были судить о немцах и немецком народе не абстрактно и не исторически, а весьма конкретно: ежедневно наблюдая за бытом, поведением и нравами фашистской солдатни, когда трудно было удержаться от того, чтобы эти далеко не джентльменские нравы не экстраполировать на весь германский народ. Лишь умные или образованные люди могли до конца сохранить объективность и понимать, что

наглый фашистский фельдфебель — это еще не немец, то есть он сначала фашист-солдафон, а потом уже незадачливый представитель великой и культурной нации Европы, которую он предал позорнейшим образом.

Мне хорошо памятен случай, который я имел намерение использовать в своей прозе, но пока не использовал непосредственно. Суть его состоит в том, что осенью сорок первого года, когда вермахт приступил к ликвидации еврейского населения в малых городах Белоруссии, один старый сельский учитель, человек очень воспитанный и интеллигентный, знавший немецкий язык и читавший Шиллера в оригинале, потрясенный трагедией уничтожения тысяч безвинных жителей местечка, отправился к немецкому коменданту с целью открыть ему глаза на всю бесчеловечность действий властей. В противоположность учителю комендант оказался невежественным солдафоном из тех немцев, которые до 33-го года были представителями люмпен-пролетариата, а с приходом Гитлера к власти сделали военную карьеру. Комендант долго не мог взять себе в толк, чего хочет этот старик белорус. Его, конечно, удивило, что тот неплохо говорит по-немецки, но — культура?.. Традиции — христианские и гуманистические? Гёте и Гейне? Коменданта, конечно же, не слишком заботили проблемы культуры, — он был поглощен выполнением приказа командования относительно «окончательного решения еврейского вопроса». Ему очень досаждали эти местечковые евреи, которые бесконечно изворачивались, лгали и не подчинялись его требованию дружно и организованно идти в яму, и его солдатам приходилось немало поработать, чтобы добиться повиновения. Что же касается Гейне, то тот — «сам жид», об этом ясно было написано в газете «Дас шварце корпус», которую регулярно читал комендант, так кого же защищает этот взволнованный и плохо одетый интеллигентишка из местных? Уж не шпион ли он, подосланный комиссарами? И чтобы разом разрешить сомнения и покончить с «заумной болтовней», комендант приказывает пристрелить и учителя. Благо тот не убегает и не сопротивляется. В еврейской шеренге, уже уложенный для расстрела в яму, он лег последним, с самого края.

Да, война и культура — несовместимы, они существуют в различных сферах и разговаривают на разных языках. В течение тысячелетий выработанные общечеловеческие истины чужды для войны и непостижимы ею.

К счастью, фашистская эпоха в Германии, хотя и

была кроваво-жестокой, но оказалась непродолжительной, немецкий народ все же сумел сохранить здоровое самосознание, и хотя рецидивы нацизма время от времени дают о себе знать в современном германском обществе, в целом немецкий народ знает, где и с кем его будущее. В Мюнхене, Кельне, Эрлангене, Западном Берлине я видел антивоенные и антифашистские демонстрации — грандиозные народные манифестации, дух и стремление которых были мне близки и понятны. Я присутствовал на многолюдном митинге в Западноберлинском политехническом институте, приуроченном к пятидесятилетию захвата Гитлером власти в Германии, и выступал там. Тысячи немцев горячо аплодировали речам немецких антифашистов, польских узников Освенцима, молодых пацифистов. Это было, может быть, кратковременное, но поистине монолитное сплочение людей разных мировоззрений и национальностей во имя мира и культуры.

Мне не однажды приходилось говорить, что советская, так называемая «военная» литература, — это не упоение войной, а не утихающая во времени боль от нее. Боль за погибших, скорбь по утраченному.

В том числе и в области культуры. Ведь многие из наших культурных ценностей, разрушенных войной, восстановить уже невозможно. Да, мы отстроили свои города и села, многие из них выглядят теперь лучше, чем прежде, как, например. столица республики Минск. Но прежний, исторический, облик ряда белорусских городов, как, например, древнего Полоцка, недавно отметившего свое 1100-летие, безвозвратно утрачен, и надо ли говорить, какая это чувствительная утрата для исторического самосознания народа. Города без древнего центра, как бы современно и благоустроенно они ни выглядели, все-таки лишены необходимой для них души. Утраты такого рода отлично чувствовал наш недавно умерший белорусский прозаик Владимир Короткевич, в романах которого много от ностальгии такого рода, и его очень любит и понимает современная молодежь.

В нашей «военной» литературе нет «упоения» войной, любования кровью и смертью — все это ей чуждо в своей основе. Но мы воспеваем в солдате прошлой войны красоту его духа, его благородную способность пожертвовать собой ради жизни товарищей (Григорий Бакланов), любви к женщине (Виктор Астафьев), и даже ради мирных жителей-немцев (Юрий Бондарев). Мы свято храним традиции русской классики (Лев Толстой,

Федор Достоевский), ее уроки и ее позиции находят у нас многих последователей среди разных поколений писателей. Я, например, исхожу в своей прозе из элементарнейшей из толстовских посылок, которая, будучи несколько перефразированной, выглядит так: о войне, какой бы трудной она ни была, надо писать правду и всю правду, какой бы она ни была горькой. Правда в гуманистическом искусстве всегда однозначна и несет человечеству только добро. Именно такая позиция служит залогом того, что наша военная литература и впредь будет по сути своей антивоенной и сугубо гуманистической.

В этом смысле нам близок антивоенный пафос произведений замечательного и широко популярного у нас Генриха Бёля, или мятежного Гюнтера Грасса, или Германа Канта, Дитера Нооля и многих других авторов обеих Германий, — гуманистов и пацифистов.

Конечно, как в ФРГ, так и в СССР выросло поколение, родившееся после кровавой войны, о которой оно знает только по книгам, кино да по рассказам родителей, людей старшего возраста. У этого поколения свои, часто довольно затруднительные проблемы, требующие для их разрешения немалых усилий общества и государства. Но мы говорим, что ни одно поколение не вправе забыть об ужасах и уроках минувшей войны уже хотя бы потому, что человечество должно знать, кому оно обязано своим существованием. К тому же у нас в ходу известная истина, что каждая новая война начинается именно тогда, когда люди начинают забывать о войне предыдущей. Ведь уроки истории ничему не учат, как сказал один из великих немцев, и в общем это справедливо как констатация факта. Так всегда было в истории, но в наше время так быть не должно. Как только человечество начнет забывать об уроках недавнего прошлого, оно будет ввергнуто в катастрофу, после которой уже ничего не останется. Кроме вечного льда и хаоса на мертвой земле.

На закате жизни свойственно вспоминать о прошлом, в том числе о войне и победном дне 9 мая 1945 года, который я встретил в австрийском городке Ротеннамане на реке Энс, где войска Третьего Украинского фронта соединились с американским авангардом. Мы славно отметили эту долгожданную встречу, обменивались с американскими пехотинцами подарками и адресами, клялись в вечной дружбе. Жаль, что все это оказалось столь же кратким, как и иллюзорным. Но не по нашей вине. В том,

что произошло вскоре в наших отношениях, менее всего повинны наши солдаты, впрочем, как и американские пехотинцы. Я уверен, что те с таким же воодушевлением вспоминают тот день и нашу встречу на берегах горной реки, нянчат внуков и жаждут мира. Как его жаждем мы. И как его жаждут немцы обеих Германий, в этом я уверен тоже. Можно даже сказать, что весь мир жаждет мира, мир ненавидит войну, но между чаяниями народов и осуществлением этих чаяний стоит древнее чудище — страх.

Что может быть благороднее и возвышеннее для культуры, чем содействие в преодолении этого чудища, — во имя благополучия, культуры — во имя жизни!

1985 г.

НАША СИЛА И ВОЛЯ

Идет время, но не меркнут в человеческой памяти годы войны, величие нашей победы над немецким фашизмом. Трудно переоценить ее значение в истории, ныне уже видно, что на ее фундаменте возведено все настоящее, а быть может, и будущее человечества. И теперь, когда снова зыбким стал мир на земле, когда силам агрессии и разбоя снова неймется, мы вспоминаем недавние уроки, преподанные людям войной, и утверждаемся в уверенности нашей правоты — правоты дела мира.

Одной из многих замечательных черт минувшей войны была народность ее характера, когда за общее дело — на фронте, в промышленности и сельском хозяйстве, в партизанском тылу, — боролись все, от мала до велика. Пусть не все рисковали в одинаковой степени, но все отдавали себя, свое мастерство, опыт и труд во имя грядущей победы, которая обошлась нам очень дорогой ценой. Колоссальное напряжение всех физических и духовных сил народа, огромные материальные затраты, двадцать миллионов человеческих жизней — вот плата советского народа за его самую трудную и замечательную в веках победу. Солдатской же платой, личным взносом бойца во имя грядущего часто оказывалась его собственная жизнь, расстаться с которой было очень нелегко, но, как нередко случалось, иного выхода не было. И миллионы молодых, да и постарше людей — мужчин, парней, женщин — приняли смерть, ясно сознавая, что, как бы

ни была дорога для них жизнь, судьба Родины и человечества несравненно дороже.

Да, солдат погибал просто и безропотно, честно и до конца исполняя свой долг, и только в душе его, может быть, последней предсмертной мыслью было сознание вопиющей безвременности этой его гибели. Можно представить себе весь трагизм ее летом сорок первого года, когда таким расплывчато-неопределенным казалось ближайшее будущее, столь огромной была опасность для Родины, и погибавший, как бы ни уверовал он в нашу победу, не имел даже представления о сроках ее осуществления, не знал, сколько продлится война и какой отрезок заняла в ней его собственная жизнь — половину, четверть или того меньше. А главное, так мало тогда, в сорок первом, было побед и так много отчаяния.

Непросто было умирать и в середине войны, когда чаша военной удачи предательски колебалась то в одну, то в другую сторону, и впереди лежал такой долгий, кровью политый путь — от Волги до Эльбы. К тому же в это переломное время уже явственно определилась наша боевая сила, возросло военное мастерство; в годы Сталинградского сражения и Курской битвы мы уже научились воевать на равных, хотя эта наука и далась нам чересчур большой кровью. Но именно в трудных победных битвах многие расставались с жизнью, горестно сознавая, что сделали для победы далеко не все, что могли бы сделать, что так не вовремя обрывается их полная силы жизнь, что теперь, когда есть умельство, пережит страх и обретена решимость, именно теперь появилась возможность бить врага наверняка. С такими или похожими мыслями они уходили от нас навсегда. Спустя много лет, глядя на пожелтевшие фотографии этих рано повзрослевших парней в гимнастерках с петличками на воротниках, редко и скупо награжденных, затрудняешься, что подумать. То ли следует им позавидовать в том, что они волей военной судьбы сошли с половины пути, на котором столько еще пришлось пережить, перестрадать и стольким погибнуть на своей и чужой земле или, может, посочувствовать: стольких победных радостей лишились они, не дойдя до весны 45-го. Ну а те, что погибли на самом исходе войны, в сорок пятом? Ведь именно в этот год больше чем когда-либо прежде начали мы задумываться о будущем, пытливо стремясь заглянуть за черту, которая вот-вот должна была разделить войну с миром. Оставалось совсем немного, шли бои

в сердце Германии, окружали Берлин, штурмовали рейхстаг. И на каждом огненном метре погибали, пройдя тысячи километров к желанной цели и не добежав жалкие метры до мира, уцелев на войне долгих четыре года и не дожив нескольких коротких часов до ее окончания. Горестное сознание этого надо чем ближе к концу войны, тем острее вонзалось в солдатское сердце, но и оно не могло задержать всеобщий порыв, остановить последний рывок в атаку, смертельный бросок на вражеский бункер. Следует заметить еще, что к этому времени мы уже своевались, сработались, притерлись, а то и сдружились с теми, кто был с нами рядом. К концу войны, как никогда прежде, окрепло фронтовое товарищество, и, быть может, потому каждая потеря бойца в общем строю, кроме привычности безвозвратной потери была еще и горькой личной утратой для многих товарищей по оружию.

У меня хранится старенький, военных лет снимок, наспех сделанный где-то в тылу на формировке, изрядно потертый за годы в нагрудном кармане гимнастерки. На нем четыре офицера, командиры рот и взводов, ни одному из которых не посчастливилось дожить до победы. Первый из них очень скоро погиб на Днепре, последний пал в Австрийских Альпах двадцать седьмого апреля 1945 года. Я вглядываюсь теперь в их молодые лица и хочу прочитать в их устремленных в объектив взглядах нечто такое, чего не замечал прежде, но что должно открыться ныне, спустя годы после их гибели. Это плохо мне удается, потому что у всех четверых очень будничное выражение лиц с, может быть, чуть притаенной горчинкой от нелегкой их доли, ушедшей в себя тревоги за будущее. Но ни просьбы, ни жалости, ни упрека. И это понятно. В момент фотографирования они жили общими для живых делами, текущими заботами, и хотя солдат всегда готов к самому худшему на войне, он старается о том не думать.

Взгляды погибших могут выражать мало или не выражать ничего, но мы, волею судьбы или случая выжившие, ставшие более чем вдвое старше и, надо полагать, мудрее, мы обязаны увидеть в них то сокровенное, что так дорого было для них и в равной степени важно для нас сегодня.

Прежде всего мы обязаны разглядеть их молчаливую просьбу помнить, не забыть в смене лет их имена и их дело, поведать потомкам о смысле их жизни и особен-

но — их безвременной смерти. Давно известно, сколь обманчива и несовершенна человеческая память, безжалостно размываемая временем, по крупицам уносящим в забвение сначала второстепенное, менее значительное и яркое, а затем и существенное. Не зафиксированная в документах, не осмысленная искусством история и исторический опыт людей очень быстро вытесняются из памяти вереницей текущих дел и событий и навсегда утрачиваются из духовной сокровищницы народа. В годы войны, когда человеческая жизнь нередко была лишь средством к великой цели, не суть важным казалось имя человека, упавшего рядом, достаточно было знать, что это свой, и единственной заботой живых было вовремя предать земле павшего. Второпях, в горячке боев мы ограничивались словами известной эпитафии на фанерной табличке под такой же фанерной звездой; иногда лишь по размерам насыпи на братской могиле можно было приблизительно судить о количестве в ней похороненных. Но вот впоследствии стало понятно, что нельзя человеку без имени — живому, а тем более павшему. Усилиями общественности и следопытов теперь восстановлены имена даже на самых глухих захоронениях, и в этом заключен справедливый и глубоко гуманистический смысл. Всякий рожденный под солнцем должен быть отличим от себе подобного, иметь собственное лицо; лежащий же в братской могиле тем более. Ведь имя на обелиске — это последнее, что остается от бойца в жизни, и в нем единственная его безмолвная просьба к живым — не забудьте!

Погибшие не напомнят, но мы-то, живые, понимаем, как нам нужно знать о них по возможности больше. У каждого из них была малая их родина, были родители, были их пусть мало значащие ныне для нас дела на заводе, в колхозе, связанные с ними малые и большие заботы. Вспомнить о них — долг живущих друзей, однополчан, земляков. На фронте нередко случалось, что в трагической обстановке окружения, тяжелых боев, прорыва были совершены подвиги, но ни совершивших их, ни свидетелей не осталось в живых, и мы ничего не знаем, а может, никогда и не узнаем о безвестных героях. Но уж если кто-то остался жить, пройдя через муки плена, госпитальные страдания, может, не вернувшись более не только в свою часть, но и в действующую армию, было бы непростительно, если бы он не поведал людям о подвиге, свидетелем которого оказался. Неважно,

что память не уберегла имя героя, или тот был совершенно незнакомый боец — после войны сохранились архивы, подшивки газет, документы, не убывает энергии у молодых следопытов, они распутают самые запутанные клубки прошлого.

Во сколько бы лиц погибших вы ни вглядывались, мне кажется, редко в котором из них так или иначе не прочтется немой, как укор, вопрос к нам, живущим: а вы как? Какие вы нынче? Те, что уцелели и так долго живете после нашей, кровавой войны? Великое множество оттенков и смысла заключено в этом невысказанном вопросе, и для меня лично он — самый трудный и самый обязывающий. При всей его неопределенности он самый взыскующий и категоричный. А что он подразумевается, этот вопрос, я не только чувствую, но знаю наверняка: сам на их месте обратился бы к живым прежде всего именно с этим вопросом. Он самый существенный из всего, что может связать во времени мертвых с живыми.

Время, к сожалению, безжалостно не только к человеческой памяти, столь же немилосердно оно ко всему, что составляет сложную область человеческих отношений. Прекрасная вещь фронтовое братство, замечательно, если оно сбереглось от разрушительного воздействия лет, сохранилось поныне. Но известно немало случаев и другого рода, когда некогда прочная фронтовая дружба не выдерживает испытания временем, рушится под натиском неблагоприятных для нее обстоятельств, иссякает, хиреет. Впрочем, все это объяснимо: со временем меняемся мы сами, необязательно становимся хуже, — становимся иными, и то прежнее, что связывало нас на фронте, что нам казалось нетленным, дорогим и важным, более не кажется таковым. Очевидно, тут нет ничего предосудительного, такова человеческая природа. Но как важно, чтобы это изменение, если уж оно неизбежно, происходило бы в сторону улучшения, нравственного совершенствования, а не к ухудшению — очерствлению, гипертрофии себялюбия, раздражающей неудовлетворенности окружающим. Отстоять от разрушительного воздействия времени духовное Я человека, сберечь идеалы нашей фронтовой молодости, до конца дней остаться верными духу товарищества, дружбы, сохранить готовность в любой момент ринуться в бой за правое дело — разве не этот безмолвный призыв сквозит во взглядах наших оставшихся вечно молодыми товарищей?

В праздничные весенние дни тысячи постаревших ве-

теранов появятся на улицах, пройдут в колоннах демонстрантов. Грудь многих из них украсят награды, у кого больше, у кого немного меньше — это все символы умения, храбрости и мастерства, проявленных в жесткой борьбе с врагом. Но есть и другие, печальные символы, принесенные живыми с войны, — искалеченные тела. Даже если у этих людей меньше наград (бывает и так), их шрамы — свидетельства их боевого вклада, их риска и бесстрашия в смертельной стычке с фашизмом. Во время всенародного праздника им первый поклон, первое слово, наш первый братский привет.

Как известно, на войне место в боевом строю не выбирают. Государство превращается в единый боевой организм, где каждый гражданин занимается только своим, предназначенным именно ему делом. Разная у каждого работа, разные воинские обязанности у солдат и командиров. Ветераны сегодня точно и по заслугам оценивают каждого из своих товарищей, выделяя, однако, самых достойных уважения. Мы отдаем должное таранному могуществу танкистов, которые шли впереди в самую гущу огня и нередко кончали жизнь в кострах из солярки среди поля боя; летчикам — истребителям и штурмовикам, что немало помогали пехоте. Многое сделали для победы артиллеристы и минометчики.

Но в радостный день нашей долгожданной Победы самый низкий поклон пехотинцу, бойцу стрелкового полка, что прошел... нет, не войну (как ни странно, в пехоте войну не проходят), хотя бы часть той войны под скорострельным огнем немецкого оружия, под бомбовыми ударами «мессершмиттов» и «юнкерсов», выдержал под гусеницами «пантер» и «тигров», под густым градом минных осколков, взял на своем пути до Берлина бесчисленное множество деревень, высот и развилок, под адским огнем форсировал десятки малых и больших рек, изнемогал под жарким солнцем в пыльной степи, замерзал на лютом ветру в зимнем поле, бил врагов из своего ППШ или «драгунки» и все же выжил, не дал уничтожить себя. Не уменьшая заслуг воинов других родов войск, их вклада в победу, я выделяю все же именно его — пехотинца минувшей войны, далеко не бравого вида солдата в помятой, запачканной глиной шинельке, в обмотках на ногах, часто полусонного, вконец измученного, с не дожеванным куском зачерствелого хлеба в противогазной сумке, притерпевшегося к своей тяжелой доле, но всегда готового по свистку ротного кинуться в огонь — навстречу гибели

или победе. Когда вы встретите в такой день пехотинца — бывшего солдата, сержанта, младшего офицера стрелкового полка, — поклонитесь ему до земли: подвига более героического не найти в веках.

Великая Отечественная война советского народа против немецкого фашизма — целая эпоха в истории нашей страны, блестящая страница ее героического прошлого. Она забрала бесчисленное множество человеческих жизней, разрушила сотни поселков и городов. И хотя за послевоенные годы все восстановлено и отстроено, облик земли стал красивее, чем прежде, невидимые следы войны еще остаются в сердцах и душах людей. Еще живут те, кто потерял на этой войне своих близких, — в одиночестве доживают век осиротевшие старики, братья и сестры, выросли без родителей дети. Видимо, и трети столетия мало, чтобы затянулись все душевные раны. В одной только Белоруссии погиб каждый четвертый из ее жителей, а в некоторых областях (например, Витебской) погиб каждый третий. Если же взять мужское население этой области, то после войны тут недосчитались половины мужчин. По существу, погибли все взрослые мужчины Витебщины, которая до сих пор не достигла довоенной численности жителей. Потери такого масштаба, понятно, не могут не отразиться на современном развитии экономики. Они создают сложные проблемы нехватки рабочей силы в сельском хозяйстве и на производстве, накладывают дополнительные обязанности на тех, кто трудится. Еще долго тут будут помнить войну.

Глубинная сущность народного подвига в минувшей войне является животворной темой современного искусства. О жизни человека на войне поставлено немало прекрасных фильмов, созданы замечательные произведения литературы. Одним из важнейших критериев в оценке произведений на тему войны является сохранение меры и такта в отношении к правде войны, ее участникам — живым, но главным образом убитым. Есть ли нужда говорить, насколько недопустимым в искусстве на данную тему является сочинение потешных фарсов на крови, комедий на человеческих страданиях. Но некоторые даже неплохие фильмы о войне, которые пользуются успехом у молодежи, неприемлемы для непосредственных ее участников. Случается, что фильмы о войне с надуманными и фальшивыми ситуациями ставят люди, что родились после 1945-го.

Понятно, для современного кино с его огромными тех-

ническими возможностями нет тем, которые нельзя было бы поднять, говорят, что языку кино все доступно. Но в этой теме, которая все еще сочится кровью, мне думается, было бы уместно руководствоваться нравственным доводом вроде: можно, но надо ли?

Психологическая углубленность, точный и строгий реализм в отображении драматических, а то и трагических перипетий войны вот единственно приемлемый путь для серьезного искусства. И у нас есть немало примеров именно такого рода произведений, блестящих во всех отношениях, которые трогают прежде всего святой правдой огненных лет. Знаменательно при этом, что лучшие книги и фильмы не только прекрасные образцы творчества прекрасных авторов, но и одновременно свидетельства участников войны и ее очевидцев. Значение их в духовной жизни народа и влияние на народное сознание не утратится с годами независимо от того, что в них сыграет первостепенную роль для будущего — воспитательная функция или яркое и честное свидетельство о поколениях, которые вынесли на своих плечах главную тяжесть войны. Конечно, и то и другое взаимосвязано и одинаково важно. Особенно для нашего времени, когда дело разрядки напряженности оказалось под угрозой срыва, перед лицом уничтожающей ядерной катастрофы, победителей в которой, как известно, не будет. Будут зачинщики тотального уничтожения, остановить которых могут только Сила и Воля.

Сила и воля, подобные той, что стала на пути немецкого фашизма и обеспечила сорок лет мира в Европе.

1985 г.

ЧТО ДАЕТ НАМ СЕГОДНЯ ПАМЯТЬ О ВОЙНЕ?

Ответы на вопросы журнала «Дружба народов»

1. Что за последнее время в опыте всесоюзной и мировой литературы о войне вы считаете наиболее интересным?

— На фоне огромной военной литературы создать что-либо значительное о прошлой войне, тем более поражающее новизной, становится все труднее даже для художников, обладающих несомненным литературным талантом и личным военным опытом. Тем не менее, хотя, может быть, и нечасто, и если иметь в виду последние не-

сколько лет, то я бы назвал книгу «Каратели» А. Адамовича, роман «Плотина» покойного В. Семина, несколько ранее вышедший роман В. Богомолова «В августе сорок четвертого».

Это действительно не только прекрасные своей правдой вещи, не только новое слово в литературе о войне, значительно углубляющее наше знание о ней, но и новый художнический взгляд, определенная новизна авторской концепции, может быть, невозможная еще несколько лет назад. Это тот случай, когда личное знание войны и народной судьбы (В. Семин) в значительной мере подкреплено документом (В. Богомолов), когда автор соединил в себе художника и ученого-исследователя (А. Адамович), что и дало возможность создать произведения правдивые, глубокие, ни в малой степени не повторившие ничего из огромного моря созданного прежде. Сюда же, наверно, нелишне будет причислить и В. Кондратьева с его чистым и честным голосом, его словами в адрес пехоты, несколько обойденной вниманием нашей литературы о войне.

2. Возможна ли, на ваш взгляд, настоящая, серьезная литература о войне у писателей невоевавших поколений?

— Я уже пользовался возможностью высказаться по данной проблеме, но факт, что этот вопрос возникает снова и снова, свидетельствует об устойчивом интересе к нему как со стороны читателя, так и со стороны нашей журналистики. Впрочем, это и понятно. Поколения уходят в свой урочный и неурочный час, на смену им идут новые, интерес человечества к последней большой и самой кровавой войне будет еще оставаться долго. Конечно, писать о войне будут все больше и те из литераторов, которые ее лично не знали, может быть, родились после войны, и знание о ней лежит вне пределов их личного жизненного опыта. Вполне возможно, что ими также будут созданы значительные произведения о человеке на войне. Но после стольких блистательных книг, созданных на основе безжалостной и скрупулезной правды о ней, это будет не просто и потребует не только выдающегося литературного таланта, но таланта гениального. В противном случае трудно будет избежать вторичности, сочиненности, приблизительности. Впрочем, характер такого рода творчества виден на примере современного кино о гражданской войне. Эта одна из самых драматических тем нашей истории все больше трактуется кинематографом как тема лихих приключений и романтической любви.

Облегченность в изображении столь трудного и конфликтного времени происходит от стремления приспособить его проблематику для целей кино с его неуемным стремлением развлекать и забавлять. Что, впрочем, все больше ощущается и в некоторых фильмах о прошлой войне. Не хочется их называть здесь, но я думаю, они на памяти у многих зрителей-фронтовиков, неприятно пораженных их бесконечными каламбурами, комедийными пассажами, бездумным трюкачеством.

Если говорить определеннее, то я считаю, что в искусстве вряд ли возможно создать что-либо стоящее на основе незнания. Следовательно, знание, опыт совершенно необходимы даже для несомненных талантов, если они претендуют на значительные открытия в любой области искусства. Заемное же никогда не приносило успеха, об этом свидетельствует множество примеров из любой литературы.

3. Что, на ваш взгляд, является доминантой вашего творчества, соответствуют ли этому взгляду выводы критиков?

— Мне трудно исчерпывающе ответить на данный вопрос, так как я полагаю, что неблагодарное это дело — разбираться в собственном творчестве. Гораздо лучше, когда это делают другие. Тем более наши профессиональные критики, среди которых есть выдающиеся таланты, произведения которых мы читаем с не меньшим увлечением, чем художественную прозу. В этом смысле я не представляю собственного творчества без очень принципиального взгляда на жизнь и литературу критика А. Адамовича, тонкого аналитика Л. Лазарева, близкого мне по военному опыту и по отношению к тому, что мы пишем. В последние годы наша литература как бы озарилась новым, очень честным и свежим взглядом на нее Игоря Дедкова, проявившего удивительное по глубине понимание многих, зачастую подспудных ее процессов, а также «военной прозы». Чтение статей и рецензий этого критика для меня не только благодарная работа ума, но и душевное наслаждение. Думается, что при добром и проницательном внимании этих и других критиков ничто значительное в нашем творчестве не останется втуне. Так есть ли необходимость перетряхивать свои творческие сундуки в поисках укрывшейся там от критических взглядов жемчужины? Если критики ее не заметили, то была ли она?

1982 г.

ПРИМЕЧАНИЯ

ЗНАК БЕДЫ

Впервые повесть опубликована в журнале «Дружба народов», 1983, № 3, 4. Первое издание повести — книга «Знак беды», Москва, «Молодая гвардия», 1984.

РАССКАЗЫ

Утро вечера мудренее. Впервые на русском языке опубликован в журнале «Дружба народов», 1968, № 11.
Свояки — в журнале «Юность», 1967, № 5.
Одна ночь — этот рассказ под названием «Проклятие» впервые был издан в сборнике «Третья ракета», Москва, «Молодая гвардия», 1963.
Эстафета — в сборнике «Третья ракета», Москва, «Молодая гвардия», 1963.
Крутой берег реки — в газете «Известия», 23 сентября 1972 г.

ПУБЛИЦИСТИКА

Колокола Хатыни. Впервые статья напечатана в сборнике прозы Василия Быкова. Москва, «Молодая гвардия», 1972.
Свидетельство эпохи. *Выступление на VII съезде СП СССР.* Опубликовано в «Литературной газете», 8 июля 1981 г.
Неиссякаемая щедрость ума — «Литературная газета», 6 сентября 1978 г.
Зоркость исследователя, страсть художника — «Литературная газета», 1 августа 1973 г.
В день юбилея. Впервые статья увидела свет в белорусской газете «Література і мастацтва», 5 февраля 1982 г.
Как была написана повесть «Сотников» — «Литературное обозрение», 1973, № 7.
Несколько слов об «Альпийской балладе» — «Литературная газета», 1 января 1973 г.
Слово об учителе — в белорусской газете «Література і мастацтва», 24 декабря 1971 г.

Все минется, а правда останется — в сборнике «Воспоминания об А. Твардовском». Москва, «Советский писатель», 1982.
Завидная писательская судьба — в книге «С. С. Смирнов. Герои Великой войны». Москва, «Молодая гвардия», 1977.
На рубежах добра и любви — «Роман-газета», 1975, № 23.
Верность памяти — «Литературная Россия», 14 сентября 1973 г.
Памяти художника — «Литературная газета», 2 июля 1979 г.
Силой любви и ненависти — «Литературная газета», 19 марта 1980 г.
На Тыняновских чтениях — «Новый мир», 1985, № 1.
Великая академия — жизнь — «Вопросы литературы», 1975, № 1.
Полотна, опаленные войной — «Правда», 4 июля 1973 г.
Главный жанр литературы — «Литературная Грузия», 1982, № 7.
Тревожное воспоминание — «Известия», 10 февраля 1978 г.
Много лет назад — «Литературная газета», 1 января 1985 г.
Ставшее жизнью и судьбою — «Литературная газета», 22 июня 1983 г.
Все, что мы можем... — «Вопросы литературы», 1981, № 2.
Под Кировоградом — «Литературная газета», 9 мая 1985 г.
Болгария — Белоруссия — «Литературная газета», 22 июля 1981 г.
Знать то, о чем пишешь — «Литературная газета», 27 апреля 1979 г.
За счастье надо бороться — «Литературная газета», 27 апреля 1977 г.
Во имя жизни. *Интервью для АПН.* Напечатано в западногерманской газете «Дойче Фолькецайтунг ди тат», 6 мая 1985 г.
Наша сила и воля — «Литературное обозрение», 1985, № 5.
Что дает нам сегодня память о войне — «Дружба народов», 1982, № 7.

СОДЕРЖАНИЕ

ИБ № 4885

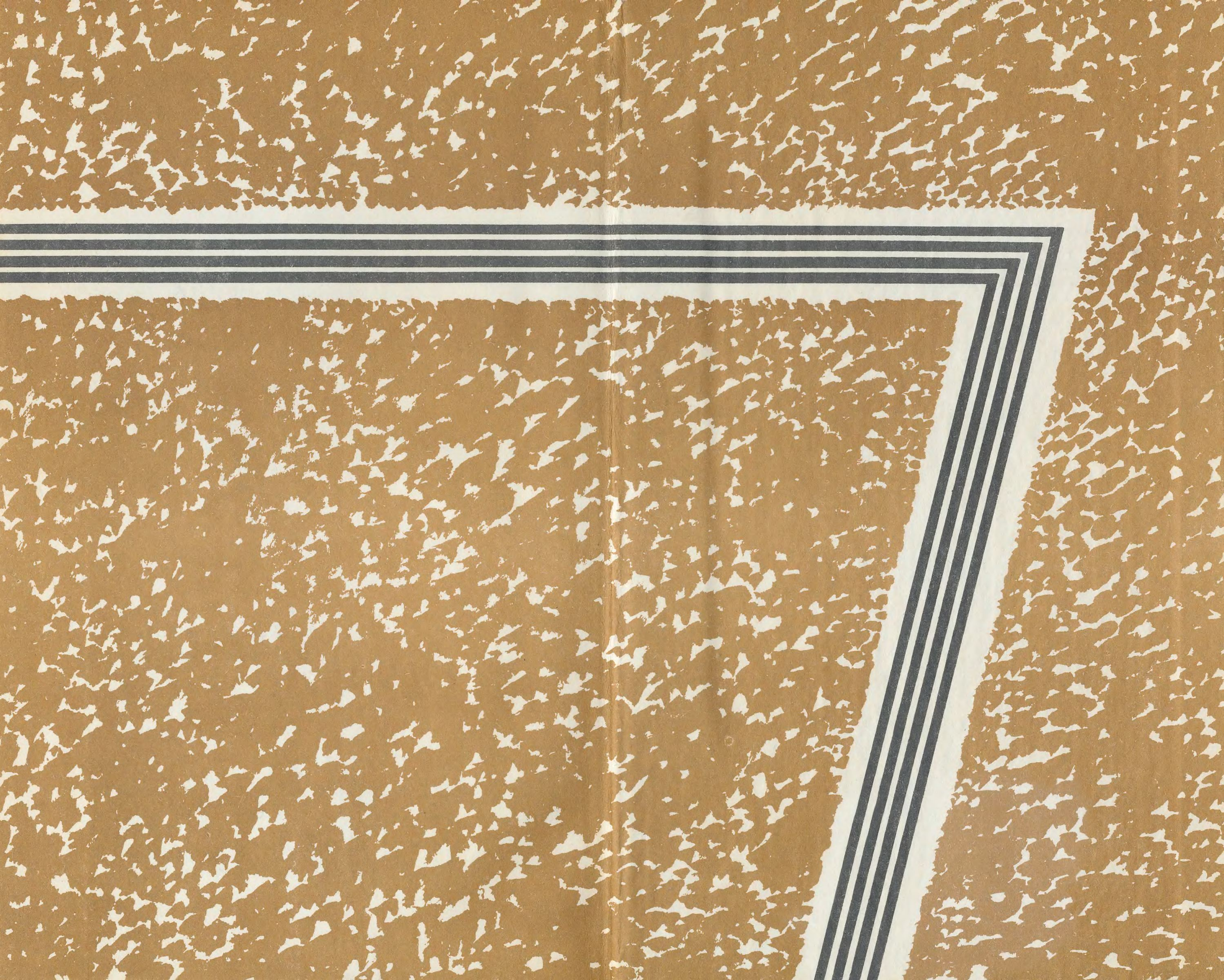
Василий Владимирович Быков

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ. Т. 4

Редактор В. Пелихов
Художественный редактор А. Романова
Технический редактор Н. Носова
Корректоры Т. Крысанова, В. Назарова

Сдано в набор 02. 09. 85. Подписано в печать 06. 02. 86. А01434. Формат 84×108 1/32. Бумага типографская № 1. Гарнитура «Обыкновенная новая». Печать высокая. Усл. печ. л. 23,52. Усл. кр.-отт. 23,73. Учетно-изд. л. 25,7. Тираж 100 000 экз. (50 001—100 000 экз.). Цена 1 р. 70 к. Зак. 1290.

Типография ордена Трудового Красного Знамени издательства ЦК ВЛКСМ «Молодая гвардия». Адрес издательства и типографии: 103030, Москва, К-30, Сущевская, 21.



1 р. 70 к.

МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ